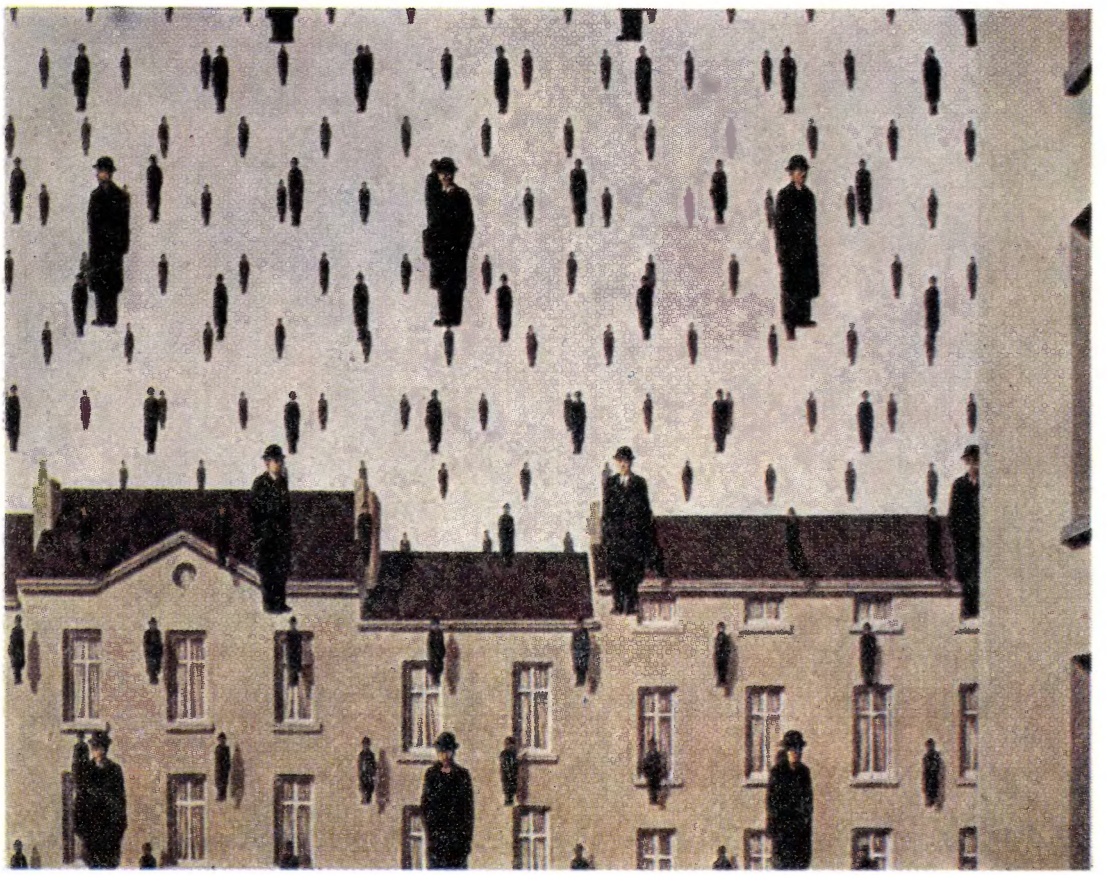
ISSN 0130 – 6545

8. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



«Владение Арнхейма» (частная коллекция, США).

На 1-й и 4-й страницах обложки — «Голконда» (частное собрание).
«Неожиданный ответ» (Музей изящных искусств, Брюссель).

Цветные иллюстрации номера — работы бельгийского художника Рене Магритта

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

8 **август 1989**

САЛЬМАН РУШДИ — Стыд *(Роман. Перевод с английского И. Багрова)* 5

АННА СВИРЩИНЬСКАЯ — Стихи о Варшавском восстании *(Перевод с польского Натальи Астафьевой. Послесловие Владимира Британишского)* 108

МИРЧА ЭЛИАДЕ — У цыганок *(Новелла. Перевод с румынского Татьяны Ивановой. Послесловие Вяч. В. Иванова)* 118

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 142

Е. Гениева — Комментарии 175

Антирубрика

ВУДИ АЛЛЕН — Рассказы и пьеса *(Перевод с английского и предисловие Александра Смолянского)* 182

Критика

Из бесед в редакции

Советский опыт и писатели Запада *(Участвуют: Н. Анастасьев, Т. Мотылева, А. Зверев, Б. Гиленсон, В. Земсков)* 210

Литературный мир об «Улиссе»

ЭЛЛЕН ГЛАЗГО. СТЕФАН ЦВЕЙГ. ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН. ТОМАС ВУЛФ *(Составление Екатерины Гениевой. Перевод с английского И. Дорониной)* 225

Резонанс

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ—Четыре статьи о Солженицыне *(Вступительное слово В. Лакшина. Перевод с немецкого Г. Дашевского, Б. Хлебникова)* 228

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты

Леон Робель (Франция), Александр Флакер (Югославия), Петер Бранг (Швейцария), Кристофер Хоуп (ЮАР), Айгиль Стеффенсен (Дания), Любомир Фельдек (Чехословакия). *(Послесловие А. Немзера)* 238

Курьер «ИЛ» 249

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1989.

Художественный редактор Е. Н. Черняев.
Технический редактор Е. П. Поляков.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 1.06.89. Подписано в печать 3.08.89. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8 Уч.-изд. л. 25,47.

Тираж 420 000 (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 2085.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

САЛЬМАН РУШДИ

Стыд

РОМАН

Перевод с английского И. БАГРОВА

Посвящается Самину

Книга I.
На волю из родных краев

Глава первая.
Лифт к затворницам

В далеком пограничном городке К., очертания которого с высоты напоминают, увы, кривобокую гантель, жили некогда три сестры; лица их были исполнены красоты, а души — любви. Звали их... впрочем, настоящими именами пользовались не чаще, чем заветным фарфоровым сервизом, навечно сокрытым и забытым в каком-то шкафу после печальных событий в семье. И сервиз из тысячи предметов, сработанный еще в царской России умельцами на гарднеровских заводах, превратился едва ли не в легенду — полноте, да был ли сервиз-то?! Однако пора незамедлительно вернуться к трем сестрам: они носили фамилию Шакиль, а выстроив их по старшинству для переклички, установим, что иначе как Чхунни, Муни и Бунни их никто не величал.

И вот однажды у них умер отец.

Престарелый господин Шакиль — вдовец с восемнадцатилетним стажем — по стародавней привычке называл родной город «чертовой дырой». В предсмертном, бредовом, многословном, хотя и малопонятном монологе домашняя прислуга, путаясь в лабиринтах хозяйского красноречия, разобрала лишь похабщину, брань да проклятия, столь обильные и неистовые, что, казалось, у постели взвихрился маленький смерч. Давно отошедший от мирской суеты старик в последнем слове исторгал копившуюся всю жизнь злобу на родной город. То он призывал силы ада обратить в прах низенькие, поносного цвета домишки, невпопад лепившиеся к базару; то обращал уже подернутые смертным ледком проклятия на чистые и опрятные особняки военного городка. Собственно, эти два района и составляли округлые разновеликие бока «гантели». В старом городе жил местный люд, неимущий и угнетенный; в новом — пришлые угнетатели, ангрезы, то бишь британские

© Salman Rushdie, 1983

сахибы. Господин Шакиль люто ненавидел и тех и других. Долгие годы провел он, добровольно заточившись в своем огромном доме, почти все окна которого выходили в сумрачный — колодцем — двор. Стоял дом на пустыре, равно отдалившись как от района торгового, так и от военного. Со смертного одра господину Шакилю через едва ли не единственное, глядевшее на белый свет окно была видна громада гостиницы, словно мираж выросшей в военном городке. В ее холлах блестели золотые урны и плевательницы, сновали ручные обезьянки в униформе с медными пуговичками, в залах с лепными потолками по вечерам играл настоящий оркестр, в буйной зелени диковинных растений благоухали чайные розы и белые цветы магнолии, тянулись вверх изумрудно-зеленые пальмы. И хотя ее золоченый купол давным-давно дал трещину, он все же до рези в глазах отливал закатным великолепием дней минувших. Под его сенью ежевечерне собирались лощеные офицеры-ангрезы, штатские в белых манишках и галстуках, жадноглазые дамы, увешанные ожерельями и колье. Они приходили потанцевать в блестящем, как им мнилось, обществе, хотя блестели лишь их белые, точнее, бледные лица, да и то от пота, так как их нежная, умащенная морскими туманами кожа страдала от пагубного влияния палящего солнца и красного бургундского — только безумцу может прийти в голову распивать вино в полуденном пекле и с очаровательной беспечностью издеваться над собственной печенью.

Старик прислушался к музыке, тешившей проклятых колонизаторов в нарядной гостинице — не иначе, и их последний час настает,— и зычным голосом предал анафеме зыбкую, миражем манящую гостиничную суету.

— Закрой окно! — крикнул он старухе служанке Хашмат-биби.— Не хватало еще под эту какофонию умирать.

Ставни плотно сомкнулись, старик успокоился, собрал остатки сил и изменил течение своего предсмертно-бредового монолога.

— Скорей! Скорей сюда! — принялась созывать его дочерей служанка.— Ваш отец, никак, сам в ад напрашивается!

Это господин Шакиль, закончив язвить белый свет, обратил всю ярость на себя самого, вытребывая собственной душе вечное проклятье.

— Ох, не туда, не туда его понесло!— сокрушалась Хашмат-биби.— Какая муха его укусила?

Растить дочерей вдовцу помогали кормилицы (из огнепоклонников), малолетние няни-айи (из христиан) и мораль (преимущественно мусульманская), что крепче булатной стали. Впрочем, Чхунни говаривала, что отцовский характер еще больше закалился под палящим солнцем. Всю жизнь он не выпускал дочерей за порог необъятного дома-лабиринта, отказал им в образовании, заточив в женской половине особняка. Девушки развлекались тем, что болтали на самодельных языках, непонятных чужому уху, да строили самые невероятные предположения, как выглядит голый мужчина. В раннем девичестве их неуемное воображение рисовало мужские половые органы в виде ямочек на груди — этакие уютные гнездышки, куда поместились бы девичьи сосцы. Все дело в том, как впоследствии поочередно вспоминали сестры, что по их тогдашнему разумению «зачатие происходило посредством грудей». Отбывая свой неопределенно долгий срок заключения, узницы пришли к полному и нерушимому единению мыслей и чувств. Вечерами сестры сидели подле резного решетчатого окна, откуда виднелся золотой гостиничный купол, и, зачарованно раскачиваясь в такт, прислушивались к музыке. А еще ходили слухи, что послеобеденный отдых сестры проводили во взаимных ласках. А по ночам они будто бы не гнушались и черной магией, дабы побыстрее спровадить отца на тот свет. Впрочем, чего только не болтают злые языки, особенно о красивых молодых женщинах, недоступных плотоядному мужскому взору. Достоверно лишь одно: именно в те годы, задолго до

столь возмутительного появления на свет ребенка, вся троица, тосковавшая о детях со всей силой неискушенного девичества, заключила негласный договор — никогда не разлучаться, навсегда сохранить взаимную привязанность, даже когда появятся дети. То есть грядущих сыновей они постановили воспитывать вместе, втроем. Совсем уж грязные сплетники утверждают (хотя и бездоказательно), что договор этот был написан и подписан кровью юных затворниц, причем кровью ежемесячных женских тягот. Потом бумагу якобы предали огню, а содержание навечно сохранилось в самых сокровенных уголках тройственной памяти.

В ближайшие двадцать лет сестрам суждено вырастить лишь одного ребенка. И нарекут его Омар-Хайамом.

Происходило все это в четырнадцатом веке мусульманского, разумеется, летосчисления. Не сложилось бы у вас впечатления, что рассказ мой о далеком-далеком прошлом. Время, увы, не столь однородно, как, скажем, молоко; и в краю, о котором идет речь, до самой недавней поры царило прямо-таки средневековье — как-никак четырнадцатый век.

Хашмат-биби предупредила сестер, что отец их вот-вот распрощается с жизнью; те облачились в лучшие наряды и отправились к умирающему. Старик хрипел и задыхался в железных тисках совести: он мрачно требовал, чтобы Всевышний определил ему место вечных страданий на самых что ни на есть задворках ада. Потом он смолк, и Чхунни, старшая из дочерей, не замедлила задать единственно важный для всей троицы вопрос:

— А правда, отец, что мы теперь заживем богато?

— Продажные твари! — бросил им на прощанье страдалец.— Ни шиша вы не получите!

Полноводная река благополучия, в которой, если верить молве, семейство Шакиль выудило не одну золотую рыбку, оказалась на поверку давно пересохшим ручьем. Выяснилось это на утро после смерти старого сквернослова. Не один десяток лет удавалось господину Шакилю скрывать свою деловую несостоятельность; тому способствовала и личина солидного отца семейства, и вздорный характер, и несказанная гордыня (самое вредоносное наследство дочерям). Одним словом, перед сестрами раскинулась выжженная пустыня банкротства, и все дни, отведенные обычаем для скорби и траура, они провели, рассчитываясь с отцовскими кредиторами, кои не смели докучать ему при жизни, зато теперь требовали незамедлительной выплаты всех долгов, да еще с процентами! И горделивые узницы, почуявшие ветерок свободы, лишь презрительно скривились: ишь, стервятники, кружат над остатками пущенных на ветер богатств, норовят поживиться! Сызмальства девушек приучили: некоторые вопросы — в том числе и денежные — с посторонними не обсуждают. Поэтому без долгих разговоров, не глядя, они подписывали счета направо и налево, и богатейшие земли отца (едва ли не все плодородные поля и сады в округе, где условия для земледелия далеко не самые благоприятные) обрели новых многочисленных хозяев. А сестрам остался лишь огромный безалаберный дом с несметным количеством утвари, заполнившей комнаты, да несколько слуг — призраков прошлых дней. Они отказались покинуть дом, но отнюдь не из одной только преданности. Их жизнь тоже прошла в заточении, и нежданная свобода страшила пуще смерти. Оказавшись в бедственном положении, сестры повели себя достойно, в лучших аристократических традициях — они решили устроить званый вечер.

Много лет спустя сестры вновь и вновь делились воспоминаниями о том скандально-незабываемом вечере, и лица их озарялись простодушными, веселыми улыбками: может, им казалось, что молодость не обошла их стороной?

— Пригласительные билеты я заказывала в гарнизоне,— заводила Чхунни Шакиль, устраиваясь подле сестер на старом деревянном диване. Довольно хохотнув над былым приключением, продолжала: — Ах, что это были за билеты! С золотым тиснением, картон плотный — не согнуть! Каждый — точно плевок в лицо судьбы!

— И в лицо покойного папочки! — подхватывала Муни.— Он бы закричал: «Совсем стыд потеряли! Распустились вконец! Родного отца в грош не ставят!»

— Не мудрено! — вставляла Бунни.— Нам от него ни гроша и не перепало!

Поначалу сестры думали, что угрызения совести, посетившие отца в последние минуты, связаны с грядущей нищетой дочерей. Однако потом думы их настроились на более прозаический лад.

— А что, если перед смертью ему увиделось наше будущее? — предположила Чхунни.

— Хорошо бы! Тогда б он умер в таких же муках, в каких принуждал нас жить! — заключили сестры.

Быстро облетела городок весть о том, что сестры Шакиль «выходят в свет». Настал долгожданный вечер, и дом заполонили виртуозы-музыканты. Впервые за двадцать лет в этих пуританских стенах весело зазвучали трехструнные домры, семиструнные саранды, запищали свирели, забили барабаны; полчища булочников и кондитеров нагрянули с обозами всякой снеди — враз опустели витрины их заведений. Зато шатер, поставленный во дворе, ломился от яств, его зеркальные стены множили роскошь и изобилие. Все же чванство, которым с младенчества вскармливал дочерей старый Шакиль, самым пагубным образом сказалось на приглашенных. Достопочтенным гражданам К. нанесена смертельная обида: им отказали в обществе трех блистательнейших девушек города, обделили пригласительными билетами с золотым тиснением, о которых только и судачили все вокруг. Сестрам ставилось в вину и другое: они попрали правила хорошего тона еще и тем, что, отказав достойнейшим из достойных, разослали золоченые карточки в дома ангрезов — этим завсегдатаям балов! А подлинным старожилам (за редчайшим исключением) так, по сути дела, и не довелось переступить заветно-запретный порог. Зато целая толпа иностранцев, в которой преобладали военные мундиры, вечерние платья и чужеродный язык, после традиционного коктейля в гостиничном ресторане направилась к дому сестер Шакиль! Ох уж эти колонизаторы! Бледнолицые сахибы и их бегум в непременных перчатках. Нарочито громкий, вызывающий говор, ослепительно-снисходительные улыбки. И всю эту ораву поглотил зеркальный шатер.

— В тот вечер и спиртное подавали!— даже много лет спустя, вспоминая об этом, бабушка Чхунни радостно-изумленно всплескивала руками. Но в определенный момент воспоминания вдруг обрывались и никто из старушек не брался объяснить толком этот коллективный провал в памяти. Не берусь объяснить и я череду невероятных слухов, потянувшуюся после того памятного вечера во мрачном чреве прошлого.

Одни, например, утверждают, что гости из местных — богатеи-заминдары с женами, чьи капиталы, впрочем, не шли ни в какое сравнение с былыми миллионами Шакиля,— простояли весь вечер тесной злобной кучкой, уставясь на резвящихся сахибов-ангрезов.

По другим свидетельствам выходит, что вышеупомянутые господа из местных убрались восвояси, не пробыв и пяти минут, так сказать, не преломив хлеба с хозяйками, бросив их на произвол властелинов-колонизаторов.

А можно ли верить слухам, дескать, сестры точно на торжественном параде обходили господ офицеров (причем девичьи глаза прямотаки сверкали от избытка сурьмы и чувств) и молча оглядывали каждого: достает ли лоска усам, мужества — крутым подбородкам? А за-

тем (опять же согласно легенде) три сестры разом хлопнули в ладоши и заказали музыкантам европейские танцы: менуэты, вальсы, фокстроты, польки, гавоты. И воистину демоническая сила исходила от инструментов не жалевших себя маэстро.

Танцевали, если верить молве, всю ночь напролет. Разумеется, и одного этого пиршества хватило бы, чтобы обвинить новоявленных сироток во всех смертных грехах, но самое страшное ждало впереди. Кончился праздник, разъехались музыканты, бездомные собаки сожрали горы объедков и нетронутых блюд — та же высокородно-благородная спесь не позволила нашим героиням отдать беднякам пищу, предназначавшуюся для избранных. И пополз по городским базарам слушок, мол, в ту разудалую ночь одна из задавак-сестер что-то потеряла и что-то очень скоро обретет — прибавление в семействе, так сказать.

О, какой стыд! Стыд и срам!

Впрочем, если сестры Шакиль и страдали от бесчестья, то не подавали виду. Они отправили одну из оставшихся служанок — Хашмат-биби — в город. Там она передала кое-какие поручения искуснейшему ремесленнику, некоему Якубу-белуджу, а еще купила самый большой замок, который отыскался в скобяной лавке. Замчище этот был столь велик, что пришлось нанимать мула. Погонщик полюбопытствовал:

— А что твоим госпожам запирать-то? Их уж и так подчистую обобрали.

Верная Хашмат свирепо свела к переносице глаза и ответила так:

— Чтоб ты сам нищим подох! Чтоб внуки твои ссали на твою могилу!

В старой карге удивительно сочетались олимпийское спокойствие и неуемная свирепость. Якуб — мастер на все руки — как зачарованный беспрекословно исполнял все ее приказы. Она велела соорудить со стороны улицы необычайный лифт, подъемник без дверей, наподобие тех, в которых доставляют из кухни в ресторан готовые блюда — только просторнее, чтоб вмещал трех человек. На нем с помощью рычагов, тросов и моторов любой груз можно было поднять на верхний этаж. Причем Хашмат-биби особо указала, что управляться лифт должен из дома, да так, чтобы обитательницам не то что из окна высовываться, пальчика своего улице не показывать. Предусмотрела она и меры безопасности.

— Здесь поставь пружину. Чтоб в доме нажали, а днище б откинулось. А вот здесь, здесь и здесь запрячь в стенки кинжалы подлиннее да поострее — тоже на пружинах. Кнопку нажмешь, а они — раз! — и выскочат. Тогда уж к моим хозяйкам никто без спроса не сунется!

Много еще ужасных секретов таил подъемник. Сам Якуб так ни разу и не лицезрел сестер. Закончил он работу, а вскорости умер в придорожной канаве, корчась от боли и держась за живот. И опять попеняла сестрам молва: отравили умельца бесстыжие бабы, чтоб не сболтнул чего о своей последней столь загадочной поделке. Впрочем, справедливости ради отметим, что медицинское заключение никоим образом не подтвердило слухи. Якуба-белуджа, оказывается, уже долго донимали время от времени боли справа в низу живота, и умер он, очевидно, самым естественным образом: от банального, хотя и рокового перитонита или от чего-нибудь подобного, но отнюдь не от злых козней мнимых отравительниц.

В один прекрасный день трое из оставшихся в доме слуг-мужчин наглухо затворили массивные с медной окантовкой двери. В последний раз перед кучкой зевак мигнул тусклым металлом огромный замок на тележке в сумрачном чреве дома, ознаменовав начало более чем полувекового затворничества сестер. Закрылись двери, заскреже-

тал ключ в замке, и удивительное отшельничество обитателей дома началось.

Не напрасно ходила в город Хашмат-биби: она оставила в запечатанных конвертах подробнейшие указания местным торговцам и ремесленникам. И с той поры по установленным дням и часам к последнему детищу Якуба приходили: доверенная прачка, портной, сапожник, избранные торговцы мясом, фруктами, галантереей, цветами, почтовыми товарами, овощами, книгами, безобидными напитками, зарубежными журналами, газетами, умащиваниями, духами, сурьмой, полосками эвкалиптовой коры — чистить зубы; приносили пряности, крахмал, мыло, кухонную утварь, рамы для картин, игральные карты, струны. Торговцы подавали условленный свист, лифт, шурша, опускался, в нем лежала записка с заказом. Таким образом, сестры Шакиль полностью устранились от мира, по доброй воле вернувшись к затвору, конец которого они едва успели отпраздновать после отцовской кончины. Но обставили они все и на этот раз с таким чванством, что и само затворничество воспринималось как новая прихоть их безудержной гордыни, а отнюдь не как раскаяние в собственном жестокосердии.

И тут — пикантный вопрос: а как сестры расплачивались с торговцами?

Мои героини стыдливо потупятся, а я хоть отчасти воздам читателям за многие и многие неотвеченные вопросы, застывшие немым укором, и приоткрою тайну, докажу, что в самых крайних случаях автор все-таки в состоянии дать вразумительный ответ: последний запечатанный конверт Хашмат-биби оставила на пороге наименее почитаемого в городе заведения. Там чтят не Коран, а векселя, там полки ломятся от неисчислимых полуистлевших реликтов... Ах, пропади пропадом это заведение. Короче и честнее говоря, Хашмат-биби навестила ростовщика. Был он неопределенного возраста, худой как щепка, смотрел невинно и широко. Звали его Пройдоха, и вскорости он тоже объявился у подъемника (как и предписывалось) под покровом ночи, чтобы оценить все, находящееся в доме, и незамедлительно выдать наличными сумму в 18,5% от продажной стоимости заложенных вещей без права их выкупа. Так три матушки грядущего Омар-Хайама воспользовались прошлым (единственным своим достоянием), чтобы обеспечить будущее.

Так кто же из троих ждал ребенка?

Может, старшая, Чхунни? Средненькая — Муни? Или младшая (сущее дитя, можно сказать) — Бунни? Никто так этого и не узнал, даже когда ребенок появился на свет. Сестры держались единым фронтом, во всем до мелочей повторяя друг друга. А слуг они заставили — даже в голове не укладывается — присягнуть на Писании! Те, кто разделял с сестрами добровольное заточение, покидали дом разве что ногами вперед, завернутые в белое, и, разумеется, с помощью все того же механизма Якуба-белуджа. За девять месяцев ни разу не вызывали доктора. Все же сестры понимали, что с каждым днем их тайна все больше и больше норовит упорхнуть в окно, или просочиться под дверь, или уползти в замочную скважину — то есть стать достоянием всех и вся. И они дружно препятствовали этому, втроем выказывая все признаки беременности — одна, так сказать, поневоле, двое других — искусно притворяясь.

Старшую и младшую сестру разделяли пять лет. Но одевались все трое совершенно одинаково. И видимо, из-за долгой совместной затворнической жизни они стали совсем не отличимы одна от другой. Порой их даже путали слуги. Поначалу я назвал их красавицами, хотя ни столь любимых здешних поэтами «ликов, подобных луне», ни «глаз — что миндаль» у них и в помине не было. Волевые подбородки, коренастые фигуры, твердая поступь — все это сочеталось с невыносимо-притягательным обаянием. И вот все трое одновременно начали

раздаваться в бедрах, у них стали наливаться груди. Случись, затошнит одну, остальных тут же выворачивало наизнанку, причем их сердобольные позывы совпадали с точностью до секунды, так что не определить, у кого раньше взыграло в желудке. Одновременно росли и животы, обозначая скорое разрешение. Очевидно, достигалось это механическими средствами — подкладками и подушками; солями, вызывающими обморок или рвоту. Но такое прозаическое объяснение (для меня вполне убедительное) выхолостило бы суть — взаимную любовь сестер. Все трое так жаждали материнства, так хотели обратить позор внебрачной связи в безоговорочное торжество исполненного желания, что, ей-богу, вопреки всем законам природы, беременности настоящей могли сопутствовать две ложные, а до мелочей одинаковое поведение объясняется тем, что сестры жили, думали, чувствовали как единый организм.

Спали они в одной комнате. Пристрастия у них были одни и те же: к марципанам, жасмину, орехам, косметическим маскам — и возникали одновременно. Прочие запросы их организмов тоже совпадали. Весили они одинаково, уставали одновременно, просыпались минута в минуту — будто кто по утрам звонил в колокольчик. Даже схватки у всей троицы были одинаковы, три чрева готовились исторгнуть одного младенца. Три тела корчились и извивались в такт, словно в хорошо отрепетированном действе. Возьму на себя смелость утверждать, что и роды были мучительны для всех троих. Каждая выстрадала право называться матерью. Появился на свет малыш, и уж не определить, у кого из матерей отошли воды, чья рука заперла изнутри дверь спальни — нет, имя роженицы мне определенно не угадать. Ни один человек не присутствовал при родах, как истинных, так и фиктивных. Никто не видел, как лопнули надувные шары у двух сестер, а у третьей меж бедер показалась головка совершенно незаконного ребенка. Не узнать, чья рука подняла Омар-Хайама за ножки и шлепнула по попке.

Итак, наш герой издал первый крик в стенах невероятно огромного особняка, в котором и комнат не счесть, открыл глаза, и его перевернутому взору предстало распахнутое окно, за ним — на горизонте — зловещие вершины Немыслимых гор. Но все же которая из матерей подхватила его и шлепком понудила к первому вздоху? Не спуская глаз с опрокинутых гор, младенец заорал.

Хашмат-биби услышала, как отперли дверь спальни, осторожно и робко вошла — принесла поесть и попить, свежие простыни, губки, мыло, полотенца. На необъятной постели, где некогда скончался хозяин дома, сидели три сестры. Кровать являла собой огромный помост красного дерева о четырех резных столбцах, по которым змеи-искусители подбирались к райским кущам, вытканным по парчовому балдахину. Сестры светились радостью и смущением, как, собственно, и подобает молодым матерям, и по очереди кормили малыша грудью. Соски у каждой были влажны!

Исподволь крохе Омар-Хайаму внушалось, что его появлению на свет сопутствовали некоторые, так сказать, отступления от принятых норм. О тех, что предваряли его рождение, уже достаточно сказано, о последующих речь ниже.

Исполнилось Омар-Хайаму семь лет, и старшая мама, Чхунни, призналась:

— Я наотрез отказалась благословлять тебя именем Божьим.

Миновал год, и настал черед средней мамы — Муни:

— Я так и не позволила обрить тебя. Ты народился с чудесными черными-пречерными волосами. Разве я могла допустить, чтобы их сбрили? Ни за что!

А на девятый день рождения младшенькая мама сурово поджала губы и изрекла:

— Ни за что на свете не разрешила бы делать тебе обрезание. Что еще за фокусы! Это ведь не банан очистить.

Так и вступил в жизнь Омар-Хайам без положенного обрезания, бритья головы и благословения. «Разве это полноценный человек!» — воскликнут многие.

Родился он на смертном одре деда, испросившего себе для вечного поселения задворки ада, а его мятежный дух обосновался меж шторами и москитной сеткой. Первое, что явилось младенческому взору,— опрокинутые горы. И представление о перевернутом мире сызмальства не покидало Омар-Хайама: все-то на белом свете вверх тормашками. Или того хуже: ему казалось, что он живет на самом краешке мироздания и вот-вот упадет. Сидя за старым телескопом у окна на верхнем этаже, он разглядывал пустынные окрестности и все больше проникался мыслью: живет он на самом краю света, и за Немыслимыми горами на горизонте — великое Ничто, этакая бездонная пропасть, куда он неизменно падал в кошмарных снах. Тревожила в этих снах какая-то предопределенность, мол, летишь в тартарары — и поделом, так тебе и надо... Он просыпался весь в поту и видел над собой все ту же москитную сетку. Порой он даже вскрикивал от безысходности, ведь сны без обиняков говорили о его никчемности. Малоутешительное откровение.

Именно в этом, не очень-то еще сознательном возрасте и решил Омар-Хайам (причем решил — как отрезал, на всю жизнь!) побольше бодрствовать и поменьше спать по ночам. Неустанная борьба эта привела его в конце жизни, когда жена его превратилась в... нет, нет, не следует забегать вперед, пусть в рассказе все идет своим чередом: за началом — середина, за серединой конец. И не указ нам новомодные научные опыты, из которых выводят, что в определенных замкнутых системах под высоким давлением время может повернуть вспять и следствия с причинами поменяются местами. Пусть. Нам, рассказчикам, не след к этому заманчивому приему прибегать, чтоб разум не померкнул![1] Так вот, возвращаясь к сути: Омар-Хайам приучил себя довольствоваться легкой, непродолжительной (минут сорок) дремотой, этого хватало, чтобы восполнить к утру запас сил. Возможно ль, чтоб в голове ребенка родилась мудрая мысль: уж лучше зыбкая, как сон, явь, чем пугающе-правдоподобные сны. Матушки, узнав о его ночных скитаниях по бесконечным комнатам, смиренно вздохнули и прозвали его Летучим Мышонком. Холодными зимними ночами Омар-Хайам облачался в широкую темную накидку с капюшоном, и решай сам, читатель, на кого он больше походил: то ли на Летучего Голландца, то ли на Могучего Мышонка.

(Надо сказать, что жена его — Суфия Зинобия, старшая дочь генерала Резы Хайдара, тоже не спала по ночам. Но если Омар-Хайам приучил себя бодрствовать, то бедняжка Суфия Зинобия мучилась, закрывала глаза, отчаянно терла веки, тщетно пытаясь избавиться от бессонницы, словно от соринки или от непрошеной слезы. А каким пламенем горела она в той самой комнате, где впервые открыл глаза ее суженый и где навеки закрыл свои его дед, подле знаменитого ложа со змеями-искусителями и райскими кущами... ах, это проказливое будущее опять встревает! Мне остается ниспослать на него самые страшные кары, а сцену смерти отправить до поры за кулисы.)

Годам к десяти Омар-Хайам проникся благодарностью к защитницам-горам на горизонте. Они укрывали и с севера, и с юга. Немыслимые горы! Этого названия не найти в самых подробных атласах. Видно, и географам не объять необъятного. Мальчик пристрастился

---

[1] Обрывок фразы короля Лира: «Нет, замолчи, чтоб разум не померкнул». У. Шекспир. Король Лир. III, 4, перев. А. В. Дружинина. *(Здесь и далее прим. перев.)*

к чудесному, блестевшему медью телескопу. Он откопал его в жутких дебрях домашнего хлама. И, разглядывая звезды на Млечном Пути, Омар-Хайам отчетливо понимал, что ни одно тамошнее существо, будь то живой песок или газовое облако, ни за что не отыскало бы своей родной планеты по названиям в затертых омар-хайамовых звездных картах.

— Это наши горы,— говаривал он,— и назвали мы их так неспроста.

Порой на улицах города появлялись и сами горцы, узкоглазые, словно выточенные из камня. (Не столь твердокаменные горожане, завидев их, спешили перейти на другую сторону, дабы избежать нестерпимой вони и бесцеремонного обращения). Обитатели Немыслимых называли их «Крышей рая». Нередко весь горный кряж, а с ним и городок, сотрясались от подземных толчков — сейсмически неблагоприятный район! — и горцы свято верили, что это ангелы прорываются наружу. Много лет спустя младший брат нашего героя и впрямь увидит крылатого человека в золотом сиянии, смотрящего с крыши, а пока маленький Омар-Хайам самостоятельно вывел и развил любопытную гипотезу: рай находится не на небе, а внизу, прямо под ногами. Неспроста ангелы колышат твердь, выбираются на свет божий — видать, не безразлична им мирская суета. И под напором ангелов горный кряж то и дело менял очертания. Порой из ярко-желтых склонов вдруг выпирало множество столбов, столь совершенных по форме и богатству геологических слоев на срезе, будто их вытесывали великаны-богатыри в земных недрах. Но вновь появлялись ангелы, и чудесные сказочные башни обращались во прах.

Итак, Ад наверху, Рай — внизу. Я не случайно так подробно описываю теорию омарова окраинного бытия, своеобычную, но зыбкую, как песок: хочется выделить, что вырос он меж двух извечных стихий Добра и Зла, и его недолгий жизненный опыт подсказывал, что силы эти, так сказать, поменялись местами. Оттого-то все в мире и представлялось перевернутым с ног на голову. Последствия такой убежденности оказались разрушительнее любого землетрясения, да только их не измерить — не придуман еще сейсмограф души. Итак, лишенный обрезания, обривания и благословения, Омар-Хайам чувствовал себя обделенным и неприкаянным.

Рассказ увел меня далеко от дома, прямо под палящее солнце, и, пока его не хватил тепловой удар или не поглотил коварный мираж, спрячу его подальше... Много-много лет спустя, уже на закате жизни Омар-Хайама (будущее, как вода сквозь песок, так и норовит просочиться в прошлое), имя моего героя замелькало во всех газетах в связи с нашумевшими убийствами — убитых находили непременно с оторванной головой! Тогда-то дочка таможенного чиновника Фарах Родригеш и вытащила из кладовой памяти случай, который произошел с Омар-Хайамом в отрочестве. Уже в ту пору он был неопрятным толстуном — на рубашке (на уровне пупка) недоставало пуговицы. И однажды он сопроводил тогда еще юную Фарах на пограничный пост милях в сорока к западу от города. Рассказывала Фарах об этом в подпольном питейном заведении, обращаясь ко всем сразу, сопровождая рассказ смехом — некогда хрустально-переливчатым, теперь же — колюче-шершавым, как битое стекло (видно, сказались время и воздух пустыни).

— Вы не поверите, но я клянусь честью! — приступала она.— Не успели мы вылезти из джипа, как откуда ни возьмись облако и садится прямо на пограничную полосу, словно визы дожидается! Так Шакиль до смерти перепугался, даже сознание потерял. Голова пошла кругом, и вот он уж себя не помнит, хотя стоит на твердой земле.

Необъяснимое головокружение («стою на краю, вот-вот сорвусь») проклятием преследовало Омар-Хайама даже в его звездный час, когда он женился на дочери Хайдара, а сам Хайдар стал президентом.

Одно время Омар-Хайам водил бражную дружбу с богатым повесой Искандером Харапшой, политиком самых левацких взглядов, потом — премьер-министром, потом (уже после смерти) — чудотворящим духом. И как-то, уже изрядно под хмельком, наш герой разоткровенничался с другом:

— Ну что я за человек! Даже в собственной жизни мне главной роли не сыграть. Так меня вырастили — белый свет только в окошко показывали. А теперь вот расплачиваюсь.

— Что-то уж больно мрачно ты на жизнь смотришь,— изрек Искандер Харапша.

Растили Омар-Хайама ни много ни мало три матери, без единого отца в обозримом пространстве и времени. Загадка, да и только! И к ней добавилась еще одна: Омар-Хайаму шел двадцатый год, когда у него родился брат — очередной плод коллективного творчества трех матушек. Как и в первый раз, все было разыграно словно по нотам. Но задолго до этого не меньшей занозой разбередила душу Омара первая любовь. Неуклюже переваливаясь, тучный юноша тенью следовал за сколь желанной, столь и недоступной некоей Фарах Заратуштрой[1]. Отец ее и впрямь был огнепоклонником, но отнюдь не пророком. Ухаживать за ней пытались едва ли не все окрестные парни, но только один Омар-Хайам, живший словно в коконе, не знал, не ведал, что былые воздыхатели рассудили так: «За Фарах увяжешься — в дураках окажешься» и называли ее «Конец Света».

Подведем итоги: страдает обмороками и неприкаянностью; увлечен девушкой и звездами; мучается от кошмарных снов и ожирения. Ну разве это герой?

Глава вторая.
Башмачная гирлянда

Примерно через месяц после вступления русских войск в Афганистан я приехал домой: повидать родителей и сестер да похвастать своим первенцем. Живут мои родные в районе «Заставы» — так именуется жилищно-кооперативное общество пакистанской армии — хотя военных у меня в роду нет. Просто «Застава» — престижный район Карачи. Офицерам земля там выделяется почти даром, только построить дом не каждому по карману. А продать пустующий участок не разрешается. Попробуйте-ка построить дом на офицерском участке, и вас ждет замысловатейший контракт: владельцу земли вы платите за нее по рыночной цене, однако земля остается его собственностью. А вам отводится роль этакого славного малого, по доброте душевной одарившего неимущего офицера круглой суммой (надо же и ему свить себе гнездо). Чтобы построить дом по своему вкусу, вы потратите еще кучу денег, и тут новая закавыка: по контракту землевладелец должен назвать еще «третье лицо», так сказать, полномочного распорядителя вашей будущей недвижимости. Выбирать это «третье лицо» вам, и ему, собственно, остается поздравить вас с новосельем, когда строители уберутся восвояси. Итак, вам дважды приходится являть добросердечность и щедрость. По принципу «ты — мне, я — тебе» и застраивалась вся «Застава». Не правда ли, яркий пример беззаветного, жертвенного служения ближнему ради общей цели?

Обставлялось все тонко — комар носа не подточит. Хозяин участка богател, «третье лицо» получало комиссионные, а вы — новый дом. Но главное — не обойден ни один закон! Излишне говорить, что никто

---

[1] Заратуштра (предположительно между 10 — перв. пол. 6 вв. до н. э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризма. В быту зороастрийцев часто именуют «огнепоклонниками».

не допытывался, по какому праву самый лакомый кус городских земель застраивается подобным образом. И вообще, не в правилах жителей «Заставы» проявлять любопытство. А потому — от сонмища незаданных вопросов не продохнуть. Хотя их зловоние тонет в благоухании садов, аромате цветущих на бульваре деревьев, в запахе дорогих духов местных светских львиц. Населяют «Заставу» дипломаты, заправилы международных фирм, сыновья канувших в Лету диктаторов, модные певички, текстильные магнаты, звезды крикета — эти халифы на час. Район кишмя кишит японскими машинами. А о том, что «Застава» некогда начиналась как офицерский городок и для легковерных слыла символом взаимовыгодного сотрудничества властей гражданских и военных, в городе уже давным-давно забыли. Осталось одно лишь название.

Как-то вечером, вскорости после приезда, я отправился в гости к своему старинному знакомцу — поэту. Я заранее смаковал долгую, неспешную беседу: что-то подумывает мой друг о недавних событиях в Пакистане и, конечно же, в Афганистане. Как и всегда, в доме у него было полно гостей. Странно, толковали лишь о крикетных матчах между Пакистаном и Индией. Мы с другом уселись за стол и начали легкую шахматную партию. Мне, разумеется, не терпелось расспросить его, и поподробнее, о жизни. В конце концов, что пришло на ум, о том я и спросил: что он думает о казни Зульфикара Али Бхутто. Увы, договорить вопрос мне было не суждено, он так и приобщился к сонму незаданных собратьев. А я получил пребольный пинок под столом. Сдержав стон, я тут же переключился на спортивные темы. Еще мы говорили о повальном увлечении видеотехникой.

На смену одним гостям приходили другие, люди собирались кучками, смеялись. Минут через сорок мой приятель вдруг сказал:

— Ну все, теперь можно.

— Так кто же стукач? — догадливо спросил я.

Друг назвал осведомителя, затесавшегося именно в этот круг. Про него все знали, но никто и вида не подавал (иначе он бы просто исчез, и поди потом гадай, кого прислали на его место). Мне довелось увидеть его еще раз: славный малый, судя по речи, образованный, с открытым лицом. Не сомневаюсь, он бывал рад-радешенек, когда не находил в беседе «компромата». И волки сыты, и овцы целы. И снова я поразился, до чего ж много в Пакистане «славных малых» и каким пышным цветом распустилась в благоуханных садах благовоспитанность.

Пока меня не было в Карачи, мой друг-поэт успел отсидеть год-другой в тюрьме — поплатился за свои связи. Точнее: приятельница его знакомого оказалась женой двоюродного брата троюродного дядюшки одной особы, которая, по слухам, сожительствовала с парнем, переправлявшим оружие повстанцам в Белуджистан. Да, в Пакистане по знакомству возможно все, даже угодить за решетку. И по сей день друг ни словом не обмолвился о том, что пережил в тюрьме. От других узнал я, что вернулся он из заключения совсем больным и долго шел на поправку. Говорят, его подвешивали вверх ногами и били. Новорожденных тоже подвергают подобной процедуре, чтоб заработали легкие и младенец закричал. Я не спрашивал друга, кричал ли он и виделись ли ему в окно опрокинутые горные вершины.

Куда ни повернись, всюду что-то постыдное! Но поживешь бок о бок со стыдом и привыкнешь, как к старому креслу или комоду. В «Заставе» стыд гнездится в каждом доме: искоркой в пепельнице, картиной на стене, простыней на постели. Но никто ничего не замечает. Мы же благовоспитанные люди!

Возможно, моему другу больше пристало сочинить эту книгу, точнее, и сочинять бы ничего не пришлось — хватило бы рассказа о своей жизни. Но с той поры он больше не пишет стихов. И вот приходится выступать мне и рассказывать о чужой жизни. Моему герою,

прошу отметить, уже довелось повисеть вверх ногами; назвали его в честь великого поэта, хотя сам он за всю жизнь не сложит и четверостишия.

ЧУЖАК! НА ЧТО ПОСЯГАЕШЬ! ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА КАСАТЬСЯ ЭТОЙ ТЕМЫ!..

Да, знаю, я в тюрьме не сидел и вряд ли когда сяду.

ОТЩЕПЕНЕЦ! УЗУРПАТОР! НАМ ТВОЯ ПИСАНИНА НЕ УКАЗ! НАС НЕ ПРОВЕДЕШЬ: ДАЖЕ ТВОЙ ЯДОТОЧИВЫЙ ЯЗЫК И ТО ИНОЗЕМНЫЙ, ЭТО УЖЕ ТВОЯ ПЛОТЬ И КРОВЬ! ЧТО ТЫ, ПЕРЕМЕТНАЯ СУМА, МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ О НАС? ЛОЖЬ И ТОЛЬКО ЛОЖЬ!

А я спрошу в ответ: неужто история — исключительная собственность ее действующих лиц? В каких судах на нее заявляют права? В каких высоких инстанциях определяют границы застолбленных участков?

Неужто право голоса получают только мертвые?

Себе я говорю, что роман этот — мое прощальное слово о Востоке, от которого годы все больше отдаляют меня. Но подчас мне трудно поверить этим словам, ведь Восток — хочу я или нет — край, к которому я привязан, пусть и некрепко.

Касательно Афганистана: вернувшись в Лондон, я разговаривал на приеме с неким высоким дипломатическим чином, по долгу службы занимавшимся моим «регионом». Он сказал, что «в свете последних афганских событий» Западу ничего не остается, как поддерживать диктатуру президента Зия-уль-Хака. Мне б сдержаться, но я возмутился. А что толку? Жена дипломата, сдержанная, благовоспитанная дама, примирительно воркуя, пыталась меня утихомирить, а потом, уже выходя из-за стола, спросила:

— Скажите, а почему бы пакистанцам не убрать Зия? Ну, вы сами понимаете, как это делается...

Да, дорогой читатель, стыдно бывает не только за людей с Востока!

Рассказ мой не о Пакистане. Или почти не о Пакистане. Есть две страны, вымышленная и реальная, и занимают они одно и то же пространство. Или почти одно и то же. Рассказ мой, как и сам автор, как и вымышленная им страна, находятся словно бы за углом действительности. И там им и место, по моему разумению. А плохо ли это или хорошо — пусть судят другие. Мне думается, что пишу я все же не только о Пакистане.

Названия своей стране я не придумал. И город К. — вовсе не Кветта. Но без конца жонглировать вымышленными названиями не хочу: окажись я в большом городе, назову его Карачи. С непременной «Заставой».

Положение Омар Хайама в поэзии своеобычно. В родной Персии он так и не снискал известности; на Западе же стихи его читают в переводах, отличных от оригинала по духу, не говоря уж о содержании. Собственно, я ведь тоже перевезен в иную среду. А общепризнанно, что любой перевод что-то теряет. Но и приобретает, добавлю от себя, памятуя об успехе фитцжеральдовских переводов Хайама.

— Мой несравненный телескоп подарил мне тебя! — так объяснялся Омар-Хайам Шакиль в любви к Фарах Заратуштре.— Это твой образ дал мне силы вырваться из матушкиной тюрьмы.

— Тебе б только подсматривать! — фыркнула его милая.— Насрать мне на твою любовь! Не рано ль эта любовь у тебя в штанах зашевелилась? И чего там у тебя с матушками, меня не колышет! — была его избранница двумя годами старше и стократ похабнее в разговоре. Омар-Хайаму скрепя сердце пришлось это признать.

Кроме имени великого поэта наш герой унаследовал и фамилию матушек. И, как бы подчеркивая, что сын неспроста носит бессмертное имя, сестры свою мрачную домину с лабиринтом коридоров — единственную свою недвижимость — назвали соответственно: Нишапур[1].

Итак, еще один Омар-Хайам, еще один Нишапур. Сколько раз ловил на себе юный Омар испытующий взгляд матушек: что ж ты, поторапливайся, мы ждем твоих стихов. Однако, как я уже говорил, рубаи так и не вышли из-под его пера.

Детство у нашего героя выдалось, прямо скажем, бесподобное: ведь всем законам, распространявшимся на затворниц-матерей, безоговорочно подчинялся и мальчик. Двенадцать долгих, определивших его характер лет провел он узником в четырех стенах, в обособленном мирке, который ни материальным, ни духовным не назвать — лишь скопище ветхозаветных теней одного и другого. И в этом затхлом и тесном мирке Омар-Хайаму суждено вдыхать (вместе с запахом нафталина, плесени и запустения) нестойкие ароматы былых замыслов и забытых грез. Матушки очень точно все рассчитали: сначала хлопнули дверью, а потом навечно замкнули ее. И оттого в доме возобладало, как зной, гнетущее энергетическое поле, хотя и щедро удобренное перегноем прошлого, но не сулящее никаких новых всходов. И сызмальства Омар-Хайам лелеял лишь одну мечту — поскорее сбежать из Нишапура.

Томясь в своей темнице, пределы которой терялись во мраке, чувствуя, что задохнется и пропадет, Омар-Хайам тщетно искал выхода. Невдомек ему, что обманчивая кривизна времени и пространства приведет самого настырного и выносливого марафонца — обессилевшего, со стертыми ногами и судорогой сведенными мышцами — опять к стартовой черте. Да, на бесплодной, изъязвленной временем почве особняка-лабиринта пробился новый всход.

Вы, разумеется, слышали о детях, найденных в волчьем логове, выпестованных многочисленными лохматыми кормилицами, что воют по ночам на луну. Спасатели-люди отлучали детей от стаи, и в награду им доставались укусы на руках. Найденышей сажали в клетки, и просвещенному и освобожденному человечеству представали среди вони испражнений и тухлого мяса существа ущербные, не способные постичь и основ культурного бытия. Омар-Хайаму тоже досталось чересчур много кормилиц. И ему довелось четыре тысячи дней провести в непроходимых джунглях родного Нишапура, в этой стихии за четырьмя стенами. Наконец удалось раздвинуть пределы темницы: в его день рождения матушки исполнили его заветное желание, и никакие соблазны, доставленные подъемником мастера Якуба, с ним не сравнить!

— Ты свои дикарские замашки брось! — осадила его Фарах, когда он было дал волю чувствам.— Ишь, руки распустил, ты ж не обезьяна дикая!

Так сказать, с точки зрения биологии она подметила все верно, но как раз омарову-то дикость она и не оценила умом, зато вскоре познала телом.

Вернемся к главному: двенадцать лет Омар ни в чем, кроме свободы, не знал отказа. Рос он баловнем, хитрюгой и плаксой. Стоило ему заорать, и матушки спешили приласкать сынулю. Но вот его начали мучить кошмарные сны, спать он стал меньше, а по ночам, как первопроходец-путешественник, забирался все глубже в дебри бескрайнего царства рухляди и паутины. Поверьте на слово, порой его сандалии утопали в пыли нехоженых коридоров; он натыкался на порушенные давними землетрясениями лестничные пролеты — некогда ступеньки вздыбились острыми горными верши-

[1] Нишапур — город, в котором родился поэт Омар Хайам (ок. 1040 — 1123).

нами и рухнули в черную пропасть, куда и заглянуть страшно... И в безмолвии ночи, и в предутренних шорохах шел Омар все дальше, в глубь самой истории, разглядывая поистине музейные диковинки Нишапура. Под его пытливыми пальцами распахивались шкафы, открывались комоды, выставляя напоказ допотопные расписные кувшины и горшки в индийском стиле Котдиджи; или вдруг он набредал на кухни и кладовки, о которых раньше и не подозревал, и недоуменно смотрел на блестящую бронзовую утварь тоже бог весть каких времен; а то вдруг ему открывались заброшенные покои (некогда землетрясением там разрушило сточную систему), и мальчик забирался в развороченные колодцы и лазил по хитросплетению каменных желобов (в те доисторические времена еще не знали труб).

А однажды Омар-Хайам даже заблудился. Он исступленно метался по закоулкам — так, наверное, путешественник во времени, лишившись своей чудесной машины, страшится навечно затеряться в пучине истории — и вдруг замер в ужасе на пороге комнаты: сквозь разваленную стену к нему тянулись толстые древесные корни-щупальца, словно умоляя напоить. Было ему в ту пору лет десять, и вот тогда-то в первый раз он увидел белый свет без оков и уз. Стоило только шагнуть в пролом, и... Но столь неожиданное чудо застало его врасплох. Уже занимался рассвет, и Омар-Хайам в страхе повернул вспять, назад в свои покойные покои. Потом, когда страхи унялись и он все хорошенько обдумал, мальчик попытался повторить ночное путешествие, даже запасся мотком веревки... увы, и с помощью этой ариадниной нити не смог он найти в хитроумном лабиринте своего детства обиталище запретного рассветного минотавра.

— Иногда я даже скелеты находил,— клялся он недоверчивой Фарах,— и человечьи, и зверячьи.

Но даже там, где скелетов не было, казалось, пращуры нынешних хозяек неотступно следовали за мальчиком. Нет, они не выли, не гремели цепями, как надлежит настоящим привидениям, а витали вокруг, испуская тлетворный запах копившихся издревле чувств: надежды, страха, любви. Эти призраки подстерегали Омар-Хайама в потайных уголках запущенного дома и полновесной прародительской пятой давили на мальчика. И вот, не выдержав, Омар-Хайам, вскорости после потрясения у разрушенной стены, отомстил своему противоестественному окружению. Отомстил дико, по-варварски — даже рассказывая об этом, хочется крепко зажмуриться. Вооружившись шваброй и похищенным топориком, он вихрем пронесся по грязным коридорам и причудливо убранным спальням, сокрушил на пути стеклянные шкафчики, подернутые пылью забвения диваны; обратил во прах древние, изъеденные червем фолианты; досталось и хрусталю, и картинам, и старинным ржавым шлемам; он нанес смертельные увечья бесценным шелковым, тонким, как бумага, гобеленам.

— Вот вам! Получайте! — вопил он среди бездыханных жертв — немых свидетелей его детства, насладившись бессмысленной жестокостью.— Поделом, старье вонючее! — И вдруг, вопреки всякой логике, уронил смертоносное орудие и столь исполнительную швабру и горько расплакался.

Надо сказать, что в ту пору никто не верил рассказам мальчика о том, что дом — без конца и края.

— Дитя и есть дитя,— усмехалась Хашмат-биби,— чего только не придумает!

Подшучивали над Омаром и слуги:

— Послушать тебя, сынок, на всем белом свете, кроме нашего дома, места ни для чего не хватит!

А три матушки, сидя на любимом диване-качалке, преспокойно выслушивали все рассказы, гладили сына по голове и однажды подвели итог.

— У мальчика богатое воображение,— определила средняя мама Муни.

— Неспроста он такое имя носит,— подхватила мама Бунни.

А мама Чхунни встревожилась, не гуляет ли мальчик по ночам во сне. И приказала слуге спать у порога комнаты Омар-Хайама.

Но к тому времени мальчик сам запретил себе наведываться в дразнящие воображение уголки Нишапура. После жестокой расправы над прошлым (ни дать ни взять, волк, точнее, волчий выкормыш в овчарне) Омар-Хайам Шакиль счел за благо появляться только в обжитых покоях.

Некое чувство — возможно, пробудившаяся совесть — привело его в дедов кабинет с темными деревянными панелями и множеством книг. Сестры Шакиль не наведывались туда со дня отцовой смерти. Там-то внук и обнаружил, что дедова ученость — миф, равно и его якобы острый, деловой ум. На всех книгах значился экслибрис некоего полковника Артура Гринфилда, многие страницы так и остались неразрезанными. Когда-то библиотека принадлежала этому господину, и старый Шакиль закупил ее, так сказать, оптом, а потом за долгие годы не удосужился открыть ни одной книги. Зато юный Омар-Хайам набросился на них с жадностью.

Пора воздать должное омаровым способностям к самообучению. Когда он покинул стены Нишапура, он уже владел классическим арабским и персидским языками, не считая латыни, французского и немецкого. И все — с помощью лишь словарей да книг лжеученого гордеца деда! Чем только не зачитывался мальчик! Богато иллюстрированными стихами Галиба, многотомными письмами к сыновьям Великих Моголов, бертоновскими переводами «Тысячи и одной ночи», «Путешествиями» Ибн Баттуты, приключениями сказочного Хатема Тайского... Да-да, вот и отходит прочь («Прочь!» — это уже из обращения Фарах к нашему герою) несостоятельный образ дитяти джунглей, Маугли.

Тем временем с помощью подъемника из дома в лавку ростовщика беспрерывно переправлялись самые разнообразные вещи, а за ними открывались новые сокровища, доселе сокрытые в залежах хлама. Огромные комнаты, до потолка набитые всякой всячиной — наследством многочисленных стяжателей-предков,—мало-помалу пустели, так что на одиннадцатом году жизни маленькому Омару уже не мешали развиться бесчисленные шкафы и комоды. Настал день, и матушки послали слугу в отцовский кабинет — они решили, что отныне смогут обойтись без ширмы каштанового дерева с тончайшей резьбой: на священную круглую гору Каф слетелись тридцать птиц, искавших божественную истину. Когда птичье собрание убралось из дома, взгляду Омар-Хайама предстал маленький книжный шкаф, набитый томами по теории и практике гипноза: санскритские мантры, трактаты персидских мудрецов, книга финского эпоса «Калевала» (в кожаном переплете), опыты преподобного Гаснера по изгнанию духов с помощью гипноза, анализ теории «животного магнетизма» самого Франца Месмера, а также (что, пожалуй, оказалось самым ценным) несколько дешевых самоучителей. Мигом проглотил их Омар-Хайам; только эти книги из всей дедовой библиотеки не были когда-то достоянием начитанного полковника, только они — подлинное дедово наследство, и только им суждено на всю жизнь вовлечь Омара в столь загадочную и страшную науку — ведь ей подвластны силы добра и зла.

У домашней прислуги занятий находилось едва ли больше, чем у юного хозяина — с годами матушек все меньше и меньше заботили чистота в доме и вкусная пища. Нетрудно догадаться, что трое слуг оказались первыми и добровольными участниками омаровых опытов. Юный гипнотизер сосредоточивал их внимание на блестящей монетке и подчинял своей воле. У Омара обнаружился талант, чем он немало

гордился. Ровно и спокойно приговаривая, он вводил своих подопечных в транс и выслушивал бессознательные, но любопытные исповеди. Слуги, в частности, поведали секреты своей половой жизни. Оказалось, что, в отличие от хозяек, у которых после рождения ребенка угасли некоторые естественные потребности, мужчины не отказались от радостей земных, даря ласки друг другу и благословляя хозяек за то, что, отказав слугам в свободе, те открыли подспудные желания, снедавшие всех троих мужчин. Их взаимная любовь как бы дополняла не менее сильную взаимную (хотя и платоническую) привязанность сестер. И все же в хороводе этих дружб и симпатий Омар не становился мягче и добрее.

Поддалась его уговорам и Хашмат-биби. Ей Омар внушил, что она парит на мягком розовом облаке.

— Ты все глубже погружаешься в облако,— уложив старуху на циновку, мурлыкал гипнотизер,— все глубже, все глубже... тебе хорошо... хочется раствориться в облаке...

Кончились его опыты весьма прискорбно. Не успел мальчик отметить двенадцатый день рождения, как преданные слуги доложили матушкам, сурово поглядывая на молодого хозяина, что Хашмат, похоже, внушила себе: пора расставаться с жизнью. Последние ее слова были: «все глубже и глубже... растворяюсь в розовом облаке...». Очевидно, благодаря стараниям юного медиума, старушке увиделся потусторонний мир, и вмиг ослабла железная хватка Хашмат, перестала она держаться за жизнь (по ее словам — немалую, в сто двадцать лет). Матушкам пришлось подняться со своего дивана и наказать Омар-Хайама: никаких больше гипнотических опытов! Но к тому времени интересы Омара и без того переменились, ознаменовав начало новой жизни. И придется немного повернуть вспять, дабы рассказать о переменах.

В мало-помалу пустеющих комнатах Омар-Хайам нашел кроме книг кое-что еще — телескоп, о котором уже упоминалось. С его помощью мальчик следил за окрестностями с верхнего этажа, где окна, в отличие от нижних, не были наглухо забраны ставнями и заперты на засов. В круглом блестящем окошечке омаровой луноликой радости умещался весь белый свет. Интересно наблюдать бои маленьких воздушных змеев на черных, пропитанных кашицей из риса и битого стекла бечевках, острых как бритва, способных срезать вражеского «змееныша». До мальчика доносились крики победителей — они прилетали в комнату с легким ветерком. А однажды в окно залетел бело-зеленый сбитый змей. А потом — уже близилось омарово двенадцатилетие — луноликий дружок показал Омару Фарах Заратуштру, и не было сил отвести от нее взор. В ту пору ей только минуло четырнадцать, но в каждом ее движении угадывалась хитрая женская суть. Вот тут-то все и переменилось: голос у Омара сорвался и стал с того дня ломаться. Сорвалось что-то и в низу живота — то опустились яички в детскую доселе мошонку. И вся тоска по свободе отозвалась тупой, ноющей болью в паху. Вдруг она разом поднялась, вскипела... и все разрешилось самым обычным и, пожалуй, неизбежным способом.

Ему не хватало свободы. Он метался по дому, точно зверь по клетке. Его любящие и нежные тюремщицы-матушки взрастили в нем убежденность, что он не участвует в жизни, а лишь наблюдает за ней из-за кулис. Двенадцать лет изо дня в день видел он матушек и, как ни грустно признавать, ненавидел их: и за то, что они всегда вместе, и за то, что сидят, взявшись за руки, на любимом скрипучем диване-качалке, за то, что хихикают и щебечут на своем тарабарском языке, придуманном еще в девичестве, за то, что шепчутся, обнявшись, прильнув

голова к голове, в разговоре вечно подхватывают слова одна другой. Ведь это по их непонятному велению Омар-Хайам лишился общения с людьми, стал узником Нишапура. Единение матушек подчеркнуло его собственную обособленность. Среди множества вещей он жил как в пустыне.

Немалые жертвы принесены за двенадцать лет. Поначалу сестрам удавалось сохранить престижные традиции (единственное, что оставил им отец) благодаря положению в обществе, где еще помнили отца, да собственной непомерной гордыне (из-за которой Чхунни, Муни и Бунни даже отвергли Бога). Каждое утро сестры просыпались минута в минуту, тщательно чистили зубы эвкалиптовыми палочками (пятьдесят раз снизу вверх, пятьдесят — сверху вниз и пятьдесят — слева направо и справа налево), обряжались в одинаковые платья, умащивали и причесывали друг дружку, собирали черные вьющиеся волосы в пучок, вплетали белые цветы. Обращались они меж собой и со слугами неизменно с почтением, на «вы». Строгие манеры, неукоснительное соблюдение заповедей домашнего уклада — все это подчеркивало праведность любого деяния сестер, в частности (правильнее сказать — в первую голову) совершенно неправедного появления на свет Омар-Хайама. Однако и их твердокаменные устои дали трещину.

В тот день, когда Омар-Хайаму суждено было уехать в большой город, старшая из матушек открыла ему тайну, назвав день, с которого покатилась к закату жизнь трех сестер.

— До чего ж нам не хотелось отнимать тебя от груди!— призналась она.— Теперь-то ты знаешь, что кормить грудью шестилетнего мальчика не принято. И когда тебе пошел седьмой годик, мы решили отказаться от величайшего из благ. И после все переменилось, жизнь стала терять смысл.

Прошло еще шесть лет. Груди у матушек завяли, упругость телес и стать пропали, а с ними и почти вся привлекательность. Кожа сделалась дряблой, волосы спутались, угас интерес к разносолам. Слуги совсем отбились от рук. А сестры дружно, так сказать в ногу, двигались к закату, сохраняя по-прежнему полное единообразие.

Учтите, ведь ни одна не получила никакого образования, их обучили разве что светским манерам. А вот их сын к тому времени, когда у него стал ломаться голос, проявил себя вундеркиндом-самоучкой. Пытался он приобщить к свету знаний и матушек; но стоило ему с необычайной ловкостью доказать теорему из евклидовой геометрии или, блистая красноречием, высказаться о притче про пещеру из «Государства» Платона, матушки дружно махали руками, отметая чужеземную мудрость.

— Это английская заумь — и больше ничего! — выносила приговор мама Чхунни, и сестры согласно кивали.

— Неужто кто способен понять этих сумасбродов? — вопрошала средняя матушка Муни, но по тону чувствовалось, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит.— Ведь они даже читают слева направо.

Узколобое чванство матушек еще больше укрепило Омар-Хайама во мнении (пока слабо и невнятно заявлявшем о себе), что он и впрямь на обочине жизни. Все его дарования, которые он пытался раскрыть перед матушками, адресаты отправляли обратно, так сказать в нераспечатанном виде. И сколько бы умных книг он ни прочитал, матушкино неприятие очень мешало. Как терзался он, чувствуя себя во чреве какого-то облака, сквозь которое лишь изредка проглядывает недоступное небо. Не важно, что нашептывал он легковерной старушке Хашмат! Для него самого розовое облако — утеха плохая.

Итак, Омар-Хайам Шакиль вступает в тринадцатый год жизни. Он толст, предмет его мужской (уже!) гордости спрятался в складках так

и не обрезанной кожицы. Матушки все больше и больше утрачивают смысл жизни, сын, наоборот, только начинает его обретать, в нем просыпается самец-завоеватель, особь, ранее чуждая ему, как и любому тихоне-толстуну. Причин тому я вижу три (мимоходом я уже упоминал о них). Первая: явление четырнадцатилетней Фарах в круглом окошке телескопа. Второе: он стал стесняться своего ломающегося голоса — в любую минуту мог пустить петуха, а к горлу подкатывал омерзительный комок и наглухо закупоривал горло. И уж никак не след забывать о третьей причине: об извечных, овеянных славой поколений (а для кого и позором) сложных биохимических преобразованиях в мальчишечьем организме на пороге зрелости. Матушки и не подозревали, как хитро переплелись в их дитяти темные силы, иначе не совершили бы роковой ошибки, не спросили Омар-Хайама, какой подарок он хочет.

— Все равно не подарите, чего ж спрашивать! — ошарашил он их. Матушки дружно ахнули, воздели руки к небу, потом одна заслонила глаза, другая — уши, третья — уста, дабы не видеть, не слышать и не произносить греховного.

Мама Чхунни (не отнимая рук от ушей) воскликнула:

— Как он может так говорить?! Как у него язык поворачивается?!

Средняя мама, Муни, подглядывая сквозь прижатые к глазам пальцы, трагически бросила:

— Не иначе, кто-то обидел нашего ангелочка!

А крошка Бунни все же отняла руки от уст и изрекла совсем-совсем негреховное:

— Говори! Все подарим! Все, что только есть на белом свете!

Тут он и рыкнул:

— Выпустите меня из этого страшного дома! — И уже спокойнее вонзил следующую фразу в бездыханно повисшую после его слов тишину:— А еще скажите, как звали отца.

— Подумать только! О чем мальчик говорит! — возопила средненькая Муни, и сестры тут же вовлекли ее в тесный кружок; они встали, обняв друг друга за талию, являя прямо-таки непристойнейший образец единства, столь ненавистного мальчику.

Быстрый их шепоток прерывался только вскликами-всхлипами, вроде: «А разве я не предупреждала?!» или «Почему ж мне эту кашу расхлебывать!»

Но перемены, что называется, налицо. Из тесного кружка доносятся споры! Впервые за двенадцать лет сыновняя просьба расколола единые ряды матушек — они спорят! А в споре мнения притираются со скрипом, с трудом. И так непросто вновь обрести незыблемое единение младых лет.

Но вот они выбираются из руин порушенного единства и силятся обмануть и сына, и самих себя — дескать, ничего особенного не произошло. Они-таки пришли к единому мнению, но чего стоило им теперь это уже лицемерное единство! Ведь мальчика не обмануть!

Первой берет слово крошка Бунни:

— Что ж, твои желания справедливы. По крайней мере одно мы выполним!

Мальчик вне себя от счастья, а матушки в ужасе. Омар задыхается, в горле у него клокочет.

— Какоекакоекакое?— шепчет он, не в силах перевести дух.

Эстафета переходит к Муни.

— Мы закажем тебе ранец, его доставят на подъемнике,— важно начала она.— Ты пойдешь в школу. Но не очень-то радуйся. Не успеешь из дома выйти, тебе прохода не дадут, начнут обзывать, насмехаться — все равно что ножом колоть, и пребольно.— Муни, самая ярая противница его освобождения, режет словом ровно клинком.

Завершает старшая матушка:

— Смотри, на улице никого не обижай. Мы все равно узнаем, как

бы ни скрывал. Отвечать на оскорбления — значит унижаться, поддаваться запретному чувству — стыду!

— То есть терять свое достоинство,— подхватывает средняя матушка.

СТЫД. Написать бы мне это слово на родном, а не на чужом языке, испорченном ложными понятиями и мусором былых эпох, о которых нынешние носители языка вспоминают без угрызений совести. Но я, увы, вынужден писать на английском и потому без конца уточнять, дополнять и переиначивать написанное.

ШАРАМ — вот нужное мне слово! Разве убогенький СТЫД передаст полностью его значения! Три буквы — шин, ре, мим (написанные, разумеется, справа налево)— да еще черточки-забар для обозначения кратких гласных. Вроде маленькое слово, а значений и оттенков — на целые тома. Не только от стыда отвращали матушки Омар-Хайама, но и от нерешительности, растерянности, застенчивости, самоедства, безысходности и от многих еще чувств, которым в английском языке и названия-то нет. Как бы стремглав и безоглядно ни бежал человек с родины, без багажа (хотя бы ручного) не обойтись. Вот и Омар-Хайам (речь идет все-таки о нем): возможно ли, чтобы запрет, наложенный матушками на стыд (то бишь на шарам) еще в детстве, перестал действовать на нашего героя в зрелые годы, много после его бегства из зоны матушкиного влияния?

Невозможно, ответит читатель.

А что суть противоположность стыда? Что останется, если, подходя арифметически, вычесть шарам из нашей жизни? Останется, очевидно, бесстыдство.

Из-за унаследованной гордыни и чересчур уж особенного детства Омар-Хайам Шакиль, дожив до двенадцати лет, так и не познал чувства, на которое матушки наложили суровый запрет.

— Какой он, этот стыд? — недоумевал он, и матушки пускались в объяснения.

— Лицо краснеет, а сердце бьется часто-часто, будто дрожит,— пугала Чхунни.

— Бывает и наоборот,— вставляла средняя матушка.

С каждым годом все отчетливее проступали различия сестер. Они уже спорили по пустякам (и это настораживало), вроде того, чья очередь писать заказ и отправлять его с подъемником, или: пить им полуденный чай в гостиной или в холле у лестницы.

Отпустили они сына в солнечный просторный город, и словно пелена спала у них с глаз. Ведь они отказывали ему в праве жить, набираться опыта. В тот день, когда их детище впервые показалось на людях, трех сестер наконец-то поразили стрелы запретного шарама. Но распри меж матушками кончились лишь тогда, когда Омар во второй раз покинул дом. А окончательно единство восстановилось, когда они решили завести второго ребенка...

Нужно рассказать и еще кое о чем, еще более удивительном. А именно: хотя бунтарское желание Омар-Хайама и порушило единство матушек, но столь долго они прожили вместе, что напрочь потеряли каждая свою суть и, даже обособившись, не обрели вновь своих былых черт и привычек. Все-то у них перемешалось: у младшенькой Бунни у первой появились седые волосы, а в поведении проглянула царственная величавость, что более пристало старшей в семье; старшая, Чхунни, похоже, совсем потерялась и растерялась, породнившись с сомнениями и колебаниями; а Муни вдруг принялась с наигранной злобой язвить и разить всех и вся, что испокон веков считалось привилегией младшего ребенка в семье (увы, младшие дети вы-

растают, а привилегии сохраняют на всю жизнь). Путаница коснулась не только душ, но и тел, обратив сестер то ли в кентавров, то ли в русалок. И свидетельствовала эта путаница об одном: даже отделившись друг от друга, они по-прежнему составляли одно целое.

Всякий бы сбежал от таких матушек. Много позже Омар-Хайам вспоминал о детстве, как влюбленный — о давно покинувшей его девушке: воспоминания сильны, но былой страсти нет. Так пылкое сердце цепко удерживает память в своем узилище. Только сердце у Омара полнилось не любовью, а ненавистью. И вместо пыла — лед. Его великий тезка питал вдохновение любовью, а наш герой — желчью. Что и говорить, нечем похвастать.

Нетрудно убедиться, что сызмальства в Омар-Хайаме взрастало ярко выраженное женоненавистничество. И все его последующие отношения с женщинами зижделись на стремлении отомстить его недоброй памяти воспитательницам. В защиту Омар-Хайама скажу: всю жизнь, чем бы ни приходилось ему заниматься, он не забывал о сыновнем долге и исправно оплачивал все расходы матушек. Даже ростовщик Пройдоха перестал наведываться к подъемнику. Это ли не свидетельство омаровой любви, какой-никакой, а любви... Впрочем, пока Омар еще маленький мальчик; подъемник умельца Якуба только доставил новый ранец; вот юный бунтарь надевает его, входит в подъемник, и ранец проделывает обратный путь — на землю.

На двенадцатый день рождения Омар-Хайаму подарили не торт, а свободу. А в ранце и тетради с голубыми линейками, и грифельная доска, и досточка деревянная — на ней можно писать мелом, а потом стирать; несколько заточенных тростниковых палочек — плести хитроумную вязь родной письменности; мелки, карандаши, деревянная линейка, готовальня с транспортиром и циркулем, компас; а еще маленькая алюминиевая коробочка — для препарирования лягушек. Итак, Омар-Хайам покинул матушек, в ранце у него был целый арсенал орудий познания. Матушки помахали ему на прощание как и прежде — все разом!

Не забыть Омар-Хайаму, как, выбравшись из подъемника, ступил он на пыльный «ничейный пустырь», окружавший его детскую обитель, отторгнутую как военным поселением, так и городом. Не забыть ему и кучку зевак, и диковинную гирлянду в руках у одной из женщин.

Когда слуга принес жене лучшего в К. кожевника заказ от трех сестер изготовить школьный ранец (слуга наведывался к подъемнику дважды в месяц, согласно желанию сестер), Зинат Кабули тут же бросилась к дому своей лучшей подруги Фариды, вдовы Якуба-белуджа, жившей с братом Билалом. Все трое более двенадцати лет свято верили, что смерть Якуба-белуджа на глазах у всей улицы прямо связана с сестрами Шакиль, и сейчас дождаться не могли, когда дитя преступной связи затворниц предстанет перед всем честным народом. И вот они пришли к дому сестер Шакиль и принялись терпеливо ждать. Зинат Кабули притащила из лавки целый мешок старых, полусгнивших башмаков, сандалий, чувяк — все равно за них никто и гроша ломаного не даст. Вся эта разномастная обувка, связанная в гирлянду, дожидалась своего часа: нет ничего позорнее, когда человеку надевают этакую башмачную гирлянду.

— Собственными руками наброшу ее мальцу на шею!— клялась подруге Зинат.— Вот увидишь!

Целую неделю пришлось дежурить Фариде, Зинат и Билалу, и, конечно, они привлекли всеобщее внимание. Так что у подъемника Омар-Хайама встретили и другие насмешники: оборвыши-мальчишки, безработные чиновники, прачки, не очень-то спешившие к мосткам на реке. Был там местный почтальон Мухаммад Ибадалла. На лбу

у него красовалась шишка — гатта — от чрезмерного усердия в молитвах. По меньшей мере пять раз на дню расстилал он коврик и отбивал земные поклоны, случалось (по настроению), молился и шестой раз. На работу его пристроил один бородатый змей в человечьем обличье, пустив в ход свои злокозненные чары. Звали змея Дауд, был он мауланой, то есть ученым-богословом, но мнил себя святым и, разъезжая по городу на мотороллере, подаренном сахибами-ангрезами, стращал жителей проклятием божиим. Сейчас он тоже оказался у дома сестер Шакиль. Почтальона Ибадаллу привел сюда праведный гнев: почему это сестры послали письмо директору школы в гарнизонном городке не по почте! Вместо этого гордячки сунули его в конверт (вместе с чаевыми) цветочнице Азре. Ибадалла давно ухаживал за девушкой, но та лишь высмеивала его:

— На что мне жених, у которого весь день задница выше головы!

Разумеется, опрометчивое решение сестер больно задело самолюбие Ибадаллы и подорвало устои учреждения, в котором он служил. А главное, сестры Шакиль еще раз изобличили себя безбожницами, стакнувшись с Азрой, этой бесстыдницей, позволившей издеваться над святой молитвой. Не успел Омар-Хайам выбраться из подъемника, как почтальон зычно выкрикнул:

— Смотрите! Се дьявольское семя!

Однако потом произошел немалый конфуз. Ибадалла, снедаемый злобой на Азру, заговорил первым, чем вызвал неудовольствие своего духовного наставника. (Потеряв при этом святейшее покровительство, Ибадалла потерял и возможность продвинуться по службе и с той поры еще пуще возненавидел сестер Шакиль.) Несомненно, святой старец считал своим исконным правом лично заклеймить пороки, воплощенные в несчастном, до поры созревшем толстуне. И, пытаясь перехватить инициативу, он рухнул перед мальчиком на колени, неистово боднул раз-другой пыльную дорогу и возопил:

— О, Боже! Простри свою карающую десницу! Да поразят твои огненные стрелы это исчадие ада! — Ну и дальше в том же духе. Но столь яркая демонстрация пришлась совсем не по душе троим изначальным дежурным.

— В конце концов, это мой муж поплатился жизнью ради подъемника,— прошипела на ухо подруге Фарида.— Так чего ж старик-то надрывается? Чего вперед меня лезет?

Зато братца Билала удержать никому и ничему не под силу. Он шагнул вперед и заголосил так же пронзительно, как и его легендарный тезка, черный Билал, муэдзин самого Пророка.

— Эй ты, плоть бесчестья! Благодари судьбу, что я тебя не пришиб, не раздавил, как мокрицу! — А позади разноголосое эхо вторило:

...дьявольское семя...
...огненные стрелы...
...жизнью поплатился...
...как мокрицу...

Ибадалла и трое бдевших все ближе подходили к Омару, а тот стоял, окаменев, словно мангуста, завороженная коброй. А вокруг после двенадцатилетней спячки пробуждались слухи и сплетни. Вот Билал не выдержал, рванулся к мальчику и швырнул в него башмачную гирлянду. Как раз перед этим Дауд в семнадцатый раз пал ниц и поднимался, чтобы вознести к небу еще один вопль. Невольно тщедушный старик оказался меж Билалом и Омар-Хайамом. Никто и глазом моргнуть не успел, а злосчастная гирлянда уже висела на совершенно безвинной шее святого.

Омар-Хайам захихикал — такое случается и с перепугу. Мальчишки смеялись вовсю. Даже вдову обуял смех, она как могла сдерживалась, но смех просочился наружу вместе со слезами на глазах.

В ту пору люди не очень-то жаловали слуг божьих. Это теперь им будто бы воздается по заслугам, так нас стараются уверить.

Маулана Дауд поднялся, он готов был в клочья разорвать обидчика. Однако быстро смекнул, что с великаном Билалом ему тягаться бессмысленно, и обратил свой гнев на Омар-Хайама, даже потянулся к нему скрюченными, цепкими, как клешни, руками... Но тут мальчика ждало спасение. Сквозь толпу протолкался мужчина, оказалось, что это учитель, господин Эдуарду Родригеш. Как было уговорено, он приехал за новым учеником. А за его спиной лучилось ясное солнышко омаровой жизни, и наш герой мигом забыл, каких бед он счастливо избежал.

— Познакомься, это Фарах,— представил девочку учитель.— Она на два года старше тебя.

Солнышко глянуло сперва на Омара, потом на старика с гирляндой на шее — он так разгневался, что забыл ее снять,— и, запрокинув голову, захохотало.

— Боже мой! Знаешь, золотце,— обратилась она к Омару (простим ей упоминание имени Всевышнего всуе),— сидел бы ты дома! У нас в городе и без тебя дураков хватает!

Глава третья.
Тает лед

Школа военного городка, манящая прохладой и белизной, точно холодильник, стояла посреди нестерпимо зеленой лужайки. Пышно зеленели и деревья в школьном саду. Сахибы-ангрезы не жалели скудных запасов воды в городке, садовники целыми днями поливали из шлангов газоны и деревья. Напрашивался вывод: случись, засохнут и трава, и бугенвиллея, и тамаринд, и хлебные деревья окрест, странные бледнокожие существа из промозглой северной страны тоже вымрут в одночасье. В школе же взращивались цветы жизни: белые и желтые, и трехлетние малыши, и девятнадцатилетние детины. Но среди ребятишек от восьми лет и старше белых почти не сыскать, а выпускники, все как на подбор, оказывались смуглолицыми. Куда ж девались белокожие детишки? Может, их прибирала Костлявая? Или они пропадали без вести? Или враз кожа у всех темнела от внезапного избытка меланина? Ни то, ни другое, ни третье. Чтобы докопаться до истины, придется провести глубокое исследование: перелистать регистрационные книги пароходных компаний да дневники ветхозаветных старушек в далеком краю, который колонизаторы-англичане неизменно величают родиной-матерью — на самом же деле это родина всевозможных теток, кузин и прочей родни женского пола в глубоком девичестве. К ним очень удобно отсылать своих чад, дабы уберечь от вредоносного восточного воспитания... Однако такое исследование автору не по плечу, ему остается лишь побыстрее отвести взор от докучливых вопросов.

Школа есть школа. Всякий знает ее быт и нравы. Омар-Хайама ожидала участь любого толстуна: над ним насмехались, обстреливали катышками напитанной чернилами промокашки, придумывали прозвища, изредка колотили — в общем, ничего примечательного. Но скоро обнаружилось, что Омар-Хайам ничем не отвечает на колкости относительно своего необычного появления на свет, и ребята поутихли. Лишь иногда на школьном дворе ему перепадал стишок-дразнилка. И такое внимание вполне устраивало Омар-Хайама. Стыд у мальчика так и не проснулся, зато вновь пробудилась тяга к уединению. Исчезая из поля зрения сотоварищей, он радовался, чувствовал себя невидимкой. Оказавшись на обочине школьной жизни, он принялся наблюдать однокашников. И тихо ликовал: на его глазах происходили взлеты и падения кумиров, кто-то из зануд-зубрил проваливался на

экзамене. Но то были зрительские радости. Однажды, стоя в тенистом уголке школьного двора, он увидел, как за кустами вовсю милуются парень с девушкой из старшего класса. Непонятное довольство теплой волной накатило на нашего героя, и он решил впредь выискивать похожие объекты для наблюдения. Новое занятие целиком поглотило его. Шло время. По вечерам Омар-Хайаму уже разрешалось гулять и вне школьного двора. Мальчик набирался опыта и мастерства в любимом деле: сквозь неплотные бамбуковые шторы следил он, как совокупляются почтальон Ибадалла и вдова ремесленника, тот же Ибадалла — с Зинат Кабули, закадычной подругой вдовы (правда, уже в другом месте). Не удивился он и трагической развязке — ведь для него тайное давно стало явным. Однажды в овраге сошлись почтальон, кожевник да крикливый Билал и до смерти истыкали друг друга ножами. Удивился он другому (да и то по молодости): Зинат и Фарида, вроде бы заклятые врагини-соперницы, вдруг сошлись и зажили вместе, не ведая до конца дней ни ссор, ни мужской любви.

Раньше Омар-Хайам наблюдал жизнь в телескоп, теперь она предстала крупным планом. Не побоимся назвать нашего героя вуайером, ведь еще Фарах Заратуштра укоряла его за страсть к подглядыванию (тогда речь шла о телескопе). Обличив, таким образом, Омар-Хайама, мы должны признать, что он ни разу не был пойман за столь неблаговидным занятием, не в пример одному удальцу из Агры. Тот, если верить легенде, одолел высоченную стену, чтобы посмотреть, как строят Тадж-Махал, за что и был ослеплен. Зато наш Омар-Хайам смотрел (то бишь подсматривал) в оба, и взору его явилась неисчерпаемо богатая и замысловатая вязь человеческой жизни. Он познал горькую радость — жить чужими чувствами.

Но подстерегало его и одно разочарование: тайна, оберегаемая матушками двенадцать лет, открылась в школе за двенадцать минут. Ребята рассказали ему и о легендарном пиршестве в доме сестер Шакиль, и о беззастенчивом поведении сестер, в упор разглядывавших офицеров-усачей, и о том, чем кончился пир... Послушный материнским наказам, Омар-Хайам никогда не затевал драк, даже после столь обидных россказней. На нем почивала благодать высокой морали, и колкости его не задевали. Но с той поры он начал присматриваться к господам-ангрезам, выискивая сходные со своими черты лица, выражение глаз. Вдруг кто выдаст себя случайным взглядом или жестом? И обнаружится доселе неведомый родитель? Но старания Омара оказались тщетны. Может, отец давно умер или уехал и живет себе где-нибудь на берегу моря, и у ног его плещут волны щемящих душу воспоминаний о славных днях, оставшихся далеко за горизонтом. А пальцы теребят реликвии тех лет: охотничий рог слоновой кости, кривой нож, фотографию (охота на тигров с махараджей). Бережно хранит он их на полках своей старческой памяти, вслушиваясь в замирающее эхо былого, будто в шум далекого прибоя, который дарит морская раковина... впрочем, все это домыслы. Отчаявшись опознать отца истинного, мальчик решил выбрать наиболее подходящего для этой роли из, так сказать, имеющихся в наличии. И без колебаний и сомнений отдал пальму первенства господину Эдуарду Родригешу, учителю, недавно обосновавшемуся в К. Несколько лет назад он приехал в городок на автобусе: белоснежный костюм, белая щегольская шляпа, пустая птичья клетка в руке, беззаботная походка.

И еще одно — последнее — отступление: об омаровой страсти подглядывать. Невольно она передалась и всем трем матушкам. К той поре ослабла их железная триединая воля и, не в силах удержаться, они выспрашивали у Омар-Хайама (когда тот, случалось, оставлял мирскую суету), что сейчас носят женщины, о чем толкуют в городе, не вспоминают ли о них. Изредка они прятали лица в шаль, видно, мало-помалу возвращалось то запретное, давно отринутое чувство, так мешавшее их затворничеству. Итак, матушки подглядывали

за жизнью не ахти какими надежными сыновними глазами — ведь о многом он, естественно, умалчивал. А результат такого опосредованного вуайерства очевиден и неизбежен: моральная сила матушек стала слабеть. Не с той ли поры начали они помышлять о «повторении пройденного»?

Господин Эдуарду Родригеш походил на карандаш из своей огромной коллекции — тонкий, востроликий. Никто не знал, сколько ему лет. При разном освещении лицо менялось: то он походил на шустроглазого мальчишку, то на изрядно пожившего горемыку, с головой окунувшегося в прошлое. Какие обстоятельства вынудили его приехать с юга, оставалось загадкой. Прямо с автобусной станции эта таинственная личность проследовала в гарнизонную школу и выговорила-таки себе место! В тот же день!

— Чтобы нести слово Господне, нужна незаурядность,— вот и все, что он счел необходимым рассказать о себе.

Он снял самую бедную комнату у самого бедного сахиба-ангреза, повесил на стену распятие, наклеил яркие картинки из календарей: морской пляж, пальмы, немыслимо багровый закат, католический собор в стиле барокко, увитый плющом, одномачтовые парусники-дхау в океанской бухте. Из учеников лишь Омар-Хайаму и Фарах Заратуштре позволялось переступать порог учительского святилища. Никаких иных пожитков в комнате ребята сначала не обнаружили. Видимо, Эдуарду надежно спрятал прошлое, дабы оно не поблекло от нещадного солнца пустыни. Пустынность же комнаты прямо-таки слепила Омар-Хайама. И, лишь придя к учителю в третий раз, заметил он на сиротливом посудном ящике дешевую птичью клетку. Позолота давно облупилась; как привез учитель клетку пустой, так пустой она и осталась.

— Он что, приехал сюда птиц ловить?— глумливо прошептала Фарах.— Вот глупый!

И Эдуарду и Омар всяк по-своему были в городе чужаками, потому и сошлись — рыбак рыбака видит издалека. Были и другие силы, сближавшие обоих, их суть самым подобающим образом выразит цитата из первой главы: оба они «увязались за Фарах».

Не укрылось от городской молвы и то, что Родригеш — в белой шляпе и с пустой клеткой в руке — объявился в К. через два месяца после того, как туда был прислан некий таможенный чиновник Заратуштра (без жены, зато с восьмилетней дочкой). Досужие погонщики, ремесленники и моторизованные святые быстро смекнули, что прежде Заратуштра работал как раз там, где росли кокосовые пальмы и плющ увивал стены собора — оттуда-то и прибыл человек в белой шляпе и с португальским именем. И в городе принялись судачить.

— А где жена таможенника?

— Развелся он с ней? Домой, к ее матери отослал? Убил в порыве ревности?

— Взгляните на Фарах! Ни капли на отца не похожа!

Правда, тем же злым языкам пришлось согласиться, что и на учителя девочка не очень-то смахивала. А вскоре к неудовольствию кумушек тема эта и вовсе захирела. Оказалось, что Родригеш и Заратуштра в прекрасных отношениях.

Почему ж таможенника послали работать к черту на кулички?

У Фарах нашелся простой ответ:

— Отец у меня — мечтатель. Сон и явь у него перемешались. Он спит и видит эту дурацкую землю предков, хотя мы там никогда и не были, а здесь, на иранской границе, к ней все-таки ближе. Не поверите, отец сам попросил о переводе сюда.

Слух — что подземный ручеек, бежит незаметно, пока не вырвется наружу, дай только время. Вскорости добропорядочные горожане получили постыднейшее и умопомрачительнейшее объяснение всем домыслам:

— Да ведь Эдуарду и Фарах — любовники!

— Господи! Взрослый мужчина с дитем связался!

— Невероятно! Невероятно! Несколько лет назад такой же случай был. Видно, все христиане — прелюбодеи. Ишь, на край света за девчонкой поперся! Одному Богу известно, чем она его завлекла. Женщина всегда сумеет намекнуть, нравится ей мужчина или нет. Это — в крови, и возраст тут ни при чем.

Ни Эдуарду, ни Фарах не дали и малейшего повода для страшных подозрений. Верно, он долго не женился, ждал, пока вырастет и созреет Фарах. Но также верно, что Фарах прозвали «льдиной»: своей невероятной холодностью она студила пыл многочисленных поклонников, пал ее жертвой и Эдуарду Родригеш.

— Ну конечно, они ловко притворяются! На людях и виду не подают!— не унимались злые языки. То-то ликовали они, когда дальнейшие события подтвердили их правоту.

А Омар-Хайам, сколь ни любил он подсматривать и подслушивать, оставался глух ко всем сплетням — любовь глуха. Но слухи все-таки отравили ему кровь, занозили сердце. В конце концов, сам он оказался причастен к исключительно христианскому греху — прелюбодеянию, в котором закоснел учитель Родригеш. И это несмотря на то, что будущая законная половина Омар-Хайама — Суфия Зинобия — появится в романе еще не скоро.

Впрочем, не слишком ли долго пробыл я в обществе сплетен и слухов? Не пора ли вернуться к действительности: вот Эдуарду Родригеш в сопровождении Фарах и городской молвы приезжает за Омар-Хайамом, положив начало его школьной жизни и еще раз доказав, что и поныне семейство Шакиль весьма уважаемо в городе. Вскорости новый ученик проявил поразительные способности, и Эдуарду предложил трем матушкам свои услуги в качестве репетитора, дабы развить задатки мальчика. И в этой связи попрошу отметить: первое — матушки согласились; второе — до той поры Эдуарду занимался лишь с Фарах, причем не брал с ее отца платы, обратив свой дар на бескорыстное служение людям; третье — с течением лет неразлучная троица (Омар, Эдуарду и Фарах) примелькалась в городке.

У Родригеша была способность выделять в речи важные слова, он будто прописывал их с заглавной буквы. Так вот он и «прописал» Омару карьеру на медицинском поприще.

— Чтобы Преуспеть в жизни,— разглагольствовал он,— нужно найти Стоящее дело! А какое дело стоящее? То, что дороже Стоит! И дело это — врачевать людей! Значит, консультировать, ставить диагноз, прописывать лекарства. Учись на врача. У тебя к этому способности. Я Вижу.

А увидел Эдуарду в Омаре иное (как мне кажется): его суть стороннего наблюдателя. Ибо что такое врач, как не узаконенный вуайер? Посторонний человек. Но ему мы позволяем щупать такие места, какие другим и тронуть не дадим. Ему мы позволяем глазеть на то, что обычно прячем. Ему позволяем присутствовать при сокровеннейших событиях: при рождении и смерти. Вроде бы и незаметен и безымянен врач, и в то же время — на самом виду, на переднем плане, особенно когда нам лихо. Да, учителю Эдуарду не отказать в дальновидности, с Омар-Хайамом он не дал промашки. Впрочем, Омар-Хайам и не помышлял ослушаться учителя — сам выбрал его в отцы. Так вот и строится наша жизнь.

А еще помогают ее строить потрепанные книги, обнаруженные дома, и еще — первые чувства, которые так долго приходится таить... В шестнадцать лет Омар-Хайама поглотил водоворот чувств. К радо-

сти примешивалась робость — Фарах Заратуштра (она же — Огнепоклонница, она же Конец Света) вдруг пригласила его вместе поехать к отцу на границу.

«...и вот он уже себя не помнит, хотя стоит на твердой земле».

Кое-что из того, что случилось на границе, мы уже знаем: опустилось облако, и Омар-Хайам, памятуя о ночных кошмарах, вообразил, что оказался на самом краю света и вот-вот свалится в бездонную пропасть. Возможно, обморок и подсказал ему дальнейшие действия в тот день.

Но сперва — о главном. Как прозвучало приглашение Фарах? Грубо, заносчиво, почти наплевательски (дескать, не поедешь — плакать не стану). Зачем тогда она вообще пригласила его? По наущению Эдуарду:

— Будь подобрее к этому мальчику. Видишь, как ему одиноко. Вы оба способные. Вам и держаться вместе.

Омар, правда, превосходил в способностях свою ненаглядную и, несмотря на разницу в два года, быстро догнал ее, и учился уже в одном с ней классе. Быстро ли Омар согласился? Быстро — не то слово. Мгновенно!

Жила Фарах в семье местного механика (тоже из огнепоклонников). Отец специально свел с ними знакомство, чтобы было куда определить дочку. Сам механик, некий Джамшид, был личностью до того непримечательной, что и описывать его не стоит. Он-то и отвез в назначенный выходной детишек на границу, воспользовавшись машиной, которую ему дали в ремонт. Чем ближе к границе, тем радостнее Фарах и печальнее — Омар...

...Чем дальше, тем сильнее поднимался у него в душе страх перед краем света. В открытом джипе Омар сидел позади Фарах, ее черные волосы развевались по ветру, точно черное пламя перед глазами. Ей было весело катить по дороге, вилявшей меж гор, по перевалу, откуда за машиной следили невидимые глазу недоверчивые кочевники-горцы. Фарах обрадовалась, что на границе пустынно, хотя на словах насмехалась над отцом за то, что тот забрался в глухомань. Потом запела, обнаружив очень приятный голосок.

Что произошло на границе, известно: опустилось облако, с Омаром случился обморок, на лицо ему побрызгали водой, он пришел в себя — «а где это я?». Облако уплыло, и Омар-Хайам увидел, что граница — место весьма непримечательное: нет неприступных преград, нет полиции, колючей проволоки, слепящих прожекторов, красно-белых шлагбаумов. Ничего, кроме череды бетонных тумб, одна от другой — метрах в тридцати, в сухой, бесплодной земле. Маленькая будка таможенника, железнодорожная ветка — рельсы побурели от ржавчины,— одинокий товарный вагон под стать рельсам.

— Поезда сюда больше не ходят, из-за международной обстановки,— объяснила Фарах.

А благоденствие таможенника зависит от перевозок. Он вправе (и небезосновательно) конфисковать товар. Торговцы, догадываясь об «основаниях», идут на уступки, и, глядишь, вся семья таможенника в обновах. Да разве бросишь в него камень? Всякий знает, как мало платят бедняге. Итак, честная обоюдовыгодная договоренность.

Но теперь редко досматривают товары в кирпичном домике господина Заратуштры, средоточии его власти. Кочевники снуют через границу туда и обратно, прячась за валуны да бетонные тумбы в ночную пору. И кто знает, что они везут? Вот она, трагедия таможенника. Фарах как способной ученице платят стипендию, но и при этом отцу ох как нелегко дать дочке приличное образование. Он утешает себя:

дескать, не сегодня-завтра вновь откроют железную дорогу. Но и его надежду, похоже, тронула ржавчина. Персия — земля предков, земля великого Заратуштры: она совсем рядом, по ту сторону бетонных глыбин — этим тоже старается утешить себя таможенник, но в последнее время взгляд у него потух.

А Фарах хлопает в ладоши, бегает меж бесчисленных тумб.

— Здорово!— кричит она.— Местечко что надо!

Омар-Хайам, чтобы не омрачать подружкиного веселья, соглашается — местечко что надо! Отец лишь пожимает плечами и удаляется с водителем джипа в домик, предупредив ребят, чтоб не перегрелись.

Но, очевидно, они-таки перегрелись, иначе откуда бы у Омара взялась смелость признаться в любви. «Я смотрел на тебя в телескоп...» — и далее по тексту. Не стоит приводить его полностью, равно и грубый ответ Фарах.

— Почему, ну почему тебе не нужна моя любовь?— вопрошает отвергнутый.— Потому что я толстый, да?

— Ладно бы толстый,— отвечает его пассия.— Есть в тебе что-то противное.

— Противное?

— Да, только не спрашивай, что да где. Я и сама не знаю. Просто чую. Может, в характере, может, еще в чем.

И до вечера они не обмолвились ни словом, хотя Омар тенью следует за Фарах. К тумбам бечевкой там и сям привязаны зеркальные осколки, и Фарах, видя свое пусть и неполное отражение, загадочно улыбается. Омар-Хайаму ясно, что его ненаглядная уж очень себялюбива и горда, и обычным ухаживанием ничего не добиться. Фарах пуще всего нравится собственное отражение, никто другой ей не нужен. И в предвечерний час, то ли перегревшись на солнце, то ли ошалев от обморока, он вдруг спрашивает:

— А тебя когда-нибудь гипнотизировали?

И впервые за их знакомство Фарах Заратуштра дарит Омара заинтересованным взглядом.

Потом у нее начал расти живот. Потом ее вызвал разгневанный директор и выгнал из школы — ведь Фарах принесла бесчестье и позор. Потом ее выставил и отец, он вдруг решил, что таможенная каморка тесна для дочери с явно незаконным товаром. Потом свою железную, неукротимую волю явил Эдуарду Родригеш и, как ни брыкалась и ни противилась Фарах, повел ее к гарнизонному священнику и сочетался с ней (помимо ее воли) браком. Потом его уволили — ведь он перед всем белым светом признал свою причастность к делу постыдному, несовместимому с занимаемой должностью. Потом Фарах и Эдуарду наняли извозчика и отбыли на станцию, почти не обременив себя багажом (правда, пустую клетку Эдуарду все-таки захватил, хотя в конечном счете, так злословила молва, поймал не одну птичку, а две). Потом страсти улеглись, после непродолжительной, но яркой драмы, разыгравшейся на улицах городка.

И тщетно пытался Омар-Хайам оправдать себя, ведь всякий гипнотизер, прежде чем начать действовать, многократно повторяет слова сколь обязательные, столь и необходимые: «Ты исполнишь все, что я велю, но я не попрошу ничего противного твоей совести».

Значит, она хотела того же, что и я, рассуждал Омар, так в чем же моя вина? А раз хотела, то знала, к чему это может привести.

Он почти что утешил себя. Он почти что поверил, будто и впрямь учитель Эдуарду — отец ребенка (а почему бы и не поверить?!). Ведь если женщина позволяет все одному мужчине, она может позволить и другому. И все же его душевному покою мешал какой-то бесенок. То за завтраком вдруг схватит Омара трясучка, то ночью бросит в жар, а днем — в озноб, прямо на улице или в подъемнике вдруг

брызнут из глаз беспричинные слезы — точно бес, затаившийся внутри, внезапно принимался играть то одним, то другим омаровым органом — от горла до прямой кишки: мальчик то задыхался от удушья, то часами без толку просиживал на горшке. Это из-за беса по утрам руки и ноги наливались свинцом и не было сил подняться; это из-за беса подгибались колени и пересыхало в горле. И не бесовство ли привело подростка в дешевые винные лавки? Нетвердо шагая к дому, где поджидали разъяренные матушки, Омар-Хайам делился с товарищами по несчастью:

— Мне эта любовь помогла лучше понять матушек. От этой самой любви они прятались всю жизнь. И правильно делали, верно?— с последними словами его вытошнило, и вместе с желтой жижей он выблевал и свой стыд, а потом закончил речь, дожидаясь подъемника, меж тем как его собутыльники уже похрапывали прямо в придорожной пыли.— Вот и я так хочу. Подальше от всякой любви убежать.

Однажды вечером Омар-Хайам (уже восемнадцатилетний юноша, похожий на арбуз) пришел домой и объявил Чхунни, Муни и Бунни, что получил место и стипендию в лучшем медицинском колледже в Карачи. Сестры, чтобы скрыть горечь скорой разлуки, принялись суетливо отгораживаться от нее, выстроив баррикаду из самых ценных вещей, картин, украшений — они собрали их по всем необозримым комнатам. Наконец около их любимого дивана-качалки выросла целая пирамида.

— Стипендия — это замечательно,— изрекла младшая матушка.— Но и мы в состоянии кое-что дать нашему мальчику, раз он вступает в самостоятельную жизнь.

— Ишь, что еще за стипендию твои доктора придумали!— возмутилась Чхунни.— Будто нам нечем за твое образование заплатить! Пусть катятся подальше со своей милостыней! У твоих родных денег хватит!

— Честных денег!— подхватила Муни.

Так и не убедил Омар матушек, что зачисление в колледж со стипендией — большая честь и неразумно отказываться. Так и отправился он на станцию, набив карманы банкнотами от ростовщика. На шее у него висела гирлянда из ста одного цветка. Аромат только что сорванных цветов напрочь отбивает стародавнее, с тухлинкой, воспоминание о башмачной гирлянде, лишь чудом не оказавшейся на его собственной шее. Одурманенный цветочным ароматом, он забыл рассказать матушкам последнюю новость: таможенник Заратуштра совсем свихнулся у себя в пустыне — воистину пустыня, раз и поживиться нечем. Он взял за привычку залезать нагишом на тумбу, не замечая зеркальных осколков, в кровь ранивших ноги. Сиротливо воздев руки к солнцу, он заклинал светило спуститься на землю и опалить ее очищающим пламенем. Эту новость принесли на городской базар кочевники. По их мнению, так горячо и истово взывал он ко светилу, что, похоже, добьется своего — пора готовиться к концу света.

Последним, с кем разговаривал Омар-Хайам, покидая обитель стыда, оказался некий Чанд Мохаммад, позже он вспоминал:

— Когда я с этим толстяком заговорил, жара его еще не мучила, зато после разговора он прямо дымился.

Чанд Мохаммад был продавцом льда. Он подбежал к Омару в ту минуту, когда тот, все еще во власти бесовского наваждения (не отпускавшего со дня поездки на границу), втаскивал свое тучное тело в спальный вагон.

— Жаркий сегодня день, сахиб,— обратился к нему Чанд.— Без льда не обойдетесь.

Тяжело дыша, толстяк мрачно бросил:

— Проваливай! Может, найдешь дурака, который купит твою мороженую воду!

Но Чанд не сдавался.

— Сахиб, днем жаркий ветер подует. Не окажется у вас льда, чтоб ноги остудить. Кости расплавятся, и мозг вытечет.

Доводы убедительные, поэтому Омар-Хайам купил узкую жестяную ванночку в метр длиной, в треть метра глубиной с увесистой льдиной, присыпанной опилками и песком, дабы продлить ее короткий век. Продавец, пыхтя, втащил жестянку в вагон и шутливо заметил:

— В жизни всегда так: одна льдина в город возвращается, другая прочь едет.

Омар-Хайам расстегнул сандалии и поставил ноги в желоб — благодатная прохлада враз разлилась по телу. Настроение поднялось, он щедрой рукой отсчитал Чанду Мохаммаду деньги и с ленцой обронил:

— Что за чушь ты мелешь! Как льдина может в город возвратиться и не растаять? Ты, небось, про такой желоб с талой водой хотел сказать?

— Да нет, светлейший сахиб,— улыбнулся продавец, пряча деньги.— Это такая льдина — повсюду ездит, да не тает.

Румянец вмиг схлынул с пухлых щек. Толстые ноги вскинулись и замерли на полу. Омар-Хайам опасливо огляделся, будто предмет его страхов мог вот-вот оказаться рядом, и заговорил вдруг с такой злобой, что торговец в ужасе отшатнулся.

— Значит, приехала? И когда же? И ты смеешь издеваться?— Омар-Хайам ухватил несчастного за ветхую рубашку, и бедолаге ничего не оставалось, как рассказать все, что он знал. На этом же самом поезде несколько часов назад приехала в город госпожа Фарах Родригеш (в девичестве — Заратуштра). «Стыда у нее нет! Вернулась туда, где была опозорена! И сразу же к отцу на границу отправилась, а ведь он ее когда-то на улицу вышвырнул, как мусор на помойку! Представляете, сахиб!»

Вернулась Фарах и без мужа, и без дитя. Никто об их судьбе так и не узнал. Вспоминали, как Эдуарду пожертвовал всем ради ребенка, безнаказанно строили самые невероятные предположения: у Фарах случился выкидыш; она, вопреки воле мужа-католика, сделала аборт; младенца извели, оставив под палящим солнцем на раскаленном камне; задушили в колыбели; сдали в сиротский приют; наконец, оставили в подворотне. А молодоженов молва препровождала то на открыточные пляжи с пальмами, где они неистово предавались страсти, то в увитый плющом католический храм, где Фарах и Эдуарду занимались тем же прямо в проходе меж скамьями. Потом страсть иссякла, и Фарах дала мужу отставку. Или Эдуарду, устав от похотливых притязаний Фарах, сам дал отставку ей. Или они оба одновременно дали отставку друг другу. Впрочем, так ли важно, кто первый? Самое главное (как пугала молва), развратница снова в городе, так-что, люди добрые, держите сыновей под замком.

Гордячка Фарах и словом никого из горожан не удостоила, разве что лавочников, когда ходила за покупками. Лишь на склоне лет, зачастив в нелегальные винные погребки, она вспомнила об Омар-Хайаме, да и то потому, что его имя попало в газеты. Когда ей изредка все же приходилось появляться на базаре, она ни на кого не смотрела, лишь останавливалась перед всяким случайным зеркалом и с нескрываемой любовью созерцала свое отражение. Значит, совесть ее не мучила, рассудила молва. Не изменилось к ней отношение горожан и когда выяснилось, что она приехала ухаживать за спятившим отцом

да исполнять его работу, чтоб его не выгнали с таможни сахибы-англичане. Мало ли, чем эта парочка занимается: полоумный отец, щеголяющий нагишом, да дочь-шлюха. Самое место им в пустыне, чтоб люди их и не видели. Там лишь Бог да Дьявол им свидетели — их ничем не удивишь.

А Омар-Хайам, погрузив ноги в ванночку с тающим льдом, ехал навстречу своему будущему. Ему казалось, что сейчас он окончательно вырвался на волю. От приятной мысли захолонуло сердце, лед холодил ноги — тоже приятно. На губах Омар-Хайама заиграла улыбка, знойный ветер его не страшил.

Прошло два года, и он получил от матушек известие, что у него родился брат. Нарекли его Бабуром, в честь Великого Могола, который дошагал до Немыслимых гор, покоряя все и вся на пути. После этого в Нишапуре на долгие годы вновь воцарились счастье и единство. Трех сестер вновь сплотили материнские заботы, и вновь они стали неразличимы.

А Омар-Хайам, прочитав письмо, восхищенно присвистнул и высказался:

— Ишь, старые перечницы! И как их только угораздило!

Книга II.

Дуэлянты

Глава четвертая.

По другую сторону экрана

Этот рассказ имеет прямое отношение к Суфие Зинобии (старшей дочери генерала Резы Хайдара и его супруги Билькис); к событиям, связавшим ее отца с Искандером Хараппой (некогда премьер-министром, а ныне — покойником); к неожиданному ее браку с неким полнотелым врачом Омар-Хайамом Шакилем, одно время близко дружившим с уже упоминавшимся Иски Хараппой (чья шея обладала удивительным свойством: на ней никогда не оставалось ни синяков, ни царапин, не осталось даже следов висельной петли). Впрочем, точнее сказать, Суфия Зинобия имеет прямое отношение к этому рассказу (хотя и такое определение может увести от точности).

Чтобы подступиться к познанию человека, нужно знать о его (в данном случае — ее) семье. Этим путем я и последую. Начну с того, что объясню, почему с некоторых пор Билькис начала бояться знойного послеполуденного ветра.

Утром последнего в своей жизни дня ее отец — Махмуд Кемаль по прозвищу Ба́ба, одетый, как всегда, в переливчатый голубой, с красной искоркой, костюм, одобрительно осмотрел себя в вычурно изукрашенном зеркале, которое сам же и перетащил из фойе собственного кинотеатра — уж очень понравилась резная рама, с которой голенькие купидончики целили стрелы и дули в рожки. Махмуд обнял восемнадцатилетнюю дочь и сказал:

— Видишь, девочка моя, как шикарно одевается папа. Только так и подобает истинному властелину нашей славной Империи.

За столом Билькис принялась было наполнять отцову тарелку, но тот, притворно разгневавшись, пророкотал:

— Что за лакейские замашки! Дочерям императора не пристало подавать за столом!

Билькис прелестно потупилась, хотя краешком глаза наблюдала за отцом.

— Браво, Биллу! Ей-богу, отменно сыграно!

Невероятно, но, увы, очевидно: человек вроде Махмуда, верующий в Аллаха (то есть в Бога), подчас правил целым городом идолопоклонников, то есть безбожников, а местом действия можно избрать и любой индийский город, хоть Дели. И по сей день в городе полным-полно немых свидетелей великих владык: древние обсерватории, башни, воздвигнутые в честь давних побед, и, конечно, краснокаменная крепость Альгамбра (именуемая еще Красным фортом). Ей предстоит сыграть важную роль в рассказе. А еще удивительно, что многие высокие правители — из самых низких сословий. Впрочем, каждый школьник помнит, как и рабам доводилось быть императорами... однако империя, о которой сейчас идет речь, куда скромнее, и разговоры о владычестве — лишь семейная шутка. Оно простиралось у Махмуда лишь на кинотеатр «Империя» — убогий клоповник в старом городском квартале.

Махмуд не без гордости говаривал:

— Хороший кинотеатр всегда распознаешь по тому, как публика себя ведет. Вот, скажем, шикарный зал в новом районе: бархатные сиденья — ровно троны, в фойе зеркал — не счесть. Кондиционеры кругом. И публика там тише воды, ниже травы. И понятно. В такой-то роскоши они даже за свои (причем немалые) деньги и чихнуть боятся. То ли дело в Империи Махмуда: орут, свистят, топают. Тихо только когда с экрана модные песенки поют. И не забывай, дочка, мы — монархи не абсолютные. Случись, например, заартачатся полицейские и не станут выдворять даже самых отъявленных хулиганов? А ведь так свистят, что уши закладывает. Впрочем, что толку об этом говорить. Всяк по-своему эту свободу личности понимает.

Итак, Империя — самая что ни на есть заштатная. Но не для Махмуда. В ней — вся его жизнь. К своему владычеству он пришел из самых низов. Не поброди он (в самом начале карьеры) по смердящим кварталам с киноафишами на тележке, выкрикивая: «Смотрите на экранах!» и «Билеты на исходе!», не сидел бы он сейчас в директорском кабинете по соседству с кассой, позвякивая связкой ключей. Но и к их семейной шутке, увы, следует отнестись всерьез: и у отца, и у дочери в характере таилась некая прямолинейность, чувства юмора явно недоставало, оттого и росла Билькис, в грезах видя себя принцессой. Отблески этих грез не гасли и в уголках потупленных глаз.

— Будь я владычицей, все стало бы по-другому,— признавалась она простодушному лику в зеркальце после того, как отец уходил на работу.— Уж я бы порядок навела! Живо бы всех свистунов да крикунов утихомирила! Была б только моя воля!

Итак, в мыслях Билькис ставила себя рангом выше своего батюшки-императора. Вечер за вечером проводила она в кромешной тьме его Империи, внимательно приглядываясь к блистательным невзаправдашним принцессам, покорявшим шумливую публику танцами. А с потолка на них взирал написанный золотом средневековый рыцарь на коне, с вымпелом в руках. На вымпеле было начертано бессмысленное для Билькис слово «Эксельсьор». Одни грезы порождали другие, и девочка даже держаться начала с подобающим принцессе величием и надменностью, а насмешки уличных сорванцов, играющих в придорожных канавах, почитала за комплименты.

— Дорогу! Дорогу! — кричали, завидев гордо проплывающую мимо Билькис, мальчишки.— Эй, Ваше Величество, удостойте нас хоть взглядом! О, несравненная Кханси-ки-Рани!

Да, ее прозвали Кханси-ки-Рани, то есть Повелительница Ветров (причем самой разной природы), насылающая чих, кашель и болезни.

— Не обольщайся,— предостерегал отец,— сейчас все переменилось — смутные времена. И самое ласковое прозвище против тебя обернется.

Как раз в ту пору и произошел печально известный раздел страны (на́ тебе, Боже, что нам негоже), и неверные с радостью передали Аллаху клочок древней, побитой молью веков, земли — пустыни да топи в джунглях. Новая страна являла собой два ломтя суши, разделенных тысячью миль чужеземья. И это — одна страна! Невероятно! Однако умерим свой пыл и обратимся к страстям местных жителей, а страсти эти разгорелись не на шутку. Даже простой поход в кино представлял собой политическую акцию. Мусульмане — верующие в Бога единого, и индусы —поклонники божеств каменных, ходили в разные кинотеатры. Любители кино разделились гораздо раньше, чем их измученная древняя земля. Излишне говорить, что кинопроизводство находилось в руках язычников-индусов, они, как известно, вегетарианцы, они же сняли и самый нашумевший «вегетарианский» фильм. Небось, слышали? Занятная выдумка: скрывающийся под маской герой-одиночка скитается по берегам Ганга, избавляя коровьи стада от поработителя-человека, спасает священных парнокопытных от бойни. Идолопоклонники-индусы штурмовали кинотеатры. Истые мусульмане ответили тем, что с жадностью набросились на менее постные западные боевики, там коров забивали направо и налево и дюжие молодцы с удовольствием уплетали отбивные. Попеременно толпы распаленных кинофанатов совершали набеги на кинотеатры недругов— что ж, всяк по-своему с ума сходил в то время.

Махмуд же лишился своей Империи из-за одной-единственной оплошности, точнее, из-за неискоренимого недостатка в характере — желания всем угодить.

— Пора подняться выше всяких идиотских разногласий,— однажды утром объявил он своему отражению в зеркале и тем же днем заказал афишу двойной программы: на экране его кинотеатра один за другим пойдут самый модный боевик и нашумевший «вегетарианский» фильм. То есть Махмуд решил потрафить вкусам обеих сторон.

Начало показа ознаменовало конец его карьеры и во многом переменило смысл прозвища. Бабой Махмуда прозвали сорванцы-мальчишки: ведь он овдовел, когда дочке едва сровнялось два года, и ему пришлось заменить девочке мать. Теперь же прежде безобидное прозвище зазвучало пугающе унизительно: «размазня», «недотепа», «глупец».

— Что за постыдное слово! — сокрушенно вздыхал Махмуд, обращаясь к дочери за сочувствием.— Баба! Сколько самых тяжких оскорблений оно вмещает! Как бездонная помойка — такого слова более не сыскать!

А участь новой программы оказалась вот какой: и вегетарианцы, и мясоеды стали обходить Империю стороной. С неделю фильмы шли при пустом зале. Лишь облупленные стены, неторопливые вентиляторы под потолком да автоматы, торгующие сладостями, созерцали ряды привычно скрипучих кресел, которые столь же привычно пустовали, будь то сеанс в три тридцать, в шесть тридцать или в девять тридцать.

Даже в воскресное утро дверь-вертушка не сумела заманить ни единого зрителя.

— Да брось ты! Чего ради все затеял?! Или к рекламной тележке захотелось вернуться? — возмущалась Билькис.

Но Махмудом вдруг овладело несвойственное ему упрямство, и он заявил, что оставит эту программу и на вторую неделю! Скандал! От него ушли даже мальчишки, развозившие афиши. Кому охота рвать глотку, расхваливая столь сомнительный товар, или зазывать: «Имеются билеты! Спешите приобрести!»

Махмуд с дочерью жил в жалкой пристройке прямо за кинотеатром. «По другую сторону экрана»,— шутил он.

В тот день, когда померк белый свет, а потом занялся вновь, дочь императора, оставшись в доме лишь со слугой, вдруг прозрела: ясно

и отчетливо увиделось ей, что отец, движимый прихотливой логикой романтичной души, добровольно обрек себя на гибель, упорствуя в безумных замыслах. Комок подкатил к горлу Билькис, в ушах застучало, забило — точно ангел захлопал крыльями (более разумного объяснения она и потом не смогла придумать) — голову заломило. Стремглав выбежала она на улицу, задержавшись лишь на миг — набросить дупату, легкую зеленую накидку, без нее скромной девушке не пристало появляться на улице. Запыхавшись, она подбежала ко входу в кинотеатр, остановилась подле тяжелых дверей; за ними в пустом зале томился ее отец, смотрел фильм. Вот в эту-то минуту и опалил Билькис огненный вихрь светопреставления.

Стены отцовской Империи вдруг расперло, раздался звук — точно кашлянул огромный великан,— дохнуло таким жаром, что враз спалило девушке брови (впоследствии они так и не отросли), легкую накидку рвануло вихрем, и Билькис осталась на улице в чем мать родила. Но девушка даже не заметила этого, ведь на глазах у нее рушился мир, смертоносный вихрь унес с собой странный чуждый звук — то разорвалась бомба. А в воздухе перед опаленными глазами Билькис мелькали кресла, билетные книжки, опахала, останки отца — в угли и головни обращалось будущее.

— Ты себя убил! — что есть мочи, перекрывая отголоски взрыва, с укором крикнула Билькис.— Упрямился! Вот и получил!

Она повернулась и бросилась было домой, но тут заметила, что задняя стена кинотеатра обвалилась и на верхнем этаже ее жилища обосновался золотой рыцарь с вымпелом, на котором такое знакомое, такое смешное и непонятное слово — «Эксцельсиор».

Не спрашивайте, плодом чьих трудов явился этот взрыв. Такие плоды злобы взращивались в ту пору многими, садовников смерти было предостаточно. Возможно, бомбу подложил какой-нибудь фанатичный единоверец Махмуда, верный слуга Аллаха — неспроста взрыв произошел во время самой пылкой любовной сцены, а известно, как мусульмане относятся к любви, особенно к ее киноподобию, поскольку за право созерцать нужно платить. Как тут не возмутиться, как не вырезать все амурные сцены — любовь развращает!

Бедняжка Билькис! Нагая, с опаленными бровями, стояла она под сенью золотого рыцаря, все еще во власти огненного видения. Увиделось ей и собственное детство, оно ангелом отлетело прочь, а шум крыльев все еще отдавался у нее в ушах эхом взрыва.

Те, кто расстаются со своим гнездом, расстаются и со своим прошлым. Правда, кое-кто норовит увезти его с собой, в тюках ли, в ящиках ли. Но от долгого пути и времени драгоценные реликвии и фотографии увядают и блекнут, да так, что потом владельцам их и не признать. Такова судьба изгоев — с них сорван покров истории, и стоят они нагими средь самодовольных чужеземцев в великолепном облачении, в парче веков минувших, брови их не опалены, а горделиво выгнуты — людям этим не грозит одиночество.

Веду я вот к чему: прошлое Билькис оставило ее прежде, чем она оставила город. Долго стояла она на обочине, нагая в своем сиротстве, и провожала взглядом отлетавшее детство. Много лет спустя оно раз-другой напомнит о себе, заглянет в гости, как полузабытый родственник. Но побороть неприязнь к прошлому Билькис так и не удалось. Она выйдет замуж за героя с блестящим будущим, и как ей было не отмахнуться от своей былой жизни? Так отмахиваются от докучливого бедного родственника, попросившего взаймы.

Наверное, потом она куда-то пошла или побежала, но вдруг случилось чудо и ее подхватила дивная сила, рожденная разрушительным вихрем.

Придя в себя, она обнаружила, что стоит, прижавшись к красной каменной стене. Уже опускалась ночь, но зной не спадал, лишь камень приятно холодил спину. Мимо проносились толпы людей, точ-

нее, одна огромная толпа. Людей было так много, и неслись они столь стремительно, что Билькис подумала: а может, и их несет смерч какого-то невообразимо страшного удара. Может, еще одна бомба! И людей этих разметало взрывом!

Но то была не бомба.

Билькис наконец сообразила, что стоит подле красной крепостной стены, окружавшей старый город. Ворота распахнуты настежь. Солдаты загоняют в них людское стадо. Сами собой ноги тронулись с места, и толпа поглотила девушку. И сразу ее ударила мысль: «Я же голая!» Она закричала: «Дайте что-нибудь! Мне только прикрыться!» Никто ее не слушал, никто даже не взглянул на опаленное, но все же прекрасное девичье тело. Стыдясь, она обхватила себя руками, и ее, точно соломинку, понесло по людскому морю. На шее она нащупала клочок тонкой кисейной накидки, к телу — там, где кровоточили ссадины и ранки (Билькис их даже не замечала),— тоже прилипли обрывки кисеи. Прикрыв срамные места почерневшими от крови лоскутами, девушка ступила на крепостной двор, окруженный унылыми бурыми стенами. За ней заскрежетали, закрываясь, ворота.

Накануне раздела страны в Дели власти задерживали мусульман и — как объяснялось — для их же безопасности запирали в Красном форте, дабы укрыть от безжалостных идолопоклонников-индусов. Сгонялись все от мала до велика, целыми семьями: древние бабки, дети, греховодники-дядья. Не миновала Красного форта и моя семья. Нетрудно представить, как, затянутые в круговерть Истории, мои родные могли приметить на параллельной орбите, то бишь в круговерти моих вымышленных героев, Билькис Кемаль, нагую, в ссадинах и кровоподтеках — привидением она пронеслась мимо. А может, и наоборот: бесплотными духами пролетели мои родные перед взором моей героини.

Людской поток принес ее в просторный квадратный изукрашенный павильон с низким потолком — там некогда император принимал народ. В этом представительном зале, где каждому звуку вторило многоголосое эхо, Билькис не выдержала унижения и позора и упала в обморок. Среди ее сверстниц немало тихих скромных женщин, которым судьба вроде бы ничего и не уготовила (лишь выйти замуж, нарожать, вырастить детей да умереть), однако о той поре они рассказывали самые удивительные истории, под стать приключениям Билькис. Да, много занятного рассказывали о тех временах люди, благополучно их пережившие.

Сама Билькис накануне возмутившей всех и вся свадьбы своей младшей дочери — Благовесточки — поведала ей, как сама познакомилась со своим будущим мужем:

— Очнулась я уже днем, смотрю, укрыта офицерской шинелью. И чья б, ты думала, эта шинель? Ну, конечно же, твоего будущего отца, Резы. Он, как ты понимаешь, увидел, что я валяюсь без чувств, выставив все прелести напоказ, видать, они ему понравились, нашему доблестному воину.

Юная Благовесточка лишь ахнула да зацокала языком, притворно дивясь занозистому матушкиному острословию, а та скромно добавила:

— В ту пору такие встречи были не редкость.

И верная дочка подхватила:

— Ничего удивительного нет, что он в тебя сразу влюбился.

Сам же Реза в тот памятный день вытянулся перед Билькис по стойке «смирно», щелкнул каблуками, отдал честь и обратился к надежно укрытой его шинелью девушке:

— До свадьбы невесте все же пристало появляться одетой, лишь после свадьбы мужу выпадает честь раздевать супругу... Но у нас, видно, все наоборот. Сначала я одену тебя с головы до ног, как надлежит скромнице-невесте. (При этих словах Благовесточка, предвку-

шая собственное скорое замужество, томно вздохнула: «И это его первые слова! Господи, как красиво!»)

А вот каким предстал Реза в глазах облаченной в его шинель Билькис:

— Высоченный! Кожа — ровно мрамор белый! Осанка горделивая, ни дать ни взять — царь!

Правда, «царь» в ту пору носил лишь капитанский чин. Но согласитесь, даже по такому описанию Реза Хайдар внушает доверие.

С полной достоверностью о нем можно сказать еще следующее: он обладал невероятной энергией, подсоедини к нему динамо-машину — можно осветить целую улицу; его всегда отличали безукоризненные манеры; даже став президентом, он не утратил удивительной скромности в общении (что, впрочем, не указывает на отсутствие гордости); редко кто поминал его недобрым словом, а если и поминал, то прескверно себя чувствовал потом — будто предал друга; на лбу у Резы едва заметная шишка, такую мы уже видели на боголюбивом челе почтальона Ибадаллы, гатта свидетельствовала о том, что Реза — человек набожный.

И последняя подробность. О капитане Хайдаре говорили, что все время, пока мусульмане находились в пределах крепости — четыреста двадцать часов,— он не спал, оттого у него и черные круги под глазами. Но росла власть Хайдара, росли и черные круги. Дошло до того, что они стали походить на черные очки, что носили прочие высокие чины. С этими окружьями он не расставался, в отличие от очков, даже по ночам. Вот таков будущий генерал Реза Хайдар, он же Резак, он же Резвун, он же Резец-молодец — и все в одном лице. Могла ли Билькис устоять? Она и глазом моргнуть не успела, как ее сердцем завладел капитан.

Пока она находилась в крепости, воздыхатель с черными кругами навещал ее ежедневно и всякий раз приносил что-нибудь из одежды или украшений: блузки, сари, сандалии, сурьмяные карандаши (чтоб нарисовать брови взамен спаленных), бюстгальтеры, губную помаду. Он буквально осыпал ее подарками. Как известно, массированный обстрел ускоряет капитуляцию противника... гардероб Билькис пополнился, и она уже встречала жениха не в офицерской шинели, а в новых нарядах.

— Представляешь,— делилась она с дочерью,— только тогда он позволил себе напомнить шутку насчет раздевания и одевания.

Но не его слова хотела повторить дочери Билькис, а похвастать своим удачным ответом: скромно потупясь, явив высоты лицедейства, за что некогда ее хвалил отец, она печально проговорила:

— Ах, о каком муже может помышлять бесприданница вроде меня? Уж, конечно, не о благородном капитане, который одевает незнакомых девушек, как принцесс.

Помолвлены Реза и Билькис были под неусыпным и ревнивым взором толпы. Подарки от жениха не прекращались: сладости и браслеты, напитки и хна, обильные яства и перстни. Реза поместил невесту за резную каменную перегородку, приставил юного пехотинца — охранять владения Билькис. Докучливый людской гомон теперь почти не досаждал, в мыслях уже рисовалась будущая свадьба, а постыдные обстоятельства знакомства с Резой она забыла. Над ней вновь довлело прежнее, сызмальства взлелеянное чувство собственного величия.

— Ах, как не стыдно! — укоряла она смотревших волком соседей-беженцев,— зависть — это ужасный порок.

В каменную вязь перегородки летели в ответ недобрые слова.

— А откуда, по-твоему, он берет все эти роскошные платья? Думаешь, у рукоделов-умельцев покупает? Взгляни лучше на берег да посчитай, сколько разутых-раздетых утопленников каждую ночь река выносит!

Страшные, злобные слова стрелами пронзали узорчатую перегородку: «продажная шкура», «подстилка», «шлюха».

Билькис держалась стойко, убеждая себя:

«Неприлично спрашивать капитана, где он покупает все подарки. До такой мелочности я не опущусь ни за что!»

Вслух она, однако, не произнесла этих слов, равно оставила без ответа издевки товарищей по несчастью. Отповедь им так и не слетела с ее губ, она лишь презрительно фыркнула.

И я ей не судья. В те времена каждый старался выжить как мог.

Как и все прочее, разделили и армию. Капитан Хайдар отправился на запад в древний, побитый молью веков край, отданный Аллаху. С ним на военном самолете летела и его молодая жена (капитан отдал дань и обряду, и закону). Расставшись с девичеством, новобрачная буквально на крыльях летела навстречу новой, ослепительно счастливой жизни.

— Ой, милый, что тебя ждет! — восторженно выкрикивала она.— Ты будешь самый главный, правда ведь? Непременно прославишься!

Уши у Резы покраснели под развеселыми взглядами спутников по трясучей и скрипучей «дакоте», хотя вид капитана выражал довольство. Надо же, слова Билькис оказались пророческими! Разглядела-таки она в капитане ту могучую каменную твердь, на которой выстроит она новую жизнь, ибо прежнюю развеяло в прах. Кануло в небытие ее прошлое, остался лишь мрачный призрак былых царственных замашек, но призрак столь могущественный, что до сих пор вторгался в действительность. У Билькис не осталось ни кола ни двора. Хватит с нее взрывов и потрясений, хочется незыблемого и постоянного. Реза и казался ей незыблемым утесом: столь велика и неизменна была его вера в себя.

— Ты настоящий гигант! — льстиво шептала ему на ухо жена, дабы избежать ухмылок спутников-офицеров.— Ты неотразим, как кинозвезда!

А вот как лучше описать Билькис? Тут я, признаться, в затруднении. То ли сказать о ней так: случайность раздела ее донага, закономерность — одела с головы до ног; то ли представить ее Золушкой, нашедшей принца. Однако, обретя счастье в одном, она лишилась его в другом, что доступно любой нищенке,— она оказалась неспособной родить сына. А может, выделить в ее судьбе то, что отец ее прозывался Бабой, что долгожданный сын уродился девочкой, что наимужественнейшему Резаку, Резцу-молодцу, в конце концов, тоже придется скрываться под унизительной темной чадрой. А может, подчеркнуть, что над Билькис довлел злой рок: неспроста ее новорожденного сына удавила петлей собственная пуповина, и не менее ужасная петля еще грядет в ее жизни.

Все же, думается, лучше вернуться к ее первоначальному описанию. Ибо для меня Билькис была, есть и будет вовек Напуганная Ветром.

Справедливости ради скажу: никто не любит полуденного суховея — от него захватывает дух. На окна вешают мокрые тряпки, закрывают ставни, стараются на это время забыться сном. С годами ветер этот все больше будил в Билькис непонятные страхи. И муж, и дети отмечали, как пополудни она делалась раздражительной, брюзгливой, захлопывала одни двери, запирала другие. Наконец, глава семьи не выдержал: мыслимо ли всякий раз, когда приспичит пойти в туалет, испрашивать у жены ключ. А ключей у нее на тонком запястье висело превеликое множество. Так и носила она повсюду эти бряцавшие вериги своей больной души. Она стала пугаться любой перестановки в доме, запретила менять местами даже самую безобидную домашнюю утварь. Так навеки утвердились на своих местах стулья, пепельницы, горшки с цветами — и все волею пугливой хозяйки.

— Мой Реза любит, чтоб во всем порядок был,— говаривала она, хотя «порядок» этот утвердила сама.

Бывало, ее приходилось держать в четырех стенах, как в узилище, и случись кому из чужих увидеть ее в эти минуты — стыда не оберешься. Когда налетал ветер, Билькис принималась завывать и пронзительно кричать — ни дать ни взять злой дух. Она орала слугам, чтоб те покрепче держали шкафы и столы, не ровен час поднимет их в воздух и унесет, как некогда разметало по сторонам пропащую Империю. А дочерям (если те оказывались дома) кричала, чтоб держались за что-нибудь тяжелое, а то и их увлечет в поднебесье огненный вихрь.

Да, недобрым был тот полуденный суховей.

Надумай я писать реалистический роман о Пакистане, и словом бы не обмолвился ни о Билькис, ни о ветре — я бы рассказал о своей младшей сестре. Ей двадцать два года, учится она в Карачи на инженера, непоседа и — в отличие от меня — гражданка Пакистана. Когда я в духе, сестренка и впрямь видится мне пакистанкой, и сама страна мне мила, и я готов простить ее (как сестры, так и страны) пристрастие к кока-коле и заграничным машинам.

Не первый год знаком я с Пакистаном, но никогда не жил там долее полугода, а случалось, что и на две недели только приезжал. Меж долгими и краткими поездками интервалы самые разные. И изучал я страну, так сказать, слой за слоем (по временны́м срезам) так же, как и сестренку. Впервые я увидел ее новорожденной (я — в ту пору четырнадцатилетний подросток — наклонился над колыбелью, и малышка отчаянно запищала), потом трех, четырех шести, семи, десяти лет. Позднее я видел ее уже девушкой: в четырнадцать, восемнадцать и двадцать один год. Таким образом, мне пришлось знакомиться и познавать девятерых сестер. И каждая последующая была мне все ближе, все дороже. Равно это относится и к стране.

Все мои самокопания ведут вот к чему: хоть и пишу я эту книгу бог знает о каких краях, все равно мне никуда не деться — как в осколках зеркала, мне видится иная страна (так же, наверное, виделась себе и Фарах в блестящих осколках, натыканных в приграничную тумбу). А то, что осколки разрозненны — с этим уж ничего не поделать.

И все ж таки если бы я задумал реалистический роман, вы и не представляете, о чем бы я написал! О том, как состоятельные обитатели «Заставы» совершенно незаконно, подпольно, а точнее — подземно, установили насосы, проложили трубы и поворовывают воду из соседских каналов. И теперь совсем нетрудно на глаз определить, кто богаче и влиятельнее: у кого сочнее и зеленее лужайки (думается, выводы мои справедливы и за пределами провинциального городка К.). Рассказал бы я и о мусульманском клубе в Карачи, там и по сей лень красуется табличка «Женщинам и собакам вход воспрещен». Или взялся бы раскрыть хитроумную логику промышленного развития: страна создает собственные атомные реакторы, а выпускать собственные холодильники ей не под силу. Помянул бы я и школьные учебники. «Англия не относится к числу развитых аграрных стран»,— утверждается в одном. И стоило моей сестренке на контрольной работе поменять два слова в этом каноне, как учитель на два балла снизил ей оценку.

Не покажется ли тебе, дорогой читатель, такой «реалистический» роман химерой? Однако действительность настойчиво просится на страницы романа. И красноречивых примеров хоть отбавляй.

Недавно в Национальном собрании депутаты забросали стульями председателя, и тот скончался. Или: просматривая фильм «Ночь генералов», цензор придрался к картинам в галерее, которую посещает один из героев — Питер О'Тул,— и безжалостно вымарал красным все картины с обнаженными женщинами. И недоуменные зрители смотрели, как Питер О'Тул расхаживает по галерее, а по стенам прыгают красные кляксы. Еще: один высокий чин с телевидения совершенно серьезно убеждал меня, что произносить и писать слово «свинья» нельзя как непристойное. Далее: то ли в «Тайме», то ли в «Ньюсуике» опубликовали статью о том, что у президента Айюб Хана в швейцарском банке якобы открыт счет. Этот номер журнала в стране так и не увидели. Много пишут о бандитах с большой дороги, осуждая каждый частный случай, но почему бы тогда не осудить самого главного бандита — государство, ведь у него грабеж возведен в ранг политики. Да, примеров хоть отбавляй. Зверски истребляют людей в Белуджистане; целевые стипендии для учебы за рубежом достаются экстремистам из партии «Джамаат»; сари чуть не всенародно объявляется неприличной одеждой. Нескольких человек впервые за последние двадцать лет приговорили к повешению, и все для того, чтобы оправдать казнь Зульфикара Али Бхутто. А его палач исчез, сквозь землю провалился, как мальчишка-беспризорник,— этих похищают средь бела дня. Еще одно любопытное явление — антисемитизм. Люди, в глаза не видевшие евреев, поносят их из солидарности с арабским миром. А арабы в ответ радушно принимают пакистанскую рабочую силу, подкармливают страну столь необходимой валютой. Примеры нескончаемы: это и контрабанда наркотиков, и рвущиеся к диктату вояки, и продажные гражданские власти. Это и лихоимцы-чиновники, и пристрастные судьи, и газеты, о которых одно можно сказать наверное: все на их страницах ложь! Это и национальный бюджет, из которого щедро оделяется оборона и заметно скромнее — образование.

Вот и представьте, каково мне!

Напиши я что-либо подобное и — конец! Объясняй я, не объясняй, что книга вовсе не о Пакистане, а «вообще», ее бы запретили, выбросили бы на свалку, сожгли бы! И все мои труды пошли бы прахом. Нет, не выдержит писательское сердце такого «реализма».

Но к счастью, я пишу что-то вроде сказки на современный лад, поэтому и беспокоиться не о чем. Никого-то она не обидит, никого-то не подвигнет на раздумья. Поэтому и изничтожать ее нет надобности. Прямо гора с плеч!

Впрочем, хватит распространяться о том, о чем я писать не намерен. Всяк волен выбирать сюжет, всяк сам себе цензор. Ведь, выбрав одно, невольно отказываешься от другого...

Однако пора вернуться в нашу сказку. Пока я разглагольствовал, события в ней развивались. На обратном пути я непременно натолкнусь на моего придорожно-обочинного героя, на Омар-Хайама Шакиля. Он терпеливо ждет на обочине рассказа, когда же появится его будущая невеста, разнесчастная Суфия Зинобия, вылезет головкой вперед из материнского чрева. Что ж, осталось недолго ждать. Суфия Зинобия, как говорится, уже на подходе.

Последнее (но уместное) отступление: в супружестве Омар-Хайаму пришлось смиренно сносить почти детскую прихоть жены — то и дело переставлять мебель. Запретный плод сладок. Натерпевшись в детстве от Напуганной Ветром матери, она теперь дала себе волю и, оставаясь одна, беспрестанно переставляла столы, стулья, торшеры, словно предавалась какой-то тайной игре, но относилась к ней с пугающе непреклонной серьезностью. Порой Омар-Хайам едва сдерживался, чтоб не взроптать, но толку от его слов было бы мало.

«Не чуди, женушка! — хотелось воскликнуть ему.— Одному Богу известно, что переменится от всех твоих перестановок».

Глава пятая.

Фальшивое чудо

Точно в пещере лежит Билькис в темной спальне с низкими потолками. Руки у нее по привычке прикрывают грудь. Сна ни в одном глазу. Она словно боится что-то потерять, потому и прижимает руки к телу. И делает это непроизвольно. Мужниной родне такая привычка не по душе.

Во тьме смутно различимы и другие постели — старые топчаны под жидкими матрацами. Прикрывшись лишь простынями, на них лежат женщины. В комнате их почти сорок, в середине смачно похрапывает щупленькая, но всемогущая глава женской половины дома — Бариамма. Билькис в этой спальне не первый день и знает наверное, что многие из тех, кто ворочается сейчас под белеющими во тьме простынями, бодрствуют, как и она. Даже Бариамма, возможно, похрапывает лишь из притворства. Женщины ждут мужчин!

Но вот гулко стукает дверное кольцо, и вмиг ночь преображается. Ветерком впархивает греховная истома, словно вошедший крутанул большие опахала под потолком и разметал приторно-слащавые ароматы летней ночи. И еще сильнее заворочались сорок женщин под влажными от пота простынями. Следом входит еще один мужчина, потом еще и еще. Они на цыпочках крадутся по проходам — магистралям спальни. Женщины замирают, лишь Бариамма храпит пуще прежнего, точно подает сигнал: «Отбой! Я крепко сплю! Вперед!» — дабы воодушевить мужчин.

Соседка Билькис — Рани Хумаюн — незамужняя, и ждать ей сегодня некого. В темноте она шепчет:

— Вот и заявились сорок разбойников!

Ночь теперь наполнена шорохами и шепотками. Скрипят топчаны под дополнительным грузом, шуршат сбрасываемые одежды, стонут и всхрапывают от страсти мужья, овладевая женами. И вот уже ночь обретает единый ритм, он нарастает, ослабевает, замирает. Все. И вот уже множество ног топочет к выходу. Раз-другой гулко ударит дверное кольцо, и все стихает. И ко времени: тактичная Бариамма уже перестала храпеть.

Рани, двоюродная сестра Резы Хайдара, коротко сошлась с его молодой женой. Ей, как и Билькис, восемнадцать лет. Недолго Рани осталось жить на женской половине дома, вскорости судьба подарит ей завидного жениха — белолицего, за границей образованного юного миллионера Искандера Хараппу. Билькис притворно ужасается словам подружки о ночной жизни спальни, сама же рада-радешенька послушать.

— Разве в такой темнотище разберешь, чей муж к тебе лезет? — вопрошала как-то, перетирая пряности, Рани и прыскала со смеху.— Да если и чужой, разве кто откажется? Я тебе, Биллу, так скажу: в этом доме женам да мужьям ох как привольно живется! Не разберешь, кто с кем. Дядья — с племянницами, братья женами меняются. И не узнать, от кого ребенок!

Билькис — сама застенчивость — покраснела, приложила к губам Рани пахнущую кориандром ладошку.

— Перестань! О таком и думать-то грех!

Но Рани не удержать:

— Нет уж, дослушай! Ты здесь без году неделя, а я всю жизнь прожила, и, клянусь волосами Бариаммы, хоть по виду здесь все прилично, на деле — это ширма, за которой страх какой разврат творится!

Билькис по скромности не возразила подруге, дескать, крошечная старушонка Бариамма не только слепа и беззуба — на ее старой головенке не осталось ни волоска. Родоначальница носит парик!

Так куда ж мы попали? И в какой век?

В большое родовое гнездо в старом квартале города, который как ни крути, а придется назвать — Карачи. Реза Хайдар, как и его суженая, рано осиротел. Бариамма — мать его матери, то есть его бабушка, приняла под свой радетельный кров супругу капитана, едва «дакота» приземлилась на западном краю страны.

— Пока все не утрясется, побудешь здесь,— наказал Хайдар жене.— А там посмотрим, что да как.

Сам капитан временно разместился на военной базе, оставив Билькис среди притворно храпящих родственниц в уверенности, что ни один мужчина не посягнет на нее ночью.

Как видите, рассказ мой привел в дебри другого особняка (вы небось уже сравниваете его с далеким Нишапуром в приграничном городке К.). Однако до чего ж эти особняки не схожи! Дом в Карачи открыт всем ветрам, его стены едва-едва вмещают бесчисленную родню, близкую и дальнюю.

Прежде чем оставить Билькис в бабушкином доме, Реза предупредил:

— Там у них живут по-старинному, по-деревенски.

Что, очевидно, предполагало: даже законное супружество не освобождает женщину от стыда и позора за то, что она спит с мужчиной. Потому-то, не долго думая, Бариамма и решила воскресить сказку о сорока разбойниках. И все старухины подопечные в один голос утверждали, что «ничего такого» в спальне не происходит, а если случится кому забеременеть, так это чудо. Из чего следовало, что все зачатия в доме — непорочные, и рождение младенцев никак не нарушало девства матери. Дух чистоты и непорочности в этих стенах напрочь забил смрадную мерзкую похоть.

Билькис, все еще мнившая себя принцессой, думала (к счастью, не вслух):

«Господи! Куда я попала! В край дремучих, невежественных деревенских олухов».

Вслух же сказала мужу:

— Старые традиции надо чтить.

На что супруг согласно кивнул, а Билькис вконец загрустила. Ибо в империи Бариаммы «новенькая» Билькис (самая молодая в когорте жен), разумеется, не получала никаких королевских почестей.

— У нас непременно должны родиться сыновья,— заявил Реза жене.— В маминой семье мальчишек — что грибов в лесу.

А Билькис меж тем и впрямь блуждала по лесу бесчисленных родственников во владениях бабушки Бариаммы, терялась в чащобе генеалогических зарослей, схематично начертанных, как и подобает, на задней странице семейного Корана. Выяснилось, что у Бариаммы было две сестры (обе вдовые) и три брата: один умный да богатый, другой — мот и шалопут, а третий и вовсе дурачок. И все отпрыски столь здорового и сексуально полноценного семейства были мальчики. Исключение — лишь мать Резы да Рани Хумаюн, которая дождаться не могла, когда же наконец покинет она дом, собравший под своим кровом всех мужчин — представителей и продолжателей рода. Они приводили жен, и те оставались, жили все скопом, рожали — ни дать ни взять человеческий инкубатор. По материнской линии у Резы было одиннадцать дядьев законнорожденных и почти столько же незаконнорожденных (в основном отпрыски бабушкиного брата-шалопута). Что касается двоюродных братьев — сестра Рани не в счет,— то их набралось тридцать два, и это только рожденных во браке! Даже примерное количество внебрачных отпрысков его дядьев в Коране не указывалось. Немалая часть этого огромного семейства обосновалась под крылом слабой телом, но сильной духом Бариаммы. Двое ее бра-

тьев — убогий да беспутный — жили холостяками, а когда третий (умный да богатый) привел в дом жену, она утвердилась на одной из постелей в женской половине дома, подле Бариаммы. Супруги здравствуют и поныне, но к ним добавилось то ли восемь, то ли одиннадцать вполне законнорожденных племянников (то бишь, дядьев Резы) и чуть ли не тридцать их сыновей — Билькис прямо со счета сбилась. Да еще Рани Хумаюн в придачу.

А в спальню — это гнездилище порока — набилось еще двадцать шесть жен. Итого, вместе с Билькис и тремя старухами их набралось ровно сорок.

Голова у Билькис шла кру́гом. Разве упомнишь, как называть жену дяди или супругу внучатого племянника. Общими и привычными «дядюшка» да «тетушка» не отделаешься. Всякий родственник назывался по-своему, и непривычная к родовому укладу жизни, к ее иерархии, Билькис то и дело выказывала оскорбительное для окружающих неведение. Потому и приходилось перед лицом законных отпрысков рода чаще помалкивать. Разговаривала она либо сама с собой, либо с Рани, либо с Резой. И у окружающих сложилось о ней троякое мнение: одним она казалась милой, наивной девочкой, другим — безвольной «тряпкой», третьим — и вовсе дурой. В отличие от остальных мужей, часто отлучавшийся Реза не баловал ее ежедневно покровительством и лаской, оттого она снискала еще репутацию горемыки. Да вдобавок и бровей нет — как не пожалеть?! Как искусно их ни нарисуй — гуще не станут. Работы по дому ей доставалось чуть больше, чем другим, и острый язычок Бариаммы жалил ее чаще. Перепадало ей и зависти, и восхищенного удивления — от товарок. Резу в семье высоко чтили и считали добрым мужем — ведь он не бил жену. Столь странное представление о доброте коробило Билькис — раньше ей бы и в голову не пришло, что кто-то ее хоть пальцем тронет. Рани просветила подругу:

— Бьют, да еще как! Аж искры из глаз сыплются! Хотя со стороны посмотреть, так даже сердце радуется. Но надо, чтоб меру знали, а то хороший мужик может на нет сойти — покипел-покипел, да и выкипел весь.

Будучи на положении Золушки, Билькис должна была каждый вечер проводить у ног слепой, дряхлой Бариаммы и выслушивать нескончаемые семейные были и небылицы. То были душераздирающие рассказы о распавшихся семьях, о разорении, о суховеях, о неверных друзьях, о смерти младенцев, о болезнях груди, о мужчинах, погибших во цвете лет, о рухнувших надеждах, ушедшей красоте, о слоноподобных толстухах, о контрабанде, о поэтах-наркоманах, о девах, умерщвляющих свою плоть, о проклятьях, о тифе, о разбойниках, о гомосексуалистах, о бесплодии, о холодности в ласках, о насилии, о подскочивших ценах на еду, об азартных игроках, пьяницах, самоубийцах и о Боге.

О семейных страстях Бариамма рассказывала столь бесстрастно, что все они казались далекими и не пугали — их пропитал бальзам старухиного неизбывного благоприличия. Жуткие рассказы лишь подтверждали жизнеспособность семьи; ее честь несомненна, ее моральные устои неколебимы.

— Тебя приняли в семью,— наставляла старуха,— значит, ты должна знать все о нас, а мы — все о тебе. Рассказывай без утайки.

И однажды вечером в присутствии безмолвного мужа Билькис рассказала, как окончил жизнь Махмуд, как сама она оказалась на улицах Дели в чем мать родила.

— Не беда,— утешила ее Бариамма, когда Билькис, корчась от стыда, вела рассказ.— Ты сохранила дупату, значит, сохранила и честь.

Потом Билькис не раз слышала, как пересказывали ее злоключения домочадцы: то в закоулках пышущего зноем двора, то в звездную

ночь на крыше дома, то в детской — попугать малышей. И даже в будуаре Рани, в самый день ее свадьбы, когда невеста была уже богато убрана, причесана и по обычаю намазана хной.

Такие рассказы лучше всякого клея скрепляют родственные узы, крепкими сетями держат и старых и малых в плену нашептываемых тайн. Поначалу жизнь Билькис менялась в пересказах, но наконец суды-пересуды кончились, и утвердился вариант, более не подлежащий никаким «доработкам». Впредь и рассказчик и слушатель сочли бы любое отступление от канона едва ли не святотатством.

Тогда-то и поняла Билькис, что посвящение в члены семьи состоялось.

Раз ее жизнеописание принято, значит, она приобщена к клану, к родству духовному и кровному.

— Такие рассказы для нас — что клятва на крови,— подтвердил Реза.

Знали б молодожены, что их «рассказ» по сути еще и не написан, что потом он станет лакомым кусочком для гурманов — любителей наисмачнейших и наипикантнейших историй. И вступление к этому рассказу тоже станет едва ли не ритуальным (как полагали в семье, оно задавало нужную ноту).

Рассказчик обращался к слушателям:

— Помните тот день, когда единственный сын нашего президента явился на свет во втором воплощении?

— Вроде что-то припоминаем,— радостно подхватывали те.— Но расскажите-ка все по порядку, с самого начала. Это так занятно!

В ту знойную пору два только что народившихся и прихотливо разделенных государства затеяли войну на границе Кашмира. Что может быть лучше войны в прохладном краю, когда вокруг пышет жаром! Направляясь к манящим прохладой горам, офицеры, пехота, походные повара не могли нарадоваться.

— Вот уж повезло, так повезло!

— Если и сдохнешь, как сукин сын, так хоть не от жары!— добродушно перекликались солдаты. Вот что значат благоприятные метеорологические условия — они сближают людей! Бравое воинство отправлялось в поход с беспечностью, точно впереди ждал распрекрасный отдых. Конечно, войны без жертв не бывает. Но ее мудрые устроители позаботились и о павших — первым классом отправили прямехонько в благоуханные райские кущи. Там к ним навечно прикомандированы четыре красавицы гурии, недоступные ни человеку, ни духу. «Станешь ли ты противиться воле Создателя?»— вопрошается в Коране.

Дух армии был чрезвычайно высок, зато Рани Хумаюн совсем пала духом. Не очень-то патриотично устраивать во время войны свадьбу. Ее пришлось отложить, и невесте оставалось лишь топнуть ножкой. А вот Реза Хайдар был в духе: пятнистый джип увозил его прочь от нестерпимой городской жары, да и жена порадовала, шепнув на ухо, что готовится к радостному событию. (По примеру старой Бариаммы, я покрепче зажмуривал глаза и погромче храпел, когда Реза Хайдар навещал свою половину в спальне сорока жен. И вот на подходе очередное чудо).

Услышав прощальные слова жены, Реза издал истошно-торжествующий вопль, и Бариамма, восседавшая в доме, не разобралась, в чем дело, ибо пот застил ей и без того почти невидящие глаза, и решила, что ее доблестный внук уже получил известие о великой победе. Позже, когда такое известие и впрямь пришло, старуха лишь хмыкнула:

— Да вы что, впервой слышите? Я знала об этом еще месяц назад.

В ту пору народу еще не принято было говорить правду — дескать, армия терпит одно поражение за другим,— и отцам нации при-

ходилось изрядно поломать голову, чтобы придумать тысячу и один способ, как уберечь от поражения хотя бы честь.

— Недолго мне его осталось ждать!— оглушительно ревел счастливый Реза — от его крика попадали кувшины с голов служанок, а гуси на дворе бросились врассыпную.— Ну, что я говорил?!— Он лихо заломил фуражку и, сложив руки, будто собирался нырнуть, клюнул ими жену в живот.— И-эх! Молодец ты у меня! Я уж заждался!— и умчал на север, гогоча на ходу, суля великую победу в честь будущего сына. А Билькис вдруг впервые ощутила благодатный прилив материнских чувств. Поглощенная ими, она даже не заметила слез в глазах мужа, отчего темные окружья стали казаться бархатными. А слезы меж тем явились первым намеком на то, что будущий лидер нации, так сказать, ее твердая рука, по сути своей — плакса.

Оставшись наедине с поникшей Рани Хумаюн, Билькис проворковала со значением:

— Бог с ней, с этой войной. Главное в другом: я рожу сына и женю его на твоей будущей дочке.

Привожу отрывок из рассказа (уже канонизированного в семейных кругах, а потому менять в нем хоть слово — святотатство) о жизни Резы и Билькис:

«Когда мы прослышали, что наш доблестный Резак, дерзко и стремительно атаковав противника, одержал победу и иначе как безоговорочным успехом его предприятие не назовешь, мы поначалу не поверили. В те времена даже самые чуткие уши глохли, когда по радио передавали последние известия — приходилось слушать то, что никогда, ни за что произойти не могло. Но спорить с его женой не стали: мало ли что ей взбредет в голову — ведь не сегодня завтра ей рожать сына. Да, представьте себе, единственную за всю историю победу наша армия одержала благодаря так и не родившемуся мальчику. И молва нарекла Хайдара «непобедимым», слава его росла и крепла, тоже становясь «непобедимой», точнее, необоримой. Она не поколебалась даже за долгие годы хайдарова унижения, когда он неуклонно шел к закату.

Итак, вернулся он героем, завоевав для нашей новой священной родины высокогорную долину — там даже архарам не выжить: до того воздух разрежен. Да, Реза Великолепный потряс всех истинных патриотов, и пусть вражеская пропаганда доказывает, что этот пятачок в горах никто и не думал оборонять,— не верьте этим россказням. В жаркой битве (в которой едва не растаяли ледники) двадцать героев, ведомые Резой, овладели долиной! Горсточка богатырей! Им сам черт не брат! Их вел неустрашимый Резвец-молодец — попробуй воспрепятствуй, попробуй встань у них на пути!

У каждого народа есть места, дорогие сердцу. «АНСУ!»— с гордостью восклицали мы и едва не рыдали от умиления. «Только подумать — он захватил Ансу-ки-Вади!»

И впрямь, этот клочок высокогорья, эта долина Слез отлилась нам горькими слезами, не менее обильными, чем почести, которые все получал наш доблестный Реза. Вскоре выяснилось, что никто толком не знает, как распорядиться ценнейшим завоеванием — в тех горах плевок застывал на лету. Никто, кроме Искандера Хараппы. Умиленную слезу он ронять не стал, а поехал прямиком в министерство по делам племен и за бесценок (расплатившись наличными) купил все скопом: и землю в долине, и заснеженные склоны гор. А спустя несколько лет там появились лыжные центры, из Европы на самолетах стали прибывать туристы, они устраивали такие оргии по ночам, что местный дикий люд оторопь брала от подобного стыдобища. А нашему доблестному Резаку с несметных хараппиных барышей и гроша не перепало. (В этом месте рассказчица всякий раз неистово шлепа-

ла себя ладонью по лбу.) Наш великий стратег — предприниматель никудышный. А Иски Хараппа всегда и везде первым успеет. Впрочем, смеется тот, кто смеется последним...»

Здесь мне придется прервать семейную сагу. Дуэль между Резой Хайдаром (произведенным в майоры за битву при Ансу) и Искандером Харапой, начатая (но отнюдь не законченная) из-за пресловутой долины Слез, временно откладывается. Резаку пора возвращаться в город, как-никак война закончилась; Искандера Хараппу ждет свадьба, после которой заклятые враги окажутся родственниками, членами одной семьи.

Скромно потупившись, Рани Хумаюн смотрит на отражение в блестящем браслете: к ней приближается жених, его несут на золотом подносе друзья в тюрбанах. Потом все замелькало, как в калейдоскопе. Под тяжестью украшений невеста рухнула наземь и лишилась чувств, прийти в себя ей помогла беременная Билькис, сама тут же последовавшая примеру подруги. Все родственники по очереди бросали невесте на колени деньги; она же следила из-под чадры за престарелым бабушкиным братом-распутником: он щипал за попку всех подряд родственниц мужа — ведь никто и пикнуть не посмеет, его седины тому порукой; вот чья-то рука подняла ее чадру, и ее взору предстало неотразимое лицо Искандера Хараппы. Собственно, большая часть неотразимости таилась в нежных, еще не познавших морщин щеках двадцатипятилетнего Иски. Лицо его обрамляли длинные вьющиеся и неестественно белые — ровно чистое серебро — волосы, уже поредевшие на макушке, проглядывавшей золотистым куполом. Губы — жестокие и чувственные, полные и благородно очерченные — такие, думалось Рани, бывают у черных эфиопов; внутри у нее что-то греховно защекотало... Потом на белом жеребце вместе с мужем она проследовала в покои: стены увешаны старинными мечами, французскими гобеленами, множество книг, в том числе русских романов. Потом, трепеща от ужаса, новобрачная слезла с белого жеребца, при этом он пришел в возбуждение, так сказать, в полную боевую готовность. Потом двери за Рани захлопнулись, оставив ее на пороге супружества. Дом Бариаммы по сравнению с этим казался едва ли не деревенской хибарой. Потом, умащенная и нагая, лежала она на постели, а перед ней стоял мужчина, только что сделавший ее женщиной, и с ленцой созерцал ее красоту. Тогда-то Рани, постепенно осваиваясь с ролью жены, спросила:

— А что это за толстяк? Ну тот, в твоей свите? Под ним даже лошадь просела. Сдается мне, это про него недобрая молва идет. Говорят, он и тебя на дурной путь толкает.

Искандер Хараппа повернулся к ней спиной и закурил сигару.

— Заруби на носу,— услышала Рани,— не тебе выбирать друзей для меня.

Но даже такая реплика не поколебала благодушия Рани. Она еще не отошла от мужниных ласк и, вспомнив, как дрогнул белый жеребец под грузным всадником, как у него разъехались ноги, прыснула со смеху.

— Иски, я только хотела сказать, что стыдно ему должно быть — ишь какое брюхо отрастил.

Омар-Хайаму исполнилось тридцать, он был на пять лет старше Искандера Хараппы и почти на двенадцать — его жены. Как видите, он снова появился в моей скромной повести. Молва хвалит его профессиональные качества и хулит человеческие. Порой о нем отзываются как о настоящем выродке без стыда и совести. Ни то, ни другое ему неведомо, определила молва, точно указывая на существенный пробел в образовании. Но возможно, Омар-Хайам нарочно исключил из употребления столь опасные (даже взрывоопасные) слова, способные

вдребезги разбить как мир его воспоминаний, так и сегодняшнюю жизнь. Рани Харапша безошибочно угадала своего противника. И сейчас в сто первый раз она содрогалась, вспоминая, как во время свадьбы посыльный передал Искандеру Хараппе телефонограмму о том, что убит премьер-министр. Искандер поднялся, призвал к тишине и объяснил онемевшим от ужаса гостям о случившемся. И тут Омар-Хайам Шакиль заплетающимся языком громогласно заявил:

— И поделом мерзавцу! Ну умер так умер, и нечего ему наш праздник омрачать!

В ту пору все было меньше: городок — по площади, Реза—по чину. Потом оба пошли в рост, причем довольно бестолково — чем больше, тем уродливее они становились. Но поначалу я обрисую, как обстояли дела сразу после раздела страны. Обитатели старинного городка привыкли жить в своем ветхозаветном захолустье, мало-помалу их размывало прибоем времени. И вдруг страшной волной накатила новость о независимости. Им стали внушать, что их древний край — новая страна. Рассудите сами, под силу ли местным жителям вообразить такое. Поэтому в «новой» стране принялись орудовать и впрямь новые люди, пришлые: либо родственники да знакомцы местных, либо вовсе чужаки, хлынувшие на новые земли Господни с востока. Все новое еще не успело пустить корни и было словно перекати-поле. Городок, разумеется, провозгласили столицей, размахнулось строительство, подрядчики отчаянно зажуливали цемент, простых людей находили убитыми (это отнюдь не привилегия премьер-министров). Кровь лилась рекой, бандиты наживали миллиарды — чего и следовало ожидать. Время в этом краю состарилось и заржавело, машину истории давно не пускали в ход и вдруг сразу включили на полную мощность. Лес рубят — щепки летят, всякому понятно. Хотя раздавались и такие голоса: дескать, эту землю завоевали ради Господа, и может ли он допустить такое! Впрочем, все ропщущие быстро умолкали. Во время разговора (из самых добрых побуждений) их толкали ногой под столом — не обо всем уместно говорить. И не только говорить, но даже мыслить.

Как бы там ни было, но, захватив долину Слез, Реза Хайдар доказал, сколь могучий приток сил сулят иноземцы, так сказать, новый народ новой страны. Но сколько б сил ни притекло, они не помогли Резе: его первенец родился мертвым, его задушила собственная пуповина.

И вновь (как свидетельствует его бабушка по материнской линии) бравый майор чересчур дал волю слезам. Причем на людях, когда требовалось проявить твердость духа, он ревел белугой. Слезы катились по нафабренным усам, а темные круги под глазами казались нефтяными озерцами. Зато его супруга Билькис не уронила ни слезинки.

— Ну, Резвуша-дорогуша, успокойся. Выше нос! — утешала она мужа. Слова ее звенели, будто подернутые ледком отчаяния.— Ну же, он к нам вернется! У нас еще будет сын!

Бариамма же готова была жаловаться каждому встречному-поперечному:

— Тоже мне, Резак называется! Сам себе прозвище придумал, сам заставил себя в армии так величать. А на деле он — лейка или ведро худое.

Пуповина обмоталась вокруг шеи новорожденного, оказавшись для него висельной петлей (прообраз других виселиц, о которых ниже) или смертоносным шелковым шарфом разбойника-душителя. Так младенец появился на белый свет с непоправимым увечьем, попросту говоря, мертвым.

— Никому Божья воля неведома,— сказала внуку жестокосердная Бариамма.— Наше дело — смиряться и только смиряться. А ты как ребенок, перед бабами ревешь!

Странное дело: казалось, новорожденный, проявив похвальную стойкость духа, преодолел свой вроде бы непоправимый недуг. Не прошло и месяца, а то и недели, как совершенно бездыханный младенец с отличием окончил школу, за ней — колледж, успел проявить отвагу на войне, женился на самой красивой и богатой невесте в городе, занял важный пост в правительстве. Смельчак, красавец, всеобщий любимец — вот каким он был, ну а его ущербность (как-никак мертвенький) представлялась малосущественным недостатком, вроде хромоты или заикания.

Нет, нет, я доподлинно знаю, что малыш в действительности умер, не успев получить даже имени. А жил он, совершал всевозможные подвиги в безутешных сердцах Резы и Билькис. И так зримо представал он перед родителями, что их одолело желание иметь подле себя живое существо, в котором могли бы они исполниться, осуществиться. В спальне сорока жен Реза и Билькис, вдохновленные подвигами своего мертворожденного первенца (которому, однако, не умереть в их душах), не стеснялись своей страсти — они убеждали себя, что вторая беременность восполнит потерю, что Господь (а Реза верил истово) вознаградит их с лихвой, доставив им сына в целости и сохранности, как солидная фирма доставляет товар покупателю. Бариамма, не верившая, что душа может появиться на свет в другом теле, лишь скептически цокала языком: ишь какую заразную философию завезли из страны этих идолопоклонников. Странно, что она ни словом не попрекнула супругов, видно, поняла, что такой необычной фантазией они врачуют свои скорбящие сердца. А ей самой нести ответственность за неизбежные последствия — от семейного долга не уйти, как бы ни был он неприятен. Так что покуда хватит сил, она будет мириться со всеми этими «перевоплощениями». Но ворчать ей пришлось недолго. Мысль о том, что сыночек вот-вот вернется в новом обличье, уже прочно укоренилась.

Много лет спустя подсудимый Искандер Хараппа, серый лицом, точно его заграничный костюм, купленный, когда Иски весил еще раза в два больше, не преминул-таки подпустить шпильку Резе, припомнил ему давнишнее увлечение индуизмом.

— И это наш вождь! Шесть раз на дню совершает намаз! Телевидение его на всю страну показывает! — Сладкозвучный голос Иски изрядно потускнел в тюрьме.— А ведь я помню, как приходилось его отваживать от всяких там перевоплощений и прочей ереси! Тогда он меня просто не слушал, это уж потом у него в привычку вошло плевать на все дружеские советы.

А за порогом суда люди из окружения Хараппы шепотком рассказывали, что воспитывался генерал Хайдар, между прочим, за теперешней границей, то есть во враждебной среде, да к тому же его прабабушка по отцовской линии, как поговаривают, из индусской семьи. Так что философия безбожников у него, можно сказать, в крови.

Верно, Рани с Искандером пытались переубедить чету Хайдар, но упрямая Билькис только крепче сжимала губы. В то время Рани и сама ждала ребенка. Родила она легко, вмиг. Билькис же ни за что не хотела слушать советов подруги по спальне (упрямство у нее тоже вошло в привычку) и, может, оттого-то, несмотря на ночные визиты мужа, так долго не могла зачать.

У Рани родилась дочка. Слава Богу, что не сын, обрадовалась было Билькис, да спохватилась: ведь она мечтала женить своего первенца на дочке Рани. Теперь же только что появившаяся на свет мисс Арджуманд Хараппа окажется старше любого из будущих сыновей четы Хайдар. Значит, о браке не может быть и речи. Но Рани молодец, со

своей стороны уговор выполнила, и бездонная черная тоска поглотила Билькис.

Под крышей Бариаммы поползли слушки и смешки: дескать, завелась среди нас уродина, только мертвых рожать горазда. А ведь семья всегда славилась плодовитостью.

Однажды ночью Билькис уже лежала в постели, смыв брови и опять обретя сходство с перепуганным кроликом. С завистью взглянула она на соседнюю пустую кровать, там некогда спала Рани. А соседка с другой стороны, двоюродная сестра по мужу, Дуньязад, особа необыкновенно злобная, прошипела из темноты:

— Твое бесплодие — позор на всю семью! Будто не знаешь, что твой стыд нам всем нести! Это бремя так к земле и гнет. А уж как ты мужниной родне удружила! Как за доброту отплатила! Тебя, беженку нищую, пригрели, не посмотрели, что ты из безбожной страны!

Бариамма потянула за шнур над постелью и выключила свет — скоро лишь ее похрапывание нарушало тишину. Билькис не стала дослушивать поношения соседки, а поднялась и набросилась на Дуньязад — та с нетерпением дожидалась этой атаки. Вцепившись друг дружке в волосы, женщины пустили в ход и колени, норовя попасть в нежные, незащищенные места. Сами не заметили, как перекатились на пол. Но дрались почти бесшумно — боялись гнева всесильной Бариаммы. Однако, точно круги по воде, весть о драке тут же разошлась по спальне. Женщины садились на постелях и всматривались во тьму. Вскоре и подошедшие мужчины стали безмолвными свидетелями смертельной схватки. Дуньязад лишилась почти что всех волос под мышками, а Билькис — зуба, она сломала его, впившись противнице в руку. Но вот пришел Реза Хайдар и разнял драчуний. И в ту же минуту Бариамма перестала храпеть и внезапно включила свет, будто сигнал подала,— враз все загалдели, закричали. Как не дать волю чувствам, копившимся во тьме! Женщины бросились к старухе, подперли со всех сторон подушками. Билькис, дрожа всем телом в объятиях мужа, крикнула, что не станет жить в доме, где ее оговаривают и бесчестят.

— Вот что, дорогой,—обратилась она к мужу, собрав жалкие остатки давно минувшего императорского величия,— меня воспитывали совсем в других условиях. Здесь, в этом зверинце, я зачать не смогу, не умею я жить, как эти дикари.

— Да, да, конечно, мы тебе не ровня, ты все время нос задираешь,— прошипела Бариамма, будто воздушный шар продырявили, и, поудобнее устроившись меж подушек, оставила последнее слово за собой.— Забери ее отсюда, Реза,— прожужжала она,— иди, Биллу, скатертью дорога. И стыд свой с собой забирай. Нашей Дунье только спать спокойнее будет. То-то ты на нее набросилась — правда глаза колет. Давай проваливай, тварь приблудная! Складывай вещички, и чтоб духу твоего не было! Хоть в придорожной канаве ночуй!

Кое-что о «приблудных» могу рассказать и я: покинул одну страну (Индию), поселился в двух других (в Англии живу сам, в Пакистане — вопреки моей воле — моя семья). Почему же нас, приблудных, так не любят? У меня на этот счет свое толкование, и связано оно с силой земного притяжения. Нам, эмигрантам, удалось то, о чем издревле мечтают люди, завидуя птицам. Мы победили земное притяжение и, образно говоря, обрели крылья.

Земное притяжение я приравниваю к человеческой привязанности. Оба явления неоспоримо существуют: я стою на земле (она держит меня), и я привязан к своему дому (когда отец продал наш дом в Бомбее, где прошло мое детство, я очень осерчал). Но ни ту, ни другую силу понять нельзя. Мы знаем, что такое притяжение, но не знаем, откуда оно взялось; мы привязаны к месту, где родились, мы уподоб-

ляем себя деревьям, говорим о корнях, но объяснить — почему? — не можем. Посмотрите под ноги, вряд ли вы увидите проросшие из башмаков, уходящие в землю корни. Как мне порой представляется, «корни» — устаревшая сказка, призванная удерживать нас на одном месте. А быль (в противовес этой сказке) будет называться «побег» или «полет», и то и другое — пути к свободе.

Странная штука, эта гравитация. Хоть никто и не берется ее объяснить, всякий знает и отлично разбирается в ее противоположности — в антигравитации. С антипривязанностью сложнее. Ученые еще не нашли ей научного обоснования. Положим, химическая или парфюмерная фирма, а то и управление по аэронавтике изобретет антигравитационные таблетки. Авиакомпании во всем мире разорятся в одночасье. Таблетка поможет вам оторваться от земли, вознестись под облака. Придется изобрести особые влагонепроницаемые костюмы. Перестанет действовать таблетка, и вы плавно опуститесь на землю, но уже в другом месте — отнесет ли ветром, повлияет ли движение планеты. А если наделать таблеток разной силы действия, можно в одиночку летать из страны в страну. Придется привешивать ранец с моторчиком, чтобы направлять полет. И путешествия станут доступны любой семье. Вот вам и связь притяжения с пресловутыми «корнями». Преодолеем гравитацию и все сделаемся перелетными птицами. Поднимемся в воздух, выберем нужную нам широту, опустимся, когда земля повернется к нам нужной стороной.

Когда человек отрывается от родной земли в поисках свободы, он переселяется. Когда освобождаются целые народы, жившие на родной земле, как на чужбине (пример — Бангладеш), они обретают самоопределение. Что самое стоящее у тех и у других? Оптимизм! Вглядитесь в лица на старых фотографиях. В глазах людей горит огонек надежды. А что в этих людях самое нестоящее? Тощий багаж! Я говорю отнюдь не о фанерных чемоданах, не о немногочисленных и уже потерявших смысл безделицах. Мы окончательно отрываемся не только от земли. Мы поднимаемся над историей, оставляем внизу и память, и время.

Все это могло случиться и со мной. Все это могло случиться в Пакистане.

Ни для кого не секрет, что само слово «ПАКИСТАН» — акроним, его придумали в Англии в кругах мусульманской интеллигенции. «П» означает пенджабцев, «А» — афганцев, «К» — для кашмирцев, «С» — синдхов, окончание «тан», как неубедительно объясняют, для обозначения Белуджистана (о восточной части страны, прошу заметить, ни слова! Теперешняя Бангладеш так и не отобразилась в названии страны. Посчитав это побуждением к действию, восточные сепаратисты взяли и отделились еще раз — в независимое государство Бангладеш — от сепаратистов, в свое время отколовших Пакистан от Индии. Представляете, каково народу — дважды сепаратистам!) Итак, «Пакистан» родился на Западе и лишь потом попал на Восток, перешел все границы и барьеры (в том числе и языковые) и утвердился в Истории. Такой вот возвращенец-переселенец на поделенную надвое землю, похоронивший прошлое под надгробием, с которого спешно стерли все надписи. Будто и не бывало никогда индийского прошлого, новой стране — новая история. И не важно, на каком фундаменте она зиждется, все индийское — стереть и переписать наново!

Так кто же заправлял этим делом? Пришлые переселенцы — мохаджиры. И на каких языках переписывалась история? На английском и урду — чуждых местному люду. Один язык перекочевал из-за моря, другой — из соседней страны. И вся дальнейшая история Пакистана видится как борьба времен: прошлое не сдается, пытается сбросить нововозведенное надгробие.

Истинное желание любого художника — выразить свое видение мира. Прошлое Пакистана погребено под разбитой плитой с затертой надписью: его настоящее — клубок противоречий — можно смело на-

звать неудачей мечтателей-утопистов. То ли для этого полотна выбрали нестойкие краски, как у Леонардо; то ли недостало создателям воображения — вот и сложилась картина, полная вопиющих несуразиц: по соседству с «бесстыдными» сари (завезенными пришлым людом) скромные мусульманские одеяния; язык урду вечно на ножах с пенджабским; новое не в ладах со старым, одним словом, Пакистан — это фальшивое чудо.

Что до меня, я, как и всякая «перелетная птица»,— выдумщик. Измысливаю целые страны, примеряю их к существующим. История и мне задает загадки: что сохранить, что выбросить, как не потерять сокровища, хранимые в недрах памяти, как относиться к переменам. А что касается уже упоминавшихся «корней», то мне так и не удалось от них избавиться. Порой я и впрямь вижусь себе деревом, раскидистым ясенем из норвежского эпоса — мировым деревом Игтдрасилем. У Игтдрасиля три корня[1]: первый восходит к Вальхалле и источнику мудрости, откуда черпает Один. Второй мало-помалу снедается негасимым огнем великана Сурта, повелителя огненной страны Муспельхейм. Третий корень точится страшным змеем Нидхёггом. Изведут огонь да змей два корня, и рухнет ясень, и погрузится мир во тьму. И кончится весь белый свет: древо жизни предвосхищает смерть.

Итак, страна моего повествования, чье прошлое упрятано под плитой с затертыми надписями, своего названия не имеет.

«Любое название,—указывает чешский писатель Кундера (ныне эмигрант),—означает неразрывную связь с прошлым, а народ без прошлого — безымянный народ». Но прошлое, с которым приходится иметь дело мне, не так-то легко похоронить. Оно каждодневно с боями прорывается в настоящее, и чересчур жестоко отказывать моей вымышленной стране в названии.

Не знаю, насколько достоверно, но говорят, что Нэпир[2] после удачного похода в страну Синд (нынешний юг Пакистана) отослал в Англию депешу с одним-единственным повинным и победным словом PECCAVI[3]. Согрешу-ка и я и назову Пакистан моего вымысла в честь этой языковой шутки (сдается мне все же, что и она — вымысел). Итак, да будет ПЕККАВИСТАН!

В тот день душе единственного сына генерала Резы Хайдара предстояло появиться на свет в другом обличье.

Покинув дом Бариаммы, где одно старухино присутствие действовало не хуже противозачаточного средства, Билькис поселилась на военной базе в простом общежитии для семейных офицеров. Вскорости, как и предрекала, она забеременела.

— Ну, что я тебе говорила!—ликовала Билькис.—Резачок, миленький, наш ангелочек возвращается! Осталось ждать совсем немного!

То, что она наконец понесла, Билькис объясняла просто: не нужно больше сдерживаться, можно стонать, вскрикивать во время мужниных ласк, так что «душа нашего сыночка, ожидая своего часа, слышит и внемлет нашим стараниям». Все это она с гордостью и любовью донесла до сведения мужа, и тот, возрадовавшись, не нашел возразить, что не только сыновняя душа слышит ее страстные стоны, но и соседи-офицеры — как начальство, так и подчиненные. В офицерском клубе ему приходится выслушивать немало шуток в свой адрес.

---

[1] Далее автор не совсем точно придерживается норвежских преданий. Мировое дерево-ясень Игтдрасиль связывает землю с небом. Вальхалла (своеобразный рай для павших воинов) находится на небе, а источник мудрости — в подземном царстве мертвых (там-то его таинственный хозяин Мимир и напоил Одина, покровителя воинских обрядов, даровав ему мудрость).

[2] Чарльз Джеймс Нэпир (1782—1853)—английский генерал.

[3] Peccavi *(лат.)* — «я согрешил». Английский перевод этой фразы — омоним другой: «я покорил Синд» («I have sinned» и «I have Sind»).

Пока жена рожала, Реза, с минуты на минуту ожидая перевоплощенного первенца, неподвижно сидел в приемном покое родильного отделения при госпитале. Восемь часов мучилась Билькис, охрипла, потеряла много крови, перебрала все самые грязные ругательства — роженицам и такое позволительно — и, наконец, раз!—и, о чудо из чудес! В два пятнадцать дня Реза Хайдар стал отцом... девочки, которая нравом и особенно поведением являла полную противоположность старшему братцу.

Когда спеленутую малышку дали матери, та не удержалась и разочарованно воскликнула:

— Как? И это все?! За мои-то страдания и пытки?! Не ребенок, а мышонок какой-то!

И верно, наша героиня, «фальшивое чудо» — Суфия Зинобия уродилась неподобающе маленькой (с годами она так и осталась невеличкой, очевидно унаследовав малый рост от карлицы-прабабки, чье имя — Бариамма, то есть Большая Мать,—слыло семейной шуткой).

Билькис вернула крохотный сверток акушерке, и та вынесла его истомившемуся отцу.

— У вас, господин майор, дочка. Прехорошенькая! Ровно ясно солнышко.

А в родильной палате, затаив дыхание, прислушивалась Билькис. В приемном покое тоже стало тихо. Издревле молчанием признавали поражение.

Поражение? Да быть такого не может! Ведь речь о самом Резаке, покорителе ледников, завоевателе альпийских лугов, пленителе архаров в заиндевелом (жаль, что не в золотом) руне. Неужто будущая «железная рука» нации смирится с поражением? Да ни за что! Неужто слова акушерки сразили бравого майора наповал? Ничуть не бывало! Реза сам пошел в атаку. Тяжелые и грозные слова танками понеслись вперед. Стены госпиталя задрожали, на соседних площадках для игры в поло от майорского крика лошади вставали на дыбы и сбрасывали всадников.

— Случаются ошибки!—орал Реза.—История знает немало чудовищных ошибок! Да что там! Мой собственный деверь при рождении... И не смей перечить мне, женщина! Зови начальника! — И еще громче:— Пол младенца легко перепутать!! — И оглушительными залпами (под стать артиллерийской канонаде) закончил:— Половые органы!!! Могут быть!!! Слабо выражены!!!

Возможно, залпов было бы больше, но тут акушерка посуровела, козырнула и напомнила, что господин майор находится все-таки в военном госпитале и не след ему забываться, хоть он и старше по чину. Конечно, в словах господина майора есть и доля справедливости: всякое при родах случается. Сказав это, она ушла. В увлажнившихся глазах несчастного отца затеплилась надежда. Равно и у Билькис — глаза у нее были сухи, вытаращены: она вслушивалась в каждый мужнин словесный залп.

В комнату, где от недавнего крика стены, казалось, еще ходили ходуном и где будущий президент сверхчеловеческим волевым нажимом пытался опровергнуть законы биологии, вошел начальник госпиталя (в генеральском чине). Говорил он внушительно, категорично, властно и развеял отцовские надежды в пух и прах. И некогда мертворожденный сын умер вторично, заключение врача отогнало прочь робко витавший вблизи дух «фальшивого чуда».

— Ошибка исключена. Прошу отметить, что перед пеленанием младенец был тщательно вымыт. Пол ребенка вне сомнений. Примите поздравления.

Но какой отец без борьбы откажется от своего дважды зачатого сына? Реза сорвал с крохи пеленки и стал тыкать пальцем ей в животик.

— Вот! Вот же! Что это, я спрашиваю?

— Ничего особенного. Здесь послеродовая припухлость, далее очертания по женскому типу...

— Но тут же выпуклость!—в отчаянии возопил Реза.—Выпуклость! Очевидная, явная выпуклость!

Но начальник-генерал уже вышел.

«И вот тут-то — это я цитирую уже из семейной саги,— когда родителям пришлось смириться с полом ребенка, принять, как велит вера, волю Аллаха, вот тут-то задремавшая на руках у Резы малышка вдруг покраснела».

О, зардевшееся дитя!

Допускаю, что долгие и частые рассказы и пересказы добавили стыдливой краски младенческим щечкам. Но никоим образом не ставлю под сомнение правдивость предания. Итак, новорожденная покраснела.

Даже в ту пору ее было так легко пристыдить!

Глава шестая.

Дело чести

Говорят, квакушка в колодце пугается собственного эха — ей кажется, что отвечает огромная страшная лягушка.

В Игольной долине недалеко от города К. обнаружили большие месторождения газа. Тогда-то вдруг вся страна с тревогой узнала о совершенно непатриотическом поведении невоздержанных местных жителей. В Игольную послали группу буровых мастеров, геологов, ученых, чтобы наметить скважины для добычи бутана. Местные племена напали на изыскателей, надругались, изнасиловав каждого (в среднем по 18,6 раза), причем намного чаще в зад (13,97 раза), нежели в рот (4,69 раза), и, в конце концов, перерезали каждому глотку (100%). Губернатор провинции Аладдин Гички обратился за военной помощью. И конечно же, командовать войсками, призванными защищать бесценные газовые месторождения, назначили Резу Хайдара; он прославился кампанией в долине Слез и дослужился уже до полковничьего чина. Новое назначение еще больше укрепило его известность в народе. Первая газета страны «Война» риторически вопрошала: «Кому ж защищать бесценные сокровища долины, как не завоевателю другой, не меньшей жемчужины?» А сам Резак обратился к корреспонденту того же издания со ступенек почтового вагона (только что оборудованного кондиционером), перед тем как поезд унесет его на запад, со следующими словами:

— Эти бандиты — что лягушки в колодце, милый мой. А я, да поможет мне Аллах, не хуже их. Напугаю так, что в штаны со страху наложат.

В ту пору его дочери Суфие Зинобии пошел второй годик. К Немыслимым горам полковника сопровождали и малышка и жена. Не успел поезд отойти от станции, как к ним в купе стали долетать крики и шум с развеселого пиршества («Безбожники бражничают»,— определил Реза). Он спросил у проводника, кто едет в соседнем купе.

— О, сэр, очень важные люди. Высокие чиновники и с ними актрисы из известной кинокомпании.

Реза Хайдар лишь пожал плечами:

— Что ж, видно, придется потерпеть. Не унижаться же мне до объяснений со всякими киношниками.

Услышав такое, Билькис изобразила скупую улыбку на посеревших от ярости губах и, кипя, уставилась в зеркало на стене, отделявшей от империй ее детства.

Вагон был самый современный, и двери всех купе выходили в общий коридор. Час-другой спустя Билькис возвращалась из туалета, вдруг дверь погрязшего в пороке купе распахнулась, из нее высунулся

толстогубый, как Искандер Хараппа, парень, послал ей воздушный поцелуй и букет хмельных комплиментов.

— Да, розанчик, за границей таких, как ты, не сыскать. Лучше наших девушек нет! — взглядом он ощупал ее стан. Гордость Билькис была оскорблена, однако, вернувшись к себе в купе, мужу она почему-то не пожаловалась.

В дороге (точнее, в самом ее конце) изрядно пострадала и гордость самого Резы. Когда поезд подошел к вокзалу города К., они увидели огромную толпу, тучей саранчи облепившую перрон. В толпе распевали модные песни, бросали к поезду цветы, размахивали флагами и знаменами, приветствуя гостей. Реза стал молодецки подкручивать усы, а Билькис, заметив это, лишь усмехнулась, но не открыла ему правды: толпа встречала не его, а тех самых задрипанных киношников из соседнего купе. Хайдар торжественно спустился по ступенькам с простертыми к толпе руками, готовясь произнести речь с обещанием беречь для родины жизненно важные газовые месторождения. Но его едва не сбили с ног неисчислимые охотники за автографами, воздыхатели и почитатели нарочито скромных кинозвезд. (Стараясь удержаться на ногах, полковник даже не заметил толстогубого парня, помахавшего на прощанье Билькис). Самолюбие Хайдара было уязвлено, что во многом объясняет его дальнейшее поведение: сначала он, как и всякий обиженный, вопреки здравому смыслу стал вымещать злобу на жене — еще бы, ведь некогда и она находилась во вражьем стане киношников. Затем вновь проснулась звериная тоска по несбывшемуся единственному сыну, а ответ за неудачное перевоплощение держать, конечно, супруге и всему ее киноокружению. Так подсознательно Реза Хайдар начал мстить за свое несостоятельное отцовство ничего не подозревавшим местным любителям кино.

Нелады в семье — точно дождевая вода на плоской крыше. Один ливень, другой, вроде и незаметно, а вода все копится и копится; и в один прекрасный день крыша рухнет вам на голову... А супруги Хайдар тем временем спрятали подальше уязвленное самолюбие, протиснулись сквозь ликующую толпу и покинули вокзал, оставив на перроне толстогубого любвеобильного парня. Звали его Синдбад Менгал, и был он младшим сыном президента кинокорпорации. В К. приехал затем, чтобы развернуть бурную деятельность на поприще кино: он посулил новые фильмы каждую неделю, новые кинотеатры, встречи со звездами самой крупной величины и певцами, певшими в ту пору непосредственно перед кинокамерой.

В гостинице «Блистательная» супругам Хайдар отвели особый, для новобрачных, номер «люкс», пропахший нафталином. Проводил их туда древний носильщик, за ним следовала ученая обезьянка (тоже из пережитков прошлого) в костюмчике посыльного. Старик, видно, истосковался по старым временам, не утерпел, тронул Резу Хайдара за рукав и спросил:

— Не скажите ли, господин начальник, когда сахибы-ангрезы вернутся?

А нам, в свою очередь, не вернуться ли к Рани Хараппа?

Куда ни взглянешь — любопытные лица. Прислушаешься — такое бранное многоцветье, что и уши радугой расцветают. Проснувшись однажды утром (вскорости после переезда в новый дом), она видит, как прислужницы — местные деревенские девушки — роются в комоде с ее одеждой, вынимают и рассматривают заграничное белье, яркую губную помаду.

— Что это вы там делаете?!

Девушки без тени стыда оборачиваются, не выпуская из рук платья госпожи, ее расчески, щетки.

— Не беспокойся, хозяйская жена, нам няня-айя разрешила по-

смотреть. Мы здесь полы натирали, вот она и разрешила. Ты только погляди, как мы полы-то натерли! Блестят, что мартышкина задница, ей-бо.

Рани приподнимается на локте, ее собственный голос прогоняет дремоту.

— Ну-ка, прочь отсюда! И не стыдно вам у меня в спальне копаться? Ну-ка, чтоб духу вашего не было, не то я...

Девушки отчаянно машут руками, точно хотят загасить пламя.

— Остынь-ка малость! Сунь язычок в воду, остуди!

— Хватит дерзить! — взрывается Рани, но ее перебивают:

— Да полно тебе. Все равно, как айя скажет, так и будет.— И девки, нахально крутя бедрами, неспешно идут к двери. На пороге останавливаются и дают последний залп:

— Надо ж, в какую одежку Иски женушку обрядил! Поди, самое лучшее покупал,— говорит одна.

— Что верно, то верно,— подхватывает другая.— Да только, как павлин хвост в джунглях ни распускай, красоваться не перед кем!

— Скажите айе, что я хочу видеть дочь,— кричит им вслед Рани.

Бесстыжие девки уже закрыли за собой двери, все ж одна отвечает:

— Ты гонору-то поубавь, принесут тебе дочку в свое время.

Рани Хараппа больше не рыдает, больше не твердит зеркалу «это непозволительно», больше не вспоминает с тоскливым вздохом (словно и не было ничего дурного) огромную спальню и сорок разбойников. У нее теперь есть дочь, но нет мужа; и стоит она узницей на краю земли, в этом Мохенджо, вотчине Хараппы в провинции Синд. Земли его — от горизонта до горизонта, воды вечно не хватает, живут не люди, а чудища Франкенштейна, насмешники и ехидны. Больше она не тешит себя мыслью, будто Искандер не знает, как с ней обращаются. «Все-то он знает»,— шепчет она зеркалу. Ее любимый супруг, ее суженый на золотом подносе. «Родит женщина, и уже не та, нет былой упругости в теле, а мой Иски любит, чтоб как у девушки тело было». И в испуге прикрывает ладошкой рот, бежит к двери, к окнам — не дай бог, кто услышит.

Потом, надев шальвары и просторную рубашку из итальянского крепдешина, она выходит на веранду, где побольше тени, и принимается расшивать-изукрашивать шаль. Вот на горизонте заклубилось облако пыли. Нет, это не Иски. Он сейчас в городе со своим закадычным дружком Шакилем. Да, с первого взгляда учуяла Рани опасность, таящуюся в жирном борове. Может, и не едет никто, просто ветром всколыхнуло пыль.

Земля Мохенджо — край суровый. Там и люди что скалы в зной; лошади в стойлах будто из стали; скот крепкий, костяк ровно из алмаза. Птицам приходится разбивать клювами комья земли, смачивать слюной и лепить гнезда. Деревьев мало. Есть, правда, заколдованная рощица, так там даже лошади, которым все нипочем, возьмут да вдруг и понесут! Прямо на земле, недалеко от Рани, спит в придорожной канаве сова. Виднеется лишь краешек крыла. «Случись, убьют меня, так за воротами усадьбы никто и не узнает»,— Рани не замечает, говорит ли про себя или вслух. В одиночестве мысли бегут свободно и частенько незаметно словами срываются с губ, противореча одна другой. Ибо, сидя в тени большого навеса на веранде, Рани уже пестует мысль, противную предыдущей: «Мне нравится в этом доме».

На каждой из его сторон — веранда. Длинная, под москитной сеткой, выложенная деревянными брусками тропинка ведет к легкой кухоньке. И вот одно из местных чудес: лепешки-чапати не стынут, пока их несут в дом; а суфле не опадает. В доме — полотна, писанные маслом, канделябры, высокие потолки, над домом — плоская, залитая гудроном щебеночная крыша, однажды на рассвете стояла она там на

коленях и улыбалась, глядя на спящего мужа,— в ту пору он был еще с ней. Вотчина Искандера Харапшы.

— Здесь, на этой земле, он родился, и поэтому, хоть и совсем немножко, он со мной. Ах, Билькис,— говорила она подруге в К. по телефону,— ни стыда у меня, ни совести, раз такой малостью от своего мужа удовольствовалась.

— Тебе, дорогая, может, этого и хватает,— отвечала Билькис,— но мне б не хватило. Нет уж! Хоть мой Реза и далеко в горах, но жалеть меня, право, не стоит. Вернется он домой, и как бы ни устал, сил у него всегда хватает, ну, сама понимаешь на что.

Пыльное облако достигло деревни Миир, значит, все-таки кто-то едет. У Рани на душе неспокойно. Деревня названа в честь покойного отца Искандера, сэра Миира Харапшы. Сахибы-англезы за некие заслуги даже пожаловали его титулом. Из камня ему изваяли памятник: сэр Миир гордо восседает на коне. Ежедневно с памятника счищают птичий помет. Надменно глядит каменный всадник на больницу и публичный дом — плоды своего просветительского правления в деревне.

— К нам едут гости!— всплескивает руками Рани и звонит в колокольчик. Никого. Потом появляется старая айя нынешнего хозяина, широкая в кости женщина. В мягких, не знавших мозолей руках она держит кувшин с гранатовым напитком.

— И чего ты, хозяйская жена, шум поднимаешь? У нас в доме умеют гостей принимать.

За спиной айи стоит старый Гульбаба, он глух и почти что слеп. За ним тянется дорожка фисташковой шелухи, а в руках у него полупустой поднос с фисташками.

— Бедняжка, как ты эту прислугу только терпишь! — вспомнилось Рани сочувственное телефонное восклицание Билькис.— Этих выживших из ума столетних развалин! Ей-богу, свела б их к доктору, чтоб усыпляющий укол им всем сделал. Ведь столько терпеть приходится! Тебе надо свое главенство утвердить не по названию, а по положению.

Качается в кресле Рани, неспешно движется игла с нитью; и юность, и радость жизни убывают из нее капля за каплей; час за часом тяжкой ношей ложатся ей на плечи...

Всадники въезжают на подворье, и Рани видит: один из них — двоюродный брат Искандера, Миир Хараппа по прозвищу Меньшой с усадьбы Даро, она к северу за горизонтом. Горизонт в тех краях — что граница владений.

— Рани-бегум! — кричит ей Миир.— Строго не суди, что незваными гостями к тебе заявились. Это твой муженек во всем виноват. Тебе б его надо держать в узде. Этот сукин сын сам меня вынудил.

А тем временем с десяток его вооруженных спутников спешиваются, и... начинается настоящий грабеж. Сам Миир кружит верхом, порой осаживая жеребца подле братниной жены, и что-то орет в свое оправдание, вовлекая Рани в круговерть неистовых и не очень-то изящных словес.

— Ты хоть знаешь, что твой муженек задницу кому хочешь подставит? А я вот знаю! Мужеложник он, вот кто! Свинья вонючая! Ты деревенских порасспроси, как его дед жену взаперти держал, а сам в бардаке дневал и ночевал. А потом у одной девки живот вдруг начал расти — и совсем не потому, что ела много,— и вдруг — раз!— и она исчезает, а у леди Хараппы ни с того ни с сего ребеночек. Хоть муж с ней лет десять не спал. Яблоко от яблони недалеко падает, что отец, что сын — все едино. Прости уж, что тебе такое выслушивать приходится. Ублюдок, шакал смердящий! Думает, опозорил меня на людях, так ему это и с рук сойдет? Кто старше: я или этот жополиз? Жрать бы ему дерьмо дохлого ишака! У кого больше земли: у меня или у этого огрызка, у него всех земель, что мужской гордости в штанах —

с гулькин нос, вши и те с голоду дохнут! Скажи ему, что в этих краях царь — я! Скажи ему, что я распоряжаюсь здесь всем и вся, и ему б на карачках ко мне ползти да ножки целовать, прощение вымаливать, как самому последнему бандиту-насильнику! Скажи ему, пусть у вороны сиську пососет! Сегодня я докажу ему, кто здесь главный.

Грабители вырезают из золоченых рам полотна рубенсовской школы, рубят ножки изящных стульев. Старинное серебро бросают в притороченные к седлам мешки. Под ногами на коврах с затейливым рельефным узором блестят хрустальные осколки. А Рани средь всего этого побоища продолжает как ни в чем не бывало вышивать. Старые слуги, айя, древний Гульбаба, девушки-полотеры, конюхи и крестьяне из деревни Миир — все собрались, смотрят, вслушиваются: кто стоит, кто присел на корточки. Миир-Меньшой (гордый всадник с хищным профилем — копия своего предка, статуей запечатленного в деревне) не умолкает ни на минуту. Наконец его свита снова в седлах.

— Женщины — это честь мужчины!— вопит он напоследок.— Твой муж увел у меня эту суку, считай, что честь отнял, да захлебнуться ему собственной мочой! Напомни ему, чего испугалась лягушка в колодце! Пусть трепещет да благодарит небо, что я человек мягкий, незлобивый. Я бы мог расквитаться с ним, отняв у него честь. Знай, женщина, в моей власти сделать с тобой все что угодно. Никто и слова поперек не скажет. Здесь я сам себе закон. Салам алейкум!

И вот уже на гранатовом напитке пыль от умчавшихся всадников. Вот она толстым слоем оседает на дно кувшина.

— Как мне обо всем рассказать? — жалуется Рани по телефону своей подруге Билькис.— Да со стыда я и слова не вымолвлю.

— Конечно, тошно тебе, Рани,— отвечают на другом конце армейской телефонной линии.— Ведь я, как и ты, считай, узница, но даже в нашу дыру слухи из Карачи долетают. Там едва ли не каждая собака знает о похождениях твоего Иски и этого толстуна доктора: то они в варьете любуются танцем живота, то в гостиничных шикарных бассейнах с белыми женщинами. Ты что, не понимаешь, почему он тебя сослал на край земли? Чтоб никто не мешал ему пить, играть, баловаться опиумом, а уж эти дамочки с нейлоновыми фиговыми листочками! Прости, дорогая, но кто-то же должен тебе рассказать всю правду. Ох уж этот Шакиль, все-то он умеет устроить: тут тебе и петушиные бои, и медвежьи забавы, и схватка кобры с мангустой. И сводник он хороший. Женщин у них не счесть! Ах, голуба моя. Да они и под карточным столом ухитряются бабенок за ножку ущипнуть. Говорят, они и в притоны, у которых красные фонари висят, наведываются. Да еще с кинокамерами. Ну, с Шакилем-то все ясно, добрался провинциал до красивой жизни. А их баб тоже понять можно: им тоже охота хоть крошками с господского стола поживиться, потому и идут на все. В общем, дело вот в чем: твой разлюбезный Иски увел у своего двоюродного братца из-под носа смазливую французскую девчонку. И случилось это на важном светском приеме. Об этом только и говорили в городе: Миир остался с носом, а Иски с этой девкой и был таков. Я просто диву даюсь, другая б на твоем месте все глаза выплакала. Знала б ты, какие тут страсти разгорелись, кто тебе истинно друг, а кто за глаза твое имя порочит. Слышала б ты, как я по телефону прямо тигрицей на твоих недругов бросаюсь. А ты, милая, сидишь у себя в захолустье, ни о чем не ведаешь, знай перед своими дряхлыми слугами, вроде Гульбабы, властную хозяйку разыгрываешь.

Навстречу Рани — айя, она сокрушенно бормочет, оглядывая разоренную столовую:

— Ну, уж это слишком! Ах, Иски, Иски, все ему неймется! Вечно он задирает своего братца! Ну, уж это слишком! Безобразник мальчишка!

Куда ни взглянешь — любопытные лица. Вслушаешься — неумолчный говор. С нее не спускают глаз: вот, пунцовая от стыда, идет хо-

зяйка к телефону — оповестить Искандера о случившемся. (Пять дней собиралась она с духом.) В ответ Искандер Харапша изрек лишь два слова:

— Жизнь долга.

Реза Хайдар пробыл со своими солдатами в К. лишь неделю, после чего отбыл в Игольную долину. Расквартированные в городке солдаты проявили такую прыть, что губернатор Гички приказал Хайдару немедленно покинуть город, так как количество девственниц на душу холостого населения упало до такого уровня, что устои морали оказались под угрозой. Солдат сопровождал изрядный отряд топографов, инженеров, строителей, которые опасались за свою судьбу. Несомненно, напустили со страху в штаны — до прибытия в К. командование (по соображениям секретности) ни словом не обмолвилось о печальной судьбе первого отряда, зато буквально каждый встречный-поперечный в городке всяк по-своему, не жалея красок, живописал вновь прибывшим страшную судьбу их предшественников. И, сидя в запертых снаружи вагончиках, строители стенали и плакали. Карауальные солдаты лишь посмеивались:

— Ишь, как дети малые, ревут! Трусы! Бабы!

До Резы Хайдара, разъезжавшего на джипе с флажком, стенания эти не доносились. Да и голова была занята другим: вчера к нему в гостиницу явился сладкоречивый плюгавый человечек. От его просторных одежд разило выхлопными газами, будто он весь день носился на мотороллере. То был святой старец Дауд, чью тонкую, как у цыпленка, шею некогда обвила башмачная гирлянда.

— О, господин! О, великий господин! Я смотрю на ваше героическое чело и благоговею.— Старик, конечно, приметил гатту, признак истовой веры, на лбу Хайдара.

— Это мне смиреннейше и благодарно нужно внимать вам, о мудрейший из мудрейших,— Реза приготовился было продолжать беседу в том же духе еще минут десять, как вдруг, к его разочарованию, святой старец кивнул и коротко бросил:

— Что ж, к делу! Вы, разумеется, наслышаны об этом Гички. Верить ему нельзя.

— Нельзя?

— Ни в чем! Продажная тварь! Вы и по своим бумагам проверить сможете.

— Но мне особо приятно получить сведения, так сказать, из первых рук...

— Ныне все политики хороши — Аллаха не чтут, одна контрабанда на уме. Вам такое даже слушать в тягость: ведь армия подобным себя не запятнала.

— Продолжайте, прошу вас.

— Из-за границы понавезли всяких дьявольских штуковин. Именно дьявольских! За границей их полно!

Итак, Гички обвинялся в том, что в обход закона заполонил невинный край божий холодильниками, ножными швейными машинами, американскими пластинками на семьдесят восемь оборотов с легкой музыкой, книжками про любовь (с картинками!), воспламенившими сердца местных дев, домашними кондиционерами, кофеварками, костяным фарфором, юбками, немецкими темными очками, концентратом кока-колы, пластмассовыми игрушками, французскими сигаретами, противозачаточными средствами, автомобилями, коврами ручной работы, автоматическими винтовками, духами с греховными ароматами, бюстгальтерами, синтетическими трусиками, полевыми машинами и инструментами, книгами, карандашами с ластиком, бескамерными шинами. Таможенник на границе тронулся умом, а заменившая его бесстыжая дочь (за определенную мзду) смотрела на контрабанду

сквозь пальцы. В итоге все названные «дьявольские штучки» беспрепятственно, что называется, средь бела дня попадали на большие магистрали, оттуда — к цыганам, торговавшим даже в столице.

— И армии,— заключил Дауд, перейдя на шепот,— не след ограничиваться усмирением наших диких горцев. Заклинаю вас именем Аллаха!

— Поясните же свою мысль!

— Пожалуйста. Молитва — меч веры. И наоборот, верный меч, обнаженный во имя Аллаха, разве не своеобразная святая молитва?

Глаза у полковника потемнели. Он отвернулся, поглядел в окно — его взгляду предстал огромный безжизненный дом. Лишь в окне на верхнем этаже виднелся мальчик, он разглядывал гостиницу в большой полевой бинокль.

Вот Реза вновь повернулся к святому старцу:

— Значит, виноват Гички?

— У нас в провинции — Гички. Но повсюду такое же творится. Ох, уж эти министры!

— Да, министры,— рассеянно повторил Хайдар.

— Что ж, я свое сказал, оставляю вас и низко кланяюсь. Большая честь познакомиться с вами. Велик Аллах!

— Да пребудем в его власти!

И, памятуя об этой беседе, Реза отправился в грозный край газовых месторождений. А перед его мысленным взором почему-то возникал маленький мальчик с биноклем на верхнем этаже в одиноком доме. Ведь он же чей-то сын. При этой мысли по щеке Хайдара поползла слеза, но ее тут же сдуло ветром.

— Месяца на три уехал, не меньше,— жаловалась Билькис по телефону.— Что делать? Я молода, не могу весь день сиднем сидеть, как буйвол в луже. Слава богу, хоть в кино можно сходить.

И по вечерам, вверив дочку заботам местной няни-айи, Билькис отправлялась в новый кинотеатр, назывался он Менгал-Махал. В маленьком провинциальном городке везде сыщутся любопытные глаза, они и в темноте такое увидят! Впрочем, об этом чуть позже, а пока, как ни крути, а придется рассказать о моей юной несчастной героине.

Реза Хайдар уехал в пустынный край воевать с бесчинствующими дикарями, а через два месяца его единственное дитя — Суфия Зинобия — заболела менингитом и сделалась слабоумной. Билькис заходилась в плаче, рвала на себе волосы и одежду (с равным неистовством) подле детской кроватки и сквозь слезы обронила таинственную фразу: «Это кара божья». Разуверившись и в военных, и в гражданских врачах, она обратилась к местному целителю Хакиму, тот приготовил очень дорогое лекарство из кактусовых корней, тертой слоновой кости и попугаичьих перьев. Жизнь девочке он спас, но (как заранее предупредил) умственное развитие приостановилось до конца ее дней, так как у снадобья оказалось, на беду, побочное действие: все компоненты способствовали долголетию, а следовательно, задерживали бег времени в организме пациента. Когда Реза приехал в отпуск, дочка уже оправилась от болезни, хотя Билькис казалось, что у двухлетней крохи начинает сказываться неизлечимая заторможенность. «А вдруг еще какие побочные действия обнаружатся? Кто знает?»— в ужасе думала мать.

Бремя вины придавило Билькис, вины столь тяжкой, что ее не объяснить даже болезнью единственной дочери. Будь я завзятым сплетником, я б не преминул приплести кое-что менгалоподобное, то бишь разделил бы ее пристрастие к кино и к некоторым толстогубым молодым людям.

Накануне приезда Резы, снедаемая виной, Билькис всю ночь прошагала по своим «покоям для молодоженов» в «Блистательной». Сле-

дует отметить, что при этом одной рукой она непрерывно и непроизвольно поглаживала живот вокруг пупка. В четыре утра она дозвонилась до Рани Хараппы в Мохенджо и, исполнившись здравого смысла, сказала следующее:

— Рани, несомненно это кара божья, и ничто иное. Реза мечтал о сыне-герое, я ж принесла ему дочь-идиотку. Это правда, и никуда от нее не денешься. Рани, у меня дочь вырастет раззявой и тупицей. Безмозглой дурой. Голова набита соломой, шариков не хватает — так говорят про таких. Что делать? Ах, дорогая моя, ничего уж не поправишь. Смирюсь и понесу свой стыд.

Когда Реза вернулся в К., он снова увидел мальчика в окне вымершего дома. Расспросив местного краеведа, узнал, что живут в доме три сумасшедшие ведьмы; на улицу они и носа не высовывают, зато детей рожать умудряются. Замеченный полковником мальчик — их второй сын. Ведьмы, одно слово: они клянутся, что и рожают сообща.

— Поговаривают, сэр, что сокровищ у них в доме побольше, чем у Александра Македонского,— заключил рассказчик.

Хайдар ответил с чуть заметным превосходством:

—Если павлин распустит хвост в джунглях, кто ж им полюбуется?

Сам же не сводил глаз с мальчика в окне, пока джип вез его к гостинице. Там его встретила жена с распущенными волосами, с ненакрашенным безбровым лицом — живое олицетворение постигшей семью беды — и поведала мужу то, о чем стыдилась написать. Больная дочка, чужой мальчишка в окне с биноклем причудливо отобразились в измученной трехмесячным пребыванием в пустыне душе полковника, и полыхнувшая ярость погнала его прочь из «гнездышка для молодоженов». Чтоб ярость не спалила его дотла, нужно было найти какой-то выход, причем незамедлительно. Вызвав штабную машину, Хайдар помчался прямо в резиденцию губернатора Гички — тот жил в военном городке. Не считаясь с этикетом, напрямик доложил ему, что строительные работы в Игольной долине идут полным ходом, но местные племена будут до тех пор представлять опасность, пока ему, полковнику Хайдару, не дадут чрезвычайных полномочий: жестоко карать любое неповиновение.

— С помощью Аллаха мы удерживаем позиции. Но хватит миндальничать! Сэр, дайте мне право действовать по собственному усмотрению. Так сказать, carte blanche. Иногда гражданский закон должен отступить перед военной необходимостью. Эти дикари понимают только один язык — силу. Закон же обязывает нас говорить на другом — мы, точно слабые женщины, позорим себя! Толку не будет, сэр. Последствия я предсказать не берусь.

Гички возразил было, что государственные законы никоим образом не должны попираться армией:

— Мы не позволим, сэр, варварского обращения с местным населением. Никаких пыток! Пока я губернатор, ни одного горца не повесят на дереве вниз головой.

Реза заговорил в неподобающе высоких тонах, громовой его голос раскатился далеко за двери и окна резиденции губернатора, поверг в трепет караульных — они никогда не слышали, чтоб их командир кричал. А кричал он вот что:

— Господин Гички, армия не дремлет! Все честные солдаты видят, что творится в стране, и поверьте, сэр, они не очень-то довольны. Народ волнуется. И у кого им искать честности и порядочности, если политики обманут их чаяния?— И Реза Хайдар в гневе покинул Гички. А маленькому, коротко стриженному губернатору, похожему лицом на китайца, осталось лишь мысленно парировать нападки пол-

ковника. А того у штабной машины поджидал Дауд. Офицер и святой старец разместились на заднем сиденье, из-за стеклянной перегородки до водителя не донеслось ни слова. Но можно предположить, что хотя бы одно слово (точнее, имя) все же донеслось до полковничьего уха из благочестивых уст. И имя это сулило скандал. Неужели благочестивый Дауд рассказал Хайдару о свиданиях Билькис с ее Синдбадом? Наверное не скажу, могу лишь предполагать. Есть замечательное правило: не пойман — не вор.

В тот вечер директор Синдбад Менгал вышел из кабинета при кинотеатре Менгал-Махал через черный ход — он выводил в узкий коридор прямо за экраном. Синдбад насвистывал печальную мелодию: лунной ночью юноша томится без возлюбленной. Несмотря на меланхолию, одет он был щегольски — привычке не изменял: яркая европейская рубашка, парусиновые штаны тускло блестели в лунном свете, так же, как и набриолиненные волосы. Вероятно, он не успел сообразить, почему вдруг в коридорчике сгустились тени, да и ножа он не увидел, его до последнего мгновения прятали от предательского лунного лика. Об этом можно сказать с уверенностью. Синдбад Менгал насвистывал, пока ему не вспороли живот. И кто-то другой во тьме тут же подхватил мотив — не ровен час случится на улице любопытный прохожий, а Синдбаду тут же надежно зажали рукой рот и не переставали орудовать ножом.

Потом несколько дней все удивлялись, почему Менгал не появляется у себя в кабинете. Вскорости зрители стали жаловаться на ухудшившийся стереозвук, инженеру пришлось слазить за экран, обследовать колонки с громкоговорителями. В них-то и нашел он клочья белой рубашки, парусиновые штаны, черные полуботинки и некоторые части директорского тела. Так, член был отрезан и воткнут в зад. Голову вообще не нашли. Не предстал перед судом и убийца.

Жизнь, оказывается, не всегда долга.

В ту ночь Реза на редкость грубо и бесцеременно исполнил свои супружеские обязанности. Билькис готова была объяснить это долгим пребыванием мужа в пустыне среди кочевников. Имя Менгала ни разу не упомянули ни муж, ни жена, даже когда в городе только и говорили, что об убийстве. А скоро Реза снова отбыл в Игольную долину. Билькис больше не ходила в кино; внешне она сохранила свою царственную осанку, но порой на нее находила дурнота, кружилась голова, будто стоишь на самом краю пропасти и из-под ног осыпается земля. Однажды она играла со своей увечной дочкой в «водоноса» — перебросила девочку через плечо, будто бурдюк с водой,— и упала в обморок, не успев положить на землю свою ношу. Малышке это очень понравилось. Вскорости Билькис позвонила Рани Хараппе и известила подругу о том, что беременна. Пока она делилась своими секретами, левый глаз у нее вдруг начал непроизвольно подмигивать.

Если чешется ладонь — это к скорым деньгам. Ботинки на полу вперекрест — к дороге, а перевернутые — к беде. Если ножницы режут по воздуху — готовься к ссоре в семье. А начнет мигать левый глаз — жди плохую весть.

«Следующий отпуск,— писал Реза жене,— проведу в Карачи. И родных надо навестить, да и у маршала Аурангзеба на приеме побывать. Не отказываться же от приглашения главнокомандующего. Тебе же в твоем положении нужен покой, и безрассудно было бы с моей стороны звать тебя с собой: дела все не ахти какие важные, а дорога тяжелая».

Под заботливостью может скрываться капкан, куда и угодила Билькис,— любезные мужнины слова связали ее по рукам и ногам.

«Воля твоя»,— написала она в ответ. Двигало ею не только раскаяние, но и нечто неуловимое, не передаваемое словами, нечто вроде заповеди, по которой полагалось притворяться, будто веришь мужниным словам, будто и нет в них скрытого смысла. Заповедь эта называется ТАКАЛЛУФ. Чтобы разгадать народ, обратитесь к его непереводимым словам. Вот и ТАКАЛЛУФ принадлежит к таинственному всемирному клану понятий, которым не ужиться в чужом языке. ТАКАЛЛУФ — это обычай говорить, но так ничего и не сказать; это общественная узда на недовольного, она не позволит ему выразить в словах желаемого; это ироничная насмешка, которую должно принять, ради соблюдения приличий, с невозмутимой миной, будто и нет в словах подтекста. Когда же ТАКАЛЛУФ поселяется в семье — добра не жди!

Итак, Реза Хайдар отправился в столицу без жены... там-то пресловутый ТАКАЛЛУФ опять свел его с Искандером Хараппой (тоже, помнится, не обремененным супругой). И поскольку наши дуэлянты вот-вот сойдутся на поединок, пора поподробнее рассказать и о его причине. «Причина», то бишь яблоко раздора, уже прихорашивается с помощью служанки: умащивается и заплетает косы. Атыйя Аурангзеб (для близких друзей просто Дюймовочка), жена престарелого маршала (главнокомандующего и начальника генерального штаба), собирается устроить вечеринку в честь великого, но почти впавшего в детство мужа-полководца. Ведь ей всего тридцать пять (чуть больше, чем Резе и Искандеру), и обаяние еще не пошло на убыль. Зрелые женщины по-своему привлекательны. Как известно, брак с дряхлым маршалом — западня, вот и приходится Атыйе искать маленькие радости где придется.

А жены двух ее гостей томятся каждая в своей ссылке, каждая — с дочерью (точнее, с несостоявшимся сыном) на руках. (Об Арджуманд Хараппе речь еще впереди, равно, а то и в большей степени, о бедной, умоповрежденной Суфие Зинобии.) Их отцы по-разному приняли свой жребий. Искандер Хараппа, вкупе с жирным боровом по имени Омар-Хайам Шакиль, предается распутству. А Реза Хайдар подпал под чары некоего верного слуги Аллаха, который разъезжает с ним в армейских лимузинах и нашептывает на ухо нечто секретное, от чего полковник лишь морщится. Кино, сыновья колдуний, шишки на богомольном лбу, пугливые лягушки и тщеславные павлины — все лишь разжигало самолюбие будущих соперников. И вспыхнувшее пламя не унять.

А потому дуэлянтам пора сходиться.

Реза Хайдар, можно сказать, был сражен наповал очаровательной Атыйей Аурангзеб. Он так страстно возжелал Дюймовочку, что заломило шишку на лбу. (Однако уступил сопернику в тот же вечер на приеме у маршала. Старый рогоносец мирно спал в углу на кресле, в стороне от блистательного сборища, держа в сонной, но неколебимой руке бокал, до краев полный виски с содовой,— он не пролил ни капли!)

Вот тогда-то и вспыхнуло соперничество между Хайдаром и Хараппой и продолжалось оно, покуда оба они были живы, а то и долее. Поначалу они сражались за обладание маршальской женой, потом борьба перекинулась и в более высокие сферы. Но обо всем по порядку. Маршальская жена: волнующая, дразнящая плоть — зеленое сари приспущено, как принято у женщин в Восточном Пакистане; звездчатые в алмазах серьги из серебра так и играют в мочках ушей; на безудержно манящие плечи накинута тончайшая шаль, вышитая не иначе как искуснейшими рукодельницами из Ансу: золотой нитью меж арабесок вытканы крошечные фигурки — персонажи «Тысячи и одной ночи». Словно живые скачут золотые всадники по плечам

Атыйи, а птички устремляются вниз, вниз по спине маршальской жены... Эх, да такой красотой только и любоваться.

Что и делал Искандер Хараппа, а Реза Хайдар безуспешно пытался пробраться сквозь чащобу молодых щеголей и востроглазых женщин к Дюймовочке. Подле нее уже стоял хмельной и вечно похотливый Хараппа, а красавица улыбалась ему так лучезарно, что капельки пота с разгоряченного страстью чела Хайдара застывали на нафабренных усах. А первый распутник в городе, этот грязный ублюдок, которого стыдится даже двоюродный брат, потчевал богиню красоты пошлыми анекдотами.

Реза Хайдар замер, вытянулся по стойке «смирно», изготовился говорить, дабы под жестким словесным крахмалом ТАКАЛЛУФА сокрыть свою страсть. Но тут Хараппа икнул и воскликнул:

— Вы только посмотрите! Никак наш герой пожаловал, наш горный орел в оперенье стрижа.

Дюймовочка так и расцвела, когда Иски, кривляясь, изобразил оратора, поправил невидимое пенсне и продолжал:

— Как вы, вероятно, знаете, мадам, стриж — пичужка маленькая, толку в ней никакого, зато когда с неба камнем падает — залюбуешься.

В дремучей чаще молодых повес пробежал смешок.

— Рада познакомиться,— прожурчала красавица и одарила Резу взглядом; казалось, Реза вмиг превратился в кучку пепла у ее ног, но тут же услышал свой собственный, убийственно казенный и напыщенный ответ:

— Знакомство с вами для меня честь. Смею заверить вас, что с помощью Аллаха новые земли и новый люд помогут в деле создания нашей великой новой нации!

Красавица закусила губку, сдерживая смех.

— Да пошел ты в задницу!— воскликнул Искандер Хараппа.— Мы повеселиться собрались, а не речи слушать!

Ярость, закипавшая в благовоспитанной полковничьей душе, казалось, вот-вот задушит его; но ничего поделать он не мог: сквернословие и богохульство считались особым изыском, равно и умная ироничность, способная на корню убить желание и уязвить достоинство.

— Прости, брат,— безнадежно начал Хайдар,— я ведь простой солдат.

Хозяйке, видно, надоело сдерживать смех, она положила руку на плечо Хараппе и сказала:

— Иски, проводи меня в сад. Там тепло, а то кондиционер совсем меня заморозил.

— Что ж, идем туда, где тепло! Идем-идем! — вскричал обходительный Хараппа и сунул в руку Хайдару свой бокал — для сохранности.— Ради тебя, красавица, и в аду готов гореть, если и там тебе моя помощь понадобится. Вот и мой родич — трезвенник Реза, тоже в огонь и в воду готов пойти.— И уже на ходу бросил через плечо:— Только не ради дам, а ради газовых скважин.

А откуда-то сбоку за тем, как Хараппа уходил с вожделенным призом в благоуханный сумеречный сад, следил большой, как гора, весь в жирных складках человек — это наш «герой с обочины», доктор Омар-Хайам Шакиль.

Не думайте очень плохо об Атыйе Аурангзеб. Она сохранила верность Искандеру Хараппе, даже когда он остепенился и не нуждался более в ее ласках. Без единой жалобы или упрека затворилась она в своей несложившейся личной жизни. И жила так вплоть до его смерти. В тот день она подожгла на себе старинную расшитую шаль и длинным кухонным ножом пронзила сердце.

Иски, по-своему, тоже остался верен ей. Как только она стала

его любовницей, он перестал спать с женой, отказав ей, таким образом, в детях, а себе — в продолжателе рода (мысль эта, как признался он Омар-Хайаму, даже в чем-то привлекала).

(Здесь придется сделать отступление и пояснить мысль о дочерях — «несостоявшихся сыновьях». Суфия Зинобия действительно родилась «фальшивым чудом», так как отец ее жаждал сына; с Арджуманд Хараппой обстояло иначе: дело было отнюдь не в родительской воле. Сама Арджуманд, известная впоследствии под прозвищем Кованые Трусы, жалела, что уродилась женщиной. В тот день, когда в ней пробудилась плоть, она посетовала отцу:

— К чему это женское тело уготовано? Рожать детей, терпеть щипки да сносить стыд...)

А Искандер вернулся из сада и решил загладить вину перед Резой. Тот как раз собирался уходить.

— Дорогой мой, прежде чем вернешься в горы, непременно погости у меня в Мохенджо. Рани очень обрадуется. Бедняжка, как жаль, что она не видит прелестей городской жизни. Да и Биллу с собой обязательно возьми. Наши женушки наговорятся вдоволь, а мы поохотимся. Ну как, договорились?

И ТАКАЛЛУФ принудил Резу Хайдара ответить:

— Спасибо за приглашение. Мы приедем.

Накануне вынесения смертного приговора Искандеру Хараппе разрешили ровно одну минуту поговорить с дочерью по телефону. И последние слова его были горьки, безнадежны, полны тоски по сжавшемуся в комочек прошлому.

— Арджуманд, доченька, самая большая моя ошибка в том, что я не раздавил этого мерзавца Хайдара, когда он стал силу набирать. Эх, не довел я дело до конца...

Даже во времена гульбы и бражничества у Искандера порой кошки на душе скребли из-за покинутой Рани. Тогда он брал с собой пяток дружков, садился с ними в просторную машину, и развеселый пир продолжался на его усадьбе в Мохенджо. Дюймовочки в такие дни и близко не было, зато Рани царствовала безраздельно с утра до вечера.

Решив навестить Мохенджо, Реза Хайдар с Искандером отправились в путь, за ними следовало еще пять машин с огромным запасом виски, второразрядными кинодивами, сынками текстильных магнатов, дипломатами-европейцами, сифонами с содовой и женами. Жену Хайдара, Билькис, Суфию Зинобию и ее няню-айю встретили на частной железнодорожной станции, построенной Мииром Хараппой на магистрали от столицы до города К. И тот день (единственный) не омрачился ничем дурным.

Несколько лет после казни Хараппы Рани и Арджуманд не дозволялось покинуть Мохенджо. Тогда-то, чтобы развеять тягостное молчание, мать принялась рассказывать дочери про знаменитые шали:

— Я начала расшивать их еще до того, как узнала, что у мужа и Миира-Меньшого одна любовница. Но чуяло мое сердце — не она мне соперница.

Арджуманд к тому времени подросла и принимала в штыки всякую хулу на отца. Потому и озлилась:

— Аллах тебе судья, матушка, ты только и знаешь, что поносишь нашего покойного премьер-министра. Если он тебя не любил, значит, не очень-то ты старалась его любовь заслужить.

Рани лишь пожала плечами:

— Премьера Искандера Хараппу, твоего отца, я всегда любила, хотя таких бесстыжих, как он, на свете не сыскать. Подонок из подонков и жулик из жуликов. Видишь ли, доченька, я хорошо помню те

времена. Тогда у Резы Хайдара еще не выросли дьявольские рожки да хвост, а Искандеру еще не примеряли ангельские крылья.

Дурное в присутствии четы Хайдар затеял в Мохенджо толстый, выпивший лишнего господин. Случилось это вечером, на второй день, на той же самой веранде, где некогда Рани Хараппа расшивала золотом шаль, в то время как дружки Миира-Меньшого грабили усадьбу. Последствия того налета видны были и сейчас: пустые картинные рамы с обрывками холста по углам, диваны с разорванной кожаной обивкой, разрозненные столовые приборы, непристойные слова, намалеванные на стенах, проглядывающие сквозь свежую побелку. Разоренная усадьба, собравшиеся гости — все это напоминало пир во время чумы и предвещало новые беды. Потому-то совсем не радостно, а скорее истерично смеялась актриса Зухра, потому-то так поспешно пили мужчины. Рани не покидала своего кресла-качалки и не оставляла вышивания, возложив все хлопоты на старую айю. А та голубила Искандера, ровно трехлетнего малыша или какое божество. А может, он был для нее и тем и другим. Наконец пришла и беда, и принес ее Омар-Хайам Шакиль: ему на роду написано влиять (с обочины) на ход важнейших событий, в то время как их главные действующие лица все вместе влияли на ход его жизни. Весь вечер он пил, чтоб заглушить беспокойство, осмелел на язык и заявил, что госпоже Билькис Хайдар повезло: ведь Искандер увел любовницу из-под носа ее мужа.

— Не окажись там в нужную минуту Иски,—разглагольствовал Омар-Хайам,—достопочтенной супруге нашего героя пришлось бы спать одной, а всю любовь только детям отдавать.

Говорил Шакиль нарочито громко, ему хотелось привлечь внимание Зухры, а ту больше занимали страстные взоры некоего Акбара Джунеджо, завсегдатая игорных домов и кинопродюсера. Вскорости она, не удосужившись откланяться, исчезла, и перед Шакилем предстала Билькис: она только что уложила дочку спать и вернулась на веранду, беременность ее была уже заметна. Может, этим и объяснялось ее поведение, а может, она просто хотела переложить свою вину на мужа, чья честность тоже подверглась сомнению молвы? Остается лишь гадать. А дальше все повернулось так: когда гости поняли, что женщина с горящим взором слышала каждое слово Омар-Хайама, воцарилась тишина, все замерли, ни дать ни взять живая картина «Ужас». И в этой тишине прозвучал голос Билькис — она звала мужа.

Не забывайте, что эта женщина умудрилась сохранить дупату скромности, даже лишившись остальной одежды. И она не из тех, кто безропотно снесет клевету. Реза Хайдар и Искандер Хараппа молча уставились друг на друга, а Билькис указывала пальцем с хищным ногтем прямо в сердце Омар-Хайаму Шакилю.

— Ты слышал, что сказал этот человек? За что мне такой стыд?!

И вновь опустилась тишина, точно облако затянуло горизонт. Даже ночные совы примолкли.

Реза Хайдар стоял навытяжку. Коль скоро ифрит, этот злой дух чести, пробудили от сна, он не угомонится, пока не насытится.

— В стенах твоего дома, Искандер, я драться не буду,—заявил Реза. И сделал нечто малопонятное, даже сумасбродное. Он чеканным шагом прошел с веранды на конюшню, вернулся с деревянным колышком, киянкой и мотком веревки. Вбил колышек в твердую как камень, землю, привязал себя за щиколотку к колышку, отшвырнул киянку — вот как поступил будущий президент, нынешний полковник Хайдар.— Я буду здесь! — крикнул он.— Каждый, кто позорит мою честь, пусть выйдет ко мне.

И остался там до утра. Омар-Хайам Шакиль вбежал в дом и рухнул без чувств — от страха и обильной выпивки. А Хайдар, набычась, ходил вокруг колышка, насколько доставало веревки. Ночная мгла

окутала дом, гости отправились спать, на веранде остался лишь Хараппа; он понимал, что хоть смуту посеял глупый толстун, выяснять отношения с полковником ему, Хараппе. Актрисочка Зухра, отправляясь спать (причем не одна, подсказывает мой не в меру разболтавшийся язык, на этом я его и окорочу), дала хозяину дома совет:

— Иски, дорогой, ты только смотри не выдумывай ничего! И не смей туда ходить. Ведь он — вояка, ты только взгляни, как танк тебя раздавит, от тебя мокрое место останется. Оставь его, пусть чуток поостынет, ладно?

А вот Рани Хараппа не удостоила мужа советом. (Лишь много лет спустя она сказала дочери: «Мне вспоминается, как твой отец сдрейфил, поступил не по-мужски».)

Кончилось все прискорбно, иначе и быть не могло. Перед рассветом. Представьте себе: Реза провел бессонную ночь, охраняя свою честь, глаза у него набрякли и покраснели от ярости и устали. И естественно, видели плохо, да и ночная мгла еще не отошла, да и обязан ли он видеть всякого слугу? Это я к тому, что, проснувшись спозаранку, старый Гульбаба вышел во двор с круглым медным кувшином — хотел совершить омовение перед намазом, тут-то и увидел он полковника Хайдара, привязанного к колышку. Подобрался поближе, коснулся хайдарова плеча, намереваясь узнать, что это здесь делает господин и не лучше ли ему... Ах, разбалованные, дерзкие старые слуги. Все-то им позволительно за долгую службу. Но осовевший Реза заслышал лишь шаги, почувствовал, как кто-то коснулся его плеча, заговорил — мгновенно обернувшись, полковник нанес сокрушительный удар и срезал Гульбабу, словно лозу. Что-то оторвалось в стариковском теле, наверное, ниточка, связывавшая его с жизнью; не прошло и месяца, как старый Гуль умер. Лицо у него было сосредоточенное и виноватое, словно он припрятал дорогую вещицу, да никак не вспомнит, что именно.

После мужниного смертоносного удара Билькис немного смягчилась, вышла из дому, еще погруженного в предрассветную дымку, и уговорила Резу закончить ночную вахту.

— Подумай о нашей бедной дочурке. Не к чему ей такое видеть!

Реза вернулся на веранду, там его встретил небритый и тоже не сомкнувший глаз Искандер Хараппа, простер к нему объятия, и полковник, проявив немалое великодушие, ответил тем же, обнял Иски, и они, как говорится, обменялись братским поцелуем.

Когда утром Рани Хараппа вышла из спальни попрощаться с мужем, тот помертвел, увидев на плечах жены шаль тончайшей работы, вышитую не иначе как искуснейшими рукодельницами из Ансу: золотой нитью меж арабесок вытканы крошечные фигурки — персонажи «Тысячи и одной ночи». Словно живые, скачут золотые всадники по спине Рани, а птички устремляются вниз, вниз по спине.

— До свидания, Искандер, и помни, что не у всех женщин любовь слепа.

Что касается Резы и Искандера, то, конечно, связывала их отнюдь не дружба, но именно так они называли свои отношения после ночного бдения Резы.

Порой так трудно отыскать подходящее слово.

Всю жизнь мечтала она стать принцессой, и вот наконец, когда Реза Хайдар достиг высот поистине королевских, Билькис лишь недовольно кривит губы. У нее родилась вторая дочка (на полтора месяца раньше срока), однако Реза ни словом не выказал подозрения. И недовольства — тоже. Сказал лишь, что, очевидно, после первенца сына следовало ждать дочь, и она ничуть не виновата в роковой ошибке с первым ребенком. Девочку назвали Навеид, что значит «Благая Весть». Малышка родилась идеальной по всем статьям. Но досталась она ма-

тери нелегко. Доктора заключили, что больше ей рожать нельзя. Значит, у Резы Хайдара никогда не будет сына. Лишь однажды заговорил он о чужом сыне, о мальчике с биноклем у окна в доме колдуний, но больше этой темы не касался. Как не касался больше и жены, все больше́ и больше отдаляясь от нее, одну за другой затворяя двери в коридорах памяти: за одной скрылся Синдбад Менгал, за другой — ссора в Мохенджо; забывалась и любовь.

И не с кем разделить Билькис ложе, разве что с былыми страхами. Именно с той поры страшится она знойных полуденных ветров, веющих из былого.

В стране введено чрезвычайное положение. Реза сажает под арест губернатора Гички и становится главой провинции. С женой и детьми перебирается в резиденцию губернатора, предоставив забвению старую гостиницу с последней дрессированной обезьянкой, которая бесцельно скачет по чахлым пальмам в ресторане; музыкантов, которые пиликают на рассохшихся скрипках перед пустыми столиками. В эти дни Билькис редко видит мужа, он очень занят. Строительство газопровода идет полным ходом, Гички уже не опасен, и можно устроить показательные казни арестованных горцев. Билькис боится, как бы жители К., насмотревшись на повешенных, не воспротивились мужу, но ему об этом не говорит. Он проводит твердый курс, и мудрый старец Дауд даст нужный совет по любому вопросу.

Когда я в последний раз приезжал в Пакистан, мне рассказали анекдот. Спускается Бог на землю пакистанскую посмотреть, как дела, и спрашивает Айюб Хана, почему страна в таком запустении. Тот отвечает: «Это все из-за чиновников. Лихоимцы и бездельники. Убери их, с остальными я управлюсь». И не осталось ни одного государственного служащего. Проходит время, Бог возвращается и видит, что еще хуже жизнь стала. Спрашивает у Яхья Хана: объясни, мол, в чем дело. Тот давай во всем винить Айюба, его сыновей да приспешников. «Воздай ему по заслугам,—просит.—А я уж наведу порядок». Грянул гром небесный, и сгинул Айюб. В третий раз сошел Бог на землю, видит — совсем в стране худо, видно, прав Зульфикар Али Бхутто: пора к демократии возвращаться. Обратил Бог Яхья Хана в таракана и упрятал его в щель под ковром. Проходит несколько лет, а перемен к лучшему нет. Пошел Бог к генералу Зие, дал ему неограниченную власть, только одно условие поставил. «На любое согласен»,—отвечает Зия. «Ответь мне лишь на один вопрос, и я этого Бхутто в лепешку раскатаю, — шепчет Бог на ухо генералу.—В чем дело? Я столько помогал этой стране и никак в толк не возьму: почему народ меня больше не любит?»

Похоже, президент Пакистана убедительно ответил Создателю. Любопытно, что он сказал?

Книга III.
Стыд, Благовесточка и Дева

Глава седьмая.
Сгорая со стыда

Недавно в Лондоне, в Ист-Энде, один пакистанец убил свою единственную дочь за то, что она якобы переспала с белым парнем и тем самым навлекла позор на всю семью. Смыть его могла только кровь. Трагедия вдвойне ужасная, так как отец, несомненно, горячо любил

дочь, а дружная когорта родных и друзей, все как один «азиаты» (хотя этот модный в наши суровые дни ярлык мало что объясняет), не спешили осудить его поступок. Выступая по радио и телевидению, они вздыхали, качали головами, но, по сути, защищали убийцу, говорили, что готовы его понять. Не изменилось их отношение и тогда, когда выяснилось, что девушка ничего «лишнего» и не позволила своему приятелю. Кровь стынет в жилах от такого рассказа, и неудивительно. Я сам недавно стал отцом и понимаю, сколь велика должна быть сила, одолевшая отцовские чувства и направившая нож на его собственную плоть и кровь. Но еще больше ужаснулся я, поймав себя на том, что тоже готов понять убийцу, как и его родные и друзья, с которыми беседовали журналисты. Точнее, страшное известие не ошеломило меня, как нечто из ряда вон выходящее. Сызмальства для нас понятия «честь» и «стыд» едва ли не важнее хлеба насущного. И мы готовы объяснить поступки, совершенно немыслимые для народов, памятующих, что за их грехи Господь пошел на смерть. Возможно ли принести в жертву самое дорогое и горячо любимое, только чтобы ублажить мужскую гордость — это жестокосердное божество? (И, как оказывается, не только мужскую. Я вскоре прослышал о таком же преступлении и по тем же мотивам, только убийцей оказалась мать). Стыд и бесстыдство — концы одной оси, на которой вращается наше бытие. И на обоих этих полюсах условия для жизни самые неблагоприятные, можно сказать, губительные. Бесстыдство и стыд — вот они, корни зла.

Моя героиня, Суфия Зинобия,— плоть от плоти убитой девушки, хотя ее отец — Реза Хайдар — и не бросится на нее с ножом, не бойтесь. Я вознамерился писать о стыде, а перед глазами у меня — мертвое девичье тело: горло перерезано, точно у курицы; лежит девушка на пешеходной «зебре» через дорогу, черная полоса — белая, черная — белая; мигнет над ней в лондонской ночи желтый глаз светофора: вспыхнет — погаснет, вспыхнет — погаснет. Прямо там, под любопытными окнами, и свершилось преступление — открыто, как и велит обычай. И никто не закричал, не воспротивился. На что рассчитывали полицейские, обходя дома, неужто наивно верили, что им помогут? Нет, под взглядом недруга «азиатское» лицо делается непроницаемым. И даже те, кто в ту ночь мучился от бессонницы, ничего не увидели за окном, они просто-напросто закрыли глаза. Зато отец девушки кровью смыл позор со своего имени, променяв стыд на горе.

Мое неуемное воображение даже наделило убитую именем: Анахита Мухаммад, или просто Анна. Говорок у нее — как у всех в восточном Лондоне, джинсы — всех цветов радуги (из каких-то атавистических побуждений она стеснялась оголять ноги). Она, разумеется, понимала и родной язык, на котором разговаривали родители, но сама из упрямства на нем и словечка не произнесла. Вот такая Анна Мухаммад: непоседа, красавица (что уже небезопасно в шестнадцать лет!). Мекка рисовалась ей роскошным танцевальным залом: под потолком крутятся зеркальные шары, подсвеченные лучом прожектора, от них по стенам разбегаются веселые блики... И Анна, молодая, красивая, танцует у меня перед глазами. Однако всякий раз, как я представлял ее, она менялась: то сама невинность, то едва ли не шлюха, то одна, то другая. И наконец, растворилась, исчезла совсем. Тогда я понял: чтобы писать о ней, о стыде, мне нужно вернуться на Восток, уж там-то моя фантазия найдет благодатную почву. Итак, допустим, что, расставшись с жизнью и Англией, Анна очутилась на родине, которую никогда и не видывала, заболела менингитом и превратилась в слабоумную Суфию Зинобию.

Зачем я так с ней обошелся? Может, менингита никакого и не было, может, его придумала Билькис Хайдар, чтобы оправдаться: она часто била девочку по голове и, возможно, нанесла той увечье. Так из «фальшивого чуда» может вырасти идиотка, и причиной этому—роди-

тельская ненависть. И в какие бы одежды ни рядилось наше оправдание — оно неубедительно. На срезах жизненных пластов очень трудно отыскать истину. Каждый срез — это фотография. Что-то показывает, что-то скрывает.

Всякий раз рассказ изобилует тенями несостоявшихся завязок, обойденных сюжетных линий, персонажей. Над этой книгой витает призрак Анны Мухаммад. Но о ней я пока писать не стану. Хватает и других призраков (как прошлых, так и нынешних лет), оживших фантазий,— средоточия стыда и злобы. И призраки вроде Анны населяют страну вполне реальную. Не вымышленный Пеккавистан, а самый настоящий Лондон. Расскажу лишь о двух случаях. Поздно ночью в вагоне метро несколько подростков напали на девочку и избили. Девочка опять же «азиатка», а мальчишки, как нетрудно догадаться, белые. Потом девочка рассказывала, как ее били, но злобы у нее в голосе не было, лишь стыд. И вообще ей не очень-то хотелось говорить на эту тему, она даже в полицию не заявила, стыдилась огласки. И таких, как она, великое множество. Порой на телеэкране мелькают кучки бегущих по закопченным улицам молодых людей, и на челе у каждого горит печать стыда, от него занимаются лавки, полицейские щиты, машины. И мне вспоминается та безвестная девочка в метро. Если людей долго унижать, в них вызреет и вырвется наружу неукротимая ярость. Потом, когда остынут, они будут изумляться: неужели это они учинили такой погром? Они ж не хотели, понятия не имели, что такое натворят, они еще дети, обычные милые ребята... Но мало-помалу у них в сердцах прорастает гордость — ага, значит, и у нас есть силенка, значит, и мы можем дать сдачи. А случись, такая ярость вспыхнула бы у девочки в метро? Она б в два счета раскидала по сторонам своих обидчиков, и не сосчитать сломанных рук и ног, разбитых носов. Она и сама бы не поняла, откуда у нее эта ярость. Не поверила бы потом, что в ней, хрупкой, худенькой, вдруг проснулась такая силища. И что б тогда оставалось делать мальчишкам? Как объяснить в полиции, что она их поколотила, одна-единственная малосильная девчонка? Как смотреть в глаза дружкам? И в душу мою заползает подленькая радость. Ах, как манит, как завлекает эта слепая сила, порожденная злобой.

Для меня девочка из метро так и осталась безымянной. Хотя и ей уготовано воплотиться в Суфие Зинобии — сами убедитесь, когда она появится.

Последний призрак, которого я поселю в свою героиню, —юноша. О нем или о его прототипе вы, наверное, читали в газетах. Его заметили на автостоянке, когда он был уже объят пламенем. Спасти юношу не удалось. Труп и место происшествия тщательно обследовали и пришли к почти невероятным выводам: юноша не обливал себя бензином, не пользовался огнем извне, он самовозгорелся.

Каждый из нас — суть энергия, суть огонь, суть свет. Юноша постиг эту истину, переступив запретный порог, и сгорел.

Пора остановиться. Пока я вещал о духах и привидениях, в моем рассказе промелькнуло десять лет. Впрочем, еще одно слово, прежде чем поставлю точку. Когда я впервые задумался о судьбе Анахиты Мухаммад, на ум пришла последняя фраза из «Процесса» Франца Кафки, в котором удар ножом прерывает жизнь Йозефа К. Моя Анна, как и герой Кафки, тоже погибла от ножа, чего, право, не скажешь о Суфие Зинобии, однако фраза из романа призрачным эпиграфом витает и над моим рассказом.

«Сдохну, как собака!» — прошептал он, словно стыду его суждено было жить и после смерти.

Прошло несколько лет, и супруги Хайдар возвратились в Карачи. Столица выросла, погрузнела, от былого девического изящества не ос-

талось и следа. Реза и Билькис просто не узнали города своей молодости, так столица постарела и подурнела. Поползли жирные складки пригородов, поглотив вековые солончаки: там и сям у песчаных карьеров разноцветными фурункулами выскочили дачи богачей. На улицах встречалось множество угрюмых молодых людей: подпав под чары пышнотелой столицы-обольстительницы, они обнаружили, что ее прелести им не по карману. И у них на челе запечатлелось сдерживаемое неистовство — страшно ходить меж развалин чужих надежд. В городской ночи вольготно жилось контрабандистам, наняв рикш с мотороллерами, они спешили на побережье. Власть, разумеется, находилась в руках армии.

Едва Реза Хайдар вышел из поезда, как молва наградила его венком сплетен. Незадолго до этого бесследно исчез бывший губернатор провинции Аладдин Гички (его наконец выпустили из тюрьмы за недостаточностью улик). С месяц жил он тихо-мирно при жене и собаке, но вот в один прекрасный день отправился погулять с овчаркой и не вернулся, хотя и наказал жене напоследок: «Меня что-то сегодня голод разобрал, скажи-ка повару, пусть дюжину тефтелей к обеду приготовит».

Но дымящиеся, с пылу с жару тефтели (ровно двенадцать!) так и не дождались едока — видно, ему было в тот день не до еды. Может, он насытился, сожрав овчарку (она тоже исчезла без следа, ни волоска с ее шкуры не удалось отыскать). О таинственном исчезновении пошли слухи, причем нередко упоминалось и имя Резы Хайдара. Дело в том, что Гички и Дауд люто ненавидели друг друга, и это было известно, знали все и о тесной дружбе Дауда с Хайдаром. Из далекого городка К. до Карачи долетали удивительные слухи и долго-долго крутились в городском кондиционированном воздухе.

Если верить официальным источникам, правление Резы в Западной провинции оказалось, несомненно, успешным, и карьера его круто пошла в гору. С бандитизмом покончено, в мечетях полно народу, в государственном аппарате долее не процветает гичкизм, то бишь взяточничество, покончено и с сепаратистскими настроениями. Бывалый Резак уже стал бригадным генералом... однако Искандер Хараппа частенько подшучивал над ним, когда оба бывали под хмельком:

— Чего скрывать, дорогой, каждый знает, почему дикари там бесятся. Ведь Хайдар невинных людей за яйца вешает.

Молва не обошла вниманием и семейные заботы Хайдара. Даже до сосланной на край света Рани Хараппы долетели слухи о раздорах меж супругами, об их слабоумной дочке, которую мать величала Стыдобой и ела поедом, о том, что из-за каких-то женских неполадок у Билькис так и не будет сына, а сама она вот-вот заблудится в коридорах своего меркнущего разума. Рани не умела подступиться к подруге с такими разговорами и поэтому уже долго не снимала телефонную трубку.

А кое о чем предпочитали не говорить. Никто, например, не помянул и словом пухлогубого Синдбада Менгала, никто не усомнился в отцовстве младшей дочери Резы...

С вокзала бригадного генерала Резу Хайдара отвезли прямо в святая святых — к президенту, фельдмаршалу А. Одни утверждают, что генерала встретили с распростертыми объятиями и самым дружеским расположением, другие — что президент свирепо отчитывал стоящего навытяжку Резу и весь аж дымился от ярости (дым якобы даже просачивался в замочную скважину, а сам Хайдар, очевидно, получил тяжелые ожоги). Наверное можно сказать одно: из кабинета президента Реза вышел министром образования, информации и туризма, а в К. оправился на поезде новый губернатор. И еще: брови Резы Хайдара отнюдь не пострадали.

Не пострадала и его дружба со стариной Даудом; тот последовал за четой Хайдар в Карачи и, утвердившись в резиденции новоиспечен-

ного министра, тут же отличился: затеял шумную кампанию против потребления креветок и крабов. Они, дескать, питаются всякой нечистью, а поэтому и сами нечисть, не лучше свиньи. В далеком К. о креветках и крабах никто и слыхом не слыхивал, зато в приморском Карачи их хоть отбавляй. Пройдясь по рыбным рядам, почтенный старец был глубоко оскорблен, увидев изобилие мерзостных тварей в хитиновых панцирях. Привлек он на свою сторону и столичное духовенство (те просто решили не спорить со стариком). Спрос на ракообразных стал угрожающе падать, и местные рыбаки обратились к иной статье дохода — контрабанде. Теперь юркие парусники загружались не крабами, а запретным спиртным да сигаретами. Но ни то, ни другое не попадало в резиденцию Хайдара. Дауд совершал неожиданные набеги на комнаты прислуги и проверял, послушны ли они Всевышнему.

— С помощью Создателя можно очистить даже этот город, кишащий всякой морской нечистью,— заверил он Резу.

Прошло три года после возвращения Резы Хайдара из К., и стало очевидно, что его звезда потихоньку движется к закату — грязные слухи (о Менгале, Гички, пытках горцев) по-прежнему бродили по городу. Может, поэтому Хайдара и оставили в Карачи, когда столица переехала на север, туда, где чистый горный воздух и безобразные новомодные, возведенные специально домины. Переехало (со всеми сотрудниками) и министерство образования, информации и туризма; а Резу Хайдара, по правде говоря, оттуда вытурили. Его вернули в армию и поставили командовать военной академией. Резиденцию не отобрали, но старец Дауд подзуживал:

— Эка важность — мраморные стены ему оставили! Все равно унизили, с грязью сровняли; краб и в мраморном панцире краб.

Но рассказ мой несколько опередил события. Оставим пока и слухи и креветок. Вернемся к зардевшейся слабоумной Суфие Зинобии.

Слабоумием я ее наделил, чтобы подчеркнуть ее невинность. Чем еще передать чистоту и невинность на Земле Чистых Сердцем? Как написано, невинны простые души. Не слишком ли высокое предназначение идиотке я избрал? Возможно, но прочь сомнения! Суфия Зинобия уже подросла (скорее телом, нежели умом), но именно благодаря ее слабоумию она представляется мне душой чистой в грязном мире. Вглядитесь: вот она гладит рукой плоский камушек, не умея выразить словами, почему в нем сокрыто совершенство; вот она прямо светится от радости, слыша ласковые слова, и не важно, что они почти всегда предназначены не ей... Вся материнская любовь Билькис досталась младшенькой — Навеид. Благовесточка — вот какое прозвище пристало к ней, и девочка просто купалась в любви Билькис, едва не тонула в ласковых волнах. А Суфие Зинобии — материнскому позорищу и обузе — не перепадало и капельки. Зато на нее дождем сыпались попреки, ругань и даже побои. Увы, такой дождь не умягчает душу. Без любви душа очерствеет, но девочка тем не менее тянулась к ласке и, почуяв столь драгоценное сокровище рядом, вся светилась от радости.

Еще она умела краснеть. Если вы помните, с рожденья. Но и десять лет спустя родителей немало смущали пожаром вспыхивающие щеки дочери. Думается, пожар этот разгорелся еще пуще в пустынном краю, в городке К., когда чета Хайдар нанесла непременный визит вежливости Бариамме и ее племени. Древняя старуха наклонилась было поцеловать девочек и ахнула, обжегшись о пылающие щеки Суфии Зинобии. Губы она все-таки чуток опалила и полмесяца их пришлось смазывать дважды в день целебным бальзамом. Столь непослушный температурный режим девочки лишь разъярял мать. И на этот раз

Билькис привычно заголосила, будто не замечая изумленных взглядов:

— Это не ребенок, а выродок! На нее и взглянуть-то нельзя, двух слов не сказать — сразу зардеется, что твой маков цвет. Ей-богу! Разве нормальное дитя может распалиться докрасна, так что одежда тлеет?! Но что поделаешь, неудачный ребенок, нам остается лишь все с улыбкой сносить.

Недовольство отца с матерью своей старшей дочерью ужесточилось в суровом пустынном краю и стало допекать ее неистовее яриласолнца.

Было от чего горевать. Вернувшись в Карачи, Билькис наняла для дочери няньку-огнепоклонницу, и та в первый же день пожаловалась: купая Суфию Зинобию, она обварила руки. Красная как рак, девочка источала такой жар, что вода в ванночке едва не кипела.

А дело вот в чем: Суфия Зинобия Хайдар непроизвольно краснела всякий раз, когда кто-либо замечал ее присутствие на белом свете. А еще, мне думается, краснела она и за весь белый свет.

Позвольте поделиться догадкой: переболев менингитом, Суфия Зинобия обрела сверхъестественную чувствительность ко всему, что творится вокруг в сфере невидимой, и как губка впитала множество «беспризорных» чувств.

Куда ж деваются эти «беспризорные», то есть отринутые нами чувства, как по-вашему? Когда б огорчиться грубому слову, а мы не огорчаемся; раскаяться б в содеянном зле, а не раскаиваемся; не внемлем зову смущения, морали, стыда. Представим себе стыд в виде напитка — сладкого, шипучего, от которого портятся зубы,— такой продается в любом автомате. Нажмешь нужную кнопку, и в стакан упруго ударит пенная струя. Как эту кнопку нажимать? Да проще простого. Нужно лишь соврать, или переспать с белым парнем, или, вопреки родительским ожиданиям, уродиться «фальшивым чудом». И вот уже, пенясь, хлынул стыд — угощайтесь! Но сколько людей так и не нажимают на нужную кнопку, творят постыдное: лгут, распутничают, не уважают старших, не выказывают патриотизма, подтасовывают избирательные бюллетени, обжорствуют, изменяют супругам, пишут романы о своей жизни, мошенничают в картах, унижают женщин, проваливаются на экзаменах, переправляют контрабанду, в решающие минуты крикетных матчей нарушают правила и делают все это нимало не стыдясь. Так куда же девается весь неиспитый стыд? Что происходит с пенистым напитком? Вспомните автомат: вы нажали кнопку, но чья-то бесстыжая рука вырывает стаканчик, и струя бьет мимо, бежит на пол, оставляя пенное озерцо.

Однако я увлекся сферой невидимого, измыслив автомат, торгующий стыдом. А весь неиспитый стыд как раз и уходит в сферу невидимого, но, очевидно, есть на свете несколько душ, чья нелегкая доля — служить помойным ведром, куда сливаются остатки расплескавшегося чужого стыда. Мы стараемся упрятать такие ведра подальше, стараемся не вспоминать о них, хотя благодаря им наша совесть чиста.

Итак, в присутствии родни слабоумная Суфия густо покраснела, а мать истолковала это так:

— Она нарочно, чтоб внимание привлечь! Знали б вы, скольких сил, скольких мучений мне это стоит! И все ради чего? Да просто так! Какая мне радость! Слава богу, у меня Благовесточка еще растет.

Но сколь бы слабоумной Суфия Зинобия ни казалась, всякий раз, когда мать косо смотрела на отца, дочка заливалась краской на глазах у всей семьи, и родные понимали, что меж супругами Хайдар зреет раздор. Да. Убогие души чувствуют немало. Вот так-то.

Краснеть — значит медленно гореть. Но не только. Еще это называется психосоматическим явлением и описывается так: «Внезапное

перекрытие артериально-венозного анастомоза лица приводит к наполнению капилляров кровью и создает характерную интенсивную окраску. Те, кто не верит в психосоматические явления и в то, что душа непосредственно, через нервную систему, влияет на тело, пусть задумаются — почему люди краснеют, почему, вспомнив даже о давней оплошности (причем не о своей, а о чьей-то, больно ударившей), они заливаются краской стыда. Это ли не доказывает (причем убедительнейше), что душа главенствует над телом!»

Как и авторы вышеприведенной цитаты, наш герой Омар-Хайам Шакиль тоже врач. Более того, он тоже интересуется воздействием души на тело, например, поведением людей в гипнозе; фанатизмом шиитов, которые наносят себе во время шествий и молитв кровавые раны (Искандер Хараппа презрительно обозвал их клопами-кровососами); интересно Омар-Хайаму узнать и отчего люди краснеют. Очень-очень скоро сойдутся Суфия Зинобия и Омар-Хайам, больная и врач, в будущем — муж и жена. Иначе и быть не может. Ведь повесть моя не про что иное, как про любовь.

Рассказ о событиях сорокового года в жизни Искандера Хараппы следует начать с того, что он прознал, будто его двоюродный братец Миир-Меньшой добился расположения президента и вот-вот займет высокий пост. Как ошпаренный соскочил Искандер с постели, а Дюймовочка (ей-то принадлежала и постель и новость) даже не шелохнулась, хотя и поняла, что минута роковая! Иски потащил следом за собой и простыню, обнажив тело сорокатрехлетней красавицы; оно уже не источало чудесный свет, слепящий мужчин,— прошли те времена, когда мужчины, увидев Дюймовочку, забывали обо всем на свете.

— Да испоганится могила моей матери!—возопил Искандер Хараппа.—Сначала Хайдар в министры пролез, теперь этот! Нам к сорока катит, мы уже не в бирюльки играем!

«А жизнь-то тускнеть начинает»,—подхватила про себя Дюймовочка. Она по-прежнему лежала в постели и курила одиннадцатую сигарету подряд, а Искандер, завернувшись в простыню, вышагивал по комнате. Вот простыня соскользнула на пол, Дюймовочка принялась за двенадцатую сигарету, созерцая Иски во всей его красе. А тот все шагал и шагал, удаляясь от настоящего, устремляясь к будущему. Красавица уже овдовела — старый маршал Аурангзеб наконец-то переселился в мир иной,—и ее пирушки как-то потеряли значительность, а городские слухи она узнавала последней. Вдруг ни с того ни с сего Искандер сказал:

— На Олимпийских играх в Древней Греции за второе место не чествовали!

От неожиданности у Дюймовочки осыпался пепел с сигареты. А Искандер быстро, но как и подобает истинному щеголю, аккуратно оделся (эта черта так нравилась Дюймовочке) и покинул любовницу навсегда. Без каких-либо объяснений, если не считать последней реплики. За долгие годы последующего затворничества она все обдумала и поняла, что История давно поджидала, когда ж Искандер Хараппа обратит на нее взгляд, ну, а всякий, кого приманит эта кокотка, не находит потом сил ее бросить. История — это и есть естественный отбор. Разные виды и подвиды прошлого отчаянно борются за власть. Появляются виды (то бишь толкования) новые, и старые истины, подобно ящерам, вымирают, или их с завязанными глазами ставят к стенке, разрешая напоследок выкурить сигарету. Выживают сильнейшие. А от слабых, побежденных и безымянных, остаются лишь жалкие следы: маршальские регалии, отрубленные головы, легенды, разбитые кувшины, могильные холмы да блеклые воспоминания о молодости и красоте. История любит тех, кто властвует над нею, она же и обращает их в рабов! Вот такая взаимозависимость. И для всяких там Дюймовочек

в Истории места нет, равно и для подобных Омар-Хайаму Шакилю (это уже мнение Искандера Хараппы).

А новоявленных триумфаторов и грядущих олимпийских чемпионов ждут трудные и напряженнейшие тренировки. Оставив любовницу, Искандер Хараппа поклялся бросить и все прочие вредные привычки — все, что могло бы подорвать его боевой дух. Его дочь Арджуманд вовек не забудет, что отец в ту пору бросил играть в покер, в железку, его больше не видели в определенных домах за рулеткой, он потерял интерес к тотализатору и скачкам, отказался от французской кухни, опиума и снотворных таблеток. Более того, он перестал шарить под сверкающими серебром банкетными столиками в поисках егозливой коленки или податливого бедра какой-нибудь светской дивы; он перестал ходить к шлюхам — их томные и циничные забавы (либо с ним, либо с Омар-Хайамом, либо меж собой по двое, а то и по трое) он еще недавно так любил запечатлевать своей любительской кинокамерой. Да, в ту пору начиналась его, ставшая легендой, политическая карьера, вершиной которой явилась победа над самой Смертью. Пока же его успехи скромнее — он лишь побеждает свои страсти и страстишки. Он изъял из своих публичных «городских» обращений обширный репертуар забористых деревенских ругательств, энциклопедическими познаниями которых обладал — прежде от его громоподобных проклятий хрустальные бокалы выпрыгивали из самых мужественных рук и разбивались вдребезги, еще не долетев до пола. (Однако, выступая перед деревенской аудиторией, сражаясь за их голоса в предвыборной кампании, Искандер пускал в ход испытанное оружие и воздух прямо-таки раскалялся от более чем крепких выражений.) А куда подевался его беспечный смех? Капризные, высокие нотки в голосе бывшего повесы сменились уверенным басовитым рокотком, как и подобает истинному государственному деятелю. Даже к служанкам в собственном городском доме он и то перестал приставать.

Разве кто иной жертвовал стольким ради своего народа?!

Хараппу не видели больше ни на петушиных боях, ни на медвежьих потехах, ни на схватках змей с мангустами. Забыл он дорогу и на дискотеки, и к главному киноцензору, где раз в месяц ему показывали специально подобранные наисмачнейшие кадры, вырезанные из новых зарубежных фильмов.

А еще он решил расстаться с Омар-Хайамом Шакилем и так говорил привратнику:

— Заявится этот ублюдок, ты ему на жирную задницу кипятку плескани, чтоб он полетал кувырком!

Сам же Хараппа удалился в белую с золотом спальню, убранную в стиле рококо,—самое прохладное место у него в особняке (эта бетонная глыбина с кирпичной облицовкой напоминала телефункеновский проигрыватель с приподнятой крышкой). В спальне Хараппа буквально впал в транс, предавшись размыслительному самоуглублению.

На удивление, его закадычный друг и не наведывался, и даже не звонил. Лишь через сорок дней доктору Шакилю довелось удостовериться в переменах, произошедших в доселе беспечном и бесстыдном приятеле...

А кто это там у ног отца-повесы, в то время как его любовница Дюймовочка тихо увядает в своем пустом доме? То Арджуманд Хараппа; ей уже тринадцать лет на лице написано полное довольство. Скрестив ноги, сидит она на мраморном полу в вычурной спальне и следит за тем, как ее отец внутренне перерождается. К Арджуманд еще не прилипло мерзкое прозвище Кованые Трусы, от которого ей не отделаться всю жизнь. Скороспелым своим умом она знала, что под личиной отца сокрыт совсем другой человек, он все растет, набирается сил и вот-вот вырвется наружу, а былая, теперь уже ненужная личина старой змеиной кожей шурша упадет на пол, где ее испепелят безжалостные солнечные лучи.

Не нарадуется Арджуманд, глядя на чудесное перерождение,— наконец-то у нее будет достойный отец!

— Это из-за меня,—объясняет она отцу.—Мне так хотелось, чтоб ты переменился, и ты наконец мое желание почувствовал.

Хараппа улыбается дочери, гладит ее по голове.

— Да, такое порой случается.

— И чтоб никаких больше дядей Омаров,— добавляет дочь.— Сорную траву с поля вон!

Арджуманд Хараппа, она же Кованые Трусы, всю жизнь будет бросаться из крайности в крайность. Уже в тринадцать лет она обнаружила дар ненавидеть, хотя умела и подольститься. Ненавидела она Шакиля, эту жирную образину,— сел отцу на шею и вдавил того в самую грязь; ненавидела она и мать: Рани тихо жила в далеком Мохенджо, как крот в норе, и представлялась дочке воплощением неудачницы. Арджуманд уговорила отца, дескать, учиться и жить ей лучше в городе. Потому-то и почитала она отца без меры: разве что не молилась на него. И вот теперь ее божество и впрямь стало достойно поклонения. И Арджуманд не скрывала радости:

— Ты даже не представляешь, на что способен! Ну, ничего, скоро увидишь!

Искандер, окруженный белыми с золотом постельными покровами и беспредельным обожанием, с неожиданной ясностью мыслит вслух:

— Запомни, Арджуманд. В этом мире хорошо живется только мужчинам. Вырастешь, постарайся стать выше своего естества. Женщине в нашей жизни делать нечего,— от его слов веет грустными воспоминаниями — то последним вздохом отлетает его любовь к Дюймовочке. Но дочь принимает его слова как наказ; когда груди у нее станут набухать, она так туго перевяжет их льняными тряпицами, что покраснеет от боли. Потом ей даже понравится воевать с собственным телом, шаг за шагом тесня ненавистную девичью плоть... но оставим-ка мы пока дочь наедине с отцом, пусть она творит в душе легенду о его богоподобии (а после его смерти уже ничто не сдержит это мифотворчество); а отец пусть призовет на свет отныне чистые душу и разум и решит, как достичь грядущего триумфа и как улестить время.

А где же Омар-Хайам Шакиль? Что сталось с нашим окраинным героем? Время не остановилось и для него: ему, как и Дюймовочке, уже крепко за сорок. Однако оно пощадило доктора, лишь посеребрив его волосы и козлиную бородку. Уместно напомнить, что некогда он считался первым учеником, с годами его первенство не потускнело (как в безудержных любовных утехах, так и в работе). Омар-Хайам первый человек в лучшей городской больнице, иммунолог, хорошо известный и за рубежом. С тех пор как мы последний раз виделись с ним, он успел побывать на научных семинарах в Америке, опубликовал работы о возможности психосоматических изменений в иммунной системе организма, одним словом, сделался важным человеком. Он по-прежнему толст и некрасив, но одевается уже с изыском — видно, общение с франтом Хараппой не прошло даром. Омар-Хайам носит только серое: серые костюмы, серые шляпы, серые галстуки, серые замшевые туфли, белье серого шелка — будто скромный цвет поубавит нахальства в его физиономии. Он не расстается с подарком своего друга Искандера — затейливо изукрашенной резной тростью каштанового дерева, в которой сокрыт кинжал, кованный умельцами из долины Ансу.

Спит он по-прежнему очень мало, два-три часа в день, но давний страх (как бы не свалиться с края света!) нет-нет да и навещает его. Иногда даже во время бодрствования, ведь людям, которые мало спят, трудно провести четкие границы меж сном и явью, а еще труд-

нее эти границы соблюдать. Так и мечутся явь и сон меж пограничных тумб, избегая таможенных постов сознания... Тогда-то и нападает на Омар-Хайама ужасное головокружение, словно стоит он на краю обрыва, а земля под ногами обваливается, крошится — приходится покрепче опереться на трость, чтобы не упасть. Следует еще сказать, что и успех на врачебном поприще, и дружба с Искандером Хараппой в какой-то мере утвердили положение Омар-Хайама, и приступы уредились. Но совсем не прекратились — изредка напоминали Омар-Хайаму, что близок он к краю и никуда ему не деться.

Где ж он сейчас? Почему не позвонил своему закадычному другу, почему не навестил, почему не полетел кувырком с ошпаренной задницей? Я вижу его в городке К. в неприступной крепости матушек и чую: стряслась беда! Иначе ни за что на свете не вернулся бы Омар-Хайам в родные края. Он не появлялся в Нишапуре с того дня, как, погрузив ноги в ванночку со льдом, отбыл на поезде. И напоминал о себе лишь денежными переводами, так оплачивая свое отсутствие ...ведь некоторые векселя никакими деньгами не оплатить. И куда б ни бежал, от себя не убежишь. Он нарочито порвал с прошлым, он заставил себя почти не спать — и то и другое в результате, точно льдом, сковало блестящей коркой шкалу его нравственных оценок, обратило его в бездушную, не различающую добра и зла мумию. И то, что он держится от матушек на расстоянии,— следствие их же старинного наказа: мальчик не должен ведать стыда.

У Омар-Хайама по-прежнему взгляд и голос гипнотизера. Сколько лет Искандера Хараппу вел и этот взгляд, и этот голос (в основном, на пирушки в гостиницу «Интернациональ»), сколько раз Хараппа пускал и то и другое в ход в своих целях. Ведь некоторых белых женщин привлекала как безобразная полнота Омар-Хайама, так и его глаза плюс голос. Они подпадали под его сладкоречивые гипнотические чары, млели от намеков на посвящение в тайны Востока. Он увозил их в заранее заказанный гостиничный номер, гипнотизировал, освобождал от пут условностей (правда, весьма непрочных), и они с Хараппой устраивали «пиршество плоти». Шакиль всякий раз оправдывался: «Невозможно внушить гипнотизируемой то, чего она делать не хочет». Хараппа же оправданиями себя не утруждал. Вот, кстати, еще одна черта, которую он искоренил — уже без ведома Омар-Хайама. Того потребовала История.

А попал Омар-Хайам в Нишапур потому, что умер родной брат, Бабур. Ему не исполнилось еще и двадцати трех, и Омар-Хайам его ни разу не видел. Теперь же от младшего брата осталась лишь стопка замусоленных блокнотов. Справив сорокадневный траур, Омар-Хайам заберет их с собой, в Карачи. Кляксы и каракули — больше ничто не напомнит о младшем брате. Его застрелили, причем приказал открыть огонь не кто иной, как... впрочем, сперва — бабуровы дневники.

Его тело принесли с Немыслимых гор — гнездилища порока и архаров — и, обнаружив в карманах блокноты, вернули их родным, хотя многие страницы затерялись. Несмотря на непотребное обращение с дневниками, можно было восстановить несколько любовных стихов, обращенных к популярной кинопевичке, которую Бабур Шакиль и в глаза не видывал. Плохо рифмованные строки, выражавшие пламенную любовь к недоступной красавице, восхваляли ее ангельский голос, рядом не очень-то к месту, шел уже стих белый, отчетливо порнографического свойства. Стихи перемежались рассуждениями Бабура об аде, который он познал, уродившись младшим братом Омар-Хайама.

Тень старшего сына таилась в любом уголке Нишапура. Матушки уже давно прекратили сделки с ростовщиком и жили исключительно на деньги, которые присылал Омар. Видно, из благодарности

они и поселили своего младшего отпрыска в этакий мавзолей из воспоминаний и оваций славному далекому первенцу.

Омар-Хайам был много старше и давно не хаживал по грязным улочкам К., по которым ныне слонялись пьяные рабочие с газовых месторождений и задирали от нечего делать добытчиков угля, бокситов, оникса, меди и хрома. Над крышами домов еще возвышался все более и более унылый, треснувший купол «Блистательной». Бабур испытывал двоякое чувство: с одной стороны, образ отца (воплощенный в старшем брате) угнетал, с другой — ускользал бесплотной тенью. Так, в женском затворе, пораженном сухоткой воспоминаний, отметил он свое двадцатилетие: сложил посреди внутреннего двора в кучу табели успеваемости, золотые медали, газетные вырезки, старые учебники, пачки писем, крикетные биты — короче, все, что напоминало о прославленном старшем брате, и поджег. Матушки не успели его остановить. Бабур не стал глазеть, как старухи рылись на пепелище, выкапывали обгорелые фотографии, медали, обращенные огнем из золотых в свинцовые. Посредством подъемника юноша выбрался на улицу, настроение у него было далеко не юбилейное. Сам не зная куда, побрел он по улице, невесело задумавшись о весьма ограниченных своих возможностях и о неопределенности будущего. Тут-то и задрожала земля.

Поначалу ему показалось, что задрожало у него внутри, но по щеке больно чиркнула острая щепка, и сознание будущего поэта вмиг прояснилось. «С неба осколки сыплются»,—изумленно подумал он и замигал часто-часто. Ноги сами совершенно неумышленно принесли его в квартал лавочек и притонов. Там, среди маленьких ларьков творилось нечто удивительное, вряд ли такое можно вызвать внутренней дрожью: под ногами лопались дыни, остроносые шлепанцы соскакивали с полок; в проходах валялись и глиняные черепки, и поделки из драгоценных камней, и гребни, и парчовые платья. Бабур ошалело стоял среди всего этого разора, из разбитых окон еще сыпались осколки. Ему казалось, что его внутреннее неустройство и породило весь этот хаос. Как хотелось ему задержать хоть кого-нибудь, остановить эту безумную, охваченную страхом толпу карманников, продавцов, покупателей и попросить у всех прощения за причиненное зло.

Потом он записал: «То землетрясение сотрясло что-то и во мне. Может, самую малость. Зато сразу все стало на свои места».

Но вот все успокоилось, и Бабур отправился в дешевую пивнушку, шагая по хрустящему стеклу, слыша истошные вопли пострадавшего владельца. Уже на пороге он вдруг краем глаза приметил, как с крыши на него смотрит златокрылый человек. Бабур тут же поднял голову, но ангел исчез. Много позже, когда он примкнул к повстанцам, те рассказали ему и об ангелах, и о землетрясениях, и о подземном рае. Раз златокрылые ангелы на их, повстанцев, стороне, значит, несомненно, их дело правое, за него и умирать легко. «Сепаратизм,— писал Бабур,— это вера людей в то, что они не так уж и плохи и в ад не попадут».

Так и провел Бабур Шакиль свой день рождения — в пивной, среди разбитых бутылок. Не раз и не два выуживал он изо рта осколки, так что к ночи губы и подбородок у него были все в крови. Но спиртное надежно обеззаразило раны, и Бабур счастливо избежал столбняка. В пивной он сидел не один. Там еще были: несколько горцев, бельмастая шлюха да странствующие циркачи с барабанами и рожками. День затухал, веселье разгоралось. И в сочетании со спиртным этот коктейль так подействовал на Бабура, что от похмелья он так и не оправился.

Ах, как там было весело! Тсс! Как бы кто не услышал — рассказывали анекдоты.

— Знаешь, дорогой, что шепчет детям при обрезании тот, кто совершает обряд?

— Священную молитву!

— Знаешь, что он говорил, когда обрезал этого Резака?

— Нет. А что, ну, что?

— Всего-то три словечка и шепнул, дорогой мой, а за это его из дома вышвырнули.

— Крепкие, должно быть, словечки! Так какие же?

— А вот какие: «Эх, лишку отхватил!»

И застит хмель Бабуру глаза. Веселье передается и ему, играет в крови, круто и навсегда меняется его жизнь.

— А знаешь, что про нас, горцев, говорят? Что мы родину слабо любим, хотя до любви ох как падки. И это верно. А хочешь знать почему?

— Хочу.

— Ну, так вот. Сначала с родиной разберемся. Во-первых, правительство у нас рис отбирает, чтоб армию кормить. И нам же еще велят этим гордиться. А мы знай ропщем: самим жрать охота. Во-вторых, правительство, у нас все полезные ископаемые забирает, экономику развивает, а мы опять недовольны — нам-то прибыли никакой. В третьих, газ, что в Игольной добывают, чуть ли не всей стране служит, а мы снова ворчим — нам-то этого газа и не достается. Согласись, не за что нам родину-то любить. Это правительство нас без памяти любит. А мы знай подставляемся. Оттого и считается, что наш народ до любви падок.

— Это как понять?

— А так: нас правительство дрючит и будет дрючить до скончания веков.

— Складно говоришь, ох складно...

А назавтра, поднявшись до зари, Бабур покинул дом и ушел к повстанцам — матушки больше не видели его живым. В бездонных комодах Нишапура он откопал старинное ружье и несколько обойм к нему, захватил с собой и несколько книг да одну из школьных медалей Омар-Хайама, которую огонь обратил в презреннейший из металлов. Все для того чтобы не забыть причин, подвигнувших его на такой «сепаратизм», и истоков ненависти, столь сильной, что содрогнулась земля... Укрывшись в Немыслимых горах, Бабур начал отращивать бороду, изучал хитроумную структуру горных общин-кланов, писал стихи, отдыхал между набегами — то на военные посты, то на железную дорогу, то на водохранилища — и, так как обособленная жизнь диктовала свои условия, мог рассуждать в своем дневнике о достоинствах совокупления с овцами и козами. Некоторые повстанцы предпочитали тихонь-овец, другие же были не в силах устоять перед резвушками-козами. Более того, многие из бабуровых однополчан души не чаяли в своих четвероногих возлюбленных, и хотя за голову каждого сулилось вознаграждение, они с риском для жизни появлялись на базарах в К. и покупали подарки своим избранницам: гребни, чтобы расчесывать своих тонкорунных зазноб, или ленты с колокольчиками, чтобы украшать длинные шеи проказниц. Увы, гордячки не снисходили до благодарности. Если не телом, так уж душой Бабур воспарил много выше подобных страстей. И всю нерастраченную любовь он излил на образ популярной певички ни разу так и не виденной им — он лишь слышал ее пение из дребезжащего транзисторного приемника.

Повстанцы наградили Бабура прозвищем, которым он чрезвычайно гордился: его прозвали Императором в честь другого Бабура, основавшего династию Великих Моголов. Когда посягнули на его трон, он ушел в горы с армией оборванцев, положив начало прославленной династии монархов, чье имя по сей день носится киномагнатами едва ли не как почетный титул. Итак, появился Бабур, император Немыслимых гор... Но за два дня до отбытия из К. Реза Хайдар предпринял последнюю атаку на повстанцев, и по его приказу были выпущены пули, поразившие Бабура.

Впрочем, не так-то это и важно, ведь Бабур уже при жизни приобщился к сонму ангелов. В коварных, то и дело сотрясающихся горах, он видел златогрудые и златокрылые существа. Когда Бабур нес дозор на утесе, над ним витали архангелы, а когда он насиловал овцу, не иначе как сам Джабраил кружился над его головой, точно золоченый вертолет. Незадолго до гибели Бабура его бородатые соратники заметили, что кожа у него стала отливать золотом, а на плечах появились зачатки крыльев. Подобное превращение в Немыслимых горах — не редкость. «Недолго тебе среди нас ходить,— с чуть заметной завистью говорили друзья.— Призывают тебя туда, где с овечками уж не позабавишься». Так что ко дню гибели Бабур уже полностью уподобился ангелу: повстанцы напали на товарный поезд, притормозивший будто бы из-за неполадок, и угодили в ловушку, приготовленную Резой Хайдаром. Тело Бабура пронзили сразу восемнадцать пуль — лучше мишени не сыскать, ведь золотистое свечение не скрывала ночью даже одежда,— и душа его легко распрощалась с телом и воспарила к вершинам гор и к вечности. Горы сомкнулись, поднялась целая стая серафимов и под звуки небесных свирелей, семиструнных саранд и трехструнных домр препроводила его в край вечного блаженства. А бездыханное тело, по словам очевидцев, было легкое и словно пустое, как сброшенная змеиная кожа или старая личина повесы, начавшего новую жизнь. Вот так глупый Бабур и покинул этот мир. Навсегда.

Живописать собственную смерть в дневниках он, конечно, не мог. Но ее дорисовали в своем воображении безутешные матушки — это они поведали Омар-Хайаму, как их младший сын превратился в ангела. «Мы вправе подарить ему достойную смерть, чтоб и живым незазорно было жить». Что-то надломилось в душах Чхунни, Муни и Бунни и стало быстро разрушаться под телесной оболочкой — она превращалась в такой же выползок, как и сыновнее тело (однако к концу рассказа матушки вновь обретут былые силы и единство).

Тело Бабура им принесли примерно через месяц после того, как его пронзили восемнадцать пуль, а с ним — записку на почтовой бумаге: «Лишь былое доброе имя вашей семьи спасает вас от великого позора, которым покрыл себя ваш сын. По нашему разумению, с родственников подобных бандитов есть за что спросить». Подписано это было лично Резой Хайдаром перед самой сдачей губернаторских полномочий. Значит, он прознал, что повстанец, угодивший в хитроумную смертоносную ловушку, и есть мальчуган, несколько лет назад следивший за ним, Хайдаром, в бинокль из окна на верхнем этаже наглухо закрытого особняка, стоявшего меж военным городком и базаром.

Из жалости к Омар-Хайаму (чтобы не заставить краснеть и его) не стану описывать сцену у ворот городской резиденции Искандера Хараппы, куда его закадычный друг Омар примчал на такси с братниными дневниками в руках. Хватит с него, он и так накувыркался в жизни, шлепаясь в самую грязь. А тут еще и Искандер от него равнодушно отвернулся! И у Омар-Хайама случился такой сильный приступ дурноты, что прямо на заднем сиденье его вытошнило (однако и этот эпизод я деликатно опущу). В который уже раз омарова жизнь пишется не им самим, а другими людьми.

Ушел из мира сего Бабур, послал в него восемнадцать пуль Реза Хайдар, возвеличился Миир Хараппа, и (как следствие) переменился Искандер. Все эти события, собравшись в кулак, крепко ударили Омар-Хайама. Взбешенный водитель выдворил из такси, и пришлось ему, грязному и вонючему, добираться до дому пешком. Дома у Омар-Хайама мы еще не были. Это четырехкомнатная, отнюдь не шикарная квартира в старом районе. Обставлена более чем скромно, будто ныне взрослый Омар все еще восставал против невероятно захламленных матушкиных покоев, взяв за пример для подражания аскетически пус-

тую (если не считать птичьей клетки) комнату своего (ныне пропавшего) учителя и названого отца — Эдуарду Родригеша. Отца, который и манил, и предостерегал одновременно. Дома Омар, белый как полотно, рухнул в постель, голова все еще кружилась. Он положил стопку потрепанных блокнотов на тумбочку и пробормотал, погружаясь в сон: «Бабур, жизнь долга».

На следующий день он уже вернулся к работе, а еще через день его настигла любовь.

Жил-был пустырь. Симпатичный пустырь в самом центре «Заставы», офицерского кооперативного жилищного комплекса. Справа — резиденция министра образования, информации и туризма: внушительное здание, стены обложены зеленоватым, с красной прожилкой, мрамором. Слева — дом вдовы начальника генштаба, маршала Аурангзеба. Несмотря на завидное расположение и соседство, пустырь так и остался пустырем. Там не закладывали фундамент, не возводили стен из железобетона. К отчаянью владельца, участок этот являл собою небольшую впадину. И два дня в году, когда город буквально упивался щедрыми дождями, впадина заполнялась водой и превращалась в грязное озерцо. И вот это скоропреходящее явление (набравшееся за два дня озерцо вскорости иссыхало под ярым солнцем, оставляя на дне наносный слой мусора и фекалий) отбивало охоту у всякого вероятного застройщика. Хотя, повторяю, расположен участок был идеально: чуть выше на пригорке стоял дом Ага Хана, рядом жил и старший сын президента фельдмаршал Мохаммад А. На этом-то злополучном клочке земли и вздумала вдова Аурангзеб разводить индюшек.

Покинутая как здравствующим любовником, так и покойным мужем, маршальская вдова решила извлечь из участка пользу. Ее вдохновила предприимчивость национальной авиакомпании, начавшей разводить цыплят в инкубаторах прямо на задах аэропорта. Дюймовочка решила заняться птицей покрупнее. Должностные лица «Заставы» не смогли, разумеется, устоять перед обаянием госпожи Аурангзеб (Дюймовочка еще вовсю чаровала чиновников) и сквозь пальцы смотрели на стаи кулдыкавших индюков, заполонивших пустырь. Зато госпожа Билькис Хайдар приняла появление новых соседей как личное оскорбление. Нервная дама (о ней поговаривали, что семейные неурядицы отразились на ее мозгах) поминутно высовывалась то из одного окна, то из другого и кричала на галдящих птиц:

— Кыш! Кыш, проклятые! Какое безобразие! Рядом с домом министра — и такой гвалт! Дождетесь, я головы-то всем поотрываю!

Она даже пожаловалась мужу на вечно галдящих индюшек, которые лишают ее душевного покоя. Реза Хайдар невозмутимо ответил:

— Не забывай, жена, это вдова нашего великого маршала. И она заслуживает снисхождения.

Министр образования, информации и туризма был утомлен — день выдался трудный: нужно было состряпать закон, позволявший правительству бессовестнейше перепечатывать (выдавая за свои) западные учебники. Кроме того, министр лично разбил вдребезги переносной копировальный аппарат, на котором размножались антиправительственные материалы. Его нашли в подвале у аспиранта-гуманитария, отучившегося в Англии и зараженного враждебной идеологией. Еще Реза Хайдар обсуждал с местными перекупщиками, каким образом предметы древнего искусства исчезают с мест археологических раскопок, причем министр проявил такую дотошность, что торговый люд преподнес ему, в знак признательности, голову — остаток каменной статуи, изваянной еще во времена северного похода Александра Македонского. Одним словом, говорить об индюшках Резе Хайдару совсем не хотелось.

А Билькис не забыла, что сказал некий толстяк об ее муже и госпоже Аурангзеб много лет назад на веранде в Мохенджо. Не забыла

она и то как решительно встал на защиту ее чести муж, привязав себя за ногу к колышку. А еще на тридцать втором году жизни она вдруг сделалась очень крикливой. В тот год ее, как никогда прежде, донимал суховей. Случаи лихорадки и умопомрачения участились в четыре с лишним раза. Подбоченясь, Билькис заорала на мужа, не стесняясь дочерей:

— Ну и денек у меня сегодня! Теперь еще и ты меня этими птицами доконать хочешь!

Старшая слабоумная дочка тут же густо покраснела. Ведь слепому видно, что воцарение шумливых индюшек знаменует очередную победу Дюймовочки над всеми честными женами окрест, победу, о которой сама вдовица и не догадывалась.

Жила-была умственно отсталая девочка, которой двенадцать лет твердили, что она — материн стыд. Да, вот и дошел мой рассказ до тебя, Суфия Зинобия, он добрался до твоей постели с резиновой подстилкой, до твоего роскошного министерского дома с мраморными стенами, где спальни на втором этаже. За окнами слышится индюшачий гомон, а за туалетным мраморным столиком еще громче голосит твоя сестренка, требует, чтобы няня-айя крепче тянула ее за волосы.

А вот у Суфии Зинобии к двенадцати годам обнаружилась очень некрасивая привычка — выдирать у себя волосы. Когда у нее были еще длинные волнистые волосы, она никогда не давала Шахбану (своей айе-огнепоклоннице) вымыть их до конца — кричала, лупила ногами. Няня уходила, а сандаловое мыло оставалось на волосах, они секлись, расщеплялись. Суфия Зинобия садилась на бескрайнюю постель (еще во младенчестве ее заказали родители, а потом перевезли с собой из К., сохранив и резиновую подстилочку, и огромные соски-пустышки) и раздирала расщепленный волос до корня. Занималась она этим всерьез и подолгу, словно исполняла ритуальное самоистязание подобно «клопам-кровососам», как Искандер Хараппа обозвал шиитских дервишей, безжалостно избивающих себя во время шествий, поминая пророка Али в месяц Мухаррам. Во время этого занятия глаза у нее тускло поблескивали, как далекие льдинки или упрятанные в глубоких темных глазницах огоньки. А вокруг головы дыбом торчали обреченные пряди и, пронизанные солнечными лучами, казались гибельным нимбом.

На следующий день после индюшачьего демарша Билькис Суфия Зинобия, сидя в кровати, принялась расправляться со своими волосами, а ее младшая сестренка Благовесточка с плоским, как лепешка-чапати, лицом, взялась доказать, что ее густая гривка отросла настолько, что на нее можно сесть. Изо всех сил откинув голову, она кричит побледневшей Шахбану:

— Тяни же! Тяни! Что есть мочи! Ну, чего ты ждешь, дура? Давай!

И девочка-айя с ввалившимися глазами, худенькая, тянет-тянет за гривку, пытаясь дотянуть ее до худенькой хозяйкиной попки. А той до слез больно, но решимость не убывает.

— Женская красота,— едва шепчет она,— начинается с макушки. Неспроста говорят, мужчины с ума сходят по длинным шелковистым волосам, таким, чтоб на них сесть можно было.

Шахбану робко вставляет:

— Ничего не получится, биби, не достают.

Благовесточка, отшлепав свою айю, напускается на сестру:

— Ты, чучело! Посмотри на себя! Да будь у тебя мозги не набекрень, все равно с такими волосами никто замуж не возьмет! Не голова, а репа какая-то. Или свекла. А может, редиска. Ты вот волосы дерешь, а мне от этого только беда. Ведь старшая дочь первой должна замуж выйти. А скажи, айя, кто такую возьмет? Вот уж мне беда, так

беда! Давай-ка, айя, тяни снова, да покрепче и чтоб достать! А на эту дуру и не смотри! Пусть себе краснеет, сколько хочет, да в постель мочится! Она ж не понимает, она ж дура дурой, ноль без палочки!

Но отклика у няньки Навеид Хайдар не находит. Та лишь недоуменно пожимает плечами:

— Не надо б вам, биби, так старшую сестру хаять. А то, глядишь, язык почернеет да отвалится.

Сестры — у себя в спальне, а за стеной уже дышит зноем суховей. В доме закрывают ставни, защищаясь от стихии, за садовой оградой вопят перепуганные индюшки в жарких объятиях неистового ветра. Он все крепчает, и жизнь в доме замирает. Вот Шахбану прикорнула на подстилке прямо на полу подле кровати Суфии Зинобии. Благовесточка, измученная добровольной пыткой,— на своей еще детской постели.

Сестры спокойно спят: у младшей разгладилось простодушное личико, во сне она не старается казаться красивей, чем есть; у старшей, наоборот, пропало бездумно-туповатое выражение, и четкие правильные черты лица порадовали бы самый придирчивый взгляд. До чего ж сестры непохожи! Суфия Зинобия неприлично мала ростом (но мы любой ценой избежим банальнейшего сравнения ее с восточной миниатюрой), а Благовесточка долга и тонка. Суфия и Навеид: одна — вестница стыда, другая — добра; одна — тихая и медлительная, другая — проворная и шумливая. Благовесточка всегда смотрела взрослым в глаза до бесстыдства прямо, Суфия неизменно отводила взгляд. Для матери младшая дочка была сущим ангелом, ей все сходило с рук. Много лет спустя Омар-Хайам будет вспоминать: «Случись такой конфуз с женитьбой у Суфии Зинобии, так с нее б с живой кожу содрали и отослали к прачке-дхоби».

А всю сестринскую любовь Благовесточки можно в конверт запечатать да в любой конец света за одну рупию отослать, так ничтожно мал ее вес. Но кажется, я опять отвлекся. Ах, да, налетел знойный ветер, завыл, зарычал, заглушив все и вся. Он нес тучи песка, а с ним болезни и умопомрачение. Такого страшного ветра никто за всю жизнь не упомнит, он выпустил на белый свет демонов, пробрался сквозь затворенные ставни к Билькис, закружил вокруг нее хоровод бесплотных видений прошлого, и хоть она и зарылась головой под подушку, все одно: перед глазами — золотой всадник с вымпелом, на котором горит страшное, таинственное слово: ЭКСЕЛЬСЬОР. За воем ветра не слышно даже индюшек — все живое кругом попряталось. Но вот жгучие щупальца суховея дотянулись и до спальни сестер, одна из них тревожно зашевелилась.

Грядущую беду легче всего приписать ветру. Возможно, его пагубное воздействие и впрямь всему виной: знойное щупальце коснулось Суфии Зинобии, она зарделась, точнее вспыхнула (может, оттого-то и проснулась), повела сонным взглядом и вышла. Но я все же склоняюсь к тому, что ветер — всего лишь совпадение, удобная отговорка. А случившееся — пример того, как копились двенадцать лет ненависть и унижение и как это отразилось, пусть и на неполноценной девочке. Всему есть предел, своя последняя капля, хотя ее и не угадать, не соотнести с конкретным событием. Может, это тревоги маленькой Благовесточки о замужестве? Или невозмутимость Резы, когда на него орала жена? Наверное сказать нельзя.

Суфия Зинобия, очевидно, делала все во сне — когда ее нашли, казалось, она только что проснулась и хорошо отдохнула. Скоро ветер стих и дом пробудился от тяжелого полуденного сна. Шахбану увидела пустую постель и подняла тревогу. Никто потом не мог понять, как девочка-лунатик могла пройти по всему дому министра, миновать охрану. Шахбану не сомневалась, что это из-за небывалого ветра часовые заснули мертвым сном, а лунатизм Суфии обрел такую силу, что каждый встречный впадал в транс, видя ее, а она, выйдя из

дома, пересекла сад и перелезла через забор. Но мне думается, дело не в ветре, а в самой Суфие Зинобии — в дальнейшем, увы, не придется пенять на ветер...

Так вот, когда унялся ветер, девочку нашли на индюшачьем подворье. Она сидела, свернувшись клубочком, и крепко спала прямо под палящим солнцем, а вокруг валялись мертвые индюшки. Да, мертвые. Двести восемнадцать выкормышей одинокой вдовицы — один к одному. Зрелище так ошеломило, что никто не догадался убрать убитых птиц. Так и лежали весь день — и на припеке, и в мглистых сумерках, и при леденящем свете звезд — двести восемнадцать индюшек, которым не суждено было попасть ни в духовку, ни на обеденный стол. Суфия Зинобия оторвала им всем головы и, просунув руку в самое нутро, вытащила кишки — они торчали из горла — и все это голыми руками, слабыми детскими руками! Шахбану первой увидела свою хозяйку, но подойти не решилась. Потом подоспели Реза и Билькис, а за ними и остальные: младшая сестра, слуги, соседи. Все, вытаращив глаза, смотрели на девочку, перепачканную кровью, и на ее обезглавленные жертвы — вместо голов из горла торчали кишки. На все это побоище потерянно взирала госпожа Аурангзеб. Ее поразила слепая ненависть во взгляде Билькис. Женщины не проронили ни слова, и ту и другую терзал ужас, но причины у каждой были свои. Первым заговорил Реза. Он наконец оторвал взгляд уже повлажневших глаз с черными окружьями от лица дочери, от ее окровавленных губ. В голосе у него звучали и восхищение и отвращение.

— Надо ж, голыми руками! — Государственный министр поежился.— Откуда у ребенка такая сила?

Железные покровы молчания были сорваны, и Шахбану заголосила, запричитала. Ее визгливые, хотя и бессмысленные вопли, пробудили Суфию Зинобию от глубокого забытья. Открыв точно подернутые матовой пленкой глаза, она увидела учиненный разгром и потеряла сознание, в точности повторив свою мать — некогда Билькис тоже потеряла сознание от стыда, увидев свою наготу в многолюдье.

Какие силы подвигнули это дитя с разумом трехлетнего несмышленыша, с телом двенадцатилетней девочки на такую кровавую бойню индюков и индюшек? Можно только догадываться: то ли Суфия Зинобия, повинуясь дочернему долгу, вознамерилась избавить мать от докучливых пернатых, то ли ей передалось праведное, но подавленное в недрах отцовской души возмущение — ведь он предпочел защитить Дюймовочку. Неоспоримо одно: долго Суфию Зинобию давил гнет «фальшивого чуда», которым она оказалась, долго чувствовала она себя воплощением семейного позора и стыда, и вот в лабиринтах ее заторможенного разума сошлись ШАРАМ и злоба. Неоспоримо и другое: проснувшись, она не менее окружающих изумилась таившимся в ней силам, которые вырвались наружу.

В красавице жил зверь. Так два главных персонажа сказки сошлись в одной моей героине... По этому случаю Билькис в обморок падать не стала. Ей, скорее, было ужасно неловко за поступок дочери, и стыд точно льдом сковал ее движения и речь.

— Успокойся! — приказала она причитающей айе.— Сходи и принеси ножницы!

Пока загадочное поручение матери не было выполнено, она никого не подпускала к дочери, лишь грозно вышагивала вокруг нее; даже Реза не осмелился подойти. При этом она тихонечко приговаривала, так что до стоящих поблизости мужа, маршальской вдовы, младшей дочери, слуг, случайных прохожих долетали лишь отдельные слова.

— ...волосья повыдираю... право первенца... Женская гордость... Косматая, точно мавр, а в голове — пусто... подлюга... идиотка...

Но вот принесли ножницы, и Билькис, ухватив дочь за длинные, спутанные пряди, пошла их кромсать, кромсать, кромсать. Вмешаться

никто не посмел. Наконец она выпрямилась, чтобы передохнуть, однако ножницы продолжали чикать по воздуху. Голова у Суфии Зинобии походила на кукурузное поле после пожара: лишь кое-где на унылом сером фоне чернела стерня уцелевших волос — такой разор учинила материнская ярость. Реза Хайдар осторожно (потому что не оправился от изумления) взял дочь на руки и унес в дом, подальше от карающих ножниц — они все еще щелкали в неуемной руке Билькис.

Если ножницы режут по воздуху — это к беде в семье.

— Мамочка! Что ты наделала! Она ж теперь похожа на...— опасливо хихикнула Благовесточка.

— Мы мечтали о сыне,— сказала ей Билькис,— но Всевышнему виднее.

Суфия Зинобия так окончательно и не пришла в себя после обморочного забытья, хотя ее (легонько) трясла за плечо и Шахбану, и (изо всех сил) Благовесточка. Назавтра к вечеру она пылала в жару, покраснев от макушки до пяток. Тщедушная айя (из-за глубоко запавших глаз она казалась старухой, хотя ей только сровнялось девятнадцать) не отходила от огромной, с перильцами, постели, то и дело меняя холодные компрессы на лбу больной.

— Вы, огнепоклонники, по-моему, неравнодушны ко всем свихнутым,— заявила юной няне Благовесточка.— Рыбак рыбака видит издалека!

Мать вообще не поинтересовалась, чем и как лечат больную. Она сидела у себя в комнате, не выпуская ножниц из рук, и резала, резала, резала по воздуху.

— Ветром надуло,— так определила Шахбану непонятную болезнь, от которой пылающая стриженая голова Суфии отливала свинцовым блеском. На вторую ночь, однако, жар спал, больная открыла глаза, и все решили, что дело пошло на поправку. Наутро Шахбану с ужасом увидела, что с крошечным телом девочки творится неладное: оно покрылось огромными красными пятнами. В середине каждого образовался белый твердый пупырышек; на ступне, на спине рдели вспухшие гнойники. Начала обильно выделяться слюна, она струйками стекала с уголков губ. Под мышками появились черные язвы, как будто вся черная злоба, накопленная и вызревшая в этом маленьком теле, обратилась против него самого, забыв про индюшек, решив извести самое девочку. Как будто Суфия Зинобия, подобно деду Махмуду, дожидавшемуся в пустом кинотеатре расплаты за новую кинопрограмму, или подобно солдату, бросающемуся на меч, сама решила выбрать себе кончину. Ее поразил недуг пострашнее чумы — стыд, причем стыд, который должны были бы испытывать да не испытали окружающие (например, Реза Хайдар, расстрелявший Бабура Шакиля), а также неизбывный стыд за свое существование, за нелепо обкромсанные волосы. Так вот, этот недуг поразил маленькое несчастное существо, отличительная черта которого — чувствительность к бациллам унижения и оскорбления. Суфию Зинобию отвезли в больницу. Из всех ее ран непрерывно сочился, капал, струился гной, а голову ее венчало очевидное доказательство материнской ненависти.

Кто такие святые? Это люди, которые страдают вместо нас.

В ту же самую ночь во время непродолжительного сна Омар-Хайаму очень докучали видения прошлого, причем в каждом главным действующим лицом выступал некто в белом костюме — опозоренный учитель Эдуарду Родригеш. А Омар-Хайам снова был мальчишкой. Он повсюду следовал за учителем, будь то туалет или постель, очевидно полагая, что так ему сподручнее забраться в нутро своего кумира и

обрести долгожданное счастье. Но Эдуарду все время отмахивался от него белой широкополой шляпой, отгонял как муху, дескать, сгинь, исчезни! Долгие годы потом доктор ломал голову, к чему бы это, пока не понял — то были предостережения, предвосхитившие события: не влюбляйся в несовершеннолетних девочек, не убегай с ними на край света, они тебя непременно там и бросят. Да так далеко, что лететь тебе и лететь в звездной пустоте, вопреки силе притяжения и здравому смыслу. Запомнился ему конец сновидения: Эдуарду Родригеш, в том же белом, но уже потрепанном и кое-где подпаленном костюме отлетает прочь на огнедышащем облаке, подняв руку над головой, словно прощаясь... да, отец, разумеется, предостерегал; но ведь и как манил! Омар-Хайам наконец растолковал сон, хотя отцовские предостережения и запоздали: сын уже избрал себе звезду в лице двенадцатилетней девочки с умом трехлетней — Суфию Зинобию, дочь человека, убившего его брата.

Представляете, как огорчает меня своим поведением Омар-Хайам! Еще раз вопрошаю: ну какой же это герой? В последний раз мы видели его после приступа головокружения, в собственной вонючей блевотине, грозящего отмщением. И вот сейчас он совсем потерял голову от хайдаровой дочери. Что сказать о таком персонаже? Не глупо ли требовать от него логичности? Я же обвиняю этого, с позволения сказать, героя в том, что у меня от него тоже голова кругом идет.

Поэтому потихонечку, помаленечку (никаких резких движений, прошу вас) постараемся во всем разобраться: конечно, душевное равновесие героя нарушено: умер брат, отвернулся лучший друг. Это, так сказать, смягчающие вину обстоятельства. Примем же их во внимание. Разумно предположить, что приступ головокружения, напавший на него в такси, повторился через несколько дней и вконец выбил нашего героя из колеи. Хоть и маленькие, но все же козыри для защиты.

Двинемся дальше. Шаг за шагом. Вот Омар-Хайам просыпается, на душе — пусто и одиноко, не с кем встретить зарю. Он умывается, одевается, идет на работу. Оказывается, окунувшись с головой в работу, можно худо-бедно жить. Даже приступы дурноты можно отогнать.

А чем он занимается на работе? Как уже известно, иммунологией. Поэтому его ли вина, что к нему в больницу привезли дочку Хайдара: у Суфии Зинобии иммунная система в кризисном состоянии, так кому ее показать, как не крупнейшему в стране специалисту?

Осторожней, пожалуйста. Избегайте шума. Иммунологу, ищущему душевный покой в сложной, поглощающей целиком работе, Суфия Зинобия, что называется, послана самим Богом. И Омар-Хайам, освободившись от прочих обязанностей, все время проводит подле слабоумной девочки, чьи внутренние защитные силы, вместо того, чтобы охранять организм, пошли на него войной. Омар-Хайам совершенно искренен (ведь и впрямь иммунный бунт не прекращается) в своем порыве: неделя-другая, и он уже полностью знает всю ее историю и болезни (впоследствии он изложит в трактате «Заболевание мисс Х.» важнейшие, открытые им самим подтверждения того, что душа, «воздействуя на нервные проводящие пути», оказывает влияние на функционирование всего организма). История болезни Суфии Зинобии обойдет все медицинские круги. И навечно окажутся вместе врач и пациентка, связанные узами высокой науки. Поможет ли это укрепить их узы на другом, более интимном поприще? Подожду с выводами. А пока сделаем-ка еще шажок.

Доктор убежден, что Суфия Зинобия сама хочет причинить себе вред. В том-то и необычайность ее заболевания: очевидно, что даже убогая душа способна ведать сложнейшими процессами тела; даже недоразвитый ум может свершить дворцовый переворот, поднять на

самоубийственное восстание против тела прислуживающие ему органы.

После первого осмотра больной он заметил:

— Сильнейшее расстройство иммунной системы. Подобного чудовищного разлада в организме я еще не видел.

Осторожненько-осторожненько перенесем это признание на некоторое время вперед (у меня есть множество обвинений против Омар-Хайама, но они пока подождут). Потом, как ни старался доктор извлечь все мельчайшие подробности из отравленного колодца памяти, он не сумел точно указать, когда его профессиональный интерес перерос в трагическую любовь. Он признал, что Суфия Зинобия никоим образом не потрафляла его чувствам — нелепо утверждать обратное, зная ее положение. Как бы там ни было, он глупо и безнадежно влюбился.

Случилось ли это во время его ночных бдений у постели больной, когда он проверял действие прописанного Суфие Зинобии курса иммуноподавляющих средств? Рядом с ним неотступно сидела Шахбану. Она милостиво согласилась надеть стерильную белую шапочку, перчатки и маску, но наотрез отказалась оставить девочку наедине с доктором-мужчиной. Да, пожалуй, в эти ночи, под нелепейшим надзором айи, он и влюбился в Суфию Зинобию. Или чуть позже, когда понял, что победил, что мятеж в организме больной подавлен, с помощью лекарств-союзников потушен этот страшный пожар: исчезают последние его очажки на теле девочки, вновь появляется румянец на щеках. До или после кризиса больной — не важно, но только Омар-Хайама настигла любовь.

— И где мой разум?! — корил он себя. Однако чувства никак не подчинялись логическому мышлению. Омар заметил, что теряется в присутствии Суфии Зинобии, а по ночам во сне гонится за ней на край земли, и с небес на его страсть с жалостью взирает скорбно-бесплотный Эдуарду Родригеш. Омар тоже пытался найти смягчающие обстоятельства, уверял себя, что во всем виновато его бедственное душевное состояние, но, право, не идти ж ему на прием к психиатру... нет, упаси Бог!

Как бы ни кивал он на свое здоровье, легко ему не отделаться. Я обвиняю его в том, что душа его так же безобразна, как и тело. Неспроста проницательнейшая Фарах Заратуштра обозвала его зверем много лет назад. Я обвиняю его в том, что он возомнил себя Всевышним или, по крайней мере, Пигмалионом, присвоив себе право распоряжаться спасенной девичьей жизнью. Я обвиняю эту жирную свинью в том, что, раскинув умом, он понял: красавицы жены ему не видать, разве что взять умалишенную. И все-таки предпочел прекрасную плоть, а не здоровый женский рассудок.

Омар-Хайам уверял, что страсть к Суфие Зинобии излечила его от головокружения. Чушь! Вздор! Я обвиняю злодея еще и в том, что он, презрев стыд, решил вскарабкаться по ступенькам общественного положения (причем, пока он лез наверх, у него ни разу не закружилась голова!), только восхождение его было прервано весьма важным в то время лицом. Да, Омар-Хайам решил поохотиться за журавлем в небе. Но как беззастенчиво, как бесстыдно: ухаживать за дурочкой, чтобы обольстить ее отца! И не важно, что по приказу отца-генерала только что всадили восемнадцать пуль в тело омарова брата — Бабура Шакиля. «Бабур, жизнь долга»,— бормочет Омар, но нас не проведешь. Да он никак помышляет о мести? Женившись на неполноценной девочке, он на долгие годы попал в ближайшее окружение Хайдара и все выжидал подходящего момента — и до, и во время, и после президентства генерала. Ведь месть нужно готовить терпеливо и бить наверняка, не так ли? Трепач! Словоблуд! Все угрозы трусливого борова, пропитанные блевотиной и виски — не более чем жалкий и слабый отголосок страшной клятвы мести Искандера Хараппы, по-

кровителя, собутыльника и приятеля нашего героя. Омар-Хайам и не думал мстить — он не из таких! Да и жалел ли он хоть немного погибшего брата, которого ему так и не суждено было увидеть? Сомневаюсь, как сомневались и сами матушки (о чем мы вскорости узнаем). Так что всерьез говорить о мести не приходится. Это ж он просто пошутил, вот и все! Если и думал о кончине брата, то, скорее, с иным чувством: «Дурак! Террорист! Бандит! Чего он добивался!»

И напоследок еще одно, разящее наповал, обвинение. Люди, отринувшие свое прошлое, не могут объективно воссоздать мысленную картину былого. Омар-Хайама поглотила огромная блудница-столица, и провинциальный мир пограничного городка К., оставшийся вновь далеко-далеко, представляется ему дурным сном, злой сказкой, миражем. Большой город и приграничная провинция — понятия несовместимые. Выбрав Карачи, Омар-Хайам отбросил К., точно легкую оболочку вроде старой кожи. Что бы ни происходило в тех краях, как бы ни менялись нравы и запросы — он к той жизни долее не причастен. Большой город — это лагерь беженцев.

Да пропади пропадом Омар-Хайам! Будто на нем да на его любимой свет клином сошелся!

Пора двигаться дальше. Я и так потерял уже семь лет повествования, занимаясь всякими больными. Семь лет! Нас уже поджидают свадьбы. Ох, как летит время!

Не люблю, когда жениха и невесту сводят. Случаются же неудачные браки, и нечестно всякий раз обвинять бедных родителей.

Глава восьмая.

Красавица и Зверь

— Представь, что тебе меж ног всадили рыбину, угря, например: и лезет этот угорь все глубже; или будто в тебя шомпол засунули и гоняют туда-сюда. Вот и все, что ты почувствуешь в первую брачную ночь, больше мне и рассказать-то нечего.— Так напутствовала Билькис свою младшую дочь Благовесточку. Та слушала пикантные подробности и дергала ногой от щекотки — мать разрисовывала ей хной пятки. При этом вид у нее упрямо-смиренный, словно она знает страшную тайну, но никому не расскажет. Ей исполнилось семнадцать лет, и ее выдают замуж. Женщины из гнезда Бариаммы слетелись, чтобы убрать невесту. Билькис красит дочь хной, вокруг крутятся родственницы, кто с ароматными маслами, кто со щетками и гребнями для волос, кто с краской для век, кто с утюгом. Главенствовала, как всегда, похожая на мумию, слепая Бариамма — она охала и ахала, слушая отвратительно-омерзительные описания интимной супружеской жизни, которыми щедро оделяли невесту почтенные матроны, и в негодовании свалилась бы на пол, если бы не кожаные подушки, подпиравшие ее со всех сторон.

— Представь: тебе в пузо шампуром тычут, а из него еще горячая струя бьет, прямо обжигает все нутро, как кипящий жир!— пугала Дуньязад, и в глазах у нее полыхали отблески давней вражды.

Молодое девичье сословие было настроено более жизнерадостно.

— Наверное, это — будто верхом на ракете сидишь, а она несет тебя на Луну,— предположила одна из девушек, но ее «ракета» ударила по ней самой: так сурово выговорила ей Бариамма за богохульную мысль, ведь один из постулатов веры гласит, что невозможно долететь до Луны. Женщины завели озорные припевки, уничижающие жениха; звали его Гарун, и приходился он старшим сыном Мииру Хараппе.

— Нос — картошкой! Лицом — что помидор! Ходит точно слон! А в штанах у него — мужской гордости — кот наплакал!

Но вот в первый и последний раз за вечер заговорила Благовесточка, и никто ей и слова не нашел в ответ.

— Мамочка, дорогая,— твердо заявила она в напряженной тишине,— я за этого дурака замуж не пойду. Так и знай.

Гаруну Хараппе было двадцать шесть лет, и имя его уже породнилось с дурной славой. Год он проучился в Англии, напечатал в студенческой газете заметку о настоящей тюрьме, которую устроил отец на своей обширной усадьбе Даро, и где годами томились его узники. Написал Гарун и о карательной экспедиции, которую некогда повел отец на дом своего двоюродного брата Искандера; упомянул и о счете в иностранном банке (даже номер указал), на который отец переводил крупные суммы народных денег. Статейку эту перепечатал еженедельник «Ньюсуик», так что на родине Гаруна властям пришлось арестовать весь присланный тираж с «подрывным» материалом и выдрать из каждого журнала компрометирующие страницы. Однако об их содержании прознала вся страна. А в конце года Гаруна Харапшу исключили из колледжа. Причина: за три семестра, изучая экономику, он так и не усвоил, что такое «спрос» и «предложение». И его «разоблачительная» газетная статья, как полагали многие, была продиктована неподдельной и нескрываемой глупостью: парень, конечно же, хотел поразить иноземцев-англезов, похвастать, какие умнейшие и влиятельнейшие у него родные. Ни для кого не было секретом, что учебные премудрости Гарун постигал в лондонских игорных домах да бардаках. Рассказывали, что, придя раз на экзамен, он вытянул билет и, даже не присев подумать, пожал плечами и радостно объявил: «Не, это все не по мне!» — и без лишних слов пошагал к своему «мерседесу».

— Похоже, наследник у меня умом не вышел,— посетовал Миир Хараппа в разговоре с президентом,— так что не стоит его наказывать. Вернется домой, образумится, глядишь.

И все же Миир разок попытал счастья — а вдруг оставят сына в колледже — и прислал профессорам сигары в деревянной, с серебряной филигранью, шкатулке. Ученые мужи, разумеется, отвергли даже мысль о взятке от столь важной персоны, как Миир Хараппа. Подарок приняли, а сына все-таки выдворили! Гарун Хараппа привез домой множество теннисных ракеток, адресов арабских принцесс, фигурных бутылок с виски, костюмов от лучших портных, шелковых рубашек, фото эротического содержания. Не привез он только одного — заграничного диплома.

Разоблачительную статью в «Ньюсуике» породила, однако, не гарунова глупость. Статья явилась плодом глубокой и незатухающей ненависти сына к отцу, ненависти столь сильной, что ей суждено было пережить самого Миира Хараппу. Миир-Меньшой был суровым диктатором по отношению к сыну. Явление далеко не редкое, порой сыновняя любовь и уважение от этого даже крепнут, но в нашем случае все окончательно испортила собака. Когда Гаруну (он в ту пору жил на усадьбе Даро) исполнилось десять лет, отец подарил ему огромную коробку, перевязанную зеленой лентой. Из коробки доносилось приглушенное тявканье. Гарун рос единственным ребенком в семье, а потому замкнутым и расположенным к уединению. И он вовсе не обрадовался щенку колли с длинной шелковистой шерстью — вежливо поблагодарил отца, но восторга не выказал, что и взбесило Миира. Через несколько дней стало ясно, что Гарун перепоручит пса заботам прислуги. Но отец, проявив ослиное упрямство, строго-настрого приказал слугам и не прикасаться к собаке. А сыну заявил:

— Твой пес, ты за ним и ухаживай!

Гарун в упрямстве не уступал отцу, он даже не потрудился дать собаке кличку. Несчастной псине приходилось самой под паля-

щим солнцем искать себе еду и воду; она запаршивела, заболела чумкой, на языке появились странные зеленые пятна, а с длинной шерстью в жару впору взбеситься. В конце концов бедная животина прямо у парадного крыльца, жалобно поскулив, испустила дух, а заодно и подобие густой желтой кашицы из-под хвоста.

— Похорони!— приказал Миир Гаруну, но тот стиснул зубы и пошел прочь; чем больше смердел разлагавшийся труп безымянной собаки, тем сильнее мальчик ненавидел отца. И с тех пор стоило Гаруну вспомнить отца, он ощущал запах тухлятины.

Миир Хараппа понял, в чем была его ошибка, и всеми правдами и неправдами постарался вернуть расположение сына. Миир рано овдовел (жена умерла при родах), поэтому сын значил очень много для него. Он чудовищно избаловал мальчика — тот никогда не просил ничего мало-мальски стоящего (например, новую рубашку), но отец пытался сам разгадать потаенные желания сына и забрасывал его подарками: тут и полный набор для игры в крикет — воротца, защитные скобы, щитки, двадцать два белых костюма, разные по весу биты и россыпь красных мячей — их хватило бы на всю жизнь. Была у него даже белая судейская форма и протокольные бланки. Увы, Гарун так и не увлекся крикетом, и роскошные дары отправились доживать век в дальний угол усадьбы, заодно с оснасткой для игры в поло, палаточным крепежом, заграничными проигрывателями и отечественными кинокамерами, кинопроектором с экраном. В двенадцать лет мальчик выучился ездить верхом, и с той поры часто видели, как он тоскливо смотрит на горизонт, за которым скрывалась усадьба Мохенджо — вотчина его дяди Искандера. А прослышь Гарун, что Иски навестил родительский дом, он сломя голову мчался к дяде, чтобы хоть посидеть в ногах у того, кого мечтал (с полным, как ему казалось, правом) видеть своим отцом. Когда мальчик пожелал переехать жить в Карачи, Миир не стал препятствовать. Но в столице, росшей как на дрожжах, так же стремительно росло и гаруново преклонение перед распутным дядей: он тоже сделался щеголем и сквернословом, тоже начал преклоняться перед европейской культурой — то есть выказал характернейшие дядины черты (естественно, до его великой перемены). Потому-то и попросился юный Гарун на учебу за границу; потому-то и коротал он время в Лондоне со шлюхами да за игорным столом. Вернувшись домой, он не изменил привычкам, они вошли в плоть и кровь, и бросить их оказалось ему не под силу, в отличие от его кумира-дядюшки: тот раз и навсегда порвал со всем, что не приличествует государственному мужу. В городе поговаривали, что Иски-маленький (так прозвали Гаруна)— равноценная замена Искибольшому. Миир Хараппа по-прежнему всем, чем только можно, расплачивался за скандальное поведение сына, надеясь вернуть любовь единственного отпрыска. Куда там! Во хмелю (то есть почти всегда) парень стал чересчур болтлив. Да и собутыльники его не отличались воздержанностью в речах. Гарун по пьяной лавочке высказывал бунтарские идеи, расхожие среди европейских студентов — он наслушался их, пока учился в Англии. Гарун осуждал диктат армии, засилье олигархии, не жалел слов, которые и сам-то не ахти как уважал, но верил, что они еще больнее ударят ненавистного родителя. Однажды он зашел так далеко, что предложил: не пора ли начать массовое производство бутылок с горючей смесью — небезызвестного «коктейля Молотова». Говорилось это все на пляже, Гарун сидел верхом на огромной, еще мокрой черепахе. Она только что вылезла из воды на песок, чтобы отложить яйца, из которых не суждено вылупиться потомству. Никто из приятелей не принял его слова всерьез. Зато осведомитель (непременный в таких компаниях), как положено, донес о них. Президент А. взъярился — и без того положение правительства было шатким,— так что Мииру Хараппе на коленях пришлось вымаливать прощение для непутевого сына. И конечно, не обошлось бы

без семейной сцены (чего страшно опасался Миир), но нежданно положение спас Искандер Хараппа — он тоже прослышал о недавних «шалостях» племянника и призвал его к себе, в свой дом, похожий на «телефункен» с поднятой крышкой. Переминаясь с ноги на ногу, Гарун ежился под острым, насмешливым взглядом Арджуманд, а ее отец тем временем бесстрастно, но безжалостно выговаривал племяннику. Одет дядя был в зеленый костюм от Кардена, напоминавший форму китайских хунвэйбинов, и неспроста: будучи министром иностранных дел в правительстве президента А., Искандер Хараппа прославился тем, что заключил договор о дружбе с председателем Мао, навел, так сказать, мосты. Фотография, запечатлевшая великого Цзэдуна в объятиях Иски, висела на стене кабинета, где дядя заявил племяннику:

— Мне стыдно за твое поведение. Пора бы и образумиться. Так что, женись.

Арджуманд Хараппа так грозно сверкнула глазами на Гаруна, что тот и не подумал возразить.

— Но на ком?— лишь обреченно спросил он.

— Мало ли приличных девушек, любую выбирай,— и дядя повел рукой — аудиенция окончена.

Гарун повернулся и пошел к двери. Искандер Хараппа крикнул вслед:

— А если политикой интересуешься, то лучше не на черепахах катайся, а при мне работай.

К тому времени Искандер Хараппа уже полностью переродился и являл теперь могущественную силу на политической арене. Он все замечательно рассчитал и уверенно, шаг за шагом, поднимался к цели — недаром Арджуманд всегда верила в недюжинный ум отца. Поначалу он углубился в вопросы высокой международной политики, написал несколько статей, обозначив помощь, которую его родина вправе ждать от великих держав, от мусульманского мира, от прочих азиатских стран; затем последовала серия страстных и убедительных речей — с ними нельзя было не согласиться. Он выступал с идеей «мусульманского социализма», ратовал за прочный союз с Китаем, чем завоевал поддержку масс, и, не занимая никакого министерского поста, фактически вершил внешнюю политику страны. У президента А. не оставалось выбора, и он назначил Хараппу министром иностранных дел. И вмиг взошла звезда Искандера — тому способствовало и личное обаяние, и умение представить чуть ли не Гретой Гарбо любую, самую заурядную и плоскогрудую супругу гостящего зарубежного руководителя.

— Но знаешь, что больше всего меня радует?— поверял он дочери.— Мы начинаем строить шоссе в Китай через Каракорумское плато, и я уж себе в удовольствии не откажу, помытарю министра общественных работ.

Коим был не кто иной, как Миир Хараппа! Его дружба с президентом оказалась бессильной перед растущей популярностью Искандера.

— Наконец-то я этого мерзавца прижучу!— злорадно ухмыляясь, сказал он Арджуманд.

Скоро режим президента А. стал терять поддержку народа, Искандер Хараппа подал в отставку и создал новую политическую партию Народный фронт, стал ее первым председателем и, по сути, содержателем: деньги он брал из своих несметных богатств.

«Меньшой» Хараппа как-то невесело сказал своему другу-президенту:

— Что-то уж очень нахраписто наш бывший министр иностранных дел за дела внутренние взялся!

На что президент пожал плечами и молвил:

— Он знает, что делает,— и добавил:— К нашему с тобой сожалению.

Слухи о взяточничестве и аферах в правительстве лишь подлили масла в огонь — все равно борьбу Хараппы за демократию уже не остановить. Он ездил по деревням, обещал каждому крестьянину акр земли и новый колодец. Его посадили в тюрьму — мощные демонстрации заставили его выпустить. Хараппа произносил речи на разных диалектах: жирные коты и мелкие стервятники опоганили страну. То ли сила его красноречия, то ли портняжное искусство мсье Кардена заставляли слушавших забыть о том, что и сам Хараппа отхватил себе жирный кус земли Синд... Искандер Хараппа предложил Гаруну вести пропагандистскую работу в родном районе.

— Расскажи о своей статье в «Ньюсуике»,— напомнил дядя,— это сразу покажет, что ты борец против коррупции.

Гарун Хараппа сразу же согласился, ведь ему предоставлялась возможность расправиться с отцом в его же вотчине.

«Вот так-то, папочка,— радостно думал он,— жизнь долга».

Через два дня после гаруновых революционных призывов с черепашьей спины в Мохенджо зазвонил телефон. Рани Хараппа поначалу не распознала, кто говорит: в трубке хрипело и сипело, какой-то мужчина все извинялся и мялся. Наконец она догадалась, что это Миир-Меньшой, которого она не видела и не слышала со дня налета на усадьбу. Правда, его сын, Гарун, появлялся часто.

— Крути не крути, все одно,— искряхтев и исплевав в трубку все свое унижение, признал Миир.— Мне нужна твоя помощь.

Рани Хараппа исполнилось сорок. Она наконец одолела всемогущую искандерову няньку, попросту говоря, пережила ее. И уже давным-давно забыты дни, когда деревенские служанки могли, бесстыже посмеиваясь, копаться в хозяйкином белье. Рани взяла бразды правления в Мохенджо в свои руки, во многом благодаря неколебимому спокойствию, с которым она украшала вышивкой шаль за шалью, сидя на веранде дома. В деревне решили, что хозяйка вплетает в шали орнамент их судеб, и, пожелай она, враз может испортить жизнь каждому, изобразив на волшебной шали неблагоприятное будущее. Завоевав уважение селян, Рани, как ни странно, примирилась и с остальным в жизни, даже с мужем поддерживала добросердечные отношения, хотя он редко наведывался домой и никогда — в спальню к супруге. Рани уже знала, что с Дюймовочкой у него все кончено и лелеяла надежду (в сокровеннейших уголках своей женской души), что мужчине, избравшему политическую карьеру, рано или поздно придется позвать за собой и жену, дабы утвердиться на высшей ступеньке. Так что ей и пальчиком шевельнуть не придется, Иски сам вскорости объявится рядом. И Рани, уверовав в такой поворот судьбы, поняла, что все еще любит Иски — и не удивилась. С годами ее чувство к мужу лишь наполнилось покоем и силой. В этом они очень разнились с Билькис. От обеих мужья удалились в загадочные чертоги Судьбы, но если Билькис ударилась в сумасбродство (чтоб не сказать сильнее), то Рани доверилась рассудку, отчего и стала сперва могущественной, а потом и опасной личностью.

Когда позвонил Миир, Рани смотрела в сторону деревни: близился вечер, и на улице белые девушки — младшие жены крестьян — играли в бадминтон. В те годы многие селяне ездили на заработки на Запад и те, кто возвращался, привозили с собой белых женщин. Жизнь в деревне, да еще в роли второй жены представлялась им неисчислимым кладезем эротических ощущений. Первые жены относились к белым девушкам как к куклам или любимым кошкам. И, случись какому несчастливцу приехать с заработка без «куклы», он подвергался ругани и поношениям со стороны собственной супру-

ги. «Деревня белых куколок» прославилась на всю округу. Издалека сходились селяне, чтобы посмотреть на девушек в чистых белых платьях, подивиться, как, крича и визжа, гоняются они за воланом, и под короткими юбочками на бегу мелькают трусики с кружевной оборкой. Первые жены истово болели за своих «дублерш», радовались их победам — так радуются успехам детей,— утешали при поражении. И до того приятно было Рани наблюдать, как играют куколки, что она не вслушивалась в слова Миира Хараппы.

— Рани!— вскричал наконец тот, едва сдерживая бунтливую гордость.— Забудь о былом. Ведь дело-то больно важное! Мне срочно нужна жена!

— Что ж, можно понять...

— Ах ты, незадача! Ну не вредничай ты, ради Бога! Не мне жена! Неужто для себя б стал просить?! Для Гаруна. В этом — его спасение.

Столько отчаяния слышалось в сбивчивых словах Миира: как образумить непутевого сына, если не найти ему славную жену?!— что Рани преодолела начальную холодность и сразу же предложила:

— Сватай Благовесточку.

— Так она уже?!.. Ну, женщины, вы время даром не теряете!— воскликнул Миир, неверно истолковав слова Рани.

Так устраивается женитьба: Рани порекомендовала Навеид Хайдар, рассчитывая, что свадьба в доме Билькис будет той на пользу. Телефонные разговоры подруг к тому времени по характеру своему изменились: для Рани они уже не представляли единственную возможность узнать, что творится на белом свете, для Билькис — поделиться последними сплетнями да снисходительно посочувствовать бедняжке Рани (а та смиренно отделяла от многословья подруги скромные крохи событий истинных). Теперь набрала силу Рани, а Билькис, забыв, что она «принцесса», похоронила все устремления (после отставки Резы с поста министра) и нуждалась в поддержке. И поддержка нашлась: неизменно-неколебимо твердая Рани дала и подруге силы выдержать бремя грядущих, все более беспокойных дней.

«То, что ей нужно: окунуться в заботы,— довольная собой, думала Рани.— С приданым, с угощением, со свадебными шатрами ей дел по горло будет. Да и доченьке ее замуж не терпится».

Миир, прежде чем согласиться на брак сына, посоветовался с президентом. Ведь и последнее время семью Хайдар преследовали беды: не затихли еще стародавние слухи о зверствах в К.; да и «индюшачий погром» тоже не удалось скрыть от газет. Но президент, перебравшись в новую столицу, где попрохладнее, чувствовал, что поостыл не только воздух, но и народ, нет былой любви к президенту. А потому он дал согласие на брак: пора, по-видимому, вновь прикрыться героем Ансу — точно теплым одеялом или шалью.

— Я не возражаю,— сказал он Мииру,— поздравьте от меня счастливых молодоженов.

Чтобы обговорить разные свадебные мелочи, Миир даже приехал к Рани в Мохенджо. Держался он скованно и смиренно, старался говорить кротко, но скрывать раздражения не умел.

— Чем только отец не поступится ради сына!— обратился он к Рани — та сидела на веранде и вышивала очередную шаль, спутницу своего одиночества.— Станет мой парень сам отцом, тогда и поймет отцовские чувства. Надеюсь, что эта Благовесточка не бесплодна.

— Что посеешь, то и пожнешь,— глубокомысленно отвечала Рани.— Выпейте чаю, прошу вас.

Реза Хайдар не возражал против помолвки. В то время единственной его заботой было следить за набором и обучением курсантов; каждый день напоминал генералу о закате, напоминал многообразно и многолико, в том числе и глупыми курсантскими мордами — парни,

похоже, не знали, каким концом штыка орудовать. Конечно, Хайдар с трудом подавлял зависть, следя за взлетом Искандера Хараппы.

— Чего доброго, придет час,— пророчествовал он,— и мне у него очередную звездочку на погоны вымаливать придется.

Положение у правительства было шаткое, время — неспокойное, и Реза Хайдар гадал, к кому же ему примкнуть: то ли поддержать требование Народного фронта о всеобщих выборах, то ли употребить остатки своего влияния для помощи правительству и тем самым заслужить повышение. И сейчас ему представился случай, заполучив Гаруна Хараппу в зятья, убить двух зайцев. Совершенно очевидно, президенту этот брак по душе. С другой стороны, Реза знал, что Гарун люто ненавидит отца, значит, он верный сатрап Искандера Хараппы.

А еще возможно, что Реза был рад-радешенек сбыть с рук Благовесточку; та выросла, унаследовав от Синдбада Менгала не только толстые губы, но и полное безразличие к окружающим. Гарун тоже губастый (у них в семье все такие).

— Да они прямо созданы друг для друга, один другого губастей! А уж дети, небось, и вовсе на сомов будут смахивать,— говорил он с непривычной для подобных разговоров игривостью жене, на что та ответила:

— Да не все ли равно?

Так устраивается женитьба. Я, кажется, забыл представить мнения самых что ни на есть заинтересованных лиц — то есть молодых. Невесте прислали фотографию жениха, ему — невесты. Гарун повез коричневый конверт к дядюшке домой и вскрыл его в присутствии Искандера и Арджуманд — редко-редко, но все ж обращаются молодые люди за советом к родне. Цветная фотография невесты была искусно отретуширована: кожа у Благовесточки получилась розовая как промокашка, а глаза синие, как чернила.

— А косу ей подлиннее пририсовали,— заметила Арджуманд.

— Пусть парень сам разбирается,— укоризненно прервал ее отец, но двадцатилетняя Арджуманд почему-то сразу невзлюбила девушку на фото.

— Уродина, да и кожу ей подсветили!— провозгласила она.

— Нужно ж мне на ком-нибудь жениться. А у этой вроде все на месте.

— Да как у тебя язык поворачивается такое говорить?!— возопила Арджуманд.— Глаз, что ли, нет?

Искандер снова осадил дочь и попросил слугу принести сладости и лаймовый сок — отметить заочное знакомство с невестой. А Гарун как зачарованный смотрел на фотографию Навеид Хайдар и поскольку ни ретушь, ни уловки фотографа не сокрыли в лице невесты непреклонной решимости понравиться, так она и понравилась: жених очень скоро подпал под чары ярких и бессмысленных, словно целлулоидных, глаз и счел свою избранницу красавицей. Удивительный обман зрения! Он полностью порожден волей Благовесточки, он полностью подтверждает влияние души на тело. И он будет жить долго-долго, переживет и свадебный скандал, но, увы, не переживет Искандера Хараппу.

— Ну и вредина!— в сердцах бросил Гарун, выпроводив Арджуманд из комнаты.

Благовесточка по-иному отнеслась к фотографии жениха.

— Буду я еще на всякие идиотские фотки глазеть!— заявила она матери.— Он известен, богат, не женат. Так давайте ж его сюда поскорее.

— Он гуляка,— памятуя о материнском долге, предостерегла Билькис: может, девочка еще откажется.

— Я его приструню!— отрезала Благовесточка.

Позже, оставшись наедине со своей айей Шахбану, невеста бо-

лее широко высказалась о браке. Когда Шахбану расчесывала ей волосы, Благовесточка спросила:

— Послушай-ка, ты, глаза-в-колодце, знаешь, что такое женитьба для женщины?

— Я — девушка,— отозвалась Шахбану.

— Женитьба дает власть. Дает свободу. Ты уже не чья-то дочь, а чья-то будущая мать, вот так, ясно, пугало огородное?— И тут вдруг ей вспомнился ответ айи.— Постой, постой, ты на что намекаешь? Хочешь сказать, что я уже не девушка?! Еще одно хамское слово, и я тебя на улицу вышвырну.

— О чем вы, биби? Я ничего не намекала, просто сказала, и все.

— А как хорошо из дома уехать, да подальше. Ишь, сам Гарун Хараппа в руки идет. Ну и удача. Лучше не придумаешь...

— Мы — люди современные,— некоторое время спустя говорила ей Билькис.— Раз ты согласна выйти замуж, тебе нужно познакомиться с женихом. Пусть у нас будет свадьба по любви!

Мисс Арджуманд Хараппа, Кованые Трусы, отвергла столько женихов, что, хоть ей исполнилось лишь двадцать лет, городские свахи махнули на нее рукой. Поток предложений руки и сердца отнюдь не зависел (или, скажем, почти не зависел) от ее завидного положения — как-никак, единственное дитя Искандера Хараппы. Причина крылась в ином — в своеобразной, вызывающей красоте. По мнению самой Арджуманд, так тело зло надсмеялось над ее душой. Я же должен честно признать, что из всех самых что ни на есть раскрасавиц, которыми богата наша страна, на первое место по праву взойдет она — пальма первенства принадлежит Арджуманд, и это несмотря на крошечные, недоразвитые грудки.

Арджуманд ненавидела свой пол и пускалась на разные ухищрения, чтобы только не походить на женщину. Она коротко стриглась, не признавала косметики и духов, носила старые отцовы рубашки, огромные, какие только можно сыскать, мешковатые штаны. Ходила сутулясь и шаркая ногами. Но чем больше она старалась, тем отчетливее проступала цветущая красота девичьего тела — ее не скрывали никакие одежды. Короткие волосы матово блестели; не ведавшее прикрас лицо запечатлело безграничную чувственность, и побороть ее девушка никак не могла; чем больше она сутулилась, тем выше и привлекательнее казалась. К шестнадцати годам ей пришлось досконально изучить искусство самообороны. Искандер Хараппа никогда не отказывал ей в мужском обществе. Она сопровождала отца на дипломатические приемы, где некоторые престарелые посланники, дав волю рукам, получали прицельный удар коленкой в пах и долго приходили в себя, сидя в туалете и выблевывая свою похоть.

В день восемнадцатилетия Арджуманд у дома Искандера Хараппы собралась такая толпа жаждущих и страждущих холостяков, что застопорилось уличное движение. По просьбе дочери Искандер отослал ее в Лахор, в закрытый христианский пансион для девиц. Мужчинам доступ туда был строго-настрого заказан, даже отец мог навестить дочь лишь на короткое время и только в убогом садике с чахлым розарием и проплешинами лужаек. Но отдохновения Арджуманд не получила даже в этой женской тюрьме, где своих товарок она презирала за их пол. Девушки не хуже мужчин не давали ей прохода, обнимали, щипали — особенно старшекурсницы. Одна ее девятнадцатилетняя обожательница, отчаявшись добиться благосклонности Арджуманд, будто бы во сне забрела в пустой бассейн и рухнула с бортика. Ее доставили в больницу с многочисленными черепными травмами. Другая, вконец обезумев от любви, перелезла через забор колледжа и отправилась в Хираманди, район публичных домов, зашла в кафе, решив отдать себя на всеобщее поругание, раз сердце Арджуманд ей недоступно. Но из кафе ее похитили местные сутенеры и потребовали с ее отца, текстильного магната, выкуп в сто тысяч

рупий — только тогда дочь вернут в целости и сохранности. Несчастная так и не вышла замуж: хотя сутенеры и не уронили своего честного имени, то есть и пальцем не тронули девушку, никто этому не верил. После тщательного медицинского обследования директриса колледжа — католичка «чистой воды» — решительно отвергла подозрения в том, что бедняжка лишилась девственности еще в стерильных стенах пансиона. Арджуманд Хараппа написала отцу, попросила, чтоб он забрал ее отсюда. «Здесь мне еще тяжелее,— писала она,— кто бы мог подумать: девушки хуже парней!»

Вернулся на родину из Лондона Гарун Хараппа, и в душе Арджуманд разыгралась настоящая гражданская война. Сходство парня с двадцатишестилетним отцом, запечатленным на фотографии, раздражало Арджуманд. А зная о его пристрастии к гулянкам, азартным играм и прочим непотребствам, она все больше убеждалась, что идея перевоплощения душ, заимствованная четой Хайдар у идолопоклонников-индусов, не так уж и сумасбродна. Зато она гнала прочь мысль о том, что и в Гаруне под личиной беспутства таится истинная его суть, характер человека почти такого же великого, как и ее отец, и открыть эту суть он смог бы с ее помощью, ведь помогла же она отцу... Но признаться себе в этом она не решалась, даже оставшись одна в комнате. В присутствии же Гаруна Арджуманд демонстрировала снисходительно-презрительное отношение к нему, и парень, поверив, решил и не пытать счастья, ведь до него столько поклонников получили отказ. Нельзя сказать, что его не трогала роковая красота Арджуманд, но репутация Кованых Трусов плюс ее изничтожающие и неизменно презрительные глаза отпугнули его, а тут как раз подоспела фотография Навеид Хайдар, и Арджуманд упустила время — менять подход было поздно. Да, Гарун Хараппа — единственный, кроме отца, мужчина, которого любила Арджуманд, и невыносимо было смотреть, как она ярилась после его помолвки. Искандера в те дни поглотили свои заботы, и он не обратил внимания на битву, разыгравшуюся у дочери в душе.

— Черт возьми! Жизнь — такая гадость! — объявила Арджуманд своему отражению в зеркале, даже не подозревая, что повторяет старую материну привычку во время ее одиночного заточения в Мохенджо.

Много лет назад Великий и тогда еще Здравствующий поэт кое-что растолковал мне, и я понял, что нам, убогим прозаикам, нужно обратиться за мудростью к ним, поэтам. Может, потому-то в моей книге поэтов хоть отбавляй: начать с моего друга, которого повесили вниз головой и вытрясли из него всю поэзию; мечтал стать поэтом и Бабур Шакиль; и, наконец, Омар-Хайам, названный в честь поэта, хотя и не сочинивший ни строчки. Так вот, Великий и Здравствующий сказал, что классическая сказка о Красавице и Звере не что иное, как рассказ о браке по расчету.

«Удача в делах отвернулась от купца, и он просватал дочь за богатого отшельника-землевладельца, Зверь-сахиба. За женихом он получает богатое приданое — огромный сундук золота. Красавица-бибиди покорно отдает себя во власть суженому, тем самым восстанавливая благосостояние батюшки. Поначалу, конечно, муж — чужой и непривычный — кажется ей чудищем-страшилищем. Но мало-помалу ее кротость и любовь обращают Зверя в Принца».

— А вы думаете, что после превращения титул за ним сохранится? — несмело спросил я Великого и Здравствующего.

Тот тряхнул седовласой, до плеч гривой и терпеливо, с легким упреком, пояснил:

— У вас обывательская точка зрения. Конечно же, превращение не коснется ни его общественного положения, ни даже его телесной оболочки; оно произойдет в глазах Красавицы. Представьте, как с го-

дами они все ближе друг к другу, как сближаются полюса Красивого и Животного, как, наконец, наша пара счастливо и незаметно станет обычными мужем и женой.

Великий и Здравствующий прославился своими левацкими взглядами и беспорядочными, запутанными любовными связями, поэтому, желая подольститься, я лукаво заметил:

— И почему это женитьба всегда венчает сказку? Да женитьба вдобавок удачная?

Мне-то по молодости лет думалось, что Великий лишь подмигнет или фыркнет в ответ, он же, приняв глубокомысленный вид, изрек:

— Такой вопрос может задать лишь мужчина. Женщина не стала бы ломать голову. Смысл сказки очевиден: женщина должна наилучшим образом распорядиться своей судьбой. Не будет любить мужа — он умрет, Зверь исчезнет, а Красавица останется вдовой-сиротой, и цена ей — грош,— и он чуть отпил шотландского виски.

— Ну, а что, если,— вконец смешавшись, пролепетал я,— что, если девушке противен выбранный для нее жених?

Поэт уже начал было бормотать себе под нос персидские стихи, но тут нахмурился — признак скорой досады.

— Ты насквозь пропитался идеями Запада. Тебя б ненадолго, этак лет на семь, в нашу деревню отправить пожить, с простым людом пообщаться. И поймешь тогда, что сказка эта — наша, и только наша, восточная. И все эти глупые «что, если» позабудешь.

Сегодня, к сожалению, Великий Поэт уже отнюдь не Здравствующий и мне не у кого спросить: а что, если история Благовесточки Хайдар — чистая правда? И уж совсем туго мне придется без ответа Великого на другой вопрос: а что, если в Красавицу ненароком вселится Зверь? А что, если Красавица на поверку сама окажется Зверем? Наверное, Поэт упрекнул бы меня за путаницу:

— Господин Стивенсон показал в «Докторе Джекиле и мистере Хайде», как могут сочетаться святость и злодейство, и это характерно только для мужчин. Уж такова наша природа! Сама суть женщины исключает подобную возможность.

Из моих последних несуразных вопросов читатель может заключить, что речь я поведу о двух свадьбах. И верно: на задворках первого торжества уже готовится второе —давным-давно обещанная свадьба Суфии Зинобии Хайдар и Омар-Хайама Шакиля.

Омар-Хайам в конце концов набрался храбрости и попросил руки Суфии Зинобии — после того, как узнал о помолвке ее младшей сестры. Когда он, пятидесятилетний седовласый господин, приехал в беломраморный особняк Хайдаров и изложил свою удивительную просьбу, дряхлый, едва передвигающийся святой старец Дауд завопил так, что Реза Хайдар огляделся — уж не демоны ли слетелись в его дом?

— Ты, семя бесстыжих и развратных,— приветил Дауд Шакиля. — Я тебя хорошо запомнил! Еще с того дня, когда ты в адовой машине на землю спустился! Не постыдился, пришел в дом, где почитают Создателя, да еще с грязными предложениями! Да, гореть тебе в аду тысячу жизней!

Чем больше ярился старик, тем больше нарастало в Билькис угрюмое противоестественное желание сделать что-то наперекор. В то время она еще крепко-накрепко запирала все двери, дабы уберечься от злокозненного ветра. Да и глаза еще горели чуть ярче обычного. Однако, как и надеялась Рани, после помолвки дочери хлопот у Билькис прибавилось. И заговорила она с Омар-Хайамом царственно-величаво, едва ли не как в былые времена:

— Мы понимали, что вам самим пришлось объявить о своем предложении, так как не оказалось родственников из ваших родных мест. Мы не сердимся за нарушение обычая. Ваше предложение мы обдумаем. О решении вы будете извещены в надлежащий срок.

Реза Хайдар и слова не мог вымолвить от удивления — перед ним предстала былая Билькис. Он даже не нашел что возразить. А Омар-Хайам меж тем поднялся, надел серую шляпу на посерелую от седин голову, и вдруг его бледные щеки покраснели.

— Ишь, краснеет,— проскрипел Дауд, ткнув в Омара когтистым пальцем.— Это он для отвода глаз! У таких стыда нет!

После иммунологического срыва дочери, последовавшего за индюшачьей бойней, Реза Хайдар вдруг понял, что смотрит на Суфию Зинобию другими глазами, уже не досадуя, что она уродилась девочкой. Ему вспоминалось, с какой нежностью он взял ее на руки и унес с поля кровавой битвы, какие чувства обуревали его во время дочкиной болезни, и чувства эти диктовались не чем иным, как отцовской любовью. Короче говоря, Хайдар изменил отношение к слабоумной девочке, начал играть с ней, радоваться даже малым ее успехам. Прославленный полководец вместе с айей Шахбану изображал то поезд, то подъемный кран: он поднимал дочь высоко-высоко, а потом еще подбрасывал в воздух, точно совсем маленького несмышленыша; собственно, несмышленышем ей и предстояло прожить всю жизнь. Билькис никак не могла объяснить себе столь разительную перемену в муже, ведь сама она по-прежнему всю любовь и ласку отдавала младшей дочери. Меж тем состояние Суфии Зинобии улучшилось. Она выросла на шесть сантиметров, прибавила в весе, и уровень развития соответствовал уже шестилетнему возрасту. Хотя исполнилось ей девятнадцать, нежданно-негаданно обретя любящего отца, она предалась ему всей душой (как и Арджуманд — своему отцу-председателю), только наивно, по-детски.

— Нет, на мужчин совсем нельзя положиться,— жаловалась Билькис своей подруге Рани по телефону.

Теперь об Омар-Хайаме: хитросплетенье причин и побуждений мы уже разобрали. Долгих семь лет пытался он избавиться от наваждения (по имени Суфия Зинобия), которое, однако, излечило его от приступов дурноты. Борьба с самим собой не мешала ему регулярно навещать бывшую пациентку и завоевывать доверие отца — Реза был так благодарен доктору, что тот спас жизнь дочери. Но женитьба — дело совсем иное, и, проводив жениха, он вслух стал выражать свои сомнения:

— Он толст, к тому же некрасив. Да и гуляка в прошлом — тоже не след забывать.

— Гуляка-сын от гуляк-матерей, а брата пристрелили за политику,— прошамкал Дауд.

Билькис же не стала напоминать о сцене с пьяным Шакилем в Мохенджо. Она лишь спросила:

— А где ж мы найдем лучшую партию нашей девочке?

И Реза понял, что жена ждет не дождется, когда избавится от докучливого ребенка; точно так же он мечтал поскорее спровадить любимицу Билькис, Благовесточку. Значит, у них как бы равновесие, что-то вроде честного обмена? И решимости у него поубавилось, Билькис сразу почувствовала это по голосу мужа.

— Но ведь девочка неполноценна. Нужно ли ее вообще замуж выдавать? Ведь отвечать за это нам с тобой, жена. О какой женитьбе речь, коли девочка в таком состоянии?

— Она вовсе не идиотка,— сопротивлялась Билькис,— может и одеться сама, и на горшок сходить — постель уже не описает.

— Боже правый! Неужто этого достаточно, чтоб замуж выходить! — воскликнул Реза.

— Это шайтаново отродье! — возопил и Дауд.— Он явился в сей благочестивый дом, чтоб внести раздор!

— Изъясняется она уже лучше,— гнула свое Билькис.— Садится рядом с Шахбану и говорит дхоби, что тому забирать в стирку. И платья все пересчитает, и с деньгами не ошибется.

— Но у нее ж душа и ум ребенка! — безнадежно бросил Реза, сдаваясь.

А Билькис, наоборот, решительнее пошла в наступление:

— В женском теле детскую душу не видно. А ума большого женщине и не надо. Ум даже помеха жене в супружестве, я так полагаю. Суфия может помогать на кухне. На базаре отличит плохие овощи от хороших. Ты же сам ее соус к мясу хвалил. Она заметит, если пыль с мебели не вытерта. Она уже и лифчик носит, да и вообще, тело у нее уже как у взрослой женщины. И краснеть она больше не краснеет.

Сущая правда. Похоже, пугающие приливы стыда у Суфии Зинобии в прошлом. Да и вспышки жестокости после индюшачьего побоища не повторялись. Будто в том страшном, сокрушающем порыве изошел весь накопившийся стыд и девушка очистилась.

— Ну что ж,— раздумчиво сказал Реза Хайдар,— может, мои опасения и преувеличены.

— Да и к тому же, он — ее врач, спас ей жизнь. Кому ж, как не ему, доверить дочку? Ему, и только ему, я в этом уверена. Это промысел Божий!

— Ни слова больше! Молчи! — заголосил Дауд.— Не богохульствуй. Может, Всевышний простит тебя. Ведь он велик, и все в его власти!

Реза Хайдар враз погрустнел и постарел лицом.

— Отправим с ней Шахбану,— твердо сказал он.— И чтоб свадьбу поскромнее устроить. Шум и суета только напугают девочку.

— Дай мне сначала Благовесточку замуж выдать! — радостно воскликнула Билькис.— А уж Суфие мы такую свадьбу устроим — тишь да гладь...

А святой старец, потерпев поражение, покинул поле битвы со словами:

— Вы не по старшинству дочерей замуж выдали, обычай нарушили! Раз началось все с башмачной гирлянды, хорошего конца не жди!

Накануне матча по поло между командами армии и полиции Билькис растолкала Благовесточку на заре. Хотя матч начинался лишь в пять часов вечера, мать сказала дочери:

— Чтоб перед женихом показаться, надо красоту навести. У тебя есть одиннадцать часов. Эти часы, как деньги в банке, потом большие проценты принесут.

Когда мать с дочерью прибыли к месту состязания, Благовесточка вся сияла и лучилась: публика небось решила, что ради игры в поло невеста прямо со свадьбы приехала. Гарун Хараппа встретил их подле комментаторского столика, уставленного микрофонами, и повел к заранее приготовленным местам. Его так очаровала невеста, что он потом отчетливее помнил жемчужинку, украшавшую крыло невестиного носа, нежели перипетии игры. Он то и дело бегал взад-вперед, приносил бумажные тарелки с фруктами, стаканчики с шипучей кока-колой, являя чудеса ловкости и эквилибристики. В его отсутствие мать неусыпно следила, чтобы, не дай бог, дочь не принялась строить глазки кому-либо из зрителей. А когда Гарун возвращался, Билькис вдруг начинала проявлять необъяснимый интерес к игре. В команде полиции блестяще играл некий капитан Тальвар уль-Хак, он один буквально наголову разбил армейскую команду,— а в ту пору армия была не очень-то любима в народе,— и в одночасье сделался едва ли не национальным героем. Да и внешность у него была самая что ни на есть героическая: ростом высок, удал, усат. На шее — небольшой шрам, похожий, правда, на след страстного поцелуя. Этому-то капитану Тальвару и предстоит сыграть главную роль в свадебном скандале, который (что очень и очень трудно оспорить) существенно повлияет на все грядущие события.

Из смущенной и сбивчивой речи Гаруна Благовесточка вывела (к собственному ужасу), что ее будущий супруг не честолюбив и всех желаний — раз-два и обчелся. Не торопился он, похоже, и заводить детей. И былая уверенность Навеид Хайдар («Я его приструню!») таяла на глазах рядом с этим — ни рыба ни мясо — молодым человеком, и совсем неудивительно, что взгляд ее был прикован к стройному всаднику на гарцующем коне, почти сказочному герою — к Тальвар уль-Хаку. Немудрено, что и ее разодетая фигура привлекла далеко не равнодушный взгляд полицейского капитана, первого и самого удачливого волокиты в городе. Так что Билькис во всем виновата сама — нарядила дочь; может, вина ее и меньше — она утратила бдительность и не заметила, как встретились взгляды дочери и капитана. Благовесточка и Тальвар выразительно смотрели друг на друга, им не помешали ни пыль столбом, ни круговерть копыт, ни частокол клюшек для поло. Девушку вдруг пронзила сладострастная боль до самого горла. Она даже застонала, хотя и попыталась скрыть это, громко чихнув и закашлявшись. Помогла ее уловке и сумятица на поле: лошадь капитана Тальвара ни с того ни с сего вздыбилась и скинула всадника наземь, где топотали страшные копыта и метались клюшки!

— У меня аж внутри все окаменело,— признался он потом Навеид,— видно, и лошади мое состояние передалось.

Вскорости игра закончилась, Благовесточка отправилась с матерью домой, не сомневаясь далее, что ни за что, никогда не выйдет замуж за Гаруна Хараппу. В ту ночь в окно ее спальни бросали камушками, Навеид связала простыни и спустилась вниз, прямо в объятия спортивной звезды. Он посадил ее в полицейскую машину и увез в свой домик на побережье, у Рыбачьей бухты. Потом, уже утолив страсть, Навеид задала самый смиренный вопрос за всю жизнь:

— Почему ты выбрал меня? Ведь я не такая уж красавица.

Тальвар уль-Хак сел на кровати и сосредоточенно, как школьник — урок, ответил:

— Из-за того, что тело твое изголодалось по любви. Ты — голодна, я тебя насытил.

Теперь Навеид поняла, что Тальвар крайне высокого о себе мнения, и задумалась: а не слишком ли большой кусок она отхватила, не подавиться бы.

Она узнала, что у Тальвара с детства — дар предвидения и это весьма помогало в работе: он предсказывал, где будет совершено преступление прежде, чем его намечали сами бандиты; поэтому по числу арестов он был рекордсменом. В Навеид Хайдар он увидел мать долгожданных своих детей, их должно быть много, они — его гордость, а мать, нарожав это великое множество, в них и растворится. Сладкие мечты и подвигли капитана на чрезвычайно опасное предприятие. Ввязавшись в это дело, он знал, что дочь Резы Хайдара помолвлена с любимым племянником Председателя Искандера Хараппы, что уже разосланы приглашения на свадьбу, и, с какой стороны ни посмотри, капитану надеяться не на что.

— Невозможного нет! — воскликнул он, оделся и исчез в соленой морской ночи — искать черепаху, чтобы прокатиться на ней верхом.

Чуть позже вышла и Навеид — лихой капитан ухал от удовольствия, стоя на черепашьей спине, как не порадоваться его немудреным забавам! Вокруг, посмеиваясь, собрались рыбаки. Потом Навеид терялась в догадках, не было ли все задумано Тальваром заранее? Может, стоя на черепахе, он подал рыбакам знак — подходить? Может, чтоб договориться с ними, он заранее приезжал в бухту? Неспроста так широко прошел слух, что рыбаки дружны с полицией и что контрабандой промышляют сообща. Сам же Тальвар не брал на себя ответственности за все случившееся.

А случилось вот что: рыбацкий вожак, почтенный старец с лицом честным и открытым, с неправдоподобно ровными белыми зубами,

сверкавшими в лунном свете, мило улыбаясь, известил парочку, что его приятели ждут от них выкупа.

— Такое бесстыдство у нас на глазах,— враз погрустнев, сказал он.— Как душе не всколыхнуться! Чтоб успокоить, придется ее задобрить.

Тальвар уль-Хак, не торгуясь, заплатил и повез Благовесточку домой. Там он помог ей незамеченной взобраться по простынной веревке наверх. Прощаясь, он прошептал:

— Мы не увидимся до тех пор, пока ты не расторгнешь помолвку и не отдашься на волю Судьбы.

Прозорливец понимал, что Навеид поступит по его слову, поэтому он отправился домой — готовиться к свадьбе и близящемуся и, увы, неизбежному скандалу.

Уместно напомнить, что Благовесточка — любимое чадо Билькис. И она очень боялась потерять свои привилегии, с другой же стороны, ее страшили вымогатели-рыбаки, так просто они ее не оставят.

К Тальвар уль-Хаку у нее зародилась безумная любовь; с другой же стороны — она связана обязательствами с женихом, которого избрали родители. Она лишилась девственности — вот еще один повод для безумной тревоги. Но до вечера накануне свадьбы Благовесточка никому и слова не сказала. Тальвар уль-Хак признался ей потом, что чуть с ума не сошел — ведь его избранница молчит — и решил заявиться на свадьбу и пристрелить Гаруна Хараппу, а там — будь что будет, раз невеста все же не отвергла жениха. Но в одиннадцатом часу Благовесточка заявила матери:

— Я не выйду замуж за этого дубоголового!

И началось светопреставление! Никому и в голову не пришло, что свадьба расстроилась потому, что невеста полюбила другого.

Вот уж позлорадствовали родственницы в доме Бариаммы — ведь скандал не скрыть! Вот уж воистину крокодиловы слезы пролили они: нет меры их фарисейству, когда били себя в грудь! Вот уж порадовалась Дуньязад-бегум — довелось-таки ей станцевать на попранной Билькисовой чести! А чего стоят напоенные лицемерным ядом утешения, дескать, не все потеряно, может, стоит поговорить с невестой, мало ли девушек страшатся свадьбы, а потом, глядишь, образумятся. Поговорить с ней посерьезнее, не угрожать, но и не потрафлять ей, где отшлепать, а где и приголубить. Господи, беда-то какая, гостей-то ведь не отменишь!

Но вот стало ясно, что девушка непреклонна, что (о, сладостный ужас!) шила в мешке не утаишь, что причиной всему другой мужчина — Бариамма в замешательстве ерзает на диванных подушках, все вокруг притихли, ждут ее суда.

— Мать из тебя не получилась,— скрипит Бариамма, вынося приговор Билькис.— Поэтому с отцом разговор нужно вести. Иди и приведи его ко мне. Немедля!

Две живописнейшие картины. На одной: недвижно сидит смиренная Навеид Хайдар, а вокруг застыли женщины с гребнями, щетками, лаком, устремив восхищенные взгляды на виновницу скандала. Шевелятся лишь губы Бариаммы, с них слетают освященные веками слова: дура, бесстыдница, шлюха. На другой: в спальне Резы Билькис валяется в ногах у мужа, а тот старается натянуть брюки.

До того как он проснулся и узнал о беде, ему снился сон: он стоит на плацу, опозоренный, перед шеренгой новобранцев, каждый из которых как две капли воды похож на него самого, с той лишь разницей, что они ничего не умеют — ни шагать в ногу, ни держать равнение налево, ни до блеска начищать пряжки. Он кричит на эти бесплотные,

точно тени, собственные копии, сознает свое бессилие, ярится... В таком настроении он и проснулся. Когда Билькис, едва ворочая языком от ужаса, поведала ему о случившемся, Реза сразу же вознамерился убить дочь.

— Какой стыд! — застонал он.— Разор и погибель отцу с матерью, всем их надеждам конец!

Он решил застрелить дочь на глазах у всей семьи, всадив ей в голову пулю. Билькис бросилась в ноги мужу, пала ниц, вцепившись ему в лодыжки, и заскользила за ним следом по полу спальни. От ужаса ее прошиб холодный пот, сурьмяные брови растеклись по щекам. Дух Синдбада Менгала не призывался во время разговора, но, конечно же, витал рядом. С револьвером в руке Реза Хайдар ворвался в комнату Благовесточки — его встретили вопли и стенания женщин.

Нет, нет, я не пересказываю историю уже подзабытой нами Анны М. Прицелившись, Реза Хайдар понял, что не в силах выстрелить.

— Вышвырните ее на улицу! — проговорил он и вышел.

Ночь кишит переговорами. Реза у себя дома не сводит глаз с так и не выстрелившего револьвера. К нему посылают гонцов — генерал твердо стоит на своем. Потом Билькис будит айю Шахбану и та, потерев сонные с черными окружьями, как у самого Хайдара, глаза, идет к нему просить за Благовесточку.

— Муж тебя любит, ты ведь так выхаживала Суфию Зинобию, и послушает тебя скорее, чем меня,— на Билькис жалко смотреть: она совсем пала духом, даже со слугами говорит заискивающе. Сейчас жизнь Благовесточки в руках у Шахбану, которой доставались и побои, и брань от молодой хозяйки.

— Хорошо, я схожу, бегум-сахиб,— соглашается Шахбану.

Айя и отец строптивицы беседуют за глухими дверями.

— Простите, сэр, но не громоздите на стыд былой стыд новый.

В три часа поутру Реза Хайдар смилостивился. Свадьбу играть! У дочери должен быть муж, все равно кто! Так и с рук ее сбудешь, и пересудов меньше — все ж не на улицу выбросили.

— Шлюха с крышей над головой все ж лучше, чем шлюха в канаве,— подытожил Реза, призвав к себе Билькис.

Навеид сказала матери имя возлюбленного, сказала не без гордости — пусть слышат все:

— Моим мужем будет капитан Тальвар уль-Хак! И никто иной!

Телефонный звонок будит Миира Хараппу. Ему сообщают, что произошли изменения.

— Суки вы все! Попомните еще меня!

Искандер Хараппа принял известие спокойно, тут же поделился им с Арджуманд — она стояла подле телефона в одной ночной рубашке, и в глазах у нее загорелся огонек.

Гаруну обо всем рассказывает Искандер.

И еще один телефонный звонок в ту ночь — капитану полиции. Он тоже не смыкал глаз и, как Реза Хайдар, все время поглядывал на пистолет.

— Что я о тебе думаю, лучше не говорить! — заорал в трубку Реза.— Завтра явишься ко мне и заберешь эту блудницу. Ни гроша в приданое не жди, и чтоб я вас обоих больше не видел!

— Жениться на вашей дочери — для меня большая честь,— любезно ответил Тальвар.

И женщины в доме Хайдара, боясь даже поверить в удачу, снова затевают свадебные хлопоты. А Навеид Хайдар отправляется в спальню и засыпает как ни в чем не бывало. Темная хна на пятках к утру рыжеет.

А поутру Шахбану говорит Суфие Зинобии:

— Какой стыд! Какой скандал в семье! Вы, биби, даже представить не можете, что вы проспали.

Но случились в ту ночь и иные события. В университетском городке, на городских базарах под покровом тьмы собирались люди. К восходу солнца стало очевидно, что для правительства настал закатный час. В то утро народ вышел на улицы. В знак недовольства поджигали легковые машины, школьные автобусы, военные грузовики, библиотеку, здание британского консульства и американского информационного агентства. Фельдмаршал А. приказал войскам восстановить на улицах порядок. В одиннадцать пятнадцать ему нанес визит один генерал, известный всем под прозвищем Пудель. Поговаривали, что он сторонник Искандера Харапы. Генерал Пудель доложил смятенному президенту, что войска наотрез отказываются расстреливать толпу, скорее солдаты перестреляют своих же офицеров, чем земляков-горожан. По этому донесению президент понял, что его время истекло, и к обеду уступил бразды правления Пуделю, который тут же посадил бывшего президента под домашний арест и обратился к народу по только что созданной телевизионной сети с воззванием: власть он захватил с единственной целью — вернуть страну на путь демократии; не позже чем через полтора года будут проведены всеобщие выборы. После обеда началось бурное народное веселье. Легковые машины, такси, здание французской компании, Институт Гёте горели ярким пламенем, добавляя света светлому празднику.

Не прошло и десяти минут после отставки президента А., как Миир Харапа узнал о бескровном путче. Второй подряд тяжкий удар по его репутации вконец лишил Миира боевого настроя. Он оставил на столе в кабинете заявление об отставке и сбежал на свою усадьбу в Даро, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Затворившись в четырех родных стенах, Миир впал в глубокое отчаяние; до слуг доносилось жалобное бормотание, дескать дни его сочтены.

— Две беды случились, третьей не миновать,— шептал он.

Искандер и Арджуманд весь день провели с Гаруном в Карачи. Искандер не отходил от телефона, Арджуманд так разволновалась из-за переворота, что даже забыла утешить Гаруна, как-никак, у него свадьба сорвалась.

— Нечего кукситься! — прикрикнула она.— Новая жизнь начинается!

Из Мохенджо на поезде приехала Рани Харапа. Она полагала, что расчудесно проведет день на свадьбе Благовесточки, но шофер Искандера, Джокио, встретивший ее на вокзале, предупредил, что все переменилось. Он отвез госпожу в городской дом Искандера, тот ласково обнял жену и сказал:

— Молодец, что приехала. Теперь мы должны на людях вместе появиться. Пришел и наш час.

Вмиг Рани забыла и о свадьбе, и о том, что ей уже сорок, вновь почувствовала себя молодой — под стать дочери.

Важные события того дня, конечно же, затмили неурядицы в семье Хайдар. В любое иное время скандал получил бы широчайшую огласку. Капитан Тальвар уль-Хак явился на свадьбу один-одинешенек: он решил не впутывать ни родных, ни друзей в свои не очень-то благовидные брачные дела. Он едва провел свой полицейский джип по улицам меж горящих машин, как по пеклу; толпа в любую минуту могла «приобщить» к празднику и его. Реза Хайдар встретил капитана с предельной холодностью и презрением.

— Мои намерения самые серьезные, и я хочу стать примерным зятем, поэтому вы, возможно со временем пересмотрите свое решение, не станете долее вычеркивать дочь из своей жизни.

Реза выслушал эту мужественную речь и ответил предельно кратко:

— Мне нет дела до игроков в поло!

Кое-кто из гостей все же добрался по развеселым и отнюдь не безопасным улицам до резиденции Хайдара. Из предосторожности

все они оделись похуже, в самые старые и поношенные одежды — и никаких украшений! В таких совсем не праздничных одеяниях гости привлекали меньше внимания простолюдинов, обычно терпимых к богачам, но сегодня, во время всеобщего ликования, готовых, возможно, и хайдаровых знатных гостей бросить в костер вместе с символическим «наследием прошлого». Да, в тот поистине удивительный день жалкий вид свадьбы удивлял более всего.

Среди перепуганных гостей совсем неуместной и чужеродной казалась умащенная, намазанная хной, увешанная драгоценностями Благовесточка. Даже более неуместной, чем на матче по поло, так круто повернувшем ее судьбу.

— Будто наша свадьба во дворце, но среди нищих,— шепнула она Тальвару.

Жених с гирляндой цветов на шее сидел рядом — молодых поместили на небольшой помост под блестящим, усыпанным зеркальными осколками балдахином. На длинных, под белыми скатертями столах томились нетронутые яства — над ними витали шальные вихри сорвавшегося с цепи времени.

Почему же гости не стали ничего есть? Не успели они оправиться от уличных страхов, как в доме Хайдаров их ждало новое потрясение; каждый получил по маленькой карточке с рукописным текстом (сколько часов трудилась Билькис!), извещавшим, что невеста — та, что и предполагалась, то есть Благовесточка, а вот жениха в последний миг пришлось заменить. «По независящим от нас обстоятельствам,— говорилось в маленькой белой (наверное, от унижения) карточке,— за жениха на свадьбе будет капитан полиции Тальвар Уль-Хак». Бедняжке Билькис пришлось написать эту фразу пятьсот пять раз, и с каждой следующей карточкой когтистый стыд глубже и глубже пронизывал душу. И к тому времени, когда собрались гости и слуги раздали им карточки, Билькис, окаменев от позора, держалась так, будто ее посадили на кол. Мало-помалу с лиц гостей сходил ужас от виденного на улицах, его сменяло осознание бедствия, постигшего семью Хайдар. Тогда одеревенел и хозяин, до него тоже дошло, что он выставлен на всеобщее позорище. А Шахбану, стоящая рядом с Суфией Зинобией, созерцала Гималаи нетронутых сладостей и фруктов и страдала так тяжко, что даже не поприветствовала Омар-Хайама Шакиля. Тот тоже объявился на сборище миллионеров, одетых точно садовники. Мысли Омара всецело были заняты своей собственной (весьма двусмысленной) помолвкой с полоумной властительницей его души, и он даже не заподозрил, что забрел в мираж далекого прошлого: над пиром этим незримо витал призрак легендарного вечера в старом доме сестер Шакиль. Карточку с «поправками» он, не прочитав, зажал в пухлом кулаке и лишь позже, обратив внимание на горы нетронутых яств, смекнул: что-то неладно.

Сходство с давнишним пиром в доме Шакиль, конечно, далеко не полное. Во-первых, к угощению никто не притронулся, а во-вторых, свадьба все-таки состоялась. Но не слышно шуток, комплиментов дамам, не слышно даже музыки — музыканты, пораженные случившимся, так и не сыграли ни одной ноты. И еще: вряд ли припомнится много свадебных застолий, где б на новоявленного жениха набрасывалась будущая золовка и душила его чуть не до смерти.

Увы, это так. Горько, но необходимо поведать вам (и с тем наложить печать забвения на тот воистину разнесчастный день), что демон стыда, вселившийся в Суфию Зинобию (когда она забылась лунатическим сном) и толкнувший ее на избиение индюшек, вновь напомнил о себе подле сверкающего шатра позорной свадьбы.

Глаза у нее подернулись мутной, с матовым блеском пеленой — как и в предыдущем приступе. Ее хрупкая, чувствительная душа не выдержала напора стыда, от которого, казалось, трещали стены шатра. Страшным пламенем полыхала девушка с головы до ног: на щеках

не различить румян; на пальцах ног и рук — красного лака на ногтях. Омар-Хайам заметил эту внезапную перемену. Но было уже поздно. Он успел крикнуть «Берегись!», и во всеобщем оцепенении Суфия Зинобия, влекомая демоном, бросилась через весь зал к Тальвар уль-Хаку, схватила его за голову и повернула раз, другой, да так резко, что чуть не сломала ему шею — капитан взвыл от боли.

Благовесточка вцепилась сестре в волосы и что было сил стала оттаскивать от капитана. Пышущее жаром тело Суфии жгло пальцы. На подмогу бросились и Омар-Хайам, и Шахбану, и Реза Хайдар, и даже Билькис, меж тем ошеломленные гости молча взирали на очередной сюрприз безумного дня. Впятером едва-едва сумели разъять руки Суфии Зинобии на шее Тальвар уль-Хака, иначе и его голова была б оторвана наподобие индюшачьей. Но тут же Суфия впилась ему в шею зубами, оставив след—знак своей ненависти, похожий на отметину с другой стороны, только та напоминала о чьей-то чрезмерно пылкой страсти. Из раны прямо на гостей, разодетых в рубище, ударила струя крови, и, глядя на многих из них (не говоря уж о родных), можно было подумать, что они только что славно потрудились на скотобойне. Тальвар верещал и впрямь как резаный. Когда Суфию Зинобию наконец оттащили от несчастного, в зубах у нее красовался клочок его кожи с мясом. (Потом, даже выйдя из больницы, Тальвар не мог поворачивать голову влево.) В ту же минуту Суфия Зинобия Хайдар — воплощение семейного стыда и (уже во второй раз) его главная причина — без чувств упала на руки своему жениху, и Омар-Хайаму пришлось и виновницу, и пострадавшего срочно везти в больницу. Сто один час находился в критическом состоянии Тальвар уль-Хак, а чтобы вывести Суфию Зинобию из транса, потребовались гипнотические средства куда более сильные, чем обычно,— Омар-Хайаму к ним прибегать раньше не доводилось. А Благовесточка провела первую брачную ночь, безутешно рыдая на материнском плече у дверей больницы.

— Эту гадину нужно было во младенчестве утопить! — горестно всхлипывая, выговаривала она матери.

Вот краткий перечень «достижений» скандальной свадьбы: Тальвар уль-Хак впредь не сможет повернуть голову, а посему его спортивная звезда закатилась; зато он обрел прощение Резы, тот понял, что нельзя не примириться с человеком, едва не павшим от руки его дочери, поэтому Тальвара и Благовесточку в конце концов вернули в лоно семьи, которую, казалось, прокляла судьба; еще быстрее пошел душевный разлад Билькис, и все труднее стало его скрывать. В дальнейшем она обратится в бесплотные слухи да сплетни, так как на людях больше не покажется — Реза Хайдар посадит ее под домашний арест, так сказать в неофициальном порядке.

Что же еще? Когда стало очевидно, что Народный фронт, возглавляемый Искандером Хараппой, победит на выборах, Реза Хайдар нанес Иски визит. А Билькис осталась дома. Неприбранная и простоволосая, поносила она небеса за то, что ее муж, ее Реза, поехал на унижение к этому толстогубому — он всего, чего хочет, добьется! Хайдару стоило немалых трудов заставить себя извиниться за свадебный конфуз, на что Искандер лишь весело сказал:

— Да полно тебе, Реза. Гарун уж как-нибудь не пропадет. А этот твой Тальвар уль-Хак мне определенно по душе. Ловко он все устроил. Мне как раз такие и нужны!

А вскорости, когда улеглись страсти вокруг выборов и президент Пудель ушел с политической арены, премьер-министр Искандер Хараппа назначил Тальвар уль-Хака шефом полиции (история страны не знала еще столь молодого начальника), а Резе Хайдару присвоил очередное генеральское звание и поручил командовать армией. Оба семейства — и Хайдара, и Хараппы — перебрались в новую столицу, поближе к горам.

— Отныне у Резы выхода нет, как только меня держаться. Он так себя ославил, что, не приди я к власти, он сейчас бы и прежней должности лишился.

Гарун Хараппа, смертельно уязвленный Благовесточкой, с головой окунулся в партийную работу, к которой его приобщил Искандер, и вскорости стал заметным лицом в Народном фронте. Поэтому, когда в один прекрасный день Арджуманд объяснилась ему в любви, он честно признался:

— Ничем помочь не могу. Я дал зарок никогда не жениться.

Получив отказ от обманутого и брошенного благовесточкиного жениха, девственница Кованые Трусы — натура сильная, еще больше воспылала ненавистью ко всему семейству Хайдар, и угаснуть этому пламени было не суждено. Что касается любви, предназначенной Гаруну Хараппе, Арджуманд обратила ее в жертвоприношение отцу. Председателю — от дочери. Искандеру — от Арджуманд.

«Порой мне кажется,— думала Рани,— что не я его жена, а она».

И еще одна не обсуждавшаяся в лагере Хараппы закавыка была в отношениях Гаруна Хараппы и Тальвар уль-Хака — им приходилось работать вместе, но за долгие годы сотрудничества они не сочли нужным обменяться ни словом.

Отошла и свадьба Омар-Хайама Шакиля и Суфии Зинобии, отошла тихо, без происшествий. А что же Суфия? Пока скажу лишь, что демон, проснувшийся в ее душе и заснувший опять, еще напомнит о себе. И, как вы убедитесь, мисс Хайдар, превратившись в миссис Шакиль, далеко не исчерпала своих возможностей.

Вместе с Искандером, Рани, Арджуманд, Гаруном, Резой, Билькис, Даудом, Навеид, Тальваром, Шахбану, Суфией Зинобией и Омар-Хайамом наш рассказ переезжает на север в новую столицу, он будет взбираться по древним горным кручам к своей высшей точке.

Жили-были две семьи, чьи судьбы переплелись, и даже смерть не разделила их. Когда я только замышлял роман, то думал, что в нем безраздельно воцарятся мужчины: ведь это рассказ о любовном соперничестве, честолюбии, власти, покровительстве, предательстве, смерти, мести. Но, похоже, женщины и не думают сдаваться: единым строем надвинулись они с задворок повествования, требуют, чтоб я рассказал и их жизни со всем трагическим и комичным; и вот уже мое повествование обрастает всяческими подробностями, и вот оно уже преломляется под совершенно иным углом, точно смотришь сквозь призму с обратной стороны, и мой «мужской» роман приобретает «женские» черты. Сдается мне, что мои героини прекрасно знали, за что борются — их истории во многом дополняют, объясняют, а то и раскрывают истории героев. Диктат — это смирительная рубашка без размера. В стране с жесткой моралью, где царит единообразие поведения (как в обществе, так и в постели), где женщина раздавлена бременем ложной чести и рабской зависимости, диктат множится и захватывает все новые позиции. Сами же диктаторы — по крайней мере на людях, выступая, так сказать, от имени народа,— скромные пуритане. И сходятся воедино в моем романе «мужская» и «женская» линии, сливаясь в одну.

Конечно же, неоспоримо, что любой, самый диктаторский режим не в силах раздавить всех женщин. Недаром бытует мнение (весьма справедливое, на мой взгляд), что в Пакистане женщины много ярче и заметнее мужчин... и все ж, они в ярме. Никто его не снимал. И давит это ярмо все сильнее.

НАЧНЕШЬ ДАВИТЬ ОДНО, ПРИДАВИШЬ И ДРУГОЕ, ЧТО РЯДОМ.

Но в конце концов, чем сильнее сжимается пружина, тем сильнее потом бьет.

(Окончание следует)

АННА СВИРЩИНЬСКАЯ

Стихи о Варшавском восстании

■

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Последнее польское восстание

Будем оплакивать
час когда все началось
час когда прозвучал первый выстрел.

Будем оплакивать те шестьдесят три дня
и шестьдесят три ночи сраженья.
И час
когда все кончилось.

Когда на место где жил миллион людей
пришла пустота по миллионе людей.

Девушки с носилками

Маруте Стобецкой

Через груды развалин,
сквозь горящие арки ворот,
по мостовой, расстреливаемой пулями,
они бегут и несут на носилках
человеческие тела.

Их бессонные очи
ищут на баррикадах
тех, что пали.
Исхудавшие пальцы
поднимают из лужи крови умирающие головы.

А когда в них самих попадут,
умирая,
они будут с отчаяньем думать,
кто же дальше понесет носилки
под пулями.

Порадуемся

— Читали сегодня газетку,— говорит слесарь,—
весь мир идет нам на помощь,
через неделю все кончится, у моей старухи
именины, я приглашаю
весь дом на праздник,
— говорит слесарь.

Щенок

Когда утром он стал расставлять в подворотне
бутылки с бензином,
дворник ругался как бешеный.

Щенок
показал ему длинный язык.

Вечером принесли его солдаты,
он поджег танк.

Дворник, ругаясь потише, копал во дворе
небольшую яму для щенка.

После налета

Из груды рухнувших стен
торчит в небо
серая как стена
рука с пятью пальцами.

Господь Бог ее спас

Женщина умирала во дворе на матрасе,
в матрасе были спрятаны доллары.
Другая женщина сидела рядом,
ждала, когда же умрет.

Потом бежала с долларами по улице,
падали бомбы.
Она молилась: спаси меня, Господи Боже.

И Господь Бог ее спас.

Часом дольше

Памяти Станиславы Сверчиньской

Ребенку два месяца.
Доктор сказал:
без молока он умрет.

Мать пробирается целый день подвалами
на другой конец города.
В Чернякове
у пекаря есть корова.
Мать ползет на брюхе
среди развалин, грязи и трупов.

Приносит три ложечки молока.
Ребенок живет
часом дольше.

Мое смирение

Я падала на землю смирения
столь смиренная что невидимая
столь смиренная что меня не было
перед мученичеством
несоразмерным
которого не чувствовала себя достойной
даже быть очевидцем.

Я носила судна

Я была санитаркой в госпитале
без лекарств и без воды.
Я носила судна
с гноем, кровью и калом.

Я любила гной, кровь и кал,
они были живые, как жизнь.
Жизни было вокруг
все меньше.

Когда мир погибал,
я была лишь двумя руками, которые подают
раненому судно.

Когда солдат умирает

Возле его носилок
я стала на колени
куртку его целовала
говорила: ты такой красивый
можешь дать столько счастья
не знаешь сам сколько счастья
ты будешь жить мой красивый
мой храбрый.

Он улыбался и слушал
веки его слипались
он не знал что слова такие
говорят солдату
только когда он умирает.

Погребаю тело врага

Враг, ты тоже боялся,
хоть ты имел отличный автомат.
Страх в твоих глазах
умер позже, чем ты.

Многих людей убил твой автомат,
многих людей ты ставил к стенке,
но пришел черед и твоей
человеческой бренности.

По тебе будут плакать дети,
ты был добрый
для своих детей.

Враг, я погребаю твое тело
в той земле, что запятнал ты кровью.
Она тебя примет,
как если б ты не был ее врагом.

Паника

Люди прибежали к офицеру,
жестикулировали, кричали, плакали.
— Клянемся Христовыми ранами, там шпионы.
У нас доказательства.

Офицер приказал расстрелять
шпионов. Лежали в ряд
отец, дочь, зять,
прижимались друг к другу
мертвые.

Прибежали другие люди.
Жестикулировали, кричали, плакали.
— Клянемся Христовыми ранами, ты приказал
расстрелять невинных.

Это уже конец

В ту ночь
все поняли, что конец.

Не осталось воды
и сил, чтобы воду искать,
три дня
как нет ни ложки ячневой каши,
бинты
смердят гноем и кровью,
глаза, неделю не спавшие,
закрываются даже
на боевом посту, под обстрелом,
ноги, волочившиеся по каналам,
тяжелы как камни,
пустой пистолет
падает из рук.

И поэтому, услышав на рассвете
грохот вражеских танков, идущих в очередную атаку,
поняли, что это конец.
Эту атаку
уже не отобьют.

Час позора

Когда он учил парней
как добывать у врага пулеметы
с одним пистолетом —
он шел первый.

Когда ж получил приказ научить их
как отдавать врагу
пулеметы добытые
ценою жизни товарищей —
струсил.

Последняя пуля в его пистолете
открыла ему путь к бегству
так он бежал от своих парней
и не было его с ними
в час позора.

Разговор с матерями

Он идет в неволю, словно тащит
на себе тела своих парней.
Он считает, шепотом считает
восемнадцатилетние имена,
очи матерей глядят в него.

— Твой сын погиб в бою за баррикаду,
которой нет, в бою за дом,
который рухнул и распался в прах.
Твой сын погиб в бою за тот квартал,
которого не существует.
За эти кирпичи, песок и пыль
отдали они свои тела живые.
Я их вел на смерть,
и я живу.

Немцы говорят: Быстрей, поручик,
быстрей шагай в неволю.
А он быстрей не может, он ведь тащит
тела своих парней.

Сказал: не плачь

Вошел с винтовкой
чтобы выгнать ее из дому.
Дом сожгут
ее в лагерь.

Ждал пока она застегнет
ремень рюкзака
смотрел как плачет
сказал: не плачь
молоденький немецкий солдат.

Мои вши

Я бегу по улицам трупов,
перепрыгиваю через трупы,
на груди под блузкой
шевелятся
теплые вши.

Только они и я живые,
это нас сближает.
Они мне дают свое шевеленье
в городе трупов,
где ничто уже не шевелится.
Слабые, как я,
хотят жить, как я.

Но когда я выберусь из города трупов,
когда живой человек
откроет мне дверь живого дома,
я швырну в огонь блузку вместе со вшами,
которые, как я,
хотели жить.

Удалось ему

Проф. Владиславу Татаркевичу[1]

Старый человек
покидает дом, уносит книги.
Немецкий солдат вырывает книги,
швыряет в грязь.

Старый человек подымает,
солдат его бьет в лицо.
Старый человек падает,
солдат пинает его и уходит.

Старый человек
лежит в грязи и крови.
Чувствует под собой
книги.

Как кровь из артерий

Идут
улицами дорогами
везут раненых
ведут стариков
несут узлы и детей.

[1] Владислав Татаркевич (1886 — 1980) — польский философ, историк философии, историк искусства.

Идут
изредка кто-то оглянется
за спиною пылают тучи.

Идут
вытекают как кровь из артерий города.

Земля и небо

Такой был крик
кричали самолеты и огонь и отчаянье
кричало до облаков
воодушевленье.

Теперь молчит
земля и небо.

Снимок Ежи Томашевского, фоторепортера Варшавского восстания.

Послесловие

Варшавское восстание 1944 года — одна из величайших трагедий в истории польского народа, одна из величайших трагедий человечества в XX веке. «На место, где жил миллион людей, пришла пустота по миллионе людей», — пишет Анна Свирщиньская. Гибель двухсот тысяч жителей города (это столько же, сколько в Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых), изгнание из города всех уцелевших, уничтожение самого города — таков был исход восстания.

Но история не любит отставать от Шекспира, и трагедию варшавян, трагедию поляков она сопроводила грубым фарсом политической игры, которую вели между собой «великие мира сего», члены так называемой «Большой тройки». Варшава была одной из карт в их игре. Страницы переписки Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, вероятно, дополнятся еще неизвестными документами из архивов, какая-то подоплека, какие-то детали политических и военных решений Сталина и его партнеров по игре станут яснее, но главное ясно давно. Еще в Тегеране в 1943 году они договорились, что судьбу Польши и других «малых стран» решать будут не народы этих стран, а великие державы, то есть они трое.

Варшавское восстание было попыткой поляков решать свою судьбу самим. Попыткой, как сразу же оказалось, нереальной, отчаянной, трагической, приведшей к гибели сотен тысяч людей, но попыткой героической, позволившей польскому народу

сохранить свое национальное достоинство. Героизм, готовность к самопожертвованию, мужество рядовых участников восстания — вот главное, чем вошло это событие в польское массовое сознание, сознание любого рядового поляка. Так показывает восстание и Анна Свирщиньская.

Восстание было начато по решению командования Армии Крайовой. Эта подпольная военная организация, созданная в оккупированной Польше в 1942 году, подчинялась польскому эмигрантскому правительству, находившемуся в Лондоне. Но после гибели в 1943 году генерала Сикорского, соединявшего в этом правительстве власть премьера и главнокомандующего всеми вооруженными силами в Польше и на Западе, эти две функции были разделены между Миколайчиком и генералом Сосновским, отношения между которыми были напряженными. В этой ситуации командование Армии Крайовой оказалось предоставлено себе, то есть командующему АК генералу Коморовскому (псевдоним «Бур», отсюда — часто встречающееся «Бур-Коморовский»), другим генералам его штаба и полковнику Хрустелю (псевдоним «Монтер»), командовавшему варшавским округом АК (в сентябре 1944 года, в ходе восстания, он был произведен в генералы).

Оторванное от своего правительства и от всего мира, свободное в своих решениях и действиях, командование АК было «свободно» и от необходимейшей информации. Впоследствии выяснилось, что в штабе АК к концу июля 1944 года не знали о Тегеранской конференции. Не знали о конфиденциальном разговоре Рузвельта с Иденом, где Рузвельт сказал, что с поляками он «торговаться» не собирается. И уж тем более не знали, что думает Сталин. Большинство руководителей АК было против того, чтобы вступать со Сталиным в какие бы то ни было переговоры. Психологически это понятно. Свежа была память о сентябре 1939 года, о последующих массовых депортациях поляков в СССР, а в апреле 1943 года, после известной публикации «Парижер цайтунг» о Катыни и заявления польского эмигрантского правительства по этому поводу, Молотов объявил о разрыве дипломатических отношений с польским правительством в Лондоне.

В Варшаве знали и просто видели в конце июля 1944 года, что гитлеровцы отступают, буквально бегут, слышали приближающийся гул артиллерии 1-го Белорусского фронта, совершившего прорыв глубиной 600 километров и докатившегося уже почти до Вислы, почти до Варшавы. 21 июля было принято решение о вооруженном восстании АК в Варшаве с целью овладеть столицей и организовать в ней свою администрацию до вступления в Варшаву советских войск. Решение о дате и часе выступления — 1 августа, 17.00 — было принято вечером 31 июля, под воздействием слуха (не подтвердившегося), будто советские танки уже подошли к Праге, правобережному предместью Варшавы. (На самом же деле утром 31 июля гитлеровцам, подбросившим сильные танковые резервы, удалось приостановить советское наступление, угрожавшее форсированием Вислы, последнего речного рубежа перед германской границей.)

Варшавские отряды АК, основная сила восстания, насчитывали около 50 тысяч человек, но за сутки удалось мобилизовать лишь половину их состава. Через несколько дней к восстанию присоединились варшавские отряды Армии Людовой — АЛ, военной организации подпольной Польской рабочей партии, то есть еще около 5 тысяч. Ряды повстанцев пополняло гражданское население. Повстанцам противостояло 50 тысяч гитлеровцев, прекрасно вооруженных, поддерживаемых артиллерией, танками и авиацией. Из повстанцев лишь около 10 процентов имели стрелковое оружие, патронов было на два-три дня боев, а против танков были только бутылки с бензином. Расчет был на внезапность. Уже к концу первого дня борьбы стало ясно, что расчет не оправдался. Повстанцы овладели, правда в результате первых четырех дней боев, большей частью территории города, но не удалось захватить вокзалы, аэродромы, мосты, многие командные пункты города, телефонную станцию.

С 5 августа, на пятый день боев, повстанцы перешли к обороне; с этого времени немецкие войска, получавшие подкрепления даже из Италии, поочередно осаждали, штурмовали и брали отдельные изолированные районы города, находившиеся в руках восставших. Из района в район можно было попасть лишь по городской канализационной сети (знаменитые «каналы»), приказы и донесения передавались связными, радиосвязь возможна была лишь через Лондон.

«Мы не одиноки!» — ободрял плакат, расклеенный по городу. На плакате был изображен бегущий в атаку солдат с автоматом в левой руке и с тремя знаменами в правой: советским, английским и американским. Автоматчики союзных держав действительно бежали в это время в атаку, тесня германский вермахт во Франции и на Балканах, но Варшава оставалась одинокой. Надежда командования АК на высадку в Варшаве десанта Польской парашютной бригады, входившей в состав Польских вооруженных сил на Западе, была одной из иллюзий. Англо-американская, а после 13 сентября и советская авиация сбрасывали повстанцам оружие, боеприпасы, продовольствие, но значительная часть сбрасываемых грузов попадала в расположение гитлеровцев.

14 сентября, когда восстание уже догасало, Прага, то есть правобережная Варшава, была взята войсками Рокоссовского, вместе с которыми шла 1-я Армия Войска Польского, сформированная в СССР, армия генерала Берлинга. Мосты через Вислу были взорваны гитлеровцами после отхода их частей. На правом берегу стояли и наблюдали за происходившим т а м, в Варшаве, войска 1-го Белорусского фронта. «На том берегу» — называется глава в поэме Давида Самойлова «Ближние страны» (1958).

Советский разведчик Самойлов смотрит с другого берега. «Вижу все, а помочь не могу»,— вспоминает он свои тогдашние переживания. «Сознание невозможности предпринять крупную операцию для того, чтобы выручить восставших, было мучительно», — вторит ему в своих воспоминаниях командующий фронтом маршал Рокоссовский. Дальнейшие публикации документов советских военных архивов, исследования историков помогут понять, была ли та невозможность, о которой говорит Рокоссовский, физической невозможностью для войск 1-го Белорусского фронта, измотанных боями, понесших огромные потери, далеко оторвавшихся от своих тылов, или же речь идет о невозможности для Рокоссовского предпринять крупную операцию без указания Сталина. Позиция же Сталина ясна из его посланий Черчиллю. От 16 августа 1944 года: «...при создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской акции...» [1] Это желание «отмежеваться» было главным мотивом действий Сталина в августе — сентябре 1944 года на подступах к Варшаве. Впрочем, в сентябре Сталин разрешил самолетам союзников, летавшим на помощь Варшаве запредельно далеко от своих баз, так называемые «челночные полеты», то есть полеты с посадкой и дозаправкой на советских военных аэродромах. А в середине сентября рекомендовал провести «частную операцию по форсированию Вислы именно частями Берлинга». Небольшими силами. Несколько батальонов Берлинга, при поддержке советских инженерных частей, форсировали реку, но почти тут же, потеряв около 3800 человек убитыми, переправились обратно на правый берег.

63 дня Варшава, отрезанная от остальной Польши, сражалась против гитлеровской армии, в сущности, один на один. Восставшим удалось продержаться так долго лишь потому, что они выполняли свой долг «сверх обычных человеческих возможностей», как формулирует сдержанный в выражениях польский военный историк генерал Ежи Кирхмайер. Это относится и к женщинам (в варшавских отрядах АК их было более 4 тысяч), и к подросткам и детям.

О подростках и детях Варшавы 1944 года следует сказать особо. В годы оккупации продолжало существовать в подполье польское харцерство — молодежное движение. Один из историков восстания, Ян Цехановский, участвовал в восстании, будучи 14-летним подростком, и был дважды награжден тогда Крестом Храбрых. Другой участник и ныне историк восстания, вспоминает, что самому младшему солдату восстания, которого он видел, было 8 лет. Памяти детей — героев восстания — поставлен памятник Маленькому Повстанцу на стене Старого Города в Варшаве.

В дни восстания сражались бок о бок коммунисты, социалисты, правые. Восстание приняло массовый национально-освободительный характер. Вновь ожили, еще раз, патриотические традиции восстаний 1794, 1830, 1863 годов. «Последним польским восстанием» называет Варшавское восстание 1944 года и Анна Свирщиньская.

На самом высоком здании в городе — так называемом «небоскребе» — развевался польский национальный бело-красный флаг. В Варшаве вещала польская радиостанция, выходили газеты, печатались плакаты, действовала полевая почта — ее разносили харцеры. Жители города строили баррикады, чтобы преградить путь немецким танкам, гасили зажигалки, создавали домовые и квартальные комитеты, самооборону, общественное питание, обеспечивали тыл восстания, организовывали повстанческие госпитали.

Свирщиньская правдиво воссоздает разные стороны жизни большого города в экстремальных условиях. Настроения, поведение, поступки отдельных людей были самыми разными, наряду с подвигами, энтузиазмом, героизмом, самопожертвованием были и спекуляция, и воровство, и эгоизм, и трусость, и апатия. Из мозаики миниатюр Свирщиньской складывается панорама и хроника Варшавы тех месяцев. Люди гибли под бомбежками и обстрелами, под развалинами рушащихся зданий, подвалы становились зачастую не убежищем, а братскими могилами, кончалось продовольствие, перестал действовать водопровод, рыли колодцы, в очереди за водой стояли по четыре часа. В больницах и госпиталях не было ни чистой воды, ни лекарств.

2 октября восставшие капитулировали. Повстанцы потеряли 16 тысяч убитыми, около 15 тысяч пошли в плен. Колоссальны были жертвы гражданского населения: 200 тысяч, а по некоторым оценкам — до 250 тысяч. Уцелевших жителей Варшавы гитлеровцы выгнали из города. Около 550 тысяч прошло через лагерь в Прушкове под Варшавой, откуда около 150 тысяч было выслано на принудительные работы в Германию, около 60 тысяч — в концлагеря. Уцелевшие здания города планомерно взрывались или сжигались. «Варшаву сровнять с землей»,— гласил приказ.

«Варшавское восстание жжет нас, как открытая рана»,— такими словами начинал в 1957 году свою книгу о восстании генерал Кирхмайер. В том же, 1957, году вышел на экраны фильм Анджея Вайды — «Канал». Этот фильм завоевал мировое признание и заставил заговорить о польском кино не только потому, что это был фильм о восстании, но и потому, что это был фильм большого художника. Тема оказалась ему по плечу. Анна Свирщиньская обратилась к этой теме значительно позже. «Мне было очень трудно,— признавалась Свирщиньская в 1973 году,— выразить переживания периода оккупации. Только теперь, тридцать лет спустя, я отважилась написать книгу стихов о Варшавском восстании».

[1] «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». М., 1957, т. 1, с. 257.

Вышедшая в 1974 году, к 30-летию восстания (а впоследствии трижды переиздававшаяся, переведенная на другие языки), книга была оценена сразу. «Тридцать лет спустя после гибели нашего Илиона явился наконец в лице Свирщиньской — Гомер для нас, для троянцев. Гомер троянцев наконец заговорил, выполнил вечное задание поэта: очистил совесть своего народа, позволил нам ощутить общенародный катарсис» Так писал о книге Свирщиньской польский литературовед Стефан Мельковский сразу по ее выходе. Он назвал эту книгу «лирическим эпосом».

«Баррикада»,— говорила Свирщиньская в одном из интервью,— написана с позиции очевидца. Я рассказывала о том, что помню, что видела собственными глазами». Вот почему в заглавии книги — единственное число: «Я строила баррикаду». Хотя в заглавном стихотворении книги — множественное число: «Мы строили баррикаду».

Нам было страшно,
когда мы строили под немецким обстрелом
баррикаду
Владелец пивной, парикмахер, невеста ювелира,
все из трусливого десятка...

Первоначально это стихотворение так и называлось — «Нам было страшно». Под этим названием и публиковала свой перевод в «ИЛ» Наталья Астафьева, которой Свирщиньская прислала в рукописи несколько стихотворений из будущей книги о восстании. Среди них были и «Двадцать моих сыновей»:

В моей палате —
двадцать солдатских животов.
Рваные, окровавленные,
они отчаянно бьются за жизнь...

В дни восстания (как и в дни обороны Варшавы в сентябре 1939 года) Свирщиньская была санитаркой в варшавском госпитале. Госпиталь — центр изображаемого в стихах Свирщиньской о войне и о восстании. Центр видимого и точка зрения, точка отсчета. Два американских профессора-слависта, переводившие стихи Свирщиньской о восстании, сравнивают поэтику ее миниатюр с поэтикой Эдгара Ли Мастерса, автора знаменитых эпитафий «умершим из Спун-Ривер». В этом сравнении есть свой смысл, но мне лично «лазаретный реализм» Свирщиньской приводит на память гуманистическую поэзию санитара Уолта Уитмена и врача Уильяма Карлоса Уильямса.

В польской поэзии о второй мировой войне книга Свирщиньской «Я строила баррикаду» уникальна, в творчестве же самой Свирщиньской — это одна из ее вершин. Другой вершиной были ее стихи двух предыдущих книг — «Ветер» (1970) и «Я — баба» (1972). Десятка полтора стихотворений из этих книг (а также три стихотворения в прозе из книги 1958 года) печатались в уже упомянутой публикации «ИЛ» шестнадцать лет назад, а в предисловии к своим переводам Наталья Астафьева довольно подробно рассказала тогда биографию Свирщиньской. Напомню вкратце лишь основные вехи.

Начинать теперь приходится с того, что осенью 1984 года, после тяжелой болезни, Свирщиньская умерла в возрасте семидесяти пяти лет. Здесь, как никогда, уместно слово «безвременно», потому что именно последние пятнадцать лет жизни были для Свирщиньской временем наивысшего творческого взлета.

Родилась она в 1909 году в Варшаве в семье художника Яна Сверчиньского, художника «немодного», как подчеркивает она в стихах о нем, и всю жизнь бедствовавшего, персональную выставку отца ей удалось организовать лишь после его смерти. Жили в мастерской. Единственная лампочка «горела высоко под потолком, рядом с крюком, на котором предыдущий жилец, тоже художник, повесился от голода и нужды». Зарабатывая уроками на хлеб, Свирщиньская окончила гимназию, где училась бесплатно («по милости и великодушию директорши», как она вспоминает) и поступила в университет. Снова уроки. Университет окончила в 1932 году. Работала редактором детского журнала. Перед войной, в 1936 году, опубликовала книгу стихов и стихотворений в прозе. Между госпитальной осенью 1939 года и госпитально-баррикадной осенью 1944 года жила в оккупированной Варшаве, перебивалась как могла, «чтобы обеспечить себе и близким хотя бы жалкое существование». Но жизнь варшавян не была только «жалким существованием», в ней были подпольный университет, подпольные издания антологий поэзии, подпольные журналы, подпольные конкурсы на лучшую пьесу. На таком конкурсе получила одну из первых премий поэтическая драма Свирщиньской «Орфей», в послевоенные годы ее ставили крупнейшие польские режиссеры.

В октябре 1944 года кончилась первая, варшавская половина биографии Свирщиньской. После подавления Варшавского восстания, когда ее, как всех уцелевших жителей выгнали из родного города, она добралась до Кракова и с тех пор жила и работала там.

Переиздают же ее теперь и в Кракове, и в Варшаве, и в других городах Польши. Переводят и в Англии, и на континенте, и за океаном.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

МИРЧА ЭЛИАДЕ

У цыганок

НОВЕЛЛА

Перевод с румынского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

В раскаленном трамвае было нечем дышать. Торопливо продвигаясь по проходу, он сказал себе: «Гаврилеску, тебе везет!» — в другом конце вагона у открытого окна оказалось свободное место. Он уселся, вытащил платок и долго утирал лоб и щеки. Потом засунул платок за воротник, обернул им шею и принялся обмахиваться соломенной шляпой. Старик, сидевший напротив, внимательно его разглядывал, будто силился вспомнить, где они встречались. На коленях у старика покоилась жестяная коробка.

— Ну и жарища! — обратился он вдруг к Гаврилеску.— Этакого пекла с тысяча девятьсот пятого года не было!..

Гаврилеску, продолжая обмахиваться шляпой, кивнул.

— В самом деле жарко. Но образованный человек все переносит легче. Вот, например, полковник Лоуренс. Вы что-нибудь знаете о полковнике Лоуренсе?

— Нет.

— Жаль. Я тоже мало о нем знаю. Войди он сейчас в трамвай, непременно пристал бы к нему с расспросами. Люблю побеседовать с образованными людьми. Надо думать, милостивый государь, те юноши были студентами. Студентами, весьма преуспевшими в науках. Мы вместе ждали трамвая, и я слышал их разговоры. Они говорили о некоем полковнике Лоуренсе и о его приключениях в Аравийской пустыне. Какая же у них память! Целые страницы из книги этого полковника читали наизусть. Одна фраза мне особенно понравилась, прекрасная фраза — о зное, которым встретила полковника Аравийская пустыня. Зной ударил его по темени, ударил его, как сабля... К сожалению, не помню слово в слово... Ужасный аравийский зной ударил его как сабля, и он потерял дар речи.

Кондуктор выслушал с улыбкой всю тираду и протянул Гаврилеску билет. Гаврилеску, водрузив шляпу на голову, принялся шарить в карманах; бумажник не находился.

— Прошу прощения,— пробормотал он.— Постоянно забываю, куда его положил.

— Ничего,— сказал кондуктор с неожиданной доброжелательностью.— Время у нас есть. До цыганок еще не доехали...

И, повернувшись к старику, подмигнул. Старикан вспыхнул, обеими руками вцепился в свою жестяную коробку. Гаврилеску протянул банкноту, кондуктор, улыбаясь, отсчитал ему сдачи, а старик все шипел:

— Позор! Безобразие!

— Все говорят...— сказал Гаврилеску, снова обратив в веер свою соломенную шляпу.— Кажется, там и правда красивый дом, а какой сад!.. Что за сад!..— повторил он и восхищенно покачал головой.—

Поглядите, вот он, уже виден! — И Гаврилеску прильнул к окошку, чтобы разглядеть сад.

Кое-кто из мужчин будто ненароком приник к окнам. Но старик сурово глядел прямо перед собой, продолжая твердить:

— Позор! Следовало бы запретить!

— Там старые ореховые деревья,— продолжал Гаврилеску,— потому такая тень и прохлада. Говорят, деревья грецких орехов дают тень, только когда им за тридцать. Не знаю, правда ли?

Старикан будто не слышал. Гаврилеску повернулся к соседу, задумчиво глядевшему в окно.

— Там старые орехи, им не меньше пятидесяти. Потому так тенисто. В этакий зной приятно. Счастливые люди...

— Счастливые женщины,— поправил его сосед, не поворачивая головы.— Там живут цыганки.

— Вот-вот, и я слышал,— подхватил Гаврилеску.— Я езжу этим трамваем три раза в неделю. И даю вам честное слово, не было случая, чтобы их не помянули, этих цыганок. Да видел ли их кто? Я все думаю: откуда они взялись-то?

— Это дело давнее,— сказал сосед.

— Уж двадцать один год как они здесь,— перебил его другой пассажир.— Когда я впервые приехал в Бухарест, эти цыганки уже здесь жили. Только сад тогда был много больше. Лицей еще не построили...

— Я ведь этим трамваем регулярно три раза в неделю езжу,— продолжал Гаврилеску.— К несчастью, я учитель музыки. Я говорю «к несчастью», потому что не создан для этого,— добавил он, силясь улыбнуться.— У меня артистическая натура.

— Так я вас знаю,— вдруг вступил в разговор старикан.— Ну, конечно, вы Гаврилеску, учитель музыки. Лет пять-шесть назад вы учили играть на рояле мою внучку. А я-то думаю: откуда мне знакомо ваше лицо?..

— Да, это я и есть,— продолжал Гаврилеску.— Знаете, я даю уроки музыки и много езжу на трамвае. Весной, когда еще не так жарко и дует ветерок, даже приятно. Сидишь себе вот так у окошка и катишь мимо цветущих садов. Я уже говорил вам: этим трамваем я езжу трижды в неделю. Здесь только и разговоров что про цыганок. Вот я себя и спрашиваю. «Гаврилеску,— говорю я себе,— ну предположим, это на самом деле цыганки, ну ладно, но откуда у них столько денег? Такой дом — настоящий дворец, сад со старыми орехами,— да тут пахнет миллионами».

— Позор! — снова крикнул старик и брезгливо отвернулся.

— Думал я и о другом,— продолжал Гаврилеску. — Если исходить из моего заработка — сто лей за урок,— чтобы получить миллион, надо дать десять тысяч уроков. Однако, видите ли, в действительности все обстоит гораздо сложнее. Допустим, я бы имел двадцать часов в неделю; все равно, чтобы заработать миллион, потребовалось бы пятьсот недель, то есть почти десять лет, и нужно было бы раздобыть двадцать учениц с двадцатью роялями. А летние каникулы, когда у меня остается две-три ученицы? А рождественские и пасхальные? Все эти потерянные часы потеряны и для миллиона. Так что тут надо говорить не о пятистах неделях по двадцать часов в каждой и не о двадцати ученицах с двадцатью роялями, а о много-много бóльших цифрах!

— Совершенно верно,— отозвался кто-то из соседей.— В наши дни уже не учатся играть на рояле.

— Ах! — вскричал вдруг Гаврилеску, ударив себя по лбу.— Чувствовал я, что чего-то не хватает. Портфель! Я забыл портфель с партитурами. Заговорился с мадам Войтинович, тетушкой Отилии, и забыл портфель... Вот незадача!..— добавил он, вытащил платок из-за воротника и спрятал его в карман.— По этакому зною тащись, Гав-

рилеску...— Он с отчаяньем озирался, будто ждал от кого-то помощи. Потом решительно встал и, пробормотав: «Был рад с вами познакомиться», снял шляпу, слегка раскланялся и быстрыми шагами направился к выходу.

Едва дождавшись остановки, Гаврилеску спрыгнул с подножки трамвая. Улица вновь дохнула на него зноем, запахом расплавленного асфальта. Он с трудом перешел на другую сторону, бормоча себе под нос: «Держись, Гаврилеску! Уж не стал ли ты сдавать? Видно, склероз, теряешь память. Повторяю: держись! Не имеешь права! Сорок девять лет для мужчины не возраст...» Но такая его охватила усталость, такое изнеможение, что он рухнул на скамейку прямо на солнце. Вытащил платок и принялся утирать лицо. «Кажется, нечто похожее со мной уже случалось,— подумал он, пытаясь себя подбодрить.— А ну припомни, Гаврилеску, напряги память. Где это было? Ты вот так же сидел на скамейке, тогда у тебя совсем не было денег. И тоже стояло лето, только не такое жаркое...» Он оглядел безлюдную улицу — дома с закрытыми ставнями, с опущенными шторами казались пустыми. «Люди разъехались на курорты. Не сегодня-завтра уедет и Отилия»,— подумал он. И вдруг вспомнил: это было в Шарлоттенбурге; как и сейчас, он сидел на скамейке, залитой солнцем, только тогда в животе и в кармане у него было пусто. «Если ты молод и артист, все переносится легче,— подумал он. И поднялся, сделал несколько шагов, чтобы посмотреть, не видно ли трамвая — в движении не так жарко». Он вернулся, прислонился к дому, снял шляпу и стал обмахиваться.

Всего метрах в ста от остановки был самый настоящий оазис. Высокие липы сада накрывали тротуар густым шатром ветвей. Они манили к себе, но Гаврилеску колебался. Кинул взгляд туда, откуда должен был появиться трамвай, и вдруг решительно двинулся к саду. Вблизи тень оказалась не такой густой. Но из сада веяло прохладой, и Гаврилеску, вскинув голову, задышал всей грудью. «А как было здесь месяц назад, когда цвели липы»,— мечтательно подумал он. И, подойдя к решетке ворот, стал разглядывать сад. Дорожки, посыпанные гравием, были недавно политы, он видел цветущие клумбы, а вдали бассейн, окруженный гномами. Трамвай протарахтел совсем рядом, и Гаврилеску, обернувшись, с улыбкой воскликнул: «Слишком поздно!» Повторил по-немецки: «Zu spät», поднял шляпу и долго махал трамваю вслед, как бывало на Северном вокзале, когда Эльза отправлялась на месяц к родным в деревню неподалеку от Мюнхена.

Потом спокойно, не спеша пошел вперед. На следующей остановке он снял пиджак и приготовился терпеливо ждать, когда внимание его привлек горький запах — будто кто-то растер между пальцами лист грецкого ореха. Он огляделся. Никого. Улица насколько хватал глаз пустынна. Смотреть на небо он не решался, но чувствовал над головой раскаленный добела слепящий свет, асфальт дышал жаром, обжигал рот и щеки. И тогда, надвинув на лоб шляпу, с пиджаком под мышкой, он покорно отправился в обратный путь. А завидев издали густую сень старых орехов, почувствовал, как забилось сердце, и чуть прибавил шагу. Он почти дошел до заветной тени, когда сзади послышался металлический стон трамвая. Остановившись, он снова в знак приветствия снял шляпу и воскликнул: «Слишком поздно! Слишком поздно!..»

Прохлада под сенью старых орехов была так неожиданна, так диковинна, что Гаврилеску на миг смешался. Будто вдруг неведомая сила перенесла его в горный лес. Ошеломленный, с почтительной улыбкой озирал он высокие деревья, каменную ограду, увитую плющом, и бесконечная печаль овладела им. Столько лет проезжать на трамвае мимо этого сада и ни разу не остановиться, не увидеть

его вблизи! Закинув голову, он глядел на вершины деревьев и медленно шел вперед. И вдруг оказался у ворот, и ему навстречу — будто она караулила его — вышла красивая, очень смуглая девушка в ожерелье, с золотыми серьгами.

Она схватила его за руку и зашептала:

— Желаете к цыганкам?

Глаза и рот ее светились улыбкой, и, видя его колебания, она чуть потянула его во двор. Гаврилеску, зачарованный, последовал за нею: но, сделав несколько шагов, остановился, будто собираясь сказать что-то.

— Не хотите к цыганкам? — еще тише прошептала девушка.

И, глубоко заглянув ему в глаза, поспешно повела за руку к старому домишку, прятавшемуся в буйных кустах бузины и сирени. Открыла дверь и подтолкнула его вперед. Гаврилеску очутился в странной полутьме — будто в комнате были не окна, а синие и зеленые витражи. Где-то на улице проезжал трамвай, и его металлический грохот показался Гаврилеску таким невыносимым, что он поднес руку ко лбу. Когда грохот стих, рядом, за низким столиком он увидел старуху, старуха попивала кофе и разглядывала Гаврилеску с любопытством, будто ожидая, когда он проснется.

— Что угодно сегодня твоему сердцу? — спросила старуха.— Цыганку, гречанку, немку?..

— Нет! — Гаврилеску прервал ее движением руки.— Только не немку.

— Тогда цыганку, гречанку или еврейку,— продолжала старуха.— Триста лей,— прибавила она.

Гаврилеску торжественно улыбнулся.

— Три урока музыки! — Он шарил в карманах.— Не считая платы за трамвай, туда и обратно.

Старуха задумчиво потягивала кофе.

— Ты музыкант? — спросила она вдруг.— Тогда тебе должно понравиться.

— Я артист,— сказал Гаврилеску, вытаскивая по очереди из кармана брюк несколько мокрых платков и методично, по одному, перекладывая их в другой карман.— К несчастью, я вынужден был стать учителем музыки, но идеалом моим всегда было чистое искусство. Для меня важна жизнь духа... Простите,— застенчиво прибавил он и, положив на столик свою шляпу, принялся наполнять ее предметами, которые извлекал из карманов.— Никогда не могу сразу найти бумажник...

— Не к спеху,— сказала старуха.— Еще рано. Нет и трех...

— Простите, однако позволю себе не согласиться,— прервал ее Гаврилеску.— Теперь, должно быть, около четырех. В три я кончил заниматься с Отилией.

— Тогда, должно быть, опять стали часы,— прошептала старуха и вновь погрузилась в свои мысли.

— Ах, наконец-то! — воскликнул Гаврилеску, торжествующе помахивая бумажником.— Оказался на своем месте...

Отсчитал деньги и протянул ей.

— Отведите его в хижину,— промолвила старуха, поднимая взгляд от чашки кофе.

Кто-то схватил Гаврилеску за руку, и, испуганно обернувшись, он увидел рядом девушку, которая соблазняла его у ворот. Он последовал за ней в смущении, держа под мышкой шляпу с предметами, извлеченными из карманов.

— Так помни,— сказала девушка,— да не перепутай их: цыганка, гречанка, еврейка...

Они пересекли сад, прошли перед высоким зданием, крытым красной черепицей, которое Гаврилеску приметил еще с улицы.

Вдруг девушка остановилась и, заглянув ему в глаза, молча усмехнулась. Гаврилеску, распихивая содержимое шляпы по карманам, говорил:

— Я артист. Ах, я остался бы здесь под этим шатром деревьев.— И он указал шляпой на старые орехи.— Люблю природу. В этакий зной тут прохладно и дышится легко, как в горах... Но куда мы идем? — спросил он, видя, что девушка подошла к деревянной изгороди и открывает калитку.

— В хижину... Как велела старуха...

Она снова схватила его за руку и потащила за собой. Они вошли в запущенный сад, где розы и лилии терялись в зарослях бурьяна и шиповника. Здесь снова дохнуло зноем, и Гаврилеску заколебался.

— Я, верно, ошибся,— произнес он разочарованно.— Мне хотелось насладиться прохладой среди деревьев...

— Погоди, сейчас войдем в хижину,— перебила его девушка, указывая на заброшенный старый домишко, едва приметный в глубине сада.

Гаврилеску, нахлобучив шляпу на голову, мрачно следовал за нею. Но в прихожей сердце его заколотилось с такою силой, что он принужден был остановиться.

— Почему-то волнуюсь,— пробормотал он.— Сам не знаю почему...

— Не пей слишком много кофе,— прошептала девушка, открывая дверь и вталкивая его в комнату.

Это было помещение, границы которого терялись в полумраке, потому что шторы были приспущены, и в неверном свете ширмы было не отличить от стен. Он пошел вперед, ковры под ногами становились все толще, все мягче, ноги погружались в них, точно в перину, а сердце билось с каждым шагом все быстрее; наконец, он в испуге остановился. И тогда, в то самое мгновенье, он вдруг почувствовал прилив счастья, будто снова был молод, и весь мир принадлежал ему, и Хильдегард тоже.

— Хильдегард! — воскликнул он, обращаясь к девушке.— Я не думал о ней вот уж двадцать лет. Это была моя большая любовь. Женщина моей жизни!..

Но, обернувшись, увидел, что девушка, к которой он обращался, скрылась. И ощутил едва различимый экзотический запах и услышал, как кто-то захлопал в ладоши, а комната стала наполняться странным, мистическим светом — будто медленно, очень медленно, одна за другой, открывались занавески и в нее проникал свет летнего заката. Гаврилеску успел заметить, что ни одна занавеска не шелохнулась, и тем не менее перед ним, всего на расстоянии нескольких метров, оказались три девушки, они легонько хлопали в ладоши и смеялись.

— Ты избрал нас,— сказала одна из девушек.— Цыганку, гречанку и еврейку.

— Но посмотрим, сможешь ли ты отгадать нас,— сказала другая.

— Посмотрим, сможешь ли ты угадать, какая из нас цыганка,— прибавила третья.

Гаврилеску, уронив соломенную шляпу, завороженный, уставился на девушек, будто видел не их, а нечто за ними, нечто скрытое за ширмами.

— Как хочется пить! — прошептал он вдруг, поднеся руку к горлу.

— Старуха прислала тебе кофе,— сказала одна из девушек.

Она исчезла за ширмой и вернулась с круглым деревянным подносом, на котором стояла чашка кофе и джезве. Гаврилеску схватил чашку, выпил кофе залпом и, с улыбкой возвращая пустую, повторил шепотом:

— Ужасно хочется пить.

— Теперь будет очень горячий, прямо из джезве,— сказала девушка, наполняя чашку.— Пей осторожно...

Гаврилеску попытался пить, но кофе был такой горячий, что обжигал губы и — увы! — пришлось опустить чашку на поднос.

— Пить хочется,— уныло повторял он.— Если бы немного воды...

Тогда исчезли за ширмой две другие девушки и вскоре появились вновь, неся уставленные подносы.

— Старуха прислала тебе варенье,— сказала одна.

— Розовое варенье и шербет,— прибавила другая.

Но Гаврилеску впился глазами в кружку, наполненную до краев водою, и хотя рядом стоял толстый зеленый матового стекла стакан, схватил ее обеими руками и поднес к губам. Он пил долго, шумными глотками, запрокинув голову. Опорожнив кружку, со вздохом поставил ее на поднос, вытащил один из платков и, отирая лоб, провозгласил:

— Барышни! Как же мне хотелось пить! Я слышал о некоем полковнике Лоуренсе...

Девушки понимающе переглянулись и прыснули. Они хохотали от всей души все громче и громче. Гаврилеску смотрел на них удивленно, но вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он рассмеялся тоже. Потом долго еще молча утирал лицо платком и наконец сказал:

— Если позволите, я бы тоже хотел спросить вас. Интересно узнать, что это вас так разобрало?

— Мы смеемся, потому что ты назвал нас барышнями,— сказала одна из девушек.— Здесь-то, у цыганок...

— Неправда! — прервала ее другая.— Не слушай ее, она хочет тебя обмануть. Мы смеемся потому, что ты по ошибке выпил из кружки, а не из стакана. Если бы ты пил из стакана...

— Не слушай ее! — вступила третья.— Она хочет тебя обмануть. Я скажу тебе правду: мы смеемся потому, что ты испугался.

— Это неправда! Неправда! — запротестовали две другие.— Она хочет проверить, не испугался ли ты...

— Он испугался! Испугался! — повторяла третья.

Гаврилеску шагнул вперед и торжественно поднял руку.

— Барышни! — возгласил он с обидой.— Вижу, что вы не знаете, с кем имеете дело. Я — человек не рядовой, не обычный. Я — артист. И прежде чем я имел несчастье стать учителем музыки, я пережил поэтическую грезу.— И, помолчав, он воскликнул патетически:— Барышни! В двадцать лет я познакомился с Хильдегард, я пленился ею, и я ее любил!

И с глубоким вздохом он опустился в кресло, придвинутое ему одной из девушек.

— Ах! — продолжал он после долгого молчания.— Почему вы напомнили мне о трагедии моей жизни? Ведь вы уже, наверно, поняли: Хильдегард так и не стала моею женой. Что-то случилось, случилось что-то ужасное...

Девушка протянула ему чашку кофе, и Гаврилеску принялся задумчиво, маленькими глотками пить его.

— Случилось что-то ужасное,— продолжал он помолчав.— Но что? Что могло случиться? Мне хотелось бы знать, но я не могу вспомнить. И то правда: я не думал о Хильдегард очень много лет. Я смирился. Я сказал себе: «Гаврилеску, что было, то прошло!» Нет счастья артистам. И вдруг только что, войдя сюда, вспомнил, что и мне знакома благородная страсть, я вспомнил, что любил Хильдегард!..

Девушки переглянулись и захлопали в ладоши.

— И все же я была права,— сказала третья.— Он испугался.

— Да,— согласились остальные.— Ты была права: он испугался...

— Не понимаю, о чем вы...

— Ты испугался,— сказала одна из девушек, шагнув к нему, и в голосе ее был вызов.— Ты испугался сразу, как вошел...

— Вот почему тебе так хотелось пить,— сказала другая.

— И с тех пор ты все уходишь от ответа,— добавила первая.— Ты избрал нас, но боишься не отгадать.

— Ты должен сперва отгадать,— подхватила третья девушка.— Отгадать, кто из нас цыганка, кто гречанка, а кто еврейка...

— Если ты утверждаешь, что не испугался, попробуй сейчас,— подхватила первая.— Отгадай. Кто цыганка?

— Кто цыганка? Кто цыганка? — эхом отозвались девичьи голоса.

Он улыбнулся и снова стал разглядывать девушек.

— Вот это мне нравится,— заговорил он, вдруг придя в хорошее расположение духа.— Значит, узнав, что перед вами артист, вы решили, будто я не от мира сего и понятия не имею, как выглядит цыганка...

— Но ты снова уходишь от ответа,— прервала его одна из девушек.— Угадай же.

— Значит,— продолжал упорствовать Гаврилеску,— вы думаете, что я лишен воображения и не могу угадать, как выглядит цыганка, в особенности если она молода, прекрасна и обнажена...

Ибо он угадал их с первого взгляда. Та, что сделала шаг ему навстречу, обнаженная, очень смуглая, черноволосая и черноглазая, без сомнения, была цыганка. У второй, тоже обнаженной, но прикрытой матовой зеленой вуалью, тело было неестественно белым и отливало перламутром, а ноги обуты в золотые сандалии. Эта могла быть только гречанкой. Ну а третья, без сомнения, была еврейкой: длинная юбка вишневого бархата обтягивала ее стан, грудь же и плечи были обнажены, ярко-рыжие волосы собраны на макушке в хитроумную прическу.

— Угадай! Какая из нас цыганка? Какая цыганка? — кричали все три девушки разом.

Гаврилеску поднялся с кресла и, указав рукой на смуглянку напротив, торжественно произнес:

— Я артист и потому согласен подвергнуться испытанию, хотя это ребячество, и отвечаю: ты цыганка!

И в следующее мгновение почувствовал, как девушки схватили его за руки и завертели в хороводе, они кричали и свистели, но голоса их почему-то доносились очень издалека.

— Не отгадал! Не отгадал! — слышалось ему словно во сне.

Он попытался ускользнуть, но девушки цепко удерживали его в своем колдовском хороводе. Он ощущал жар их юных тел, вдыхал чуть приметный экзотический аромат духов, слышал легкую поступь танцующих ног. Хоровод кружил его вокруг кресел и ширм, унося в глубь комнаты, и вскоре он отдался ему, забыв обо всем на свете.

Когда он очнулся, смуглянка стояла перед ним на коленях у дивана.

— Долго ли я спал? — спросил он, приподнявшись на локте.

— Ты и не думал спать,— успокоила его девушка.— Просто задремал.

— Но скажите ради Бога, что вы со мною сделали? — спросил он, проводя рукой по лбу.— Я будто потерял сознание.

Он с удивлением озирался. Казалось, это была уже другая комната, и все же он узнавал расставленные в беспорядке среди кресел, диванов и зеркал ширмы, которые бросились ему в глаза сразу, как он вошел. Он не мог понять их расположения. Одни ширмы, очень высокие, почти до потолка, можно было бы принять за стены, но кое-где они отходили от стен под острым углом и тянулись почти до середины комнаты. Другие, озаренные таинственным светом, выглядели окнами с приспущенными занавесками и будто выходили в тем-

ные коридоры. Были здесь и ширмы многоцветные, разрисованные причудливыми узорами или прикрытые шалями, а может, расшитыми тканями; ниспадая складками на ковры, сливаясь с ними, они образовывали нечто вроде альковов различных форм и величин. Но достаточно ему было на несколько секунд задержать взгляд на одном из таких альковов, и стало ясно, что это иллюзия, что это всего лишь отдельные ширмы, отраженные в золотисто-зеленой поверхности зеркала. И в тот миг как Гаврилеску понял это, комната завертелась вокруг, и он снова поднес руку ко лбу.

— Скажите ради Бога, что вы со мною сделали? — повторил он.

— Ты не узнал меня,— прошептала девушка, печально улыбаясь.— А я ведь подмигнула тебе, дала понять, что я не цыганка. Я гречанка.

— Греция! — воскликнул Гаврилеску, вскакивая на ноги.— Бессмертная Греция!

Усталость его точно рукой сняло. Он слышал, как забилось его сердце, и неизъяснимое блаженство теплой волной разлилось по всему телу.

— Когда я был влюблен в Хильдегард,— в радостном волнении продолжал он,— я мечтал только о том, чтобы совершить вместе с ней путешествие по Греции.

— Ты был глуп,— прервала его девушка.— Надо было не мечтать, надо было любить ее...

— Мне было двадцать лет, а ей не исполнилось и восемнадцати. Она была красива. Мы оба были красивы,— прибавил он.

В это мгновение он заметил, что за странный костюм был на нем: длинные, широкие панталоны, напоминающие шаровары, и короткая шелковая туника золотисто-желтого цвета. Глядя в зеркало, он с трудом узнавал себя.

— Я мечтал, что мы отправимся в Грецию,— помолчав, продолжал он уже спокойнее.— Нет, это было больше чем мечта, она начала уже сбываться, потому что мы решили отправиться в Грецию вскоре после свадьбы. И тогда что-то случилось. Господи, что же случилось? — Он схватился за виски.— Был вот такой же, как сегодня, жаркий, ужасно жаркий летний день. Я увидел скамейку, направился к ней и тут почувствовал, как зной рассек мне темя, точно саблей... Нет, это из рассказа полковника Лоуренса, я слышал, как студенты читали его наизусть, когда ждал трамвая. Ах, если бы у меня был рояль! — воскликнул он в отчаянии.

Девушка вспорхнула с ковра и, схватив его за руку, прошептала:

— Пошли со мной!..

И торопливо повела его, лавируя между ширмами и зеркалами. Она шла все быстрее и быстрее. И вот уже Гаврилеску бежал за ней и хотел было остановиться передохнуть, но девушка не позволила.

— Поздно,— прошептала она на бегу, и снова ему показалось, будто голос ее посвистом долетел откуда-то издалека.

Но теперь голова у него не кружилась, хотя надо было обегать бесчисленные диваны, и мягкие подушки, и сундуки, и ларчики, накрытые коврами, и странной формы большие и маленькие зеркала, вдруг возникавшие перед ними, словно бы их только что поставили на ковре. Из коридора, образованного двумя рядами ширм, они неожиданно вырвались на простор солнечной залы. Две другие девушки ждали их там, опершись на рояль.

— Что ж вы так долго? — спросила рыжеволосая.— Кофе остыл.

Гаврилеску перевел дух и, шагнув к девушкам, поднял обе руки, будто защищаясь.

— Ах, нет! — сказал он.— Я больше не пью. Уже достаточно. Я, барышни, хоть и натура артистическая, но жизнь веду правильную. Не люблю понапрасну сидеть в кафе...

Но девушка, будто не услышав его слов, повторила, обернувшись к гречанке:

— Что ж ты так долго?

— Он вспомнил Хильдегард.

— Зачем ты разрешила? — укоризненно сказала третья девушка.

— Нет, но позвольте,— перебил Гаврилеску, подходя к роялю.— Это уж мое дело. И никто не может мне воспрепятствовать. То была трагедия моей жизни.

— Теперь надолго,— сказала рыжеволосая.— Опять запутался.

— Нет уж, позвольте,— возмутился Гаврилеску.— И вовсе я не запутался. То была трагедия моей жизни. Я вспомнил ее, едва переступил ваш порог. Послушайте,—воскликнул он, подходя к роялю.— Я вам сыграю, и вы поймете.

— Зачем ты ему разрешила? — прошептали разом две девушки.— Теперь он никогда нас не отгадает.

Несколько мгновений Гаврилеску сосредоточенно молчал, потом склонился над роялем и вскинул руки над клавишами — как если бы собирался сыграть нечто бравурное. И вдруг воскликнул:

— Вспомнил! Я знаю, что случилось.

Он вскочил из-за рояля и, не поднимая глаз, стал разгуливать по комнате.

— Теперь я знаю,— повторил он.— Это было, как сейчас, летом. Хильдегард с родителями уехала в Кёнигсберг. Было ужасно жарко. Я жил тогда в Шарлоттенбурге и покидал дом, только чтобы прогуляться в тени деревьев. Высокие старые деревья давали густую тень. И было безлюдно. Слишком было жарко. Никто не решался выходить из дому. И вдруг — девушка, она рыдала, закрыв лицо руками. Перед ней стоял маленький чемодан, она сняла туфли и поставила на него ноги, и я очень удивился, когда услышал: «Гаврилеску, я так несчастна». Разве мог я предположить?.. Он перестал ходить по комнате и круто повернулся к девушкам.— Барышни,— провозгласил он патетически,— я был молод, красив, у меня была душа артиста! Вид покинутой девушки разрывал мое сердце. Я заговорил с ней, попытался ее утешить. Так началась трагедия моей жизни.

— Что же теперь делать? — спросила рыжеволосая, обращаясь к подругам.

— Подождем, посмотрим, что скажет старуха,— предложила гречанка.

— Если еще подождем, он и вовсе нас не отгадает,— сказала третья девушка.

— Да, трагедия моей жизни...— продолжал Гаврилеску.— Ее звали Эльза. Но я покорился. Я сказал себе: «Гаврилеску, так должно было случиться. Не судьба! Нет счастья артистам...»

— Видите? — снова заговорила рыжеволосая.— Теперь он опять запутался и неизвестно, как выпутается.

— Это рок! — воскликнул Гаврилеску, воздев руки и поворачиваясь к гречанке.

Девушка слушала его, улыбаясь, заложив руки за спину.

— Бессмертная Греция! — воскликнул он.— Мне не пришлось тебя увидеть.

— Не надо об этом! Не надо! — воскликнули хором две другие девушки.— Вспомни: ты нас избрал!

— Цыганка, гречанка, еврейка,— произнесла гречанка, многозначительно заглядывая ему в глаза.— Ты так хотел, ты нас избрал...

— Угадай нас! — крикнула рыжеволосая.— И ты увидишь, как будет прекрасно!

— Какая из нас цыганка? Какая цыганка? — наперебой спрашивали все три девушки, окружив его.

Гаврилеску быстро отступил к роялю.

— Так, значит, вот как тут у вас принято. Артист или простой

смертный — вы одно твердите: отгадай цыганку. А зачем, скажите на милость? Кто распорядился?

— Такова наша игра, так принято у нас, цыганок,— сказала гречанка,— попробуй угадай. Не пожалеешь.

— Но я не расположен играть,— возразил Гаврилеску с горячностью.— Я вспомнил трагедию моей жизни. Ибо, видите ли, теперь я очень хорошо понимаю: если бы в тот вечер в Шарлоттенбурге я не вошел бы с Эльзой в пивную... Или даже если бы я вошел, но если бы у меня были деньги, чтобы заплатить за еду, жизнь моя сложилась бы иначе. Но случилось так, что у меня не было денег, и заплатила Эльза. И назавтра я пытался раздобыть несколько марок, чтобы отдать ей долг. Но не нашел. Все мои друзья и знакомые разъехались. Было лето, стояла ужасная жара...

— Он снова испугался,— прошептала рыжеволосая, опустив глаза.

— Так слушайте, ведь я еще не кончил! — крикнул Гаврилеску взволнованно.— Три дня я не мог раздобыть денег и каждый вечер приходил к Эльзе на ее временную квартиру; приходил, чтобы извиниться, что не нашел денег. А потом мы отправлялись вдвоем в пивную. Если бы хоть я выдержал характер и не ходил с ней в пивную! Но что вы хотите? Я был голоден. Я был молод и красив, Хильдегард была в отъезде, и я был голоден. По правде говоря, случались дни, когда я вовсе не ел. Жизнь артиста...

— Что же теперь делать? — прервали его девушки.— Ведь время идет.

— Теперь? — воскликнул Гаврилеску, снова воздев руки.— Теперь хорошо, тепло, и мне у вас нравится, потому что вы молоды, красивы, вы здесь рядом и готовы поднести мне варенье и кофе. Но мне больше не хочется пить. Теперь мне хорошо, я прекрасно себя чувствую. И я говорю себе: «Гаврилеску, эти девушки чего-то от тебя ждут. Доставь им удовольствие. Если они хотят, чтобы ты угадал их, угадай. Но будь осторожен! Будь осторожен, Гаврилеску, если снова ошибешься, они закружат тебя в хороводе и ты не очнешься до утра».

И, улыбаясь, он зашел за рояль, обратив его в щит от девушек.

— Так, значит, вы хотите, чтобы я вам сказал, какая из вас цыганка. Хорошо, я скажу...

Девушки оживились, стали рядом, молча уставились на него.

— Я скажу вам,— помолчав, продолжал он.

И мелодраматическим жестом выкинул руку к девушке, покрытой бледно-зеленой вуалью. Девушки застыли, будто не веря своим глазам.

— Что с ним? — спросила наконец рыжеволосая.— Почему он не может угадать?

— С ним что-то случилось,— сказала гречанка.— Он вспоминает о том, что потерял, он заблудился в прошлом.

Девушка, которую он принял за цыганку, выступила вперед, взяла поднос с кофейным прибором и, проходя мимо рояля, грустно улыбнувшись, шепнула:

— Я еврейка...

И исчезла за ширмой.

— Ах! — воскликнул Гаврилеску, ударив себя по лбу.— Мне бы следовало понять. В ее глазах было что-то, пришедшее из дали веков. И на ней была вуаль — прозрачная, но вуаль. Она была будто из Ветхого завета...

Рыжеволосая громко рассмеялась и крикнула:

— Не отгадал ты нас, барин! Не отгадал, кто цыганка...

Она провела рукой по волосам, тряхнула головой, и огненно-рыжие кудри рассыпались, закрыли ей плечи. Пританцовывая, она кру-

жилась вокруг него, хлопала в ладоши и напевала, а волосы языками пламени лизали ее шею.

— Скажи, гречанка, как было бы, если бы он отгадал,— крикнула она, откидывая непослушные пряди.

— Это было бы прекрасно,— прошептала гречанка.— Мы бы пели тебе, и танцевали, и водили бы тебя по всем комнатам. Это было бы прекрасно.

— Это было бы прекрасно,— эхом повторил Гаврилеску и печально улыбнулся.

— Скажи ему, гречанка! — крикнула цаганская девушка, останавливаясь перед подругами, продолжая хлопать в такт и все сильнее притоптывая по ковру голой ногою.

Гречанка, крадучись, подошла к Гаврилеску и стала что-то нашептывать; она говорила быстро, временами качала головой или прикладывала палец к губам, о чем — Гаврилеску не понял. Но он слушал ее, улыбаясь, глядел растерянно и временами повторял: «Это было бы прекрасно!..» А цыганка топала все сильнее и все глуше, как из-под земли доносился до него ее топот, и когда этот дикий, странный ритм стал непереносим, Гаврилеску сделал над собой усилие, ринулся к роялю и заиграл.

— Скажи теперь ты, цыганка! — крикнула греческая девушка.

Он слышал, как она приближается, будто пританцовывая на огромном бронзовом барабане, и через несколько мгновений почувствовал спиной ее горячее дыхание. И тогда, еще ниже склонившись над роялем, он обрушился на клавиши с такою гневной силой, будто хотел разбить их и вырвать, чтобы проникнуть в фортепиано, в самую его глубь.

Он больше ни о чем не думал, увлеченный новыми, незнакомыми мелодиями; казалось, он слышал их впервые, хотя они возникали в его сознании одна за другой, словно вспоминались после долгого забвения. Так прошло много времени, и, только перестав играть, он заметил, что один и в комнату спустились сумерки.

— Где вы? — испуганно крикнул он, вставая из-за рояля.

И, поколебавшись, направился к ширме, за которой исчезла еврейка.

— Куда вы спрятались? — крикнул он снова.

Тихонько, на цыпочках, точно хотел застать их врасплох, он пробрался за ширму. Здесь будто начиналась другая комната, переходившая в извилистый коридор. Комната была странная, с низким неровным потолком, ее чуть волнистые стены то исчезали, то вновь возникали из темноты. Гаврилеску сделал наугад несколько шагов, остановился и прислушался. Ему показалось, что именно в этот момент торопливые шаги прошуршали по ковру совсем рядом.

— Где вы? — повторил он.

Ему ответило только эхо. Он вгляделся в темноту и будто увидел: все три девушки жались в углу коридора; вытянув вперед руки, он ощупью двинулся к ним. Но вскоре понял, что идет в неверном направлении, ибо через несколько метров коридор сворачивал влево, тогда он снова остановился.

— Вы напрасно прячетесь, я все равно вас найду! — крикнул он в темноту.— Лучше выходите по доброй воле!..

И опять напряженно прислушался, вглядываясь в темноту. Все было тихо. Только, казалось, опять нахлынула жара, и он решил вернуться и подождать за роялем. Он очень хорошо помнил, откуда пришел, и знал, что сделал не больше двадцати — тридцати шагов. Вытянув вперед руки, он осторожно направился обратно, но через несколько шагов руки его уперлись в ширму, и он испуганно отпрянул. Еще несколько мгновений назад — он это твердо знал — ширмы здесь не было.

— Что вы задумали? Выпустите меня! — крикнул он.

И ему показалось, что вновь раздались сдавленные смешки и шорох. Тогда он осмелел:

— Может, вы решили, будто я испугался,— сказал он, стараясь придать своему голосу как можно больше бодрости.— Нет, позвольте, позвольте! — поспешно прибавил он, словно ожидая, что его прервут.— Если я стал играть с вами в прятки, то только из жалости. Вот в чем дело: я пожалел вас. Увидел вас, бедных девочек, запертых в цыганской хижине, и сразу сказал себе: «Гаврилеску, эти девушки тебя разыгрывают. Притворись, что им удалось тебя обмануть. Пускай подумают, что ты не знаешь, какая из них цыганка. Таковы условия игры!..» Таковы условия игры! — крикнул он во весь голос.— Но теперь наигрались, выходите на свет.

Он прислушался, улыбаясь, опершись правой рукой на ширму. В эту минуту кто-то пробежал мимо — совсем рядом. Он резко повернулся, вытянул вперед руки со словами:

— Посмотрим, кто ты. Посмотрим, кого я поймал. Уж не цыганку ли?

И долго шарил в воздухе руками, а когда остановился и прислушался, ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха.

— Ну ничего,— сказал он, будто не сомневался, что девушки прячутся в темноте где-то совсем рядом.— Я еще подожду. Вижу, вы пока не поняли, с кем имеете дело. Потом пожалеете. Я мог бы научить вас играть на рояле. Вы лучше бы узнали музыку. Лучше бы поняли «Песни» Шумана. Какая это красота! — воскликнул он с горячностью.— Что за божественная музыка!

Стало еще жарче, и он принялся вытирать лицо рукавом туники. Нащупал ширму и, держась ее, уныло поплелся влево. Временами останавливался, прислушивался и снова двигался вперед все быстрее и быстрее. И вдруг рассердился:

— И дернуло меня связаться с детьми! Да что там! Это я из вежливости сказал «с детьми». Нет, вы не дети. Вы сами понимаете, кто вы. Вы цыганки. Темные. Невежественные. Да знаете ли вы, где находится Аравийская пустыня? Кто из вас слышал о полковнике Лоуренсе?

Казалось, ширма никогда не кончится, и чем дальше он шел, тем невыносимее становилась жара. Он снял тунику, вытер лицо и затылок, повесил ее на плечо вместо полотенца и снова принялся шарить рукой в поисках ширмы. Но на сей раз нащупал стену, гладкую, прохладную стену, и прижался к ней, распластав руки. Долго стоял он так, прижавшись к стене и глубоко дыша. Потом медленно двинулся, по-прежнему держась стены, приникнув к ней всем телом. Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что потерял тунику. Он весь вспотел, пришлось остановиться, снять шаровары и вытереться ими с головы до ног. В это мгновение ему показалось, будто что-то касается его плеча; он отскочил с испуганным криком:

— Пустите! Да пустите же!..

И снова кто-то или что-то, какое-то существо или какой-то неведомый предмет коснулся его лица и плеч, и, защищаясь, он принялся размахивать над головой шароварами. Становилось все жарче, пот градом катился по щекам, он задыхался. От резкого движения шаровары выскользнули из рук и исчезли где-то во тьме. На мгновение Гаврилеску застыл с поднятой рукой, судорожно сжимая кулак, будто еще надеялся, что шаровары к нему вернутся. Ибо вдруг почувствовал, что наг, и тогда, как маленький, встал на четвереньки, упершись руками в ковер и наклонив голову, точно приготовился бежать взапуски.

Он двигался вперед, ощупывая ковер, продолжая уповать на то, что отыщет шаровары. Какие-то предметы попадались на пути, но что именно, отгадать было трудно: наткнешься на сундучок, а ощупаешь получше — гигантская тыква, наподобие головы, завернутая

в шали; диванные подушки и валики, стоило обследовать их более старательно, оказывались мячами, раскрытыми старыми зонтиками, из них сыпались опилки; бельевые корзины были набиты газетами; впрочем, было трудно окончательно решить, на что он натыкался, так как возникали все новые предметы и он принимался их обшаривать. Иногда на пути вставала крупная мебель, и он благоразумно обходил ее сторонкой, чтобы не опрокинуть.

Так он все ползал и ползал на четвереньках, на животе и уже потерял счет времени. С шароварами, верно, надо было проститься. Больше всего изнуряла жара. Казалось, в полуденный зной он мечется по чердаку крытого железом дома. Горячий воздух обжигал ноздри, предметы вокруг все больше раскалялись. Тело взмокло, временами приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Он лежал ничком, широко раскинув руки и ноги, уткнувшись в ковер, прерывисто и глубоко дыша.

Потом он будто задремал и проснулся от дуновения, ему почудилось, где-то открыли окно и повеяло ночной прохладой. Но нет, ощущение было другое, совсем незнакомое, и на мгновение он застыл, почувствовав озноб. Что случилось после, припомнить не удавалось. Какой-то крик испугал его, он очнулся и понял, что бежит в темноте. Бежит как безумный, ударяясь о ширмы, опрокидывая зеркала, разнообразные мелкие предметы, странным образом разложенные на ковре; он скользил и падал, но тут же вскакивал и снова пускался бежать. Перепрыгивал через сундуки, обегал зеркала и ширмы и внезапно осознал, что немного рассеялась тьма и контуры предметов различимы. Словно в дальнем конце коридора на необычной высоте открылось окно и сквозь него проникал гаснущий свет летних сумерек. Но в коридоре жара стала непереносимой. Надо было остановиться, перевести дух, тыльной стороной ладони он отер пот со лба и щек. Сердце стучало так, что, казалось, вот-вот разорвется.

Еще не добравшись до окна, он вновь в испуге остановился. Откуда-то донеслись голоса, смех, шум отодвигаемых стульев, будто целая компания встала из-за стола, направляясь ему навстречу. И в этот момент он увидел, что наг, необычайно худ — кости выпирали из-под кожи, а живот раздулся — такого живота у него никогда не было. Ретироваться уже не было времени. Он ухватился за попавшийся под руку занавес и потянул его. Занавес подался, и, упершись ногами в стену, он всей тяжестью откинулся назад. Но тут случилось нечто неожиданное. Занавес тянул его к себе все сильнее, и через несколько мгновений он оказался прижатым к стене; тогда, отпустив занавес, он попытался высвободиться, но не тут-то было: занавес словно запеленал его, казалось, его связали и втолкнули в мешок. И снова была тьма и такая жара, что Гаврилеску понял: долго он не выдержит, задохнется. Попытался кричать, но горло задеревенело, пересохло, звук глох, точно уходил в войлок.

Голос, показавшийся ему знакомым, произнес:

— Так говори же, барин, говори дальше.

— Что еще вам сказать? — прошептал он.— Я сказал все. Все было кончено. Я приехал с Эльзой в Бухарест. Мы были бедны. Я начал давать уроки музыки...

Он приподнял голову с подушки и встретился глазами со старухой. Она сидела за столиком с джезве в руках, намереваясь разлить кофе.

— Нет, спасибо, больше не хочу! — Он протестующе поднял руку.— Я уже много выпил. Боюсь, что не усну ночью.

Старуха наполнила свою чашку и поставила джезве на углу столика.

— Говори дальше,— упорствовала она.— Что ты потом делал? Что же случилось?

Гаврилеску долго молчал, в задумчивости обмахиваясь шляпой.

— Потом мы начали играть в прятки,— сказал он вдруг изменившимся, посуровевшим голосом.— Конечно, они не знали, с кем имеют дело. Я человек серьезный, артист, учитель музыки. Меня интересует все новое, неизвестное. Я сказал себе: «Гаврилеску, вот тебе возможность расширить свои познания». Я не понимал, что речь идет о наивных детских играх. Но представьте, я вдруг оказался голым и услышал голоса, я был один, как в тот момент, когда... Понимаете, что я хочу сказать...

Старуха покачала головой и продолжала не спеша потягивать кофе.

— Шляпы твоей мы обыскались,— произнесла она.— Всю хижину девочки перевернули, пока не нашли.

— Да, признаю, это была моя вина,— продолжал Гаврилеску.— Я не знал, что, если не отгадаю на свету, придется разыскивать их, ловить, отгадывать в темноте. Мне никто ничего не сказал. И повторяю: когда я увидел, что на мне ничего нет, и почувствовал, что портьера пеленает меня, как саван, честное слово, она была точно саван...

— Ох, и намучились же мы, пока тебя одели,— сказала старуха.— Ни за что ты не хотел одеваться...

— Я говорю вам: эта портьера была точно саван, она запеленала меня, я был спеленут, она стянула меня так, что я не мог дышать. А как было жарко! — воскликнул он, энергично обмахиваясь шляпой.— Удивительно, что я не задохнулся!..

— Да, было очень жарко,— сказала старуха.

В этот момент издалека донеслось звяканье трамвая. Гаврилеску поднес руку ко лбу.

— Ах! — воскликнул он и с трудом поднялся с софы.— Я заговорился, то да се, ну и совсем забыл, что мне надо на улицу Поповн. Представьте, я оставил там портфель с партитурами. Как раз сегодня возвращаюсь и говорю себе: «Держись, Гаврилеску, уж не стал ли ты...» Да, в этом роде я что-то говорил, только как следует не помню...

Он сделал несколько шагов к двери, но вернулся, помахал шляпой и произнес с легким поклоном:

— Рад был с вами познакомиться.

Во дворе его ждала неприятная неожиданность. Хотя солнце зашло, жара стояла пуще, чем в полдень. Гаврилеску снял пиджак, перекинул его через плечо и, продолжая обмахиваться шляпой, пересек двор и вышел на улицу. Чем дальше он удалялся от стены тенистого сада, тем больше страдал от зноя, пыли и запаха расплавленного асфальта. Сгорбившись, рассеянно глядя перед собой, он добрел до остановки. Там не было ни души. Заслышав лязг подъезжающего трамвая, он поднял руку, трамвай остановился.

В полупустом вагоне все окна были открыты. Он сел напротив какого-то юноши и, когда подошел кондуктор, стал искать бумажник. Бумажник попался быстрее, чем можно было ожидать.

— Что-то невероятное! — обратился Гаврилеску к юноше.— Честное слово, хуже, чем в Аравийской пустыне. Если вы слышали когда-нибудь о полковнике Лоуренсе...

Юноша рассеянно улыбнулся и повернул голову к окну.

— Который может быть час? — спросил Гаврилеску кондуктора.

— Пять минут девятого.

— Вот незадача! Они как раз сядут обедать. И могут подумать, что я пришел так поздно, чтобы попасть к столу. Понимаете, будет очень неприятно, если они так подумают... Понимаете, что я имею в виду. С другой стороны, если намекнуть, где я был, мадам Войтинович, дама весьма любопытная, заставит ей все выложить и продержит меня до ночи.

Кондуктор, выслушав его с улыбкой, подмигнул юноше.

— А вы скажите ей, что были у цыганок, вот увидите, она не станет расспрашивать...

— Ах нет, такого не может быть. Я хорошо ее знаю. Она женщина любопытная. Лучше уж ничего не говорить.

На следующей остановке вошло несколько молодых пар, и Гаврилеску подсел к ним, чтобы послушать разговоры. Улучив благоприятный момент, он приподнял руку:

— Разрешите возразить. Я, к несчастью, стал учителем музыки, но мое призвание не в этом...

— Улица Поповн,— объявил кондуктор, и Гаврилеску вскочил, попрощался и кинулся к выходу.

Он шел не спеша по улице, обмахиваясь шляпой. Перед домом восемнадцать остановился, поправил галстук, пригладил рукою волосы и вошел в подъезд. Потихоньку поднявшись на второй этаж, он решительно позвонил. Через несколько минут его догнал молодой человек, с которым он ехал в трамвае.

— Какое совпадение! — воскликнул Гаврилеску, видя, что юноша останавливается с ним рядом.

Дверь рывком открылась, на пороге стояла еще не старая женщина с бледным, увядшим лицом. На ней был фартук, в руках — банка горчицы. Взглянув на Гаврилеску, она нахмурилась и спросила:

— Что вам угодно?

— Я забыл свой портфель,— смущенно начал Гаврилеску.— Заговорился и забыл. У меня были дела в городе, поэтому я не мог зайти раньше.

— Не понимаю. Какой портфель?

— Если она уже обедает, вы ее не беспокойте,— торопливо продолжал Гаврилеску.— Я знаю, где его оставил. Около рояля.

И он попытался войти, но женщина не двинулась с порога.

— Вы к кому?

— К госпоже Войтинович. Я Гаврилеску, учу Отилию музыке. Не имел удовольствия с вами встречаться,— добавил он вежливо.

— Не туда попали,— сказала женщина.— Это дом восемнадцать.

— Разрешите,— снова начал Гаврилеску улыбаясь.— Я эту квартиру за пять лет изучил досконально. Можно сказать, я здесь свой. Прихожу три раза в неделю.

Юноша слушал, прислонившись к стенке.

— Как, вы говорите, ее зовут? — переспросил он.

— Госпожа Войтинович. Тетушка Отилии, Отилии Панделе...

— Она здесь не живет,— перебил его юноша.— Здесь живем мы, семья Джорджеску. Перед вами жена моего отца. Урожденная Петреску...

— Прошу тебя соблюдать приличия,— вступила женщина.— И не приводить с собой разных типов...

Она повернулась и исчезла в коридоре.

— Вы уж извините ее за эту сцену.— Юноша криво улыбнулся.— Она — третья жена моего отца. На ее плечи легли все ошибки его предшествующих женитьб. Пять мальчиков и девочка.

Гаврилеску взволнованно обмахивался шляпой.

— Сожалею,— начал он.— Искренне сожалею. Я не хотел огорчить ее. Что и говорить, час весьма неподходящий. Обеденный час. Но понимаете, завтра утром у меня урок на Спировой Горе. Портфель мне нужен. Там этюды Черни, вторая и третья тетради. Там мои партитуры, мои собственные интерпретации записаны на полях. Поэтому я всегда ношу портфель с собой.

Юноша смотрел на него с улыбкой.

— Мне кажется, вы меня не поняли,— прервал он Гаврилеску.— Я уже объяснял вам, что здесь живем мы, семья Джорджеску. Живем четыре года.

— Не может быть! — воскликнул Гаврилеску.— Я был здесь всего несколько часов назад, давал урок Отилии с девяти до трех. Потом беседовал с госпожой Войтинович.

— На улице Поповн восемнадцать, на втором этаже? — удивленно переспросил юноша и весело улыбнулся.

— Вот именно. Я прекрасно знаю этот дом. Могу сказать вам, где стоит рояль. Доведу вас туда с закрытыми глазами. Он в гостиной у окна.

— У нас нет рояля,— сказал юноша.— Поднимитесь этажом выше. Хотя могу вас заверить, что на третьем этаже Отилия тоже не живет. Там живет семья капитана Замфира. Поднимитесь на четвертый. Мне очень жаль,— прибавил он, видя, что Гаврилеску слушает его испуганно, все быстрее обмахиваясь шляпой.— Я был бы очень рад, если бы эта семья Отилии жила в нашем доме...

Гаврилеску глядел на него в нерешительности.

— Благодарю вас,— сказал он помолчав.— Попытаю счастья на четвертом этаже, хотя даю вам слово, что сегодня еще в начале четвертого был здесь.— Он показал на коридор.

Подниматься вверх было трудно. На четвертом этаже он долго утирал лицо платком, прежде чем позвонить. Кто-то засеменил по коридору, дверь отворилась, перед ним стоял мальчик лет пяти-шести.

— Ах,— воскликнул Гаврилеску,— боюсь, что я ошибся. Мне нужна госпожа Войтинович...

В дверях появилась улыбающаяся молодая женщина:

— Госпожа Войтинович жила на втором этаже, но больше не живет, она уехала в провинцию.

— И давно?

— О да, давненько. Осенью будет уж восемь лет. Сразу после свадьбы Отилии.

Гаврилеску потер лоб, посмотрел на женщину и улыбнулся со всей возможной кротостью.

— Полагаю, вы что-то перепутали. Я говорю об Отилии Панделе, внучке госпожи Войтинович, она учится в шестом классе лицея.

— Я обеих хорошо знала,— произнесла женщина.— Когда мы сюда переехали, Отилия только что обручилась, знаете, вначале была эта история с майором. Госпожа Войтинович не давала своего согласия на брак и была права: слишком велика была разница в возрасте. Отилия была дитя, ей не исполнилось и девятнадцати лет. К счастью, она встретила Фрынку, инженера Фрынку,— не может быть, чтобы вы о нем не слышали.

— Инженер Фрынку? — повторил Гаврилеску.— Фрынку?

— Да, изобретатель. В газетах писали...

— Изобретатель Фрынку,— мечтательно повторил Гаврилеску.— Любопытно...

Он протянул руку, погладил по голове мальчика и, слегка поклонившись, сказал:

— Прошу прощения. Видно, я перепутал этаж.

Юноша ждал его внизу; он курил у двери своей квартиры.

— Выяснили что-нибудь?

— Госпожа, живущая наверху, полагает, что Отилия вышла замуж, но, уверяю вас, это ошибка. Отилии нет и семнадцати, она учится в шестом классе лицея. Я разговаривал с госпожой Войтинович, мы обсуждали самые разные темы, но она ни словом не обмолвилась...

— Любопытно...

— Даже весьма,— осмелев, сказал Гаврилеску.— Потому я и говорю вам, что ничему не верю. Даю вам честное слово. Но в конце концов, зачем настаивать? В сущности, это недоразумение... Приду еще раз завтра утром...

И, попрощавшись, стал решительно спускаться.

«Держись, Гаврилеску,— прошептал он, выйдя на улицу,— ты впадаешь в маразм, стал терять память. Путаешь адреса...» Увидел трамвай и ускорил шаг. Только усевшись у открытого окна, он почувствовал легкое дуновение ветра.

— Наконец-то,— обратился он к женщине, сидевшей напротив.— Будто, будто...— но почувствовал, что не может закончить фразу и растерянно улыбнулся.— Да,— продолжал он помолчав,— я недавно сказал приятелю... будто... будто побывал в Аравийской пустыне. Полковник Лоуренс, если вы о нем слышали...

Женщина продолжала смотреть в окно...

— Теперь через час-другой наступит ночь. Темнота, я хочу сказать, ночная прохлада. Наконец-то... Можно будет вздохнуть.

Кондуктор в ожидании глядел на него, и Гаврилеску стал рыться в своих карманах.

— После полуночи сможем вздохнуть,— обратился он к кондуктору.— Что за длинный день,— прибавил он раздраженно, потому что не мог найти бумажник.— Сколько перипетий!.. Ах, наконец-то!— И он протянул кондуктору банкноту.

— Эта уже не годится,— сказал кондуктор, возвращая купюру.— Обменяйте в банке...

— Почему? — недоумевал Гаврилеску, вертя банкноту в руках.

— Изъята из обращения год назад. Обменяйте ее в банке.

— Любопытно! — произнес Гаврилеску, внимательно разглядывая купюру.— Сегодня утром годилась. И цыганки берут. У меня были еще три таких, и цыганки взяли.

Женщина побледнела, раздраженно вскочила с места и пересела на другой конец трамвая.

— Не надо было говорить о цыганках при даме,— укорил его кондуктор.

— Все говорят! — возразил Гаврилеску.— Я три раза в неделю езжу этим трамваем и даю вам честное слово...

— Да, это правда,— вмешался какой-то пассажир.— Мы все говорим, но не при дамах. Надо сохранять благоразумие. В особенности сейчас, когда цыганки собрались устраивать иллюминацию. Да-да, и муниципалитет дал разрешение: они устроят в своем саду иллюминацию. Я, могу вам сказать, человек без предрассудков, но иллюминация у цыганок — это вызов!..

— Любопытно,— произнес Гаврилеску.— Я ничего не слышал.

— Пишут во всех газетах,— вмешался в разговор другой пассажир.— Какой позор! — воскликнул он громким голосом.— Безобразие!

Несколько человек обернулись, и под их возмущенными взглядами Гаврилеску потупился.

— Поищите, может, у вас есть другие купюры,— сказал кондуктор.— Если нет, придется вам выйти на следующей остановке.

Гаврилеску покраснел и, не решаясь поднять глаза, стал шарить по карманам. К счастью, кошелек с мелочью оказался поблизости, среди многочисленных платков. Отсчитав несколько монет, он протянул их кондуктору.

— Вы дали мне всего пять лей,— сказал кондуктор, указывая на свою ладонь.

— До Почтовой таможни.

— Не важно докуда, билет стоит десять лей. На каком свете вы живете? — сурово произнес кондуктор.

— Я живу в Бухаресте,— гордо ответил Гаврилеску, поднимая глаза на кондуктора.— И езжу на трамвае по три-четыре раза в день вот уже не один год и всегда платил пять лей.

Теперь весь вагон с интересом прислушивался к разговору. Несколько пассажиров пересели поближе. Кондуктор подбрасывал монеты на ладони.

— Заплатите за проезд или выходите на следующей остановке.

— Трамвай подорожал года три-четыре назад,— вставил кто-то.

— Пять лет назад,— уточнил кондуктор.

— Даю вам честное слово...— торжественно начал Гаврилеску.

— Тогда выходите на следующей остановке,— перебил его кондуктор.

— Лучше уж доплатите,— посоветовал кто-то.— До Почтовой таможни идти далеко.

Гаврилеску отыскал в кошельке пять лей и доплатил.

— Странные происходят вещи,— прошептал он, когда отошел кондуктор.— Решения принимаются за ночь, за двадцать четыре часа... Точнее за шесть. Даю вам честное слово... Но в конце концов, зачем настаивать? Это был ужасный день. И что еще серьезнее, мы не можем жить без трамвая. Я, во всяком случае, вынужден по три-четыре раза в день ездить на трамвае. Впрочем, урок музыки стоит сто лей. Вот такую купюру. Но теперь и эта купюра не годится. Надо идти менять ее в банке...

— Дайте мне,— сказал пожилой господин.— Завтра обменяю в конторе.

Он вынул из бумажника купюру и протянул ее Гаврилеску. Гаврилеску осторожно взял ее и, внимательно рассмотрев, произнес:

— Красивая. И давно она в обращении?

Пассажиры с улыбкой переглянулись.

— Года три,— промолвил один.

— Любопытно, что мне такая до сих пор не попадалась. Правда, я человек рассеянный. Артистическая натура...

Он спрятал купюру в бумажник и посмотрел в окно.

— Стемнело. Наконец-то!

И вдруг почувствовал такую усталость, такое изнеможение, что, закрыв лицо руками, зажмурился и так просидел до Почтовой таможни.

Он напрасно пытался открыть дверь ключом, потом долго жал на кнопку звонка, стучал — погромче, потише — в окна столовой, наконец, вернулся к входной двери и принялся дубасить кулаком. Вскоре в темном окне соседнего дома появилось белое пятно ночной рубахи, и хриплый голос крикнул:

— Чего скандалишь? Ты что — спятил?

— Простите,— произнес Гаврилеску.— Не знаю, что с моей женой. Она не откликается. И видно, ключ сломался, не могу войти в дом.

— А чего вам входить? Вы кто будете?

Гаврилеску подошел к окну:

— Хоть мы и соседи,— начал он,— но, кажется, я не имел удовольствия с вами встречаться. Моя фамилия Гаврилеску, и я живу здесь с женою Эльзой...

— Значит, не туда попали. Здесь живет господин Стэнеску. И его нету. Уехал на воды.

— Позвольте,— возразил Гаврилеску.— Мне очень жаль, что приходится вам перечить, однако, думаю, вы ошибаетесь. Здесь, в доме сто один, живем мы, Эльза и я. Живем четыре года.

— Господа, прекратите немедленно, спать не даете!— крикнул кто-то.— Какого черта?!

— Он притворяется, будто живет в квартире господина Стэнеску...

— Не притворяюсь! — запротестовал Гаврилеску.— Это моя квартира, и я вовсе не притворяюсь. И прежде всего хочу знать, где Эльза, что с ней случилось?

— Спросите в полиции,— сказал кто-то сверху.

Гаврилеску испуганно поднял голову:

— Почему в полиции? Что случилось? — взволнованно крикнул он.— Вы что-нибудь знаете?

— Ничего я не знаю, я хочу спать. И если вы затеяли разговор на всю ночь...

— Позвольте,— произнес Гаврилеску,— мне тоже хочется спать, я, можно сказать, очень устал... У меня был ужасный день. Жара, как в Аравийской пустыне. Но я не понимаю, что случилось с Эльзой. Почему она не отвечает? Может, ей стало дурно, она потеряла сознание.

И, повернувшись к двери квартиры номер сто один, он забарабанил кулаком что было силы.

— Послушай, я же сказал тебе, что никого нет дома. Господин Стэнеску уехал на воды.

— Вызовите полицию! — закричал пронзительный женский голос.— Немедленно вызовите полицию!

Гаврилеску перестал барабанить и, тяжело дыша, прислонился к двери. Только сейчас он почувствовал, что ноги не держат его, и сел на ступеньку, обхватив руками голову. «Крепись, Гаврилеску,— шептал он,— случилось что-то очень серьезное, и они не хотят тебе сказать. Крепись, попытайся вспомнить...»

— Мадам Трандафир! — закричал он вдруг.— Как же я сразу не подумал! Мадам Трандафир! — крикнул он, встал и направился к дому напротив.— Мадам Трандафир!..

Кто-то сверху сказал уже более мирно:

— Оставьте ее в покое, беднягу...

— Но это срочно!

— Оставьте ее в покое. Господи, прости ее, грешную, она давно умерла!

— Не может быть! — крикнул Гаврилеску.— Я с ней говорил сегодня утром.

— Должно быть, вы путаете ее с сестрой, Екатериной. Мадам Трандафир умерла пять лет назад.

На мгновение Гаврилеску замер, потом сунул руки в карманы, вытащил несколько платков и, наконец, прошептал:

— Любопытно.

Он медленно поднялся на три ступени к квартире сто один, взял свою шляпу и надел ее. Подергал еще раз ручку двери, повернулся и нетвердыми шагами побрел прочь. Он шел медленно, ни о чем не думая, машинально утираясь платками. Корчма на углу была еще открыта, и, послонявшись вокруг, он решил зайти.

— Можем дать вам только стакан вина,— сказал мальчик-официант.— Мы в два закрываемся.

— В два? — удивился Гаврилеску.— А сколько сейчас?

— Два. Даже больше...

— Ужасно поздно,— прошептал себе под нос Гаврилеску и подошел к стойке.

Лицо хозяина показалось ему знакомым.

— Вы не господин Костикэ? — спросил он с бьющимся сердцем.

— Да,— ответил хозяин, разглядывая Гаврилеску. И, помолчав, заметил: — Будто и я вас знаю.

— Будто, будто...— произнес Гаврилеску и растерянно улыбнулся.— Я давно отсюда,— продолжал он.— У меня здесь были друзья. Мадам Трандафир.

— Да, господи, прости ее, грешную...

— Мадам Эльза Гаврилеску.

— Ах, и с ней тоже что-то случилось,— прервал его корчмарь,— а что — до сего дня никто толком не знает. Полиция искала ее мужа несколько месяцев, но так и не нашла, ни живого, ни мертвого... Точно сквозь землю провалился... Бедная мадам Эльза ждала его, ждала, а

потом уехала к своим в Германию. Вещи распродала и уехала. Добра у них не больно много было, жили бедно. Я и сам раздумывал, не купить ли рояль.

— Значит, она уехала в Германию,— произнес Гаврилеску мечтательно.— И давно?

— Давно. Давно. Через несколько месяцев после того, как исчез Гаврилеску. Осенью будет двенадцать лет. Даже в газетах писали...

— Интересно,— прошептал Гаврилеску и принялся обмахиваться шляпой.— А если я вам скажу... и дам честное слово, что это чистая правда: сегодня утром я разговаривал с ней. Более того: мы вместе пообедали. Могу сообщить вам даже, что ели.

— Должно быть, вернулась,— озадаченно произнес корчмарь.

— Нет, не вернулась. Она и не уезжала. Тут кроется какое-то недоразумение. Сейчас я немного устал, но завтра утром я во всем разберусь...

И, слегка поклонившись, он вышел.

Он шел медленно, держа в одной руке шляпу, в другой — платок и подолгу отдыхал на каждой скамейке. Ночь была свежая, безлунная, на улицу изливалась прохлада садов. Его догнала пролетка.

— Вам куда, барин? — спросил извозчик.

— К цыганкам,— ответил Гаврилеску.

— Тогда садитесь, за две двадцатки довезу,— предложил извозчик и остановил пролетку.

— К сожалению, у меня маловато денег. Осталось сто лей да еще какая-то мелочь. А сотню стоит вход к цыганкам.

— Побольше,— произнес извозчик и рассмеялся.— Сотни-то вам не хватит.

— Я сегодня после обеда сотню платил... Спокойной ночи,— прибавил Гаврилеску и пошел прочь.

Но извозчик поехал следом.

— Это пахнет душистый табак.— Извозчик глубоко вздохнул.— В саду господина генерала. Я потому и люблю ездить здесь ночью. Есть клиенты, нет ли, я все равно ночью здесь проезжаю. Страсть как люблю цветы.

— У тебя артистическая натура,— улыбаясь, сказал Гаврилеску.

И, приветственно подняв руку, присел отдохнуть, но извозчик, круто осадив лошадь, подъехал к скамейке. Вынул табакерку и принялся скручивать цигарку.

— Люблю цветы,— повторил он.— Лошадей в цветах. В молодости я ездил на похоронных дрогах. Вот красота! Шесть коней в черных с золотом попонах и цветы, цветы, пропасть цветов! Эх, прошла молодость, все прошло. Стал я стар и теперь вот — всего лишь ночной извозчик, да и лошадь у меня теперь одна.

Он зажег цигарку и неспешно затянулся.

— Так, стало быть, к цыганкам,— начал он снова, помолчав.

— Да, у меня к ним одно дело,— поспешил оправдаться Гаврилеску.— Я был там сегодня после обеда, и вышли всякие недоразумения.

— Ах, цыганки... — вздохнул извозчик.— Если бы не цыганки,— прибавил он, понизив голос.— Если бы не цыганки...

— Да,— сказал Гаврилеску,— все говорят.— То есть я хотел сказать — в трамвае. Все говорят о цыганках, когда трамвай проезжает мимо их сада.

Он встал со скамейки и пошел дальше; пролетка ехала рядом.

— Повернем сюда,— сказал извозчик, указывая кнутом на переулок,— так короче... Проедем мимо церкви. Там душистый табак расцвел. Правда, не такой, как у генерала, но увидите, вы не пожалеете...

— У тебя артистическая натура,— мечтательно сказал Гаврилеску.

Возле церкви они остановились, чтобы насладиться запахом цветов.

— Будто тут еще что-то, не один табак,— сказал Гаврилеску.

— Ах, каких здесь только цветов нет! Если сегодня были похороны, цветов много осталось. И теперь, к утру, все они опять запахнут... Я, когда на дрогах работал, частенько сюда приезжал. То-то была красота!..

Извозчик присвистнул лошади и пошел вслед за Гаврилеску.

— Теперь уж немного осталось,— продолжал он.— Вы чего не садитесь?

— Мне очень жаль, но у меня нет денег.

— Дадите мелочь. Садитесь...

Немного поколебавшись, Гаврилеску не без труда забрался в пролетку. Но едва пролетка тронулась, как голова его упала на подушку и он уснул.

— Да, красота была,— снова заговорил извозчик.— Церковь богатая, народ все чистый... Молодость...

Он обернулся и, увидев, что клиент спит, стал потихоньку насвистывать, лошадь пошла живее.

— Приехали! — крикнул он наконец, спрыгивая с козел.— Однако ворота закрыты...

Гаврилеску взял свою шляпу, поправил галстук и, соскочив с пролетки, принялся искать кошелек с мелочью.

— Не ищите,— сказал извозчик.— Отдадите в следующий раз. Я все равно здесь стоять буду,— прибавил он.— В этот час, если какой клиент попадется, то только здесь.

Помахав извозчику шляпой, Гаврилеску подошел к воротам, отыскал звонок и позвонил. Ворота тут же отворились, и, войдя в них, Гаврилеску направился к зарослям, за которыми прятался домик. В окошке мерцал огонек. Гаврилеску робко постучал, но никто не откликнулся, тогда он толкнул дверь и вошел. Старуха спала, положив голову на столик.

— Это я, Гаврилеску,— сказал он, тронув старуху за плечо.— Из-за вас у меня куча сложностей,— прибавил он, видя, что старуха смотрит на него в недоумении.

— Уже поздно,— сказала старуха, протирая глаза.— Все разошлись.

Но, разглядев его, узнала.

— Ах, это ты, музыкант. Немка еще не ушла. Она никогда не спит...

Сердце у Гаврилеску забилось, он задрожал.

— Немка? — повторил он.

— Сто лей,— сказала старуха.

Гаврилеску полез за бумажником, но руки его дрожали все сильнее, и, отыскав бумажник среди платков, он уронил его на ковер, пробормотал «простите» и с трудом наклонился.

— Немного устал. Ужасный был день...

Старуха взяла купюру, встала со стульчика, подошла к двери и с порога указала на большой дом.

— Смотри не заблудись,— сказала она.— Иди прямо по коридору и считай двери. Когда дойдешь до седьмой, постучи трижды и скажи: «Это я, меня послала старуха».

Потом, пытаясь скрыть зевок, похлопала по рту ладонью и затворила за собой дверь. Медленно, затаив дыхание, шел Гаврилеску к зданию, поблескивавшему под звездами. Поднялся по мраморным ступеням, открыл дверь и на секунду застыл в нерешительности. Перед ним был плохо освещенный коридор, и он вновь почувствовал, как отчаянно заколотилось сердце. Он шел, вслух считая двери. И вдруг, поняв, что произносит: «Тринадцать, четырнадцать...» в замешательстве остановился. «Гаврилеску,— прошептал он,— держись, ты опять перепутал. Не тринадцать, не четырнадцать, а семь. Старуха сказала: отсчитай до седьмой двери»...

Он хотел вернуться и начать счет сначала, но через несколько шагов почувствовал такую усталость, что остановился у первой же двери, три раза постучал и вошел. Это была ничем не примечательная большая гостиная, обставленная почти бедно, а у окна, в полуоборот к нему, сидела молодая женщина и смотрела в сад.

— Простите,— с трудом вымолвил Гаврилеску.— Я не туда попал.

Тень женщины отделилась от окна и неслышно двинулась к нему навстречу, и тут в памяти возник забытый запах.

— Хильдегард! — воскликнул он, выпуская из рук шляпу.

— Как долго я тебя ждала,— сказала, приближаясь, девушка.— Я искала тебя повсюду...

— Я был в пивной,— прошептал Гаврилеску.— Если бы я не пошел с ней в пивную, ничего бы не случилось. Или если бы у меня было немного денег... Но денег не было, и заплатила она, Эльза, и, понимаешь, я почувствовал, что должен... а теперь уже поздно, ведь правда? Очень поздно...

— Какое это может иметь значение? — сказала девушка.— Пойдем же...

— Но у меня нет больше дома, у меня ничего нет. Это был ужасный день... Я заговорился с мадам Войтинович и забыл портфель с партитурами...

— Ты всегда был рассеянный,— прервала его Хильдегард.— Пойдем...

— Но куда? Куда? — силился крикнуть Гаврилеску.— В мой дом кто-то вселился, я забыл фамилию, но кто-то незнакомый... Да его и нет, не с кем объясниться. Он уехал на воды.

— Иди за мной,— сказала девушка и, взяв его за руку, потянула в коридор.

— Но у меня и денег нет,— шепотом продолжал Гаврилеску.— Как раз сейчас, когда переменили купюры и подорожал трамвай...

— Ты все такой же,— сказала девушка и засмеялась.— Испугался...

— И никого из знакомых не осталось,— продолжал шептать Гаврилеску.— Все на водах. И мадам Войтинович — у нее я мог бы занять,— говорят, уехала в провинцию. Ах, моя шляпа! — воскликнул он и собрался вернуться.

— Оставь ее,— сказала девушка.— Она тебе больше не понадобится.

— Как знать, как знать.— И Гаврилеску попытался высвободить руку.— Это очень хорошая шляпа и почти новая.

— Правда? — удивилась девушка.— Ты все еще не понимаешь? Не понимаешь, что с тобой случилось недавно, совсем недавно? Ты правда не понимаешь?

Гаврилеску глубоко заглянул в глаза девушки и вздохнул.

— Я как-то устал,— сказал он,— извини меня. Такой ужасный был день... Но сейчас будто мне становится лучше...

Девушка тихонько тянула его за собой. Они пересекли двор и вышли в открытые ворота. Извозчик дремал на козлах, девушка так же легонько потянула Гаврилеску в пролетку.

— Но клянусь тебе,— зашептал Гаврилеску,— даю тебе честное слово, у меня нет ни единой монеты...

— Куда прикажете, барышня? — спросил извозчик.— И как желаете — шагом или рысью?

— Езжай к лесу дорогой, какая длиннее,— сказала девушка.— Да помедленней. Мы не спешим...

— Эй, молодые! — крикнул извозчик и присвистнул.

Она по-прежнему держала его руку в своих руках, только откинулась на подушку и глядела в небо. Гаврилеску, не сводя глаз, внимательно ее разглядывал.

— Хильдегард,— произнес он наконец,— со мной что-то случилось, даже не знаю что. Если б я не слышал твоего разговора с извозчиком, то решил бы, что это сон.

Девушка с улыбкой повернулась к нему.

— Все мы грезим. Так начинается. Точно во сне...

Париж, июнь 1959 года

Время и возвращение

Мирча Элиаде (1907—1986) — один из замечательных и до сих пор недооцененных нами наших современников. Исследователь мифов и легенд, М. Элиаде сам стал легендой и мифом. Начав свои литературные и научные занятия в Румынии, у себя на родине, язык которой оставался до самой смерти Элиаде средством его художественной прозы, он еще в молодости проводит несколько лет в Индии, изучая практику и теорию йоги. Хотя после не очень долгого второго периода жизни в Румынии (до начала второй мировой войны) Элиаде в последующие годы живет и преподает в Западной Европе (до 1956 г.) и в США (до самой смерти), его восточноевропейское происхождение и ранний восточный (индийский) опыт наложили неизгладимый отпечаток на все им написанное. Его многочисленные книги по истории религии так и не стали академическими исследованиями, в них всегда сохранялась нетрадиционная для ученого живость посвященного, самого в юности пережившего как личное событие встречу с одной из древнейших религий Востока. Его проза, с примечательным образцом которой знакомится читатель, продолжает круг тем, поиному развиваемых Элиаде — исследователем мифов.

Одна из главных среди этих тем — время. Для Элиаде она переплетена с идеей циклического вечного возвращения. Русский читатель может познакомиться со взглядами Элиаде по этим проблемам, прочитав сборник его эссе, изданный у нас в переводе сразу после его смерти (Элиаде М. Космос и история. М., «Прогресс», 1987). Для Элиаде время существует в разных формах, включая и такие, как циклическое время повторяющегося священного праздника (например, новогоднего); время сопряжено с судьбой народа, страны и отдельной личности. Мы переходим от мифа к истории и от истории к мифу. Память мифологическая связывается с индивидуальной и общей — исторической.

Все эти проблемы объединяют художественную прозу, писавшуюся Элиаде на румынском языке, не только с его французскими и английскими книгами и статьями по сравнительной мифологии. Проблема времени чрезвычайно важна для всей культуры XX века. Вокруг нее причудливо переплетаются, как и в жизни и творчестве Элиаде, течения современной науки, мистики, литературы. Из незаслуженно забытых русских авторов, которые, как и Элиаде, могли бы послужить примером подобного переплетения, назову П. Д. Успенского — плодовитого писателя, перу которого принадлежали до первой мировой войны и полупопулярные книги о четвертом измерении, и киносценарии, где уже видны были опыты нового обращения со временем. По признанию Дж. Б. Пристли, подобные опыты в его пьесах (например, «Время и семья Конвей») были подсказаны книгой «Новая модель Вселенной» П. Д. Успенского (в эмиграции издавшего ее по-английски). Читая в архивах библиотеки Йельского университета в США сохранившиеся там материалы, касающиеся жизни Успенского и Гурджиева в эмиграции, я был поражен тем, как много в литературной жизни Лондона и Парижа между двумя войнами было сопряжено с их влияниями.

Элиаде принадлежал к той же литературной и научной среде, разделяя ее вкусы и увлечения. Но если в названной пьесе Пристли, как и в известной комедии Булгакова об Иване Васильевиче, персонажи свободно переносятся из одного времени в другое, то в публикуемой новелле М. Элиаде его герой, преподаватель музыки Гаврилеску, совершает путешествие в прошлое (к своей утраченной первой любви) таким образом, что возвращается в обычную жизнь с опозданием на несколько лет. Отчасти похожие эксперименты со временем есть уже у романтиков, в частности в «Рип Ван Винкле» Вашингтона Ирвинга. Но Элиаде не только помещает своего героя на время вне жизни. Он заставляет его остро пережить на своем собственном примере проблему тех возможностей, которые в жизни могут не сбыться. Элиаде эта проблема возможных миров, все более занимающая философов, математиков, логиков, физиков в наш век, чрезвычайно волновала. Герой выпадает не только из времени, но и из своей осуществившейся было жизни с тем, чтобы начать реализацию как будто раньше им упущенных возможностей. Установка на возможности, пожалуй, роднит Элиаде из больших писателей нашего века с Музилем. Но по своей стилистике он принадлежит к тому направлению фантастического реализма, которое объединяет многих лучших писателей XX столетия (Платонова, Булгакова, Хармса) с Кафкой и лучшими латиноамериканскими романистами (прежде всего с Льосой, который в последних своих романах строит возможные миры применительно не к людям, а странам и их истории). Как и другим писателям этого направле-

ния, бытовые детали, осязательные подробности (такие, как запахи орехов или цветов) нужны Элиаде для достоверности восприятия его фантазии.

Самому Элиаде казалось, что его художественная проза лишь косвенно связана с его научными сочинениями. Он был прав в том отношении, что не сравнительная мифология, а собственный житейский и духовный опыт, символика собственного воображения подсказывали ему конкретные художественные образы. Но темы — и прежде всего основная: время — его рассказов и научных книг едины, а темой времени подсказаны и особенности композиции новеллы «У цыганок».

По мере изучения и перевода литературного наследия М. Элиаде к нему должно прийти признание и как к писателю (об этом мечтает румынский критик М. Калинеску, считавший подобное признание неизбежным). Вместе с тем станут понятнее внутренние связи его художественного творчества с научным. Как писатель он уподобился герою своего рассказа: десятилетия о нем как о литераторе почти не знали. В эпоху, когда мы расстаемся с забвением, пришла пора прочитать и Мирчу Элиаде, не только как ученого, но и как одаренного писателя.

ВЯЧ. В. ИВАНОВ

■

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

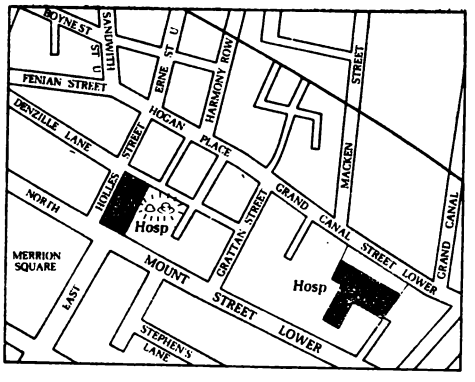
Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

Андреас Жадковски. Удачи. Джеймс. 1985.

14



На Полдень к Холлсу Грядем*. На Полдень к Холлсу Грядем. На Полдень к Холлсу Грядем[1]. Ниспошли нам, о лучезарный ясноликий Хорхорн*, разрешение от бремени и приплод. Ниспошли нам, о лучезарный ясноликий Хорхорн, разрешение от бремени и приплод. Ниспошли нам, о лучезарный ясноликий Хорхорн, разрешение от бремени и приплод.

Гоп-ля мужичок гоп-ля!* Гопля мужичок гоп-ля! Гоп-ля мужичок гоп-ля!

Всегда и повсюду того человека разумение весьма недалеким полагают во всяческих предметах что сведущими из смертных наиболее признаются полезными для изучения коему то неведомо чего самые искушенные в учености и особливого почитания достойные за драгоценное убранство высокого их ума неизменно придерживались когда утверждали единодушно что при одинаковых прочих обстоятельствах процветание державы наивернейше свидетельствуется не блеском и пышностью а более мерою того сколь растут дани приносимые заботам о деле продолжения и умножения рода каковое терпя ущерб составляет корень всех зол при успешном же совершении сугубый являет знак нескудеющего благоволения властительныя натуры*. Ибо найдется ли где тот кто обладая хоть малым разумением не сознавал

Продолжение. Начало см. в № 1 — 7.

[1] В оригинале смесь языков: Deshil Holles Eamus — На Юг *(ирл.)* к Холлсу Идем *(лат.)*.

бы что пышность и блеск коснодвижное и к низости наклонное естество собою прикрывать могут или кто напротив столь туп и непросвещен чтобы того не постигать что изо всех благодеяний натуры ни одному с даром размножения отнюдь не сравниться так что надлежит всякому благонравному обывателю соделаться проповедником и наставником себе подобных и трепетать дабы то чему в прошлом столь блистательный был дан в державе почин в грядущем не оказалось бы отправляемо без прежнего совершенства буде с течением времени постыдные нравы низведут дошедшие к нам от предков почтенные обычаи до такого падения что потребна будет великая отвага тому кто возвысить дерзнет свой голос утверждая что нет на свете более гнусного проступка нежели в небрежении и забвении покинуть оный завет равно и заповедь и обетование каковой всем смертным предрекая изобилие либо грозя оскуденьем навек и неотвратимо высшим их долгом определил беспрестанное продолженье рода?

А посему нет резонов нам повергаться в недоумение, ежели, как надежнейшие летописания повествуют, меж кельтами, не в обычае коих было нечто превозносить, по естеству своему превознесения не достойное, искусство врачевания всемерно почитаемо было. Не говоря уж об устроении домов призрения, приютов для прокаженных, парных бань, чумных ям, славнейшие их целители, происходившие из родов О'Шил, О'Ли и О'Хикки, измыслили многоразличные способы, коими больных, а равно и расположенных к возврату недуга сызнова приводить в здравие, пускай бы снедали их даже бледная немочь либо коннеллово детское недержание. И как неусумнительно что во всяком деле хоть несколько имеющем важности для общего блага сообразное с тою важностью приуготовленье потребно, то посему решен был меж ними план (а был ли он сочинен как бы в предвиденье либо по зрелом опыте, то сказать затруднительно, оттого что сужденья позднейших разыскателей между собою разноречивы и даже поднесь нимало не приведены в ясность) в согласии с коим материнство от всякой превратности вполне бы сделалось упасенно, чрез то что каковой бы уход ни оказался потребен в сей жесточайший для всякой женщины час разрешения от бремени, и тот за самую малую мзду бывал бы незамедлительно доставляем, притом же не только тем кто многой казной владеет, но равно и тем кто, не имея достатков, скудную, а порой даже и худшую скудной влачит долю.

Отныне и впредь никакие досаждения им не могли быть чинимы, ибо согласно все сознали и порешили, что не бывать никоим образом благоденствию, когда нет оного у матерей чадородных и коль скоро подобает вечность богам смертным же продолжение рода то присматривали за нею и как подходил час родильницу доставляли туда повозкою имея к сему большое усердие и побуждая один другого дабы она была принята в тот приют. О мудрой державы знак не только при узрении своем но даже и при одном заочном о нем узнании премногой хвалы достойный что они в предвидении своем чтили уже в ней мать, что тотчас зрела и чувствовала она как начинает быть всемерно оберегаемою и холимою!

Отроча еще не раждено рачителей рвение разожже *. Еще в лоне лежаи любовию людскою лелеемо. Вся надлежащая о сем с надлежащим же прилежанием съвершена быша. Ложе покойно и многоусердныя повитухы яди питателныя и пелены чистейшая преже премудро уготованы яко же бо аще свершишеся раздрешение и с тем вкупе быша вся средства целителная яже потребна суть и такожде многоразличнии снаряди врачевскыя хытрости причастнии ко делесем ражения незабвенным сущим и приятности исполненным зраком мест от всякыих земьскыих широт и купно же образом божьскыим и человечьскыим ихже созерцанием кръвь жен в уединении сущих разожжена бывает и благое споспешествуется раздрешение в сиих хоромех родилных иже высоци суть и от слънца осияваеми преискусно зьда-

ни и украсьне украшени егда зримей ей с велиим чревом и близь рожества сущей грядеть да впуститься ту яко же наста ея час.

Муж некый странен прииде и ста у двери дома сего при настании нощи. Сей бе от племене Израилева еже по свету носимо беаше и в далнюю сию даль притече. И се единым влекомь благоутробиемь чловеческымь одиноко влачися и дома сего достиже.

Сему же дому Хорн есть хозяин. Ту содержит он одры числомь седьмдесят на нихже матере лежаща и страждуша суть да изведуть в мир здравая чада яко же ангел Господень провеща Марии. Сестрицы белыя четою тамо безсонно бдять болящим благоугождающе. Страсти лехчат сущим ту, ихже за двенадесять лун три сотни. Добрыя ложеслужителници сии суть именемь Хорна покой в полатах храняще.

Служителница же услышавши яко прииде муж сей мяхкосерд убрусом главу покрыту подъя и иде еже ему врата отверсти. Зри, и се во мгновение ока молнии твердь неба Ирландскааго на западе блистанием велиим облиста. И велми ужасеся си яко Господь Воздаятель хотяя сгубити водою весь род людскый за беззаконие и грехы его. И се знамением крестным осени перси своя влече его да внидеть вборзе под кров. И муж сый ведый яко воля ея добра есть взыде в Хорна хоромы.

Страшася в поздню пору прерывати покой преминашеся пришлец в передней. Во время оно с нею во суседстве витааху с возлюбленною женою и с любезною дщерию обаче оттоле девять уже лет яко странствова по разным морем и землям. В некый день повстреча ю во пристанищи града онаго и поклонение ея не отдасть. И се моляше ю еже его простити и добру указа вину юже си прият яко точию мельком лице ея увиде и не позна мняй яко младо зело. И от онех его словес просияста очеса ея и ланиты зардестася.

И убо увиде на нем ризы темны и ужасеся яко горе его постиже. Обаче посем радовася яже опасася преже. Вопроси ю аще не присылаше О'Хейр Целитель некоя добры вести от далняго брега и на то рече горестно воздыхающи яко О'Хейр Целитель на небеси есть *. И слыша то оный муж опечален премного бысть и вся внутренняя его испостраданием велми отяготишася. И ту поведа ему вся, кончину друга столь млада оплакивающи обаче аще горюющи ничтоже хотящи прекословити правосудию Божию. Рече яко удостоился бе кончины лепы и мирны по благостыни Господней отпущение грехов и приобщение святых таин получивый и елеопомазание удом своим. Посем же муж инокиню вопроси со участием каковою смертию умерший умре и глагола ему еже умре от рака утробна на острове Моне * трем летом минувшим на Избиение Младенец и моляшеся она Всемилостивейшему Господу да упокоит душу его идеже жизнь вечная Печалным речем сиим внимаяй, с главы он своея убор сложи и взор печален прият. И се некый час в скорби купно стояста.

Да воззрит убо всяк на конец грядушь иже есть смерть твоя и на персть объемлющу коегождо от жены рожденна яко аще наг изыде от чрева матере своея и такожде наг возвратися в последний час отшед яко же пришед *.

Муж пришедый в дом глагола к сиделице и вопроси ю о здравии тоя жены яже тамо бе и разрешения ждаше. И сиделица восприявши рече яко тая жена ныне три дни кряду муки терпяше яко рожеству зело люту быти обаче ныне конец уже приблизися. И рече еже виде рожества многа но ни едино тольми жестоко бысть яко сия жены. Напослед же возвести вся ему зане ведаше яко сый витааху во время оно близь того дома. И муж словесем ея внимаше зане чюдишеся яко жены тяжко труждахуся чад родити и такожде чюдишеся зрети лице ея еже муж всяк мняй яко лепо есть аще и лета мнози она яко служителница труждашеся. Девятью двенадесять истечений крови в неплодии ю укаряху.

И егда тако беседоваста храмины двери отверзостася и клики слышны быша яко же бо аще мнозем за трапезою сидящим *. И се

убо вниде идеже они стояста уноша благороден ученик сый нарицаемый Диксон *. Леополд же странный ведяше и от того часу егда сретостася в доме милосердия идеже пребываше сей ученик благороден понеже Леополд странный ту притече исцеления искати яко же бысть в персех уязвлен копием имже порази его летящий змий зело ужасен и лют и того ради сотвори ученик врачебное былие из нюхателныя соли и помазания елико же довлеет ему. И рече яко достоит ему ныне внити в тую храмину и с тыми веселие имети иже суть тамо. И Леополд странный рече еже достоит ему инуду отъити яко же бе муж потаен и лукав. Такоже и госпожа согласие с тем восприя и укори ученика сего аще и добре разуме яко странный сей прорече ложная словеса ради лукавства его. Обаче ученик тый не хотяше ни слышати ниже покорятися госпоже ниже прияти противное его желанию и глагола яко храмина сия чюдна есть. И Леополд странный вниде во храмину хотя аще и малое прохлаждение дати удом своим яко изнеможе зане поприща мнози прошед по окрестным землем и овогда похоти покоряшеся.

И посреде храмины сея столешница бе сотворена от брезы корелския и четыре карлы от тоя же земли ю держаху и шевелнутися не можаху яко закляты бяху волхвованием. И на той столешнице мечи и ножи ужасны ихже сотвориша в велицей пещере ис пламене бела бесы тяжко труждающеся и укрепиша в розех буих и еленних имиже ту избыточествующе. И такожде быша сосуди иже соделаны по чародействам Бохмита из воздуха и песка морскаго яко же некии волхв дыхание свое в няже вдуваше яко в пузырь *. И неиздреченна обилность на сей столешнице бе и всякая богатая и драгая и никтоже помысли вящшей обилности ниже вящшаго богатства. И такожде бе ковчежец сребрян иже отверст бе токмо велицей хитростию и заключаше чюдны рыбы безглавы и аще мужи маловернии рекут яко же сему не лзе быти доколе не узрят обаче тако есть. И ты рыбы лежаху в воде елейне яже принесена бысть от Лузитанския земле понеже тук имяше яко же вода от гнета маслична. И такожде дивно бе зрети во храмине сей яко учиниша они смешение из тука пшенична плодороднаго иже от Халдеи и пустиша тамо некие гневливые дуси ихже тщанием сие раздувася предивно яко гора велика. И обучаху змии увиватися круг долгии посохи иже из земли торчаще и из чешуи змиев сих питие творяху еже подобно меду.

И ученик благороден наполни чару знатну отроку Леополду и понуди испити ю яко же и елицы бяху ту кийждо свою испиваше *. И Леополд отрок знатен подъя чару ту яко да угодит ему и в очех его малая некая от нея пит токмо единыя любве ради зане николиже ничтоже пияше меду и посем в суседа сосудец отай болшую долю излия суседу же онаго лукавства не ведущу. И седяше с ними во храмине той дабы имети некое прохлаждение. И Богу Всемогущу хвала и слава.

Во время сие благая она служителница прииде и ста у двери и моли их именем Исуса Господа нашего оставити козлогласование свое яко есть верху госпожа благородна носящи во чреве и ей же время родити. Леополд же боярин слыша в верхних хоромех вопль велий и дивися аще вопль сей чада или жены есть и рече чюдно ми яко же несть конца сему. Непщюю яко длится паче терпения. И яко муж благоразумен увиде он некоего вотчинника худородна нарицаема Ленехан иже седяше против него при столе и старей бе прочих всех и понеже оба беста витязе добли и приведеся им подвизатися вкупе и такожде зане бе старей его глагола ему зело умилно. По велицей милости Божией тако рече к нему вскоре уже родит и возрадуется чаду своему яко жданием мнозим мучашеся. Вотчинник же худороден испия чашу рече, Ждет что вот-вот ей малец придет. Такожде прия чашу пред ним стоящу зане николиже укосни чая да его понудят или просят пити, Выпьем-ка мы рече и к вящшему услаждению своему единымь духомь чашу ту осуши за здравие их понеже бе бога-

тырския силы муж в похотениях своих. И Леополд боярин иже бе муж честен паче всих гостей иже неколи седяху за трапезою премудрых и бе кроток и благ паче всих иже неколи под куры владычну руку соваху и бе поистине верен паче всих иже неколи служение госпоже благородней воздаяху чашу свою учтиво за здравие его осуши. Долготерпению дивяся дарованному женам.

Се убо слово молвим о той дружине яже собрася ту помысл имея опойство велие учинити. По всякой стране стола школяры седяху, иже сии суть, уноша Диксон нарицаемый от Святыя Марии милосердныя и искреннии его Линч и Мэден, школяры учащеся врачеванию, и оный вотчинник худороден глаголемый Ленехан, и некто от Алба Лонги* нарицаемый Кротерс, и Стивен ун иже образ послушника имяше и в головах сего же стола седяще и Костело иже нарицаем бе Панч сиречь Пясть зане велику славу имяше яко витязь храбр (и бе паче всих пиян разве едина уноши Стивена и паки и паки себе меда просяше), и подле смиренный боярин Леополд. Обаче ждаху они Малахию млада иже обещевася онуду приити и елицы не хотяху благоутробия явити рекоша яко сей преступи слово свое. И Леополд боярин с ними седе яко крепкое имяше приятелство к боярину Саймону и к оному Стивену иже бе сын его и такожде яко скорби его утишишася от странствий многих тем паче яко бе потчуем и почтен. Жалость жалит его, страсть стремит к странствию, обаче не отыде оттуду.

Седяху бо тамо школяры хитроумны. И нача слушати их беседу о сем еже есть праведно в делех ражения зане млад Мэден рече яко аще сице случится и то будет лютость велия аще ли жене умрети (сие же времени некому минувшу поистине учинися в Хорна хоромех нецей жене от Ебланы яже ныне остави мир сей и в нощь преже кончины ея вси целители и врачи о том деле совет держаху). И последе вси они рекли еже подобало ей жити вначале бо речено бысть яко да жене в болезни родити чад и помышляюще сице крепляхуся яко же млада Мэдена словеса истинны суть зане сей терзася яко оставили ю умрети. И немало беша сицевых, и уный Линч с ними, иже сумняшася аще зло имат ныне владычство в мире яко же и от века бе аще и безумнии инако мнят обаче закон ниже судии от сего избавления не умыслиша. Бог дарует воздаяние. Едва же сие проречено бысть и вси гласом единым возгласиша яко же ни, николиже, во имя Пречистыя Девы Матере, жене подобает жити, чаду же умрети*. Сие же помысливше начаша стязатися яро о сем взискании, овый являше разумения, овый же точию от подпития яко же оный вотчинник худороден Ленехан зело борз бысть егда кому надобе добавляти пива и сице веселие их не убываше. И се убо Мэден млад им яви яко вся сия быша и егда глагола яко она преставися и ея муж честен святыя веры ради и по слову некоего паломника и инока и от обета иже дал бе святому Ултану Арбраканскому* не мог ея кончины прияти то их великая скорбь объя. И на то уный Стивен сице глагола, Роптание, почтенные, сие есть вещь чястая у мирян. Чадо же и мати оба ныне прославляете своего Творца, ов в бездне мрачне, ова же в огне очистителнемь. И за то Ему от нас грамерси. Обаче како тии все души яже Господь яко возможнии сотвори и мы еженощно их в невозможная учиняем еже есть грех против Духа Святаго, Бога Истинна, Владыки и Живота Подателя? Помните бо, рече, яко же вся услаждения наша мимотекуща суть. Для тварей малых иже суть внутри нас мы точию ради них есмы и такожде натура разве нас замысления иные имяше. И се вопроси Диксон Панча Костело аще ведаеши яковы те замысления суть. Обаче оный Панч зело пиян бе и точию единое изрыгаше яко аще удача будет ему да похоти своей волю дати и тогда каяждо жена через него чести бы лишилася аще случися то мужняя жена или девица или наложница. Кротерс же из Алба Лонги нача песню про зверя единорога* юже сочини млад Малахия яко сей зверь единожды

в тысящу лет рогом своим кончаше и прочии во время сие великая насмевания творяще над ним во свидетели призывая уд святаго Футиния * еже горазд он вся и всяческая свершити яже человеку возможна. И тако смеяхуся и играху разве токмо млада Стивена и Леополда боярина иже ни единожды не рассмеяся ради некоего чюднаго душерасположения еже не хотя оставити и такожде зане жалостию снедашеся до кийждо жены имущей во чреве ничтоже разсуждая кто и кде она бе. Стивен же млад нача с надмением глаголати о матери Церкви яже изгна его из лона своя и о догматех и канонех и о Лилит * яже абортом покровителница и о сем яко же зачатие учиняется ветром семени сверкающаго или от лобзания упырскаго уста ко устом или чрез действие запада яко Виргилий рече * или чрез смрад цветка луннаго* или яко аще она возлежи с женою юже пред тем муж поя, effectu secuto [2], или по случаю омовения яко же нещеваху Аверроес и Маймонид Моисей. И такожде рече яко душа человеческая к концу другаго месяца вдуновляется и яко во всех и всегда наша Святая Матерь окормляет души матерь же земная ничтоже есть яко точию самка приносящая приплод по образу скотию и се убо подобает по каноном ей сгинути сице бо рече сей иже рыбаря печать емлет, сам Петр благословен, на его же камении созиждена Святая Церковь на вся времена *. И яко вси они тамо бяху брака не восприявыи вопрошаху боярина Леополда аще случилось бе сице и тогда еда воля его была бысть дозволити толикое для нея бедство яко живот под прещение ввергнути дабы живот спасти. И он яко хотя отвещати со блюдением и благоугодно для всех и емля в руку челюсть свою рече по своему обычаю лицемерне еже елико то ведомо ему иже познание натуры искони любяше елико мирянину то возможно и в согласии с разумением своим о сицевом толико редкостном случае и то есть благо яко же зде матерь Церковь вкупе мзду емлет и за рождение и за смерть и сицевым образом вопрошания их избеже искусно. И рече Диксон, сие есть сущая истина, накажи мя Господь, и слово сие имат во чреве аще не я блуждаю зело. Сие же услыша млад Стивен возрадовася и возгласи яко крадущий у беднаго дает взаймы Господу зане буий зело бываше егда пиян и еже он ныне в сицевом образе бе и то уявися вскоре.

Обаче сии словеса не извлекоша боярина Леополда из великой туги его зане ужас вселяюще вопли жен иже в муках ражения яко преже его терзаху и такожде вспоминаше яко добра его жена Мэрион ему роди младенца мужеска пола и той на единадесятый день умре и никтоже бе муж искусен его спасти толико жестока судба бысть. И злая сия утрата великою кручиною сердце жены снедаше и ради погребения младенца она ему сотвори душегреечку вязану зело красну из шерсти агнчей, от лучшаго агнца из стада, боящися яко измерзнет (бо тогда бе зимы преполовение) и се ныне боярин Леополд иже не имяше чада мужеска пола яко наследника по себе взираше на него иже сын его друга бысть и печалишеся зело о сгибших своих благых и се убо скорбя понеже несть у него сына толико любезна и добля (о нем же вси глагола яко имат дары мнози) не мене удручася понеже млад Стивен беспутное имат житие с оными опоями и добро свое с блудницами расточает.

О ту же пору млад Стивен * чаши все наполни кои пусты стояху и се убо пития точию малая толика осталась бе аще иже благоразумнии не заслоняху доступы свои от него иже их преусердно понуждаше и за верховнаго понтифекса моляся возгласи заздравную чашу о викарии Христове * глаголя яко же сей есть и викарий Брэйский *. И рече да убо подъемлем ныне фиял сей и испием его мед сие бо истинно есть не тела частица моего но души моея воплощение*. Да оставите преломляти хлеб хлебом единым живущим. И да не убоитеся любыя

[2] Здесь: многократно *(лат.)*.

нужды сие бо утешит вящше нежели то устрашит. Воззрите же. И се им яви златицы дани блескающе и златокузнец грамоты и тому всея цены два фунта и девятнадесять шилингов и рече яко получи сие за песнь юже он сложи. И зело возликовали они зряще сицевые богатства зане ту бе преже великая в денгах скудость. И сице глагола им: то всем мужем ведомо еже пустыни времене воздвизают дворцы вечности*. Яко да сие навыкнути? Желанья ветр ломает терн колючий* обаче напоследь процветет из терниев роза на крестном древе времене. И сему вонмите. Во чреве жены слово плоть бысть обаче во дусе создателя всяка преходяща плоть слово бысть еже не преидет *. Сие же есть послетворение. Omnis caro ad te veniet. Безсомнително еже могуще есть имя тоя яже имяше во чреве драгое тело Искупителя нашаго, Исцелителя и Пастыря, нашея владычныя матере и матере преславныя и покланяемыя, и истинно Бернардус рече яко же дано Ей omnipotentiam deiparae supplicem [3], сиречь всемогущество предстательства понеже она есть вторая Ева яже нас вызволила яко и Августин рече а та, первая, яже нам баба есть с ней же нас связует чредою анастомосис пуповин наших, и та нас предала целокупно, и семя наше и племя, и вся колена, за яблоко еже не стоит полушки медныя. Обаче же ту зрится ми преткновение. Позна ли его она, сиречь та, вторая, и бе точию тварь твари своея, vergine madre, figlia di tuo figlio [4], или же она его не позна и тогда пребысть в отречении либо неведении купно с Петром Пискатором * живущим в доме иже построил Джек и с Иосифом плотником иже есть святый покровитель расторжений счастливых всех несчастливых браков parceque M. Léo Taxil nous a dit que qui l'avait mise dans cette fichue position c'était le sacré pigeon, ventre de Dieu! [5] Entweder иносущие oder [6] единосущие токмо ни в коем случае не нижесущие. И ту вси возопиша яко сие есть слово хулно зело. Зачатие без радости, тако рече сей, рождение без мучений, тело без ущерба и чрево без вздутия. Да оставим бессрамником сему поклонятися с верою и усердием. Мы же, противоборствующе и противоречуще, прямо противное проповедуем.

По сих же Панч Костело брязне кулаком по столу и зача велегласно вопияти злосрамну песнь «Стабу Стабела»* про девку юже обрюхатил некий удалый молодец в земле Немецкой и егда распеваше:

— *Первые три месяцы вси болезна бяше,* то Квигли сиделица рекла им из дверей гневне нишкните и устыдитеся и то ли не бысть благозаконно еже напомни им яко же сия бе ея послушания вся ту в доброчинии содержати дондеже сам Эндрю господин приидет понеже она вельми благострадаше аще сие непотребное козлогласование чести ея служения не бы могло повредити. Она же бе жена печална и ветха денми, обличия степенна и нрава благочестивна, в ризах темных яко же и подобает к лицу ея еже уныло и морщиновато, и увещания ея не бысть втуне понеже оного Панча Костело вси абие нача испонашати и лаяти, одни с чинною жестостию, иные же тычки отпуская с грозными улещениями, обаче вси браняху его, чума де сего разрази болвана, да какова он диавола хощет, и ты де грубля, и ты де мелкота, шут гороховой, ты еси лиходей, ты еси требуха свиная, бусурманско отродье, под забором ражден, ты еси измет, дабы заткнути пияну околесину юже отрыгаше овый пифик, яко наказание Божие, а добрый Леополд боярин, емуже ведом бе цвет благодушия, майоран тихий, такожде наставляше яко час сей наисвятей есть от всех и наипаче заслужен наисвятым быти. В Хорна бо хоромех подобает покой.

Коротко сказать, помянутая дистракция достойную возымела ре-

---

[3] Богоравное всемогущество предстательства *(лат.)*.

[4] Дева мать, дочь сына твоего (*итал.*— Данте. Рай, XXXIII, 1).

[5] Ибо г. Лео Таксиль сообщил нам, что тот, кто привел ее в это аховое положение, это был священный голубь, клянусь брюхом Господним! *(франц.)*.

[6] Или... или *(нем.)*.

золюцию*, и посем Диксон магистр, что от Марии Экклской*, с приятностию разсмехнувшись, полюбопытствовал, из каковых резонов юный Стивен не восприя иноческие обеты, и на то последний отвечал так: послушание во утробе, целомудрие же во гробе, а бедность аще и нежеланна да непрестанна. Магистр же Ленехан здесь заметил что он зело наслышан о неких нечестивых деяниях и, как то утверждают толки, им слышанные, сгубил он лилею добродетели доверившейся ему особы дамского пола, сие же не что иное как совращение малолетных, и при таковой вести все живейше возликовали, веселяся и поднимая кубки за грядущее его отцовство. Однако же тот с пылкостию объявил де истина гораздо противна их поклепаниям, для того что есть он извечный сын и нерушимо хранящий девство. Сие изрядно прибавило веселия их сердцам, и принялись они поминать свадебный обряд, о коем он прежде поведал им, и тот обряд превеликия куриозности жрецами есть отправляем на острове Мадагаскаре, свершается же в нем одежд совлечение у новобрачной и девства отъятие, и у нея одежды белого и шафранного цвета, а у жениха белого и шарлахова, возле ложа брачна возжигаются свечи и фимиамы курятся, клирики распевают Аллилуйя и тому купно гимн «Ut novetur sexus omnis corporis mysterium»[7], и с таковым церемониалом учиняется лишение ее девства. Он же в ответ преподал им дивну, хотя невелику, эпиталаму из «Трагедии девы», коя принадлежит перу магистра Флетчера и магистра Бомонта, преискусных сиих поэтов, и равномерно живописует соединение возлюбленных. «В постель, в постель!» таков ее был рефрен, сопровождение же к нему исполнять подобало в сообразной позиции, на спинете. То была песнь прелестна и сладкозвучна и полна необоримой любострастной истомы для юных амантов, коим благовонные светильники паранимфов освещают восшествие их на четырехногий феатр амуров супружеских. Славная была парочка, промолвил, возвеселяся, Диксон магистр, однако послушайте меня, юный сэр, не лучше ль было им прозываться Фаллос и Бабонт, сиречь бабец, мнится бо мне, из такового союза великая бы произошла приятность. Юный же Стивен отвечал, что буде не изменяет память ему, имели они сообща одну девицу из веселого дома и с тою амурам предавались поочередно, поелику в те времена жизнь била ключом и обычай страны оное одобрял. Нет большия любви, рече, как если кто положит жену свою со другом своим. Иди же и совершай по сему*. Так, а коли не так, тем хуже, говаривал Заратустра в бытность свою доцентом французской любви в Оксбордельском Университете, и доселе не нарождался под луной человек, коему род людской толико был бы обязан. Введи пришлеца в башню замка твоего, и едва ли того избежишь, чтобы досталась тебе кровать похуже. Orate, fratres, pro memetipso[8]. И все ответят миром, аминь. Вспомяни, Эрин, твои колена и дни твои древнии*, яко еси отринул мя и слово мое и отверзл пришлецу врата мои да творити блуд при моих глазах и утучнятися и расширятися яко Израиль. И посему согрешил еси против света и мя, Господа твоего, соделал рабом рабов. Обратися же, обратися, клан Милли, не позабудь мя, о семя Милезиево. Вскую сотвори предо мною сию мерзость, яко предпочел еси мене торговца ялапою и от мене отрекся еси пред римлянином и пред индийцем темноглаголивым, с ним же возлежали любострастно дщери твои? Воззри же ныне, народ мой, на землю обетованную от Хорева и от Нево, от Фасги* и от Рогов Хэттенских*, на землю, текущу млеком и пивом. Ты же мя млеком горьким вспоил, луну мою и солнце мое ты угасил навеки. И навеки едина покинул еси мя на путях моих иже суть пути горести, и лобзание тлена положил на уста мои. Сия же тма внутренняя, так продолжал он речь свою, премудростию семидесяти толковников не была просве-

[7] Да познается вся тайна пола телесная *(лат.)*.
[8] Прошу, братия, и за меня помолитесь *(лат.)*.

щенна ниже хотя бы помянута, Восток бо с вышних Иже сокруши врата адовы насла тую тму, коя была предвечна. Обыкновение умаляет свирепства (яко же Туллий* рече о возлюбленных своих Стоиках) и Гамлету принцу отец его отнюдь не являет язвы иже от пламене чистилища*. Непрозрачность в жизни полдневный час воистину есть казнь египетская, каковая и составляет ночам предрождества и послеуспения доподлинное их ubi и quomodo[9]. И как завершения и концы всего сущего в некой мере и неким образом соответственны истокам и началам его, так подобное же многоликое соответствие, что от рожденья движет и направляет рост наш, завершаясь ретрогрессивной метаморфозою, тем нисхожденьем и убываньем к финалу, каковое приятно ладу натуры, присуще и нашему подлунному бытию. Старухи-сестры втаскивают нас в жизнь — мы вопим, подрастаем, резвимся, обнимаемся, сходимся, разлучаемся, хиреем, помираем — и вновь они склоняются над нами умершими. В начале спасенный из вод древнего Нила, средь тростников, в плетеной зыбке из прутьев; в конце же — горная пещера, тайное погребение под совозглашенья орла и пардуса. И как ни единому из смертных не ведом тафоса его топос ниже будет ли возвещено нам посем путь держати во Тофет* или во град Едем, и таковым же образом утаено, егда будет нам в задняя наша зримо, из каковых дальных пределов чтойность ктойности нашей почерпнула свою причинность.

Тут Панч Костелло, не утерпев, взревел громогласно «Песнь Стефаниеву», однако же тот с пущею зычностию к ним воззвал, любуйтеся каков премудрость построила себе дом*, сей свод толико прочен и древен, обширен и величав, хрустальный Творца дворец*, ухожен как стеклышко, и тому грошик, кто отыщет горошек.

Взгляни, каков дворец построил умник Бак,
Найдешь ты там вино, и пиво, и табак,
В предивном погребе, где Бак разбил бивак.

Оле, устрашающий треск снаружи, грозный рокот и рык. Громогласно ошую Тор громыхнул млатовержец*, распалясь ярым гневом. И се грянула буря, страхом его полня сердце. И Линч магистр остерег его, дабы укротил он свои балясы и блядословия, понеже сам бог прогневался, за адовы его поганства и шпынства. И оный храбрец, похвалявшийся надменно, во мгновение ока стал бледен и съежился в виду всех, речь, коя столь зычно и вольно лилась дотоле, стала тиха и смирна на диво, и сердце аки заяц заметалось в клетке груди его, едва он почуял сей бури мощь. Иные тут зачали потешатися, иные глумитися над ним, Панч же Костелло вновь с великим рвением налег на пиво, а Ленехан магистр божился и клялся в том от него не отстати, и он был вправде куда как спор на всяк пустяк и безделицу. Однако тут бравый наш фанфарон вскричал, что де, видно, Никтоотец старикан сам обретается в подпитии, и на то де ему плевать, а он яко питух верха никомуже даст над собою. Сим точию тщился он отчаяние свое уняти, яко, труся, дрожал он в Хорна хоромах. И, как сказал, немедля и опростал кубок свой, спеша любыми благами упавший дух поддержати, ибо паки и пуще раскатилось по небесам громыхание, а Мэдден магистр, кой в иные поры учинялся сугубо набожен, при сем раскате отпусти под ребра ему тычка, а магистр Блум, близ фанфарона седяще и страхи его великие желая утишити, зача ободряти его всемерно, толкуя, что де все громы сии точию звук пустой, истечение влаги, в грозочреватом облаце сущей, воззри де и убедися, и вся сия совершается яко предуказано феноменам натуры.

Однако победися ли юного Бахвала страх теми Доброхота речами?* Никак, понеже угнездися в груди его заноза, Горечь рекомая, и тоя занозы избытися речами не можно. И се убо не имел он набож-

[9] Где (и) каким образом *(лат.)*.

ства, присущего одному, ниже благоразумия, отпущенного другому? Истинно так, не имел отнюдь, елико бы ни желал обоя имети. Но ужли не мог он приложить тщания дабы вновь, яко во дни юности своея, обрести тую бутыль, Святость именем, коя прежде была ему толико душепитательна? Отнюдь нет, для того что не снизошла на него Благодать обрести бутыль ту. А что же слышал он в тех раскатах, глас бога Рожая либо, по слову оного Доброхота, точию Феномена пустой звук? Слышал? Обаче истинно, как мог он не слышати, разве закупорил себе плотно трубу, Разумение рекомую (сего же не содеял отнюдь). Ведь преотлично зримо было ему чрез трубу сию, яко пребывает в земле Феномена, где и предстоит ему в некий день умерети, коль скоро являет он собою, подобно прочим, точию преходящий зрак. А не приял ли он сию участь, умерети и исчезнути, подобно прочим? Инде ни в какую не приял сего аще и должен быв, ниже приял умножати зраки себе подобны, по обычаю яко у мужей с женами, о том же заповедал им Феномен чрез книгу Закон. Не ведал он ничесоже про землю иную, глаголемую Веруй-в-Мя, землю обетованную идеже царствует царь Блаженство ныне и присно и вовеки веков, и несть тамо смерти ниже рождения и несть замужства и материнства, и собраны будто тамо вси, кто верует в то? То правда, Благочтив ему сказывал про землю ту, а Целомудр указал и путь в оную, однако случися тут, яко стала ему пути сего поперек некая блудница зело прелестна, назвалась же она Пташка-в-Руках, и льстивыми речами уклонила его с пути истинна, глаголя, Эй, красавчик, а заверника сюда, покажу райское местечко, и се ласкательствами и лестию залучила его в вертеп свой, прозываемый Гнездышко-в-Кустах, а сведущими глаголемый Плотское Похотение.

Сего-то и алкало то сборище, засевшее Чертог Материнства*, и доведися им повстречати сию блудницу Пташку-в-Руках (а была она гнездилище всех язв и чудищ и козней диаволских) и они бы готовы из кожи лезти точию бы ея достигнути и познати. Нащот же Веруй-в-Мя они возглашали яко сие есть точию мудрование и в помыслах своих никогда оного не имели понеже, первое, Гнездышко-в-Кустах, куда она всех заманивала, было столь прелестно местечко и убрано четырьмя подушечками, и на тех подушечках четыре ж билетика, на коих выставлены сии слова, Рядышком, Бочком, Рачком, Язычком, и второе, понеже та язва Сифилла и чудища их нимало не устрашали, коль скоро был у них щит надежен Презерватив из бычьего пузыря, а во-третьях, понеже и козни диаволские, сиречь зарождение Отпрыска, такожде чаяли они отразить тем щитом, ему же иное прозвание Детогуб. И се убо все они были там в ослеплении хотения, сударь Придира и сударь Притвора и сударь Раз-в-Году-Набожен и сударь Троглодит-Пивоглот и сударь Петиметр Диксон и Юный Бахвал и Доброхот Благоразумен. О жалкое сборище, поистине, ты в гибельном заблуждении, понеже был то глас бога, и он, исполняся великого гнева, уже готов подъяти десницу свою дабы расточить души их в прах за их хулы и расточения семени, кои перечили его заповеди, пламенно увещавшей плодитися.

Итак, четверг, июня шестнадцатого дня. Патк. Дигнам, жертва апоплексического удара, лежит в земле, и после жестокой засухи, хвала Господу, наконец раздождило, барочник привез торф, проплыв миль пятьдесят или около того, и говорил, что посевы не всходят, поля засохли глядят уныло и отменно смердят, будь то в низинах или на взгорьи Трудно дышать, и все молодые побеги погибли начисто, не имея капли дождя столь долго, что в прежние годы никто не упомнит подобного. У роз бутоны все почернели и вспузырились, а на холмах одна жухлая трава и сухой кустарник, который займется от первой искры. Как все твердят в один голос, тот страшный ураган, что разорил всю страну в прошлом феврале*, сущий пустяк в сравнении с такою напастью. Однако нынче, как было уже помянуто, после захода

солнца и при том же западном ветре стали мало-помалу сбираться крупные набухшие облака и сведущие в чтеньи небес меряли их взглядом, потом, ближе к ночи, запоблескивали зарницы, а еще позже, в одиннадцатом уже часу, раздался мощный, долгий удар грома, и вмиг все кинулись врассыпную по домам под дымящимся ливнем, мужчины — защищая соломку шляп платками или какими тряпицами, женского же пола особы — припрыгивая и подбирая юбки повыше, как только начало лить. По Или-плейс, Бэггот-стрит, Дьюкс-лаун, а оттуда по Меррион-Грин на Холлс-стрит мчался поток воды, где только что была сушь как в Сахаре, и повсюду кругом не было уже ни одного портшеза, ни одного экипажа или фиакра, однако гром больше не повторялся после того удара. Против дверей достопочтенного судьи Фицгиббона (коему надлежало заседать с мистером Хили, стряпчим, насчет земель колледжа) Мал. Маллиган, благороднейший из благородных, вышед от мистера Мура, литератора (прежде паписта*, однако ставшего добрым Вильямитом, как про то слышно), натолкнулся на Ал. Баннона с короткой стрижкой (какая модна сейчас, наряду с вечерними плащами из зеленого твида), а тот только что вернулся в город почтовою каретой из Моллингара, где его кузен и брат Мал. М. пробудут еще месяц, до св. Свитина*, и спрашивает, как его сюда занесло, он к себе домой, а он к Эндрю Хорну, его там ждут опрокинуть стаканчик, как он доложил, но только ему охота порассказать про одну телочку с норовом, формы не по годам развиты, слегка даже толстомяса, а дождь между тем все поливал да поливал их, так что оба они прямехонько к Хорну. Там Леоп. Блум из газеты Кроуфорда приятно заседал с ватагой бездельников, мастаков повздорить и покричать, были там Диксон мл., студиозус от Скорбящей Матери Божией, Вин. Линч, шотландского происхождения молодчик, Вил. Мэдден, Т. Ленехан, в глубокой печали из-за одной чистокровки, коей доверился он на скачках, и Стивен Д. Леоп. Блум там оказался из-за усталости, сморившей его, но сейчас уже вновь воспрянул, а прошлую ночь приснился ему весьма причудливый сон о его даме, миссис Молль, в красных домашних туфлях и в турецких шальварах, а это, как сведущие полагают, к перемене, и миссис Пьюрфой была там же, будучи туда принята по прошенью своего брюха, теперь она, бедное создание, мается, распростершись, уже два дня после срока и все не может родить, повитухи в отчаянии, от рисового отвара ее тошнит, а он обезвоживает лучше всего, дыхание тяжкое, затрудненное, но, судя по тому как толкается, младенец — отменный здоровячок, дал бы ей только Бог разрешиться. Я слышал, это у нее уж девятый, а последнему подрезали ноготки на Благовещенье, значит, ему тогда исполнялся годик, и, как и те трое, тоже все вскормленные грудью, он у нее умер и записан красивыми буквами в библии короля Якова. Ее мужу с лихвою пятьдесят, он методист, но ходит к причастию, а в погожие деньки его всегда видят по воскресеньям с двумя сынишками возле Баллокской гавани, он там удит сайду и камбалу на удочку с тяжелой катушкой, с берега или с лодки-плоскодонки, старается забрасывать легонько и, как я слыхивал, имеет весьма недурной улов. Итак, словом, отменный ливень, натура сызнова ожила и доброго можно ждать урода, хоть всякие кудесники предрекают, что вслед за ветром и за водою придет огонь, коль скоро по пророчеству календаря Малахии* (а также, дошло до меня, и мистер Рассел состряпал сего же толка прорицание с хиндустанского наречия* для своей крестьянской газетки) сии три стихии всегда вместе, но это одна тень на плетень для старых бабок и несмышленышей, отнюдь без никакого резона, хотя порой они со своими чудасами бывает и угодят разом в самую истину, никому неведомо как.

Тут поднялся в конце стола Ленехан*, вознамерившись рассказать про письмо в вечернем листке, и сделал вид, будто усердно разыскивает его у себя (он клялся и божился, что де оно волнует его

безмерно), но, сдавшись на уговоры Стивена, бросил поиски и с большой резвостью последовал приглашению присесть рядом. Он был весьма разбитной господинчик, строил из себя рубаху-парня да валял дурака, и когда заходило дело о женщинах, лошадях или о свежем скандальчике, случался он всегда тут как тут. По правде говоря, состояние его было скудным и время он проводил большей частью по трактирам и по кофейным в компании вербовщиков, кучеров, тунеядцев, посыльных, подмастерьев, жучков со скачек, девок уличных и бордельных и прочей избранной публики, а иной раз просиживал и ночь напролет с подвернувшимся сыщиком иль судейским, выуживая у него тепленькие сплетни в промежутках меж возлияниями. Трапезовал он в самых захудалых обжорках, но хоть и доставалось ему порой одно месиво из объедков или тарелка требухи на последний родимый шестипенсовик, язык его никогда не давал поблажки унынию, и от иного соленого словца, подхваченного от шлюхи или еще неведомо от кого, все так и покатывались как одержимые. Другой же из бывших там, Костелло, услышав их разговор, спросил, а что это, стихи или какая история. Не угадал, Фрэнк (таково было его имя), отвечал тот, это про ирландских коров, которых велено забивать по причине чумы. Ну и хрен с ними, говорит он и подмигивает, по мне хоть провались они все со своей собачьей говядиной. Тут вот у нас в жестянке самолучшая рыба, какую отродясь лавливали, и с великим радушием он им протянул стоявшие рядом кильки, к которым уж давно подбирался, ради того и затеяв весь хитроумный маневр, поскольку брюхо у него совсем подвело. Mort aux vaches [10], выражается затем Фрэнк на французском наречии, он прежде служил в подручных у некоего виноторговца, имевшего склад в Бордо, и по-французски изъяснялся как джентльмен. Сей Фрэнк с самого нежного возраста был записной шалопай, и его отец, околоточный, с превеликим трудом понуждал его ходить в школу, учиться грамоте да разбирать карту, после же этого он поместил его в университет изучать механику, однако тут малый совсем закусил удила как молодой жеребец и был в те поры знаком с судебными исполнителями и с ночными сторожами лучше чем со своей наукою. Одно время подумывал он в актеры, потом в маркитанты, потом в шулера, потом, глядишь, пропадает на петушиных боях да медвежьих травлях, а там ему загорится на моря-океаны или шататься по дорогам с цыганами, которые то украдут сынка у какого-нибудь помещика, то стянут белье, развешанное служанкой, или свернут шею курице, притаясь за забором. Он пускался в похождения столько раз, сколько у бога заповедей, и всякий раз возвращался несолоно хлебавши к своему отцу, околоточному, и тот при каждой такой оказии неизменно проливал не менее пинты слез. Как! восклицает мистер Леопольд, скрестив руки и непритворно будучи озабочен, неужели же все они пойдут на убой? Я протестую, заявляет он, я видел их не далее как сегодня утром, их гнали на ливерпульские пароходы. Я не могу поверить, что это настолько непоправимо, заявляет он. Притом же он был человек многоопытный по сей части, насчет племенного скота, телят, боровков, шерстных барашков, ибо тому несколько лет служил он клерком у мистера Джозефа Каффа, почтенного торговца, каковой скупал скот на фермах и себе не в убыток им торговал невдалеке от подворья мистера Гэвина Лоу на Праша-стрит. Я расхожусь в этом с вами, заявляет он. Гораздо вероятней, что тут все-таки не чума, а какое-либо бронхиальное заболевание или актиномикоз. Мистер Стивен, слегка задетый, однако же с совершенной учтивостью, ответил ему, что сомнения невозможны, ибо у него имеются депеши от главного хвостокрута императорского двора с выражениями благодарности за гостеприимство, и тот сюда направляет доктора Эпизоотьева, славнейшего укротителя коров во

[10] Смерть коровам *(франц.)*.

всей Московии, с парой бутылей снадобья, дабы взять быка за рога. Да уж полноте, вмешался мистер Винцент, привыкший говорить напрямик. Он сам живо попадет на рога, коли свяжется с ирландским быком*. Ирландским по имени и по нраву, с чувством подчеркнул мистер Стивен, расплеснув свое пиво. Ирландский бык в английской посудной лавке. Уловил вашу мысль, говорит мистер Диксон. Это наверняка тот бык с изумрудным кольцом в носу, которого прислал на наш остров фермер Николай*, самый лихой удалец из всех скотоводов. Твоя правда, отзывается через стол мистер Винцент, и клянусь бычьим ухом, говорит он, никогда еще не было такого гладкого тучного быка середь серящих на трилистник. Рога у него были на загляденье, шкура золотой масти, из ноздрей теплый пар, так что на острове все женщины побросали скалки и прялки да устремились за ним, увешивая его быкородие венками из маргариток. А что толку, говорит мистер Диксон, ведь перед тем, как его послать, фермер Николай, будучи сам евнух, приказал и его выхолостить в наилучшем виде, препоручив операцию коллегии докторов*, которые по известной части все как один были под стать Николаю. Так что теперь ступай, говорит он, и делай все, что тебе прикажет Гарри-нечистый*, мой двоюродный братец, и принимай фермерское благословение, и с этими словами он весьма звучно шлепнул его по мягким частям. Однако же тот шлепок, вместе с благословением, ему сослужил службу, замечает мистер Винцент, ведь тот, видно, в утешение выучил его кой-чему получше утраченного, коль скоро до сего дня и жена и девица, и вдова и черница, все в один голос скажут, что им куда желанней нашептывать ему на ушко в темном загончике да получать помазание в затылочек его длинным пресвятым языком, чем миловаться хоть с самым распригожим молодцем всех четырех царств Ирландии. Еще один из них вставляет здесь свое слово: И нарядили они его в кружевную рубашку и в нижнюю юбку, так он говорит, а сверху в палантин и в кружевные манжеты, на лбу приладили завиток, умастили все тело его амброй и на каждом повороте дороги соорудили для него стойла с золотыми кормушками, полными наилучшего сена, какое только было на рынке, дабы он мог и отоспаться и опростаться к вящему своему довольству. Но к этому времени отец верных (так они его называли) столь разжирел, что уже едва мог добраться до пастбища. Чтобы помочь тому, хитроумные наши девы и дамы измыслили приносить ему пищу в своих передниках, и когда он вполне насыщал свое брюхо, то подымался иногда на задние ноги, являя высокородным дамам вся тайная, и издавал мычанье и рев на бычьем своем наречии, и все они вторили ему. Сущая истина, подхватил другой, и стал он до того привередлив, что уже требовал, чтобы нигде в стране ничего не росло, кроме одной зеленой травы ему на потребу (все остальные цвета он терпеть не мог), и потому водрузили в самой середине острова, на холме, печатное объявление, гласившее: волею Гарри-нечистого да будут зело зелены все зеленя, что на земле зеленеют. Мистер же Диксон добавляет, и едва случится ему зачуять скотокрада в Роскоммоне или в глуши Коннемары, или прознать, что какой-нибудь землепашец в Слайго засеял полгрядки рапсом или горчицей, как он тут же в бешеной ярости готов мчаться через весь остров, чтобы вырвать рогами с корнем, что там росло, и все это волей Гарри-нечистого. Поначалу они не ладили, говорит мистер Винцент, Гарри-нечистый посылал фермера Николая ко всем чертям* и называл его хозяином бардака с семью шлюхами* и сулил, что он еще разберется с его темными делишками. Я эту скотину заставлю понюхать, чем в аду пахнет, так он ему сулил, с помощью вот этого доброго уда, что мне от отца достался. Но как-то вечером, говорит мистер Диксон, когда Гарри-нечистый скреб свою королевскую шкуру, собираясь отобедать после гребных гонок, где он, конечно, всех победил (а правила там были,

что он вместо весел гребет лопатами, а все остальные — вилами), он вдруг у себя обнаружил разительное сходство с быком и, взявши замусоленную книжицу со старыми сказками, что у него хранилась в кладовке, с несомненностью там открыл, что происходит он, по побочной линии от знаменитого призового быка римлян, Bos Bovum [11], что на чистейшей кухонной латыни обозначает босс всем быкам. После чего, продолжает мистер Винцент, Гарри-нечистый, собравши всех царедворцев, окунает свою башку в коровью поилку* и, вынув ее оттуда, объявляет им новое свое имя*. Затем, не успев обсохнуть, облачается в старую юбку и в кофту, которые остались от бабки, и спешит покупать учебник бычьего языка, только он все равно не сумел выучить ни одного слова, кроме местоимения первого лица, но зато уж его крупно переписал и вызубрил назубок и, выходя погулять, всегда прихватывал с собой мел, чтобы писать его везде, где понравится, на камне, на столике в трактире, на тюках с хлопком, на поплавках удочек. Одним словом, он и ирландский бык стали в такой тесной дружбе, как штаны с задницей. Стать-то стали, говорит мистер Стивен, а кончилось дело тем, что мужчины на острове, увидав, что на помощь им не рассчитывать, раз все женщины, неблагодарные, отвернулись, сколотили здоровый плот, загрузились на него со всеми узлами и потрохами, установили попрямей мачты, набрали на снасти команду, развернули переднюю шкаторину, легли в дрейф, залили горючего за воротничок, уставили нос ниже ватерлинии, выбрали якорь, положили руль лево по борту, подняли пиратский флаг, рявкнули тройное ура, запустили пыхтелку, отпихнули свой тузик и поехали переоткрывать Америку. И по такому случаю, заключает мистер Винцент, ихний боцман сочинил лихую припевку:

Эх, папа Петр пусть жрет помет
И все такое прочее.

Не успели студенты закончить описанной выше апологии*, как на пороге явился достойный знакомец наш, мистер Мэйлахи Маллиган, в обществе одного своего приятеля, которого он только что повстречал. Имя сему последнему было Баннон Алек, и прибыл он в город нынешним вечером, имея желание купить себе чин прапорщика или поручика в ополчении да понюхать где-нибудь пороху. Мистер Маллиган весьма учтиво высказал сему одобрение, заметив, что не усматривает здесь ущерба собственному прожекту, каковой он задумал ради искоренения того зла, о коем выше было трактовано. И с этими словами он передал на обозрение собравшимся несколько карточек из твердого картона, что были заказаны им у мистера Квиннелла, печатника, и несли следующую надпись, оттиснутую красивыми и крупными литерами: *Мистер Мэйлахи Маллиган. Оплодотворитель и Инкубатор. Остров Лэмби.* Помянутым прожектом, как он открыл им, определялось ему отойти от праздных увеселений, подобных тем, коим неумеренно предавались сэр Франт Вертопрах и сэр Мямли Рохли*, дабы всецело себя отдать благороднейшему занятию, на каковое особливо рассчитано и наше телесное устройство. Что же, дружище, порасскажи-ка об этом, пригласил мистер Диксон. Уж я уверен, тут не обойдется без девок. Да присаживайтесь оба, в ногах правды нет. Приняв сие любезное приглашение, мистер Маллиган приступил к рассказу о своем предприятии. Как поведал он слушателям, оная идея его посетила впервые при размышлении о причинах неплодия, кои равно происходят от препон умышленных и от неумышленных, притом же первые, в свой черед, семейными распрями либо скупою расчетливостью чинимы бывают, последние же могут происходить либо от врожденных изъянов, либо от благоприобретенных наклонностей. По его признанию, душа его исполнялась скорби, когда

[11] Бык Быков *(лат.)*.

видел он, как лишают брачное ложе драгоценнейшей его службы; а если, к тому же, вспомнить о преизбытке нежных созданий с кругленьким вдовьим капиталом, что станет добычею мерзких бонз, прячущих светоч свой под сосудом в какой-нибудь угрюмой обители, иль губящих цвет своих женских чар в объятиях иного наглого красавчика, владея между тем ключами несказанного счастья, иль приносящих в жертву бесценный пола своего перл, когда кругом несть числа статным кавалерам, весьма охочим амуриться,— все это, так уверил он их, терзало сердце его нещадно. Стремясь сие нестроение устранить (а происходило оно, как то уяснилось ему, от подавления внутреннего жара), обсудил он дело свое с людьми сведущими и достойными, с пристрастием разобрался в материях привходящих и сопредельных и надумал приобрести в вечную собственность ленное владение, остров Лэмби, у нынешнего его владельца, лорда Талбота де Малахайда*, дворянина изториев, которого не весьма жаловала правящая наша партия. Полагал же он там устроить национальную оплодотворительную ферму под названием «Омфал», вытесать и воздвигнуть на ней обелиск наподобие египетских и самым неукоснительным образом предоставлять услуги по оплодотворению любым особам женского пола, без различья сословий, какие будут направляться к нему, желая исполнить, что определено им натурою. Дело не ради дохода, заявил он, за труд свой не будет он взимать ни единого пенса. Бедная кухарка и роскошная леди равно обретут в нем своего мужчину, коль скоро сложение их и темперамент с довольным красноречием убеждают склониться к их просьбам. В рассуждении же питания он им представил, как будет держаться рациона, сугубо состоящего из лакомых клубней, а также рыбы и кроликов, поскольку у сих последних, весьма плодовитых грызунов, мясо как нельзя полезней для его цели, будь то тушеное или жареное на вертеле, особливо если добавить мускатный цвет и толику кайенского перца. Произнеся сию проповедь с жаром и вдохновением, мистер Маллиган проворно снял со своей шляпы платок, коим пытался он ее защитить. Как без труда угадывалось, оба друга были застигнуты дождем, и, сколь ни резво ретировались они в укрытие, однако успели преизрядно намокнуть, чему свидетельством была нижняя часть костюма мистера Маллигана, каковой домотканая серая материя сделалась пегой, в яблоках. Прожект, между тем, принят был благосклонно и снискал непритворные похвалы от всех слушателей, одного выключая мистера Диксона, что от Марии Скорбящей; последний же с коварной любезностью осведомился, не помышляет ли заодно мистер Маллиган возить воду в ближнюю речку Лиффи. Однако тут мистер Маллиган завоевал на свою сторону просвещенную часть братии подходящею цитатой из классиков, поскольку в той цитате, какою хранилась она в его памяти, мнил он изящное и вместе весомое подкрепление своим видам: Talis ac tanta depravatio hujus seculi, O quirites, ut matres familiarum nostrae lascivas cujuslibet semiviri libici titillationes testibus ponderosis atque excelsis erectionibus centurionum Romanorum magnopere anteponunt[12], а что до более неотесанных, то их он убедил помощию уподоблений из животного царства, кои для их желудков были куда съедобней, про лань с еленем в диких лесах да утку с селезнем во дворе фермы.

Имея весьма высокое мнение о благородстве манер своих и о щегольстве наряда, да и вправде будучи завидно лепообразен, многослов наш обратился засим к обозрению своего платья, приправляя оный обзор сварливыми осужденьями нежданных причуд натуры, между тем как собравшиеся щедро расточали хвалы услышанному прожекту. Молодой джентльмен, его друг, пребывая в нежном волнении от при-

[12] Столь велико развращение века нынешнего, О квириты, что наши матроны охотно предпочитают похотливые щупанья разных полумужчин мощным ятрам и превосходному удостоянию кентурионов римских *(лат.)*.

ятного похождения, ему недавно выпавшего на долю, не мог долго устоять и немедля пустился выкладывать о том похождении ближайшему своему соседу. Мистер же Маллиган, обратя взгляд к столу, вопросил, для кого тут столько хлебов и рыб; затем заметил он незнакомца и, поклонившись ему учтиво, промолвил: Прошу вас, скажите, сэр, не привела ли вас сюда нужда в услугах повивального ремесла, какие могли бы мы оказать вам? В ответ последний сердечно благодарил его, держась, однако, с достоинством и без панибратства, и сообщил им всем, что посетил он Хорна, тревожась о судьбе некой дамы, находящейся ныне здесь, поскольку недоля женская (тут испустил он глубокий вздох) привела ее в интересное положение, и желал бы он знать, не наступил ли уже счастливый исход. Засим мистер Диксон, решив отплатить противнику его же монетою, спросил у мистера Маллигана, надо ли полагать сфероидальную его корпуленцию в вентральной проекции, над которою он почасту подтрунивал, следствием овобластической гестации в утрикуле простаты, сиречь в утробе мужеской, либо же, как у мистера Остина Мелдона, именитого медика, симптомом синдрома прогрессирующей эндогенной филофагии. Вместо ответа мистер Маллиган, весьма веселившийся, глядя на свои панталоны, молодецки хлопнул себя пониже грудобрюшной преграды и, изобразив на лице презабавную мину матушки Гроган (заметим, милейшая женщина, хотя, к прискорбию, легких нравов), вскричал: вот чрево, что никогда не носило выблядка! Эта славная шутка родила целую бурю восторгов, так что сызнова все в зале той отдались буйному и разгульному веселью. И так продолжались их бойкие препирательства и скоморошства, покуда не послышалась некая тревога в передней.

Тут слушатель его, весьма восторженный юноша, шотландский студент с волосами белыми, словно лен, с великим жаром поздравил юного джентльмена и, прерывая его рассказ на самом красочном месте, учтиво адресовался к своему визави, не будет ли тот столь любезен передать ему сосуд с горячительным эликсиром, и в то же время, вопросительным наклоном головы, за коим тут же следовал равновеликий наклон бутылки в направленьи обратном,— бесподобному сему жесту не выучит и целый век изящного воспитания — красноречивее нежели словами сделал рассказчику предложение попотчевать его рюмочкой. Mais bien sûr, благородный незнакомец, с готовностью откликнулся тот, et mille compliments [13]. Как нельзя кстати. Рюмки этой весьма мне недоставало для полноты счастья. Но, милостивое небо, если бы даже остались мне лишь корка в котомке да глоток воды из колодца, и тогда, Господи, сердце повелело бы мне, приняв их, пасть на колена и возблагодарить вышние силы за все счастие, дарованное Подателем благ. С этими словами он поднес бокал свой к губам и с видимым удовольствием сделал добрый глоток, затем, поправивши свою куафюру, полез за пазуху к себе и показал медальон на шелковой ленточке, хранивший заветный образ, который лелеял он с той самой минуты, как ее ручка сделала на нем надпись. И с бесконечною нежностью устремив взгляд на ее черты, воскликнул, Ах, мсье, если бы видели вы ее, как довелось это мне в тот волнующий миг, в этой нарядной блузке, в новенькой шляпке не без кокетства (подарок ей ко дню ангела, она мило призналась мне), и при всем этом, в столь безыскусном беспорядке, в порыве самозабвенной нежности, я вам клянусь, мсье, даже и вас великодушная натура ваша побудила бы безраздельно сдаться на милость такого врага — или оставить навсегда поле битвы. Ручаюсь вам, никогда в жизни я не бывал так растроган. Хвала Тебе, Боже, Источнику и Творцу дней моих! Трикрат будет счастлив тот, кому столь чудесное создание подарит свою взаимность. Нежный вздох придал еще более красноречия его словам и,

[13] Конечно же... и тысяча благодарностей *(франц.)*.

спрятав медальон обратно к себе на грудь, он вытер глаза и снова вздохнул. О Всемогущий Сеятель благ всем тварям Твоим, сколь велико и безгранично сие сладчайшее Твое иго, что может держать в оковах свободного и раба, деревенского простака и столичного щеголя, юношу в пору буйных страстей и умудренного годами супруга. Но, право, сэр, я отклоняюсь от своего предмета. Сколь неверны и хрупки подлунные наши радости. Проклятие! с тоскою воскликнул он. Отчего не угодно было Всевышнему, чтобы предчувствие шепнуло бы мне взять плащ? готов рыдать, думая об этом. Ведь тогда, хоть разверзнись хляби небесные, это нам не принесло бы никакого вреда. Однако черт с ним совсем, вскричал он, чувствительно хлопнув себя ладонью по лбу, утро вечера мудренее, и мне известен один marchand de capotes [14], мсье Пойнц, у которого я за ливр могу купить самый удобный плащ по французской моде, какой только защищал когда-нибудь даму от сырости. Те-те-те! прервал его Le Fécondateur[15], друг мой мсье Мур, сей знаменитейший путешественник (мы только что приняли полбутылочки avec lui[16] в кругу избранных острословов этого города), достоверно мне сообщал, что на мысе Горн, ventre biche[17], бывает и такой дождь, который промочит насквозь любой самый плотный плащ. От этаких неистовых ливней, как он говорил мне, sans blague [18], не один несчастный скоропостижно отправился в лучший мир. Тьфу! Целый ливр! вскричал тут мсье Линч. Да эти неуклюжие изделия не стоят и одного су. Один-единственный зонтик, пускай не больше опенка, лучше целой их дюжины. Ни одна умная женщина не захочет подобных средств. Моя милая Китти мне сегодня сама сказала, что она скорей согласилась бы на потоп, чем на муки голода в таком ковчеге спасения, потому что, как напомнила она мне (прелестно покраснев и шепча мне на ушко, хотя подслушивать нас было некому, кроме порхавших бабочек), госпожа Природа, с соизволения божия, внушила нам, и уже успело это войти в пословицу, что il y a deux choses [19], для коих невинность изначального нашего наряда, при иных обстоятельствах нарушающая приличия, оказывается самым уместным и даже единственно подходящим одеянием. Первая из них, сказала она (и тут очаровательный мой философ, пока я подсаживал его в тильбюри, слегка лизнул мне ушную раковину язычком, чтобы получше привлечь мое внимание), первая — это ванна — Но в этот самый миг дребезжание колокольчика в прихожей прервало его рассказ, суливший столь славно обогатить сокровищницу наших познаний.

Итак, посреди всеобщего праздного веселья, царившего в собрании, внезапно прозвенел колокольчик, и пока все гадали, какая бы причина была к тому, вошла мисс Каллан и, тихо сказав несколько слов молодому мистеру Диксону, вновь удалилась с низким поклоном*. Даже и краткое присутствие среди разгульной компании этой женщины, украшенной всеми дарами скромности и столь же прекрасной, сколь благонравной, весьма укротило сих необузданных нечестивцев, однако сразу с ее уходом все срамословия хлынули без препон наружу. Убей меня бог кувалдой, взревел Костелло, плюгавый малый в сильном подпитии. Вот это телочка, закачаешься! Чтоб я сдох, вы с ней сговорились насчет свидания. Скажешь не так, ты, кобель! Да ты хоть умеешь с ними? В бога душу. Еще получше тебя, сказал Линч. Они-то уж у Скорбящей понимают в постельном обращении. Ейбопра, там этот доктор О'Гагл, он только и знает, что щекотать сестричек под подбородочком. Пусть

---

[14] Торговец плащами (или презервативами — жаргонное значение французского capote). В дальнейшем тексте эта двусмысленность дополняется другой: английское слово umbrella (зонтик) на жаргоне означает пессарий.

[15] Оплодотворитель *(франц.)*.

[16] С ним *(франц.)*.

[17] Козье брюхо *(франц.)*.

[18] Не шутя *(франц.)*.

[19] Имеются две вещи *(франц.)*.

мне души своей не спасти, мне все это Китти рассказывала, она сама там сиделкой уже семь месяцев. Ах, доктор, госпомил, доктор, воскликнул тут юнец в лимонном жилете, изображая жеманные ужимки и непристойно паясничая всем телом, ах, как вы меня раздражнивaете! Пропади все на свете! Боже милостивый, я вся дрожу как овечка. Да вы опасней, чем сам милейший Отец Поцелуйчик, ей-богу! Подавиться мне этой кружкой, снова взревел Костелло, если она не ждет прибавления. Я знаю одну дамочку, на которую только стоит мне поглядеть, как она тут же с начинкой. Однако здесь молодой хирург поднялся со своего места и попросил у собравшихся извинения за то, что вынужден их покинуть, поскольку требуется его присутствие в палате, как о том сообщила ему сестра. Милосердному провидению угодно было, чтобы, наконец, завершились страдания той дамы, которая была enceinte [20], перенося это с такой примерною твердостью, и она произвела на свет крепкого мальчугана. Я бы желал, молвил он, чтобы достало терпения моего для тех, кто, не имея решимости давать жизнь и не имея учености давать знания, поносит благородную профессию, которая, исключая лишь воздание почестей Божеству, является величайшей силою, приносящей счастие на земле. Я заверяю вас, что, будь в том нужда, я без труда представил бы облак свидетелей ее достойного и благородного служения, коему должно вызывать не развязные хулы, но гордость и ликование в людских сердцах. Я не могу их сбросить со счетов. Как? Чернить подобного человека, любезнейшую мисс Каллан, красу своего пола и диво для нашего, и это еще в самую значительную минуту, какая выпадает на долю слабого смертного создания? Да сгинет самая мысль об этом! Я содрогаюсь, когда я думаю о будущем того племени, где посеяны столь недобрые семена, где даже в храмине Хорна давно позабыли чтить мать и деву так, как то подобает. Произнеся эту отповедь, он прощально приветствовал остающихся и скрылся в дверях. Гул одобрения раздался со всех сторон. Иные предлагали изгнать низкого пропойцу без дальних слов, и это намерение могло бы исполниться, так что тот получил бы полное воздаяние по заслугам, если бы сам не поспешил на попятный, уверяя их с ужаснейшею божбою (проклятия у него никогда не сходили с уст), что лучшего сына, чем он, вовеки не появлялось у святой и истинной церкви. Сдохнуть мне на месте, возопил он, да честной Фрэнк Костелло, который тут перед вами, да он завсегда имел чувства а пуще всего был научен чти отца твоего и матерь твою она у меня умела стряпать пудинг с вареньем язык проглотишь всегда ее вспоминаю плачу.

Но вернемся к мистеру Блуму, который при своем появлении уловил кое-какие непристойные шутки, однако стерпел, решившись смотреть на них как на плоды возраста, в коем, как это многие полагают, человек не ведает жалости*. Совершенная правда, что молодые лоботрясы изощрялись в шальных проделках словно большие дети; слова, что слышались в их шумных беспорядочных спорах, были невразумительны и зачастую малопристойны; их грубость и оскорбительные mots [21] отталкивали от себя его разум; и уж тем паче не были они строги в соблюденьи приличий, хотя неистощимые запасы их молодой животной энергии скорей привлекали к ним. Однако слова мистера Костелло звучали для него нежеланным наречием, ибо ему был тошен этот богомерзкий субъект, он казался ему неким корноухим отродьем, уродливо сгорбленным *, неведомо от кого рожденным и в мир явившимся, как горбуны, уже зубатым и ногами вперед, чему придавали вероятие следы от щипцов хирурга на его черепе, и наводил он его на мысль о том недостающем звене в цепочке творений, которого так искал изобретательный ум покойного мистера Дарвина. Он уж

[20] Беременная *(франц.)*.
[21] Словечки *(франц.)*.

перевалил за половину сроков, отпускаемых нам судьбою, перенеся бессчетные превратности бытия; и, принадлежа к племени осторожному, а также имея редкостный дар предвиденья, давно уже наказал своему сердцу не поддаваться порывам гнева, а, утишая их незамедлительно и искусно, хранить у себя в груди то покойное всеприятие, которое низкие люди поносят, скорые на суд презирают, и все находят терпимым — но не больше того. За теми, кто изощряется в острословии за счет хрупкой натуры женщин (наклонность, ему глубочайше чуждая), он не признал бы ни честного имени, ни благородного воспитания; противу же тех, кто, потеряв всякую меру, больше уже ничего не мог потерять, у него оставалось острое оружие — опытность, способная принудить их дерзость к бесславной и беспорядочной ретираде. Это не возбраняло ему сочувствия к пылкой юности, которая, невзирая на шамканье дряхлых и нареканья суровых, извечно стремится (как то выражают целомудренные образы Священного Писателя) вкусить от запретного плода; однако никогда он не мог бы дойти до такого пренебрежения человечностью в отношении к благородной даме, исполняющей возложенный на нее долг. Итак, заключим: хоть сообщенье сестры поддерживало в нем надежды на скорый исход, но, при всем том, нельзя не признать, велико было его облегчение, когда он узнал, что после столь тяжких испытаний благие предсказанья сбылись, и через то вновь явлены были всем щедроты и милосердие Верховного Существа.

Свои раздумия, сообразные событию*, решился он поведать соседу, изъяснив тому, что, касательно его понятий на сей предмет, его мнение (которого, пожалуй, ему бы не стоило выражать) таково, что лишь имеющий сердце из льда и весь духа состав бесчувственным не возрадуется при вести о завершеньи ее родов, поскольку достались ей жестокие испытания без всякой ее вины. Нарядно одетый юноша ему отвечал, что вина за те испытания на ее супруге или, по крайности, должна она быть на нем, если только дама не являет собою новую матрону эфесскую *. Должен сказать вам, молвил тут мистер Кроттерс, постучав по столу, дабы звучно подкрепить свое сообщение, что ее старый Аллилуй опять приходил сегодня, совсем уже пожилой, с бакенбардишками, и гнусавит в нос, прошу одно словечко, как там Вильгельмина, жизнь моя, это он ее так назвал. Я ему наказал быть в готовности, мол, событие вот-вот грянет. Ну и притча, я вам прямо скажу. Я только могу дивиться, какая потенция у этого старикана, если он из своей половины сумел вытрясти еще одного. Все принялись восхвалять его; каждый во что горазд, и только нарядный юноша, как прежде, стоял на том, что это де некто, а не ее законный супруг, отличился в деле, лицо духовное или факельщик (весьма добродетельный) или бродячий торговец разным товаром, потребным домовитой хозяйке. Сколь изумительна, рассуждал гость сам с собою, сколь несравненна их способность к метемпсихозу, коль скоро и чадовосприимный покой и трупорассекновительный театр ныне обращены у них в академии безнравственного легкомыслия — и при всем том, уже одного вхождения в ученую корпорацию будет довольно, чтобы эти слуги праздных забав во мгновение ока преобразились в примерных служителей того искусства, которое столь многие славные мужи полагают из всех достойнейшим. Однако, прибавил он вслед за тем, может статься, это дает у них выход чувствам, кои в иное время им приходится подавлять, ибо не раз наблюдал я подтвержденья тому, что рыбак с рыбаком веселятся рядком.

Но по какому праву, позвольте нам вопросить благородного лорда, его покровителя, этот чужеземец, лишь милостью доброго государя получивший гражданские права, возводит себя в верховные судьи внутренних наших дел? Где та благодарность, какую предписывает ему уже простая лояльность подданного? Во время недавней войны, когда

врагу порой удавалось приобрести перевес своими гранатами, разве этот предатель своего племени не пользовался всякий раз случаем, чтобы обратить оружие против империи, где его до времени терпят, сам между тем дрожа за судьбу своих четырех процентов? Или он позабыл об этом, как предпочитает забывать обо всех получаемых им благах? Или, привыкнув водить за нос других, он, одурачил, наконец, самого себя, коль скоро, если слухи не лгут, он сам сделался единственным орудием своего наслаждения? Бесспорный грех против скромности — вторгаться в спальню почтенной дамы, дочери отважного майора, или же допускать хотя бы тень сомнения в ее добродетели, однако, уж если он сам привлекает к тому наше внимание (чего поистине ему бы лучше остерегаться),— что же, будь по сему. Несчастная женщина, ей слишком упорно и слишком долго отказывали в ее законных прерогативах, чтобы она могла относиться к его упрекам иначе нежели с презреньем отчаявшихся. Это он-то осмеливается их бросать, этот блюститель нравов, истый пеликан в своей добродетели *, он, не посовестившийся, забыв о природных узах, искать незаконных сношений со служанкой, взятою из самых низов общества! Да ведь если бы эта красотка не обрела в своей швабре своего ангела-хранителя, ей досталась бы столь же горькая участь, как египтянке Агари! * А что до пастбищ, то здесь его сварливое упрямство давно снискало дурную славу, так что один скотовод, возмутившись, дал ему суровую отповедь в отборных буколических выражениях, чему мистер Кафф был свидетелем. Не слишком ему пристало проповедовать такое писание. Разве нет у него поблизости поля, что лежит невспаханным и ждет плуга? Порочная привычка поры созревания есть срам в зрелом возрасте, но, увы, делается второю натурой. Уж если желает он расточать свой бальзам из Галаада * в рецептах и апофегмах сомнительного вкуса, дабы возвращать на стези здоровья желторотых распутников, то подобало бы его делам быть в лучшем согласии с ученьями, коим он ныне привержен. Супружеское его сердце таит секреты, которые благопристойность откажется выносить на свет. Развратные предложенья какой-нибудь увядшей красотки способны его утешить за супругу, отринутую и павшую; однако в обличье новоиспеченного целителя зол и поборника добронравия являет он собой в лучшем случае некое экзотическое древо, что, уходя корнями в землю родного Востока, росло и цвело и источало изобильный бальзам, но будучи пересажено в более умеренный климат, утеряло былую крепость корней своих, а вещество, из него истекающее, загнило и скисло и утратило силу.

С великою осмотрительностью, достойной придворных нравов Блистательной Порты, новость была доверена второй санитаркою младшему из дежурных врачей, и тот, в свою очередь, известил депутацию о появлении на свет наследника*. Когда же он удалился на женскую половину, дабы присутствовать на торжественной церемонии отделения последа, с участием государственного секретаря по внутренним делам и членов тайного совета, усталым молчаньем выражавших единодушное одобрение, депутаты, наскучив своим долгим и чинным бдением и уповая, что радостное событие освобождает их от гнета приличий, благо это освобождение облегчалось одновременным отсутствием и акушера и камеристки, без промедления пустились в пререканье языков. Тщетно раздавался там голос господина Комиссионера Блума, призывая их к мягкости, сдержанности, спокойствию. Минута была слишком благоприятна для упражнений в том роде речей, который единственно лишь и связывал меж собой эти весьма несходственные натуры. Безжалостный скальпель их не миновал ни единой подробности предмета: врожденная антипатия единоутробных братьев, кесарево сечение, роды после кончины отца или, реже, после кончины матери, братоубийственное дело Чайлдса, что прославилось благодаря страстной речи господина Адвоката Буша, обеспечившей

оправдание невиновного, права первородства и получения пособий при рождении двойни или тройни, выкидыши и детоубийства, умышленные либо тайные, лишенный сердца foetus in foetu[22], апросопия от закупорки вен, агнатия неких китайцев без подбородка (случай, сообщенный господином Кандидатом Маллиганом) вследствие несовершенного сращения челюстных выступов вдоль медиальной линии, в каковом случае (по его выражению) одно ухо слышит, что другое говорит, преимущества обезболивания родов посредством снотворных, удлинение времени схваток в последней стадии беременности вследствие давления на вену, преждевременное отхождение вод (наблюдавшееся в настоящем случае), грозящее сепсисом матки, искусственное осеменение с помощью шприца, загибание матки с наступлением менопаузы, проблема продолжения рода в тех случаях, когда женщина зачала при изнасиловании, мучительный вид родов, называемый бранденбуржцами Sturzgeburt [23], известные примеры рождений монстров, двусеменных и многоблизнецовых рождений, случающихся, когда зачатие было кровосмесительным или в период менструации,— словом, все разновидности человеческого рождения, каковые классифицирует Аристотель в своем шедевре, снабженном хромолитографическими иллюстрациями. Глубочайшие проблемы акушерской науки и судебной медицины подвергнуты были разбору с тем же вниманием, что и простонародные поверья, касающиеся беременности, как то запрет беременной перелезать через плетень, чтобы при таковом движении не задушился младенец пуповиной, или же указание ей, если возгорится пылко и тщетно желанием, то пусть прижмет руку к тому своему месту, каковое древним обычаем назначено для телесных наказаний. Такие аномальные отклонения, как заячья губа, родимые пятна, винные пятна, многопалость, синюха, ангиома, кем-то из собравшихся были помянуты как очевидное и естественное гипотетическое объяснение случающихся порою рождений свиноголовых (тут не была забыта мадам Гриссел Стивенс*) или покрытых собачьей шерстью младенцев. Гипотеза же плазмической памяти, привлеченная посланцем Каледонии и достойная метафизических традиций представляемой им страны, усматривала в подобных случаях остановку эмбрионального развития на какой-либо из предчеловеческих стадий. Чужестранный депутат, отвергая обе эти теории, отстаивал с жаром почти убедительным теорию о совокуплении женщин с самцами животных, ручаясь за истинность басен, подобных легенде о Минотавре *, которую изящный гений латинского поэта поведал нам на страницах его «Метаморфоз». Слова его произвели впечатление немедленное, но эфемерное. Оно исчезло столь же быстро, сколь и явилось, под воздействием речи господина Кандидата Маллигана, которую тот произнес в своем неподражаемом игривом стиле, провозгласив, что наилучший предмет желаний — это славный чистенький старичок. Одновременно с этим господин Депутат Мэдден и господин Кандидат Линч затеяли жаркий спор о юридической и богословской дилемме, возникающей в случае смерти одного из сиамских близнецов прежде другого, и оба решили изложить свои затруднения господину Комиссионеру Блуму для немедленной передачи господину Коадъютору Диакона Дедалу. Последний до этого молчал, повинуясь ли внутреннему голосу или, быть может, желая чрезмерно важною миной подчеркнуть странную чопорность своего наряда, и, будучи спрошен, напомнил кратко и, как показалось иным, с небрежностью, церковное установление, дабы не разлучал человек того, что соединил Бог.

Однако повесть Малахии начала уже наполнять трепетом их сердца *. Вся сцена словно ожила перед глазами у них. Внезапно часть стены рядом с камином, скрывавшая потайной ход, бесшумно отошла в

---

[22] Рождающийся зародыш *(лат.)*.
[23] Стремительные роды *(нем.)*.

сторону, и в глубине показался... Хейнс! Кто из нас не ощутил, как плоть его застыла от ужаса? В одной руке его был портфель, плотно набитый кельтскими сказаниями, в другой — сосуд с надписью «Яд». Изумление, отвращение, трепет были написаны на всех лицах, меж тем как он взирал на них с мертвенною усмешкою. Я предвкушал подобный прием, промолвил он, сатанински расхохотавшись, в котором, надо полагать, повинна история. Да, вы не ошиблись. Я убийца Сэмюэла Чайлдса. Но как я наказан! Ад не страшит меня. Вот внешность, что на мне [24]. Пропасть и вечность, глухо пробормотал он, когда же обрету я покой, по стогнам Дублина я влачусь с песенной своей ношей, и неотступно повсюду за мною он, словно soulth [25], словно bullawurrus! [26] Ад мой и ад Ирландии — на этом свете. Как ни пытался я заставить себя забыть! Развлеченья, стрельба ворон, гэльский язык (он произнес на нем несколько фраз), опиум (он поднес к губам свой сосуд), занятия туризмом. Все тщетно! Его призрак преследует меня. Дурман — вот единственная моя надежда... О-о! Гибель! Черная пантера! И неожиданно он с жутким воплем исчез, и стена скользнула на место. Однако через мгновение голова его появилась из противоположной двери и произнесла: Ждите меня на станции Уэстленд-роу в десять минут двенадцатого. Он ушел! Слезы заструились из глаз беспутного сборища. Провидец воздел длань свою к небесам, шепча: Возмездие Мананауна!* Мудрые повторяли: Lex talionis. Сентиментальным нужно назвать того, кто способен наслаждаться, не обременяя себя долгом ответственности за содеянное. Малахия, охваченный волнением, смолк. Тайна раскрылась. Был третий брат, и этот брат — Хейнс, подлинная фамилия которого — Чайлдс. Черная же пантера — то был он сам, призрак своего собственного отца. Он пил одурманивающие снадобья, чтобы забыться. Признателен я вам за облегченье. Одинокий домик у кладбища необитаем. Ни единая душа не будет там жить. Лишь в одиночестве паук там ткет свою паутину, да выглянет крыса из норы ночною порой. Проклятие тяготеет над этим местом. Тут бродит призрак. Тут земля убийцы.

Каков имеет возраст душа человеческая?* Коль скоро прирожден ей хамелеонов талант менять оттенки свои при всякой перемене окрест, быть радостною с веселыми, печальной с поникшими, ужели не зрим, что и возраст ее столь же переменчив, как и ее настроенья? И Леопольд, что сидит здесь в раздумьи, без конца перелистывая листы памяти, то вовсе уже не тот степенный служитель прессы, владелец скромного состояния в инвестициях. Умчались прочь годы. Он — юный Леопольд. Словно в ретроспективном упорядочении, словно зеркало в зеркале (и — раз!), он созерцает себя. Вот юная фигура той далекой поры, она выглядит возмужалой не по годам, свежим холодным утром она поспешает в школу из старого дома на Клэнбрасл-стрит, опоясана ранцем как патронташем, и в ранце — добрый ломоть пшеничного хлеба, забота матери. А вот — та же фигура через год или два, в первом своем котелке (о, это был день!), уже при деле, полноправный коммивояжер в фирме отца, вооруженный книгой заказов, надушенным платком (вовсе не только напоказ), баульчиком с блестящими безделушками (увы, это уже в прошлом!) и неистощимым запасом льстивых улыбок для каждой наполовину поддавшейся хозяйки, прикидывающей цену на пальцах, или для расцветающей юной девы, застенчиво выслушивающей (но голос сердца? признайтесь!) его заученные любезности. Духи, улыбки, а еще важней, темные глаза и елейная обходительность добывали к вечеру немало заказов для главы фирмы, который после подобных же трудов восседает словно

[24] Калька английской кальки ирландской идиомы, означающей: «Вот участь, что постигла меня».

[25] Явление призрака *(ирл.)*.

[26] Здесь: запах убийства *(ирл.)*.

Иаков с трубкою у домашнего очага (лапша, будьте покойны, вот-вот поспеет) и, вздев на нос круглые роговые очки, читает газету месячной давности с континента. Но дохнули на зеркало, и — раз! — и юный странствующий рыцарь отступает в глубину, делается все меньше, меньше и тает крохотной искоркою в тумане. Ныне он сам уже глава семьи, и те, что окружают его, могли бы быть его сыновьями. Кому дано сказать? Мудр тот отец, что знает свое дитя. И вспоминается ему ночь с моросящим дождем, там, на Хэтч-стрит, возле запертых складов, та, первая. Они вместе (она — бесприютная бедняжка, дитя позора, твоя, моя, чья угодно за жалкий шиллинг с пенсом на счастье), вместе слышат тяжелый шаг стражей, когда две тени с острыми капюшонами движутся мимо нового королевского университета. Брайди! Брайди Келли! Навсегда ему запомнится это имя, никогда не забудется эта ночь, первая ночь, брачная ночь. В кромешной тьме сплетаются они воедино, жертва и жрец, и во мгновение ока (fiat [27]!) море света затопит мир. Однако прильнуло ли сердце к сердцу? Увы, прекрасная читательница! Все свершилось единым духом — однако стойте! Назад! Не надо! Бедняжка в ужасе убегает, скрываясь во мраке. Она невеста ночи, дочь тьмы. Она не станет вынашивать солнцеликое чадо дня. Нет, Леопольд! Ни воспоминанье, ни имя не утешат тебя. Вотще миновало ликующее юное чувство собственной силы. Нет подле тебя сына от чресл твоих. Некому для Леопольда быть тем, кем был Леопольд для Рудольфа.

Голоса сливаются и растворяются в туманном безмолвии*, безмолвии беспредельного пространства, и безмолвно, стремительно душа проносится над неведомыми краями бесчисленных поколений, что жили прежде. Край, где седые сумерки вечно спускаются, но никогда не упадают на светлозеленый простор пажитей, проливая свой сумрак, сея нетленные росы звезд. Неровным шагом она следует за своею матерью, словно кобыла ведет за собой жеребенка. Сумеречные виденья, однако облеченные в формы магической красоты, статный округлый круп, стройная мускулистая шея, тревожно-кроткие очертания головы. Печальные видения, они меркнут; и вот все исчезло. Агендат — бесплодная пустыня, приют ночных сов и подслеповатых удодов. Златого Нетаима нет больше. Они движутся облачною тропой, призраки скотов, глухим громом отдаются их мятежные рыки. У-уу! Рр-р! У-уу! Параллакс погоняет их, следуя позади, молнии чела его жалят как скорпионы. Яки, лоси, быки Васанские и Вавилонские, мастодонты и мамонты густым стадом бредут к впадине моря, Lacus Mortis [28]. Зловещее, мстительное воинство Зодиака! Они мычат, ступая по облакам, двурогие и козерогие, хоботастые и клыкастые, львиногривые и длиннопантые, пресмыкающиеся и свинорылые, грызуны, жвачные и толстокожие, все их движущееся мычащее скопище, убийцы солнца.

Все дальше, к мертвому морю бредут они с топотом на водопой, пьют ужасающими глотками и не могут напиться от его соленых, дремотных, неиссякаемых вод. И знак конский вновь растет и восходит среди пустыни небес, едва ли не во всю ширь небосвода, покуда не заслонит своею огромностью дома Девы. И вот, взгляни, о чудо метемпсихоза, то она, присносущая невеста, вестница дневныя звезды, невеста и приснодева. То она, Марта, моя утрата, Миллисент, юная, милая, сияющая. Сколь безмятежна она в царственном своем появленьи среди Плеяд в последние предрассветные часы, в сандалиях из чистого золота, в уборе из этой, как ее называют, из кисеи. Он окутывает ее, плывет над ее звездною плотью, играет сапфирным и изумрудным, лиловым и яркосолнечным, волнуется токами леденящих межзвездных ветров, свиваясь, кружась, кружа головы бедняжкам,

---

[27] Да будет! *(лат.)*
[28] Озеро Мертвых *(лат.)*.

змеясь по небу таинственными письменами, и наконец, после неисчислимых метаморфоз символа, гаснет, Альфа, рубиновый треугольный знак на челе Тельца.

Тут Фрэнсис напомнил Стивену о том, как они вместе учились* в школе во времена Конми. Он стал расспрашивать его про Главкона*, Алкивиада *, Писистрата *. Какова участь их? Оба были в неведенье. Ты говоришь о прошлом и призраках его, молвил Стивен. Но что о них думать? Ежели я через воды Леты вновь призову их к жизни, разве бедные привиденья не поспешат толпой на мой зов? Кто властен над ними? Я, Боус Стефаноуменос, быколюбивый бард, я им господин и податель жизни. И, улыбнувшись Винценту, он увенчал непокорные свои волосы короною виноградных листьев. Ответ сей, промолвил на то Винцент, как равно и сей венок, достойней украсили бы тебя, когда б побольше, да намного побольше творений, чем горсточка легковесных од, могли назвать твой гений своим отцом. И все твои доброжелатели с надеждой ожидают того. Все жаждут увидать во плоти замышленный тобой труд и наградить тебя именем Стефанефорос[29]. Сердечно желаю, чтобы не обманулись их ожидания. О нет, Винцент, сказал ободрительно Ленехан и положил руку на плечо ближайшего своего соседа. Можешь не опасаться. Он не оставит мать свою сиротой. Лицо юноши омрачилось. Все могли видеть, как тяжелы ему напоминанья о его обещаниях и свежей его утрате. Он бы покинул пир, если бы шумные голоса вокруг, отвлекая, не унимали боль. Мэдден потерял пять драхм на Короне, поставив на нее из причуды, ради имени жокея; таков же был и убыток Ленехана. Он принялся рассказывать о скачках. Упал флажок и тут же, у-ух, они все помчались, кобылка взяла резво, свежо, жокей О. Мэдден. Она повела скачку, сердца у всех так и бились. Даже Филлис не могла удержаться, она махала шарфиком и кричала: Урра! Корона побеждает! И тут, уже на последней прямой, когда все шли плотной кучкой, с ними вдруг поравнялась темная лошадка, Реклама, догнала Корону и обскакала. Все было потеряно. Филлис молчала; глаза ее — грустные фиалки. О Юнона, воскликнула она, я разорена, я погибла. Однако она утешилась, когда ее возлюбленный подал ей золотой ларец, в котором лежали кругленькие засахаренные сливы, и охотно скушала дюжину. Лишь одна-единственная слезинка упала с ее ресниц. Самый лихой жокей, сказал Ленехан, это У. Лэйн. Четыре приза вчера, три сегодня. Кому еще такое под силу? Его посади на верблюда или на дикого буйвола, и он, не торопясь, придет первым. Однако перенесем немилость фортуны, как это умели древние. Милосердие к неудачникам! Бедная Корона! молвил он с легким вздохом. Кобылка, видно, сдала. Ручаюсь, другой такой уж не будет. А какой была, сэр! Не Корона, а королева! Помнишь ее, Винцент? Жаль, ты не видел сегодня мою королеву, отвечал Винцент, во всем ее юном блеске (сама Лалага не показалась бы хороша рядом с ней), в желтых туфельках и в муслиновом платье, не знаю, как этот фасон называется. Кругом стояли каштаны в буйном цвету; весь воздух был полон их густым ароматом, и облачка пыльцы летали всюду вокруг. Камни на солнцепеке нагрелись так, что ничего бы не стоило испечь на них толику булочек с коринфскими плодами, какими Периплипоменес[30] торгует в своей лавочке у моста. Но ей, увы, было нечего взять на зуб, разве что мою руку, которой я ее обнимал и которую она шаловливо покусывала, когда я жал слишком сильно. Неделю назад она болела, пролежала в постели четыре дня, но сегодня была уже весела и беспечна, смеясь над всеми опасностями. В такую пору она еще соблазнительней. А ее букеты! Вы бы видели, какой она нарвала вокруг, когда мы прилегли на травку. И по секрету, дружище, ты не поверишь, кого мы встретили с ней, когда уже уходили с поля.

[29] Венценосный *(греч.)*.
[30] Бродячий торговец фруктами *(греч.)*.

Конми собственною персоной! Прогуливался вдоль изгороди и что-то читал, верно, свой требник, где вместо закладки у него, я уверен, галантное послание от какой-нибудь Хлои или Гликеры*. Милая моя бедняжка от смущенья не знала, куда деваться, сделала вид, словно поправляет платье, к нему пристала какая-то веточка, как будто даже деревья волочатся за ней. Когда Конми прошел, она вынула маленькое зеркальце, которое всегда у нее с собой, и поглядела на свое прелестное эхо. Но он был милостив. Дал нам благословение. Боги тоже должны быть милостивы, откликнулся Ленехан. Уж раз у меня неудача с кобылкой Басса, так, может быть, его снадобье пойдет мне на пользу. И он уже взялся было за ближний сосуд с вином, однако Малахия увидел это и удержал его, показывая на незнакомца и на красный ярлык. Тихо, прошептал он им, берегите молчание друида. Душа его далеко отсюда. Быть может, пробуждаться от видений столь же мучительно, как рождаться на свет. Любой предмет, при напряженном его созерцании, может служить вратами вхождения в нетленный эон богов. Ты с этим согласен, Стивен? Об этом поведал мне Теософий, отвечал Стивен, коего в предыдущем воплощении египетские жрецы посвятили в тайны кармического закона. Яркооранжевые повелители луны, так говорил Теософий, приплывшие с планеты Альфа лунной цепи, не допускают эфирных двойников, и оттого последние были воплощены темнокрасными эго из второго созвездия.

Однако на деле несуразная идея о том*, будто бы он пребывал в некоем гипнотическом либо ипохондрическом состоянии, была всецело порождена самым поверхностным заблуждением и вовсе не отвечала действительности. Индивид, зрительные органы которого, покуда все это происходило, при данных обстоятельствах начали подавать признаки оживления, был зорок не меньше, если не больше любого из живых смертных, и всякий, допустивший противное, не успев оглянуться, сел бы в калошу. В течение последних четырех минут (или, возможно, пяти) он пристально смотрел на некоторое количество пива марки «Басс, номер первый», разлива фирмы Басс и Ко, в Бертоне-он-Трент, которое оказалось, среди прочих бутылок, в точности напротив него и было явно рассчитано на то, чтобы привлекать внимание своей ярко-красной этикеткой. Он попросту всего-навсего, как далее обнаружилось по причинам, что лучше всех ведомы ему самому и дали совсем иную окраску происходящему, после предыдущих минут раздумий о днях своего отрочества и скачек, предался воспоминаниям о двух или трех частных своих поступках, в коих те двое были неповинны как нерожденный младенец. Однако в конце концов четыре их глаза встретились и едва его осенило, что тот вознамерился овладеть предметом в видах использования по назначению, как он неожиданно для себя решил в тех же видах сам воспользоваться последним и сообразно сему, взяв за горло средних размеров стеклянный приемник с искомою жидкостью, проделал в нем пространную пустоту, излив солидную часть содержимого наружу, однако равномерно направив неусыпную внимательность, чтобы ничего не расплескать из бывшего внутри пива.

Дальнейшие дебаты своим содержанием и развитием как бы изобразили в миниатюре течение самой жизни*. И место собрания и его участники блистали неоспоримыми достоинствами. Дебатирующие принадлежали к числу самых незаурядных людей страны, предмет же их спора был благороден и важен. Высокие своды Хорновых хором никогда не видали столь представительного и многоликого общества, и старинные балки сего учреждения вовеки не слыхивали речей столь энциклопедических. Поистине, то было живописное зрелище. Там восседал в конце стола Кроттерс в своем экзотическом шотландском наряде, с лицом, выдубленным суровыми ветрами Малл-оф-Галловей. Напротив него помещался Линч, на лице у которого уже читались стигматы ранних пороков и преждевременной опытности. Место ря-

дом с шотландцем занимал Костелло, субъект с большими причудами, подле которого громоздилась грузная флегматичная фигура Мэддена. Кресло здешнего обитателя оставалось незанятым перед камином, но зато по обе стороны от него являли резкий контраст друг другу Баннон, одетый как путешественник, в твидовых шортах и грубых воловьих башмаках, и лимонножилетный Мэйлахи Роланд Сент-Джон Маллиган *, сияющий элегантностью и столичными манерами. И наконец, во главе стола обретался юный поэт, в дружеском оживлении сократической беседы нашедший убежище от педагогических трудов и метафизических созерцаний, а справа и слева от него располагались незадачливый предсказатель, явившийся прямо с ипподрома, и неутомимый наш странник, покрытый пылью дорог и битв, познавший неизгладимое бесчестие и позор, но вопреки всем соблазнам и страхам, тревогам и унижениям, нерушимо хранящий в своем стойком и верном сердце тот пленительно-сладострастный образ, что был запечатлен для грядущих веков вдохновенным карандашом Лафайетта *.

Целесообразно указать здесь же *, в самом начале, что извращенный трансцендентализм, к которому суждения мистера С. Дедала (Скеп. Богосл.) показывают его неизлечимое, по всей видимости, пристрастие, идет целиком вразрез с установившимися научными методами. Наука, это необходимо подчеркивать беспрестанно, рассматривает лишь чувственные феномены. Человек науки, как и любой смертный, должен исходить из самых обыкновенных фактов, которые нельзя обойти, и должен пытаться дать им наилучшее объяснение. Имеются, совершенно верно, отдельные вопросы, на которые наука еще не нашла ответа — как, например, первая из проблем, поставленных мистером Л. Блумом (Рекл. Аг.), то есть проблема предсказания пола младенца. Должны ли мы принять точку зрения Эмпедокла из Тринакрии, согласно которой правый яичник (по иным утверждениям, в постменструальный период) обеспечивает рождение мальчиков, или дифференцирующими факторами служат столь долго недооцениваемые сперматозоиды, иначе немаспермы, или же, как склонны полагать многие эмбриологи, в частности, Калпеппер, Спалланцани, Блюменбах, Ласк, Хертвиг, Леопольд и Валенти, имеет место и то и другое? Последнее было бы равносильно сочетанию (одному из самых излюбленных приемов природы) nisus formativus [31] немасперма, с одной стороны, и удачного выбора положения succubitus felix [32], пассивного элемента,— с другой. Вторая проблема, поднятая тем же исследователем, нисколько не менее насущна — это смертность младенцев. Здесь примечательно то, что, по глубокому его замечанию, мы все рождаемся одинаковым образом, но умираем весьма по-разному. Мистер М. Маллиган (Hyg. et Eug. Doc.[33]) возлагает вину на санитарные условия, из-за которых наши городские жители с их серыми легкими приобретают аденоиды, болезни дыхательных органов, etc., будучи вынуждены вдыхать кишащих в пыли бактерий. Как он утверждает, именно эти факторы, а также отвратительные картины на наших улицах — безобразная реклама, служители религии всех конфессий и рангов, искалеченные солдаты и матросы, извозчики, щеголяющие цинготными язвами, развешанные останки мертвых животных, холостяки-параноики и неоплодотворенные приживалки,— вот что, по его словам, является истинной причиной вырождения нации. Он предсказывает, что каллипедия очень скоро получит всеобщее признание, и все лучшие блага жизни, подлинно хорошая музыка, занимательная литература, легкая философия, поучительные картины, копии классических статуй, прежде всего Венеры и Аполлона, цветные художест-

---

[31] Формообразующий импульс *(лат.)*.
[32] Низлежащий плодородный *(лат.)*.
[33] Доктор Гигиены и Евгеники *(лат.)*.

венные фотографии образцовых младенцев,— все эти небольшие знаки внимания помогут дамам, находящимся в интересном положении, провести положенные месяцы самым приятным образом. Мистер Дж. Кроттерс (Disc. Bacc.[34]) относит известную часть из обсуждаемых смертных случаев на счет брюшных травм у женщин-работниц, принуждаемых на работе к тяжелому труду, а дома — к супружеской дисциплине, но подавляющее большинство — на счет небрежения (как официального, так и частных лиц), вершиною которого являются подбрасывание новорожденных, криминальные аборты и чудовищное преступление детоубийства. Хотя последнее (мы говорим о небрежении) отнюдь не может оспариваться, однако случай, им приводимый, когда сестры забыли пересчитать губки в брюшной полости, слишком редок, чтобы считаться типичным. В действительности же, при ближайшем рассмотрении представляется удивительным скорее то, что столь многие беременности и роды проходят совершенно благополучно, если учесть все факторы, включая и наши человеческие недостатки, которые сплошь и рядом мешают осуществиться начертаньям природы. Мистер В. Линч (Bacc. Arith.[35]) выдвинул глубокомысленную идею, согласно которой рождаемость и смертность, равно как и все прочие феномены эволюции, приливные движения, фазы луны, температура крови, заболевания, словом, все, совершающееся в необъятной мастерской природы, от гибели отдаленных солнц и до расцветания любого мельчайшего цветка среди украшающих наши городские парки,— все это подчиняется некоему числовому закону, который пока не открыт. Однако, с другой стороны, простой и прямой вопрос, отчего ребенок нормальных и здоровых родителей, по всем признакам и сам здоровый, имеющий правильный уход, непонятным образом умирает в раннем детстве (хотя с другими детьми от того же брака этого не происходит), заведомо, говоря словами поэта, велит нам призадуматься. Поскольку нельзя усомниться в том, что природа за каждым своим действием имеет благие и основательные причины, то, по всей вероятности, подобные смерти вызываются неким законом предвосхищения, в силу которого организмы, избранные для своего обитания болезнетворными бактериями (современная наука доказала окончательно, что одно только вещество протоплазмы может считаться бессмертным), предрасположены исчезать на гораздо более ранних стадиях развития — особенность, хотя и причиняющая страдания нашим чувствам (в первую очередь материнским), однако в конечном итоге, как некоторые из нас полагают, благотворная для рода в целом, поскольку она обеспечивает выживание наиболее приспособленных. Замечание (или уместней его называть вмешательством?) мистера С. Дедала (Скеп. Богосл.) о том, что всеядное существо, способное с завидной невозмутимостью разжевать, проглотить, переварить и вывести через обычный канал столь разнородные продукты питания, как канкренозные женщины, истощенные родами, тучные мужчины свободных профессий, не говоря уже о желтушных политиках и малокровных монашках, возможно, испытало бы желудочное облегчение, невинно закусывая валким телком, показывает как нельзя ясней и в самом отрицательном свете ту тенденцию, намекнуть на которую мы позволили себе выше. Для сведения же тех, кто не успел свести с бытом городской бойни столь тесного знакомства, как то, которым кичится сей эмбрион философа и болезненно чувствительный эстет, в делах научных полный тщеславной самонадеянности, но едва ли способный отличить кислоту от щелочи, возможно, следует пояснить, что на грубом наречии хозяев наших трактиров самого низкого пошиба валким телком именуют пригодное для стряпни и в пищу мясо

---

[34] Бакалавр Риторики *(лат.)*.
[35] Бакалавр Арифметики *(лат.)*.

теленка, свежеисшедшего из чрева матери. В недавнем публичном диспуте с мистером Л. Блумом (Рекл. Аг.), происходившем в большом зале Центрального Родильного Дома, Холлс-стрит, 29,30 и 31, главою которого является, как известно, наш талантливый и знаменитый доктор Э. Хорн (Вр.-Ак., Б. В.-П. К. О. И. В.[36]), согласно свидетельствам очевидцев, он утверждал, что, если женщина впустила кота в мешок (как можно догадываться, намек нашего эстета на один из самых сложных и удивительных природных процессов, акт полового соединения), то она должна также и выпустить его, или же дать ему жизнь, чтобы, как он выразился, спасти свою собственную. С риском для своей собственной, последовала на то уместная реплика собеседника, которой придавал еще больше веса его сдержанный и достойный тон.

Тем временем искусство и терпение врача привели к благополучному разрешению от бремени*. Трудным, о каким трудным оказалось оно и для страждущей, и для ее доктора. Все, что способно сделать акушерское искусство, было сделано, и отважная женщина содействовала этим усилиям с решимостью, не уступавшей мужской. Мы смело поручимся за это. Добрым подвигом подвизалась она, и теперь наконец была счастлива, счастлива целиком. Казалось, и те, что уже покинули этот мир, что ушли прежде нас, счастливы тоже, с улыбкою взирая с небес на трогательную картину. Благоговейно взглянем и мы: вот труженица устало склонилась на подушки, материнское чувство светится в ее глазах, неутихающий голод по маленьким пальчикам дитяти (как сладко смотреть на это), и в первом расцвете своего нового материнства она возносит безмолвную благодарственную молитву Единому в вышних, Супругу Небесному. И с бесконечною нежностью взирая на своего малютку, она жаждет еще одной только милости — чтобы ее славный Доди был бы здесь, рядом, и разделил ее радость, и заключил бы в свои объятия эту малую крохи глины Божией, плод их освященной любви. Теперь уж он постарел (мы с вами можем это шепнуть друг другу), немного согбен в плечах, и все же в вихре лет прилежный младший бухгалтер Ольстерского банка, того отделения, что на Колледж-Грин, обрел достоинство и солидность. О Доди, возлюбленный былых лет, верный жизненный спутник ныне, она никогда уж не повторится, далекая пора роз! Покачивая красивой головкой,— ее прежний жест! — она вспоминает. Боже, как прекрасны те дни сейчас, в дымке ушедших лет! Но в то же время и дети их, его и ее, толпятся в ее воображении вокруг ее ложа, Чарли, Мэри Элис, Фредерик Альберт (будь он в живых), Мэйми, Баджи (Виктория Фрэнсис), Том, Виолетта Констанция Луиза, милый крошка Бобси (названный в честь нашего знаменитого героя Южно-Африканской войны, лорда Бобса Уотерфордского и Кандагарского), и вот теперь — новый залог их союза, самый чистейший Пьюрфой, какой только может быть, с чисто пьюрфойским носом. Юное сокровище назовут Мортимер Эдвард, в честь четвероюродного брата мистера Пьюрфоя, влиятельного лица в Дублинском замке, в ведомстве задолженностей по казначейству. Так время влачится своим путем; однако здесь рука отца Хроноса была покуда легка. Нет, пусть не вырвется вздох из твоей груди, о добрая Майна. А ты, Доди, когда пробьет твой час (да не настанет скоро сей день!), выбей пепел из старой вересковой трубочки, столь любимой тобою, и погаси светильник, при котором читал ты Священное Писание, ибо уже иссякает масло в светильнике, и с сердцем чистым отойди на ложе упокоения. Он знает, и Он призовет тебя в час, угодный Ему. Ты также подвизался подвигом добрым и исполнил славно свое дело мужа. Вот вам моя рука, сэр. Все хорошо, добрый и верный раб!

Существуют грехи или (назовем их так, как называет их мир)

---

[36] Врач-Акушер, Бывший Вице-Президент Королевского Общества Ирландских Врачей.

дурные воспоминания, которые человек стремится забыть, запрятать в самые дальние тайники души — однако, скрываясь там, они ожидают своего часа*. Он может заставить память о них поблекнуть, может забросить их, как если бы их не существовало, и почти убедить себя, что их не было вовсе или, по крайней мере, что они были совсем иными. Но одно случайное слово внезапно пробудит их, и они явятся перед ним при самых неожиданных обстоятельствах, в видении или во сне, или в минуты, когда тимпан и арфа веселят его душу, или в безмятежной прохладе серебристо-ясного вечера, иль посреди полночного пира, когда он разгорячен вином. И это видение не обрушится на него во гневе, не причинит оскорбленья, не будет мстить ему, отторгая от живущих, нет, оно предстанет в одеянии горести, в саване прошлого, безмолвным и отчужденным укором.

Незнакомец все еще наблюдал, как на том лице, которое он видел перед собой, медленно исчезает притворное спокойствие, казалось, лишь в силу привычки или заученной позы сопровождавшее слова, озлобленная резкость которых обличала в говорящем болезненное пристрастие, flair[37], к жестоким сторонам бытия*. В памяти наблюдателя сама собою всплывала сцена, вызванная к жизни столь обыденным и простым словом, что, можно было подумать, те давние дни поистине пребывали там (в чем и убеждены некоторые) со всею осязательностью своих удовольствий. Майский погожий вечер, подстриженная лужайка, достопамятные купы сирени в Раундтауне, белые и лиловые соцветья, стройные и благоуханные зрители игры, с большим интересом следящие за шарами, что катятся медленно по зеленой траве или, столкнувшись, останавливаются друг подле друга, чутко вздрогнув и замерев. Поодаль, у серого фонтана, чьи мерные струи задумчиво предаются орошению, виднеется еще одно благоухающее соцветие, сестрицы Флуи, Этти, Тайни и с ними темноволосая их подружка, что-то неуловимо останавливающее было тогда в ее позе, Мадонна с Вишнями, две изящные вишенки свешивались с ее ушка, и теплый нездешний тон ее кожи так утонченно подчеркивали прохладные пламенеющие плоды. Мальчуган лет пяти или четырех в полушерстяном костюмчике (пора цветенья, но весело будет и с друзьями у очага, когда вскоре соберут и спрячут шары) стоит на кромке фонтана в кольце заботливых девичьих рук. Он слегка хмурится, в точности как сейчас этот юноша, слишком, пожалуй, сознательно наслаждаясь опасностью, однако чувствует необходимость время от времени поглядывать в сторону выходящей на цветник piazzetta[38], где сидит и смотрит на него его мать, в веселом взгляде которой таится легкая тень отрешенности или упрека (alles Vergängliche[39]).

Отметь это на будущее и запомни. Конец приходит внезапно. Войди в это преддверие рождения, где собрались просвещающиеся, и взгляни на их лица. Кажется, что в них нет ничего поспешного, ничего невоздержного. Скорее, чуткое спокойствие стражей, подобающее их служению в этом доме, бдение пастухов и ангелов вокруг яслей в Вифлееме Иудейском, в давние времена. Однако, подобно тому как перед ударом грома сгрудившиеся грозовые тучи, огрузнув от преизбытка влаги, громоздятся огромными разбухшими массами, оковывая небо и землю одним всеохватным оцепенением, нависая над иссохшими нивами и дремлющими быками и увядшею порослью кустов и трав, пока во мгновение ока вспышка молнии не расколет самое их нутро, и под громовые раскаты не изольются потоки вод,— именно так и не иначе, неистово и мгновенно преобразилось все, едва произнесено было слово.

К Берку! первым, с призывным кличем, выскакивает милорд Стивен, и весь тамошний сброд мчится следом, задира и грубиян, жулик

[37] Чутье *(франц.)*.
[38] Площадка *(итал.)*.
[39] Все преходящее *(нем.)*.

и шарлатан, и Блум-педант по пятам, и все разом расхватывать шляпы, шпаги, трости, панамы, ножны, альпенштоки и что попадется. Горячая юность, кровь с молоком, голубая кровь. В коридоре ошеломленная сестра Каллан бессильна их удержать, равно как и улыбающийся хирург, спустившийся вниз с известием об успешном отделении последа, на добрый фунт, разве без миллиграмма. Двигай следом! ему команда. Дверь! Открыта? Ха-ха! Скопом наружу и бодрой рысцой в пробежку. К Берку, на угол Дензилл и Холлс, вот им куда. Диксон распекает их на чем свет, но вскоре, сдавшись и чертыхнувшись покрепче, двигает следом. Блум задержался возле сестры, желая передать поздравленье счастливой матери с новорожденным там, наверху. Главное — питание и покой. А у нее самой не изменился ли вид? Бденья в хоромах Хорна ясно читаются в этой меловой бледности. Кругом никого, и, решив отпустить шуточку на подходящую тему, он ей шепчет на ушко, уходя: Мадам, а когда же к вам прилетит аист?

Воздух снаружи насыщен дождевой влагой, небесною субстанцией жизни, поблескивающей на дублинских булыжниках под яркозвездным coelum[40]. Воздух божий, воздух Отца всех и вся, воздух искрометный, всепроникающий, рождающий. Глубже вдыхай его. Видит небо, Теодор Пьюрфой, ты отлично управился, не оплошал! Клянусь, ты самый выдающийся производитель, без всякого исключения, во всей этой склочной, всевместительной, сверхзапутанной истории. Восхищенья достойно! Внутри у нее лежала Возможность, Богом данная и Богом оправленная в оправу известной формы, и ты ее оплодотворил из скромных своих мужских средств. Держись же за нее! Служи! Трудись и дальше, работай как верный пес, и к дьяволу всех мальтузианцев и всю ученость. Еси многоотец, папочка им всем, Теодор. Гнешься под тяжким бременем, замученный счетами от мясника и слитками золота (чужого!) у себя в банке? Выше голову! За каждого новозачатого пожнешь ты хомер спелой пшеницы. Взгляни, руно твое увлажнилось. Надеюсь, нет зависти у тебя к Дерби Далмену с его Джоан? Крикливый попутай да паршивая дворняга, вот все их потомство. Тьфу, вот что я скажу! Он просто мул, дохлый брюхоног без всякого запаса силенок, ломаный крейцер ему цена. От их соития никакого события! Нет и нет, я скажу! Иродово избиение младенцев, вот как надо это назвать. Скажите, пожалуйста, овощи и бездетное сожительство! Давай ей бифштексы, сырые, красные, с кровью! Она же превратилась в пандемониум всех недугов, у нее гланды, свинка, волдыри, чирьи, пролежни, бородавки, сенная лихорадка, дербиширский зоб, стригущий лишай, блуждающая почка, желчные камни, приступы печени, медвежья болезнь и вздутые вены. Конец панихидам и плачам и причитаниям и всей застарелой заупокойщине! Довольно, наслушался за двадцать лет. С тобой не так, как со многими, которые хотят, потом погодят, потом подумают и раздумают. Ты нашел свою Америку, свое дело жизни, ты покрывал ее яро, как американский бизон. Как там говорит Заратустра? Deine Kuh Trübsal melkest Du. Nun trinkest Du die süsse Milch des Euters[41]. Взгляни! Вот оно льется в преизобилии для тебя. Пей, человек, сколько есть в этом вымени! Молоко матери, Пьюрфой, молоко рода человеческого, и молоко звездного пути, сверкающего сквозь тонкую пелену дождя, и молочко бешеной коровки, на которое кинутся в кабаке буйные питухи, и молоко безумия, и млеко и мед земли Ханаанския. Слишком туги сосцы коровы твоей? Пусть, но молоко ее теплое и сладкое и густое. Настоящий жирный bonnyclaber[42], не что-

[40] Небо *(лат.)*.

[41] Ты доишь корову твою по имени Скорбь. Ныне пьешь ты сладкое молоко ее вымени *(нем.)*.

[42] Пахта *(ирл.)*.

нибудь. Припади же к ней, старый патриарх! Испей! Per deam Partulam et Pertundam nunc est bibendum ! [43]

Из хором Хорна хором дернули все дерябнуть*, взявшись за руки, горланя на всю округу. По правилам, путников и поздней обслужат. Где нынче дрых? Моряк с разбитого корыта. Друг ситный. А есть у нас кто в кумпании окалошные? Где там чертовы костоправ и барахольщик? Звиняюсь, я почем знаю. Ура, вот он, Дикс! Жми-нагоняй, галантерея. А Панч где? Тих и ясен. Эва, глянь, из родилки пастор ползет под мухой! Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius [44]. Подайте, мистер. Молодцы с Дензилл-лейн. Тыща дьяволов! Вали с дороги. Шарахни-ка их, Айзек, с этой треклятой сцены. Изволите с нами, судырь? Не лезем не в свое тело. Лу добрячок, каких поискать. Все из одного теста. En avant, mes enfants![45] Орудие номер один, пли! К Берку! К Берку! Итак, прошли они пять парсангов. Конная пехота Слэттери. Где этот гнусный офигер? Стиви-пастор, толкни-ка нам Верую неверных! Не пойдет. Маллиган! Там, на корме! Полный вперед. Время поджимает. Скоро вышибать будут. Малли! Чего там с тобой? Ma mère m'a mariée [46]. Британские блаженства! Тррам тарарам парапапам. Хехейсу в книжицу. Выпущена в издательстве Дрын Друида. Переплетена двумя девами-перелетчицами. Обложка телячьей кожи цвета мочи с прозеленью. Моднейший тон в современной живописи. Прекраснейшая из книг Ирландии на моем веку. Silentium! [47]. Совершаем бросок. Миирна! Задание: продвигаемся до ближайшего кабака и захватываем склады горючего. Арш! Трюх трюх трюх, мы все (равняйсь!) за пивом. Бутылка, бифштекс, бизнес, библия, бульдоги, броненосцы, бардаки и богослужители. Иль взойдем на эшафот. Бифштекс с бутылкой перевесят библию. Если за Ирландию родную. Перевешаем перевесивших. Чертобразие! Держать строй! Мы умрем. Богослужитель насчет бутылки не промах. Стоп! Ложись в дрейф. Как в регби. Все в свалку. Игроков не пинать. Аай, моя лапка! Ах, вы задеты? Три короба извинений!

Вопрос такой. Кто нам ставит по? Гордый владелец шиша с маслом. Объявляю банкротство. Продулся в пух. Миа ниодина сольди. К концу недели ни медяка. А вам? Напиток наших отцов для Übermensch'а. То же самое. Пять пива «Басс номер первый». Вам, сэр? Имбирного безалкогольного. Держите меня, это чем извозчики лечатся. Масса калорий. Заводит свою тиктаку. Остановились навсегда в тот миг, когда старик. Абсент для меня, ферштей? Карамба! Лучше хлебни рассолу. Сколько натикало? Мои золотые в закладе. Без десяти. Дьявольски признателен. Право, не за что. А у него травма груди была, Дикс? Она самая. Пошел у сибе в садике подремать а тут ево шмель и тяпни. Фатера возле Скорбящей. В законном браке. А его законную знаешь? А то. В дверь с трудом. Глянуть бы на нее в безбелье. Товар люкс. Хороша миляга здорова как фляга. Это вот да, не ваши тощие. Ах, закрой занавески, мой милый. Два Ардилона. Сюда то же самое. Гляди, скользко. Загремишь — вставай, не валяйся. Пять, семь, девять. Готов! Не парни у ней пара буферов закачаешься. С ей бы под ручку к койке и к бочке рому. Не увидав не поверишь. Твой шалый взгляд и облевастровую шею я как завижу сразу так и млею. Грязища — увязнуть. Сэр, а сэр! Картошка, это от рифматизмы? Простите, конешно, ну только это есть чушь собачья. Для хой-полоев[48]. Питаю опасение, что вы полный лопух. Ну как, док? Вылез из своей Родляндии? Надеюсь, вашему толстомордию там окей? Как сквау с краснозадыми крохами? Какая-нибудь еще опросталась?

---

[43] Во имя богинь Партулы и Пертунды, сейчас надлежит нам вышить! *(лат.)*
[44] Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын *(лат.)*.
[45] Вперед, дети мои! *(франц.)*
[46] Моя мама замуж выдала меня *(франц.)*.
[47] Молчание! *(лат.)*
[48] Οἱ πολλοί — простонародье *(греч.)*.

Стой, стрелять буду. Пароль. Держи хрен вдоль. Нам смерти белизна и алое рожденье. Привет. Не плюй себе на жилет. Депеша от комедьянта. Умыта у Мередита. Ах он исусистый яйцедавленный клопозаеденный езуит! Тетушка меня кропает папане его. Клинка. Бяка Стивен сбил с пути паиньку Малахию.

Урря! Налетай на мяч, молодой-ранний. Бражку по кругу. Эй, горец-пивсборец, вот оно, твое ячменное пойло. Да смердит твоя печка две тыщи лет и не переводится похлебка на ней! Я ставлю. Мерси. Наше здоровье. Ты куда? Положение вне игры. Не лей на мои шикарные шкары. Которые там, перекиньте перцу. Держи. Нам ефта пряность повысит пьяность. Вдомек? Пронзительное молчание. Всяк молодчик к своей марушке. Венера Пандемос. Les petites femmes[49]. Отчаянная девчоночка из Моллингара. Шепни ей нащет нее интиресующа. Сару нежно обнял он. На дороге в Малахайд. Я? Пускай от нее что пленила меня осталось лишь имя одно. А ты хрена ли ждал за девять пенсов? Machree, macruiskeen[50]. Плясики на матрасике с охочей Молль. Гребля всем хором. Блеск!

За мздой, х'зяин? Как пить дать. Об заклад на твои колеса. Шары выкатил чо ему финаги не сыпем. Кумекаешь? Вон у тово бабок ad lib[51]. Токатока зырю маа у ево три червоных грит все ево. Нас кто всех свиснул ты или кто? И чешись паря. На кон капусту. Два рваных с круглым. Гли не слиняй шустрить поднатыкался у лягушатников. Мы тут сам сусам. Наса мальсика заглустила. Зырю под нас ушлая чернота подваливает. А ты жох парняга. И вот мы под хмельком. Так славно под хмельком. Орезервуар, мусью. Балшой писиба.

Пра-слово. Слышь чо талдычу? В пивнуху-потаюху. Там залейся. Ушвоил, шудырь. Бэнтам, два дня без капли. Он клялся пить одно бордо. Хряй к ляду! Гли сюда, ну. В бога, чтоб я подох. Надрался и накололся. До того бухой ни бумбум. И с ним темный хмырь хромой. Во, это ж надо так! А он оперу любит? Роза Кастилии. Рожа-костыль. Полиция! Подать H_2O, джентльмену дурно. Гли, а у Бэнтама цветочки. Братья родные, пошел драть глотку. The collen bawn. My colleen bawn. Эй ты, замри! Кто там, засуньте ему сапог в хлебало. Ставил на победителя, пока я ему не дал верняка. Дьявол бы оторвал башку Стивену Хэнду, он ведь меня навел на эту вшивую клячу. Словил огольца-разносчика, у того депеша со скачек боссу бассовой всей конюшни. В лапу медяк, вскрывает. Кобылка в лучшей форме. Всех уделает за глаза. А депеша параша. Вот те истинный крест. Уголовно наказуемо? Я так считаю, да. Думать нечего. Кутузка без разговору, если законники копанут. Мэдден ставил на Мэддена, после рвал и мэддал. О похотение, нам прибежище и сила наша. Отчаливаю. Чо, поспешаешь? К мамочке. Ах, постойте. Вы должны прикрыть мою краску стыда. Если он меня выследил, все погибло. Бэнтам, по домам, старина. Адье, мовье[52]. Не забывай свои лютики. Зазнайска. Ну кто тебя навел на того жеребчика. Между нами. Как на духу. И Старого Хрена, ея супруга. Ну расколись, Лео, друг ситный. На честность, а? Провалиться, если я кому. Ты же самый наш закадычный пузатый святой отец. Так какого ж ты рожна запираешься? Уу, пархатый, устроим тебе мацу. И во имя хрена господа нашего, аминь.

Вносишь предложение? Стиви, малыш, ну ты у нас клад. Есть тут еще чертово зелье? Не позволит ли наш благородственный великолепственный целовальник одному целомудреннику, сущему в крайней отощалости и эпохальной ультрафеноменальной охочести до сивухи, завершить одно роскошественное клевое возлияние? Фу, вспотел. Хозяин, дай вина скорей, стакан полней, стакан полней, Стабу Ста-

---

[49] Маленькие женщины *(франц.)*.
[50] Мое сердце, моя кружка *(ирл.)*.
[51] Сколько угодно *(лат.)*.
[52] Искаж. Adieux, mon vieux — прощай, старина *(франц.)*.

белла! Слышь, друг, нам по капле, на предмет дегустации. Повторить. Давай, Бонифаций! Абсент всей компании. Nos omnes biberimus virdum toxicum, diabolus capiat posteriora nostra [53]. Джентльмены, мы закрываем. Как? Амброзии для барина Блума. Ну-ка, кто может сказать превысокопревосходительство? Блу? Который рекламки клянчит? Папуля фотодевчонки, вот это номер. Трушище, трусим отсель. Смываемся. Bonsoir la compagnie[54]. И от козней врага злого, сифилиса. А куда ж это Бык со слюнтяйчиком? Слиняли? Совершили побег. Ладно, каждому своя дорога. Шах и мат. Король против ладьи. Добрыи Христиани памагити йунаши, укаторава друк атапрал ключат хижыны найти угал кде йэму прикланить свайу увеньчану голаву в 7 горади. Умора, никак я закосел. Порви мне шкары паршивый пес, когда это у нас не самая сверхлучшайшая развеселая распопойка. Итак, о трактирщик, парочку бисквитов для этого детки. В кровь и в душу, как, нету? И ни на зуб сырку? И низринь его сифилиса, во ад и вкупе с ним все разрешенные к продаже спиртные напитки. Время, джентльмены! Кои рыщут по свету. За всех присутствующих. À la vôtre ! [55]

Смехота, братцы, ктой-то этот выпердыш в макинтоше? Пыльный Руди. Из какой помойки он шмотье вытащил? Мать родная! А чем это он разжился? Юбилейный барашек. Ха, глянь-ка, Боврил. Ну сердяга дошел. Знакомы ль вам те рваные носки? Да никак, это который сидел в психушке в Ричмонде? Точно, он! Он думал, у него член свинцовый. Может симулировал. Мы его прозвали Бартл-Хлебоед. Прежде, о сэры, это был почтеннейший обыватель. Оборванец бедный жил, он сиротку полюбил. Но она от него сбежала. Перед вами несчастный покинутый. Макинтош, скитающийся в диких каньонах. Тяпнул и двигай. Прикрывают. Где легавые дело крант. Чего? Видал его сегодня на прогебении? Что, кореш какой дал дуба? Аяяй, воспомил! А малмала, горе-то! Ты не трави мине душу, Польди керс? Ужь мы исхлюпалися в слезах думали утопнем кады глим прут друга Падни в чорном мешке. Изо всей черноты Масса Пат была самая лутше. О да, я отроду не встречал подобных ему. Tiens, tiens [56], но все это грустно, дружище, грустно. Да не заливай, газанул на подъеме один к девяти. Авто на подвижных осях это лапша. Два против одного, Енаци ему утрет нос как младенцу. Япошки? Навесной огонь, inyah! [57] Потопили, в спецвыпусках было. Тем, грит, для него хуже, а не для русских. Время вышло. Их одиннадцать было. Двигайте, двигайте. Клячи косые, шевелись! Доброй. Доброй. Да сохранит твою душу Всевышний Аллах в эту ночь.

Постой-ка! Мы славно под хмельком. А ну скажи: полиция с палицей налицо. Налиция полицо. Остерегись, орлы, он тут блюет. Бунт в брюшной волости. Оппа. Доброй. Мона, моя верная любовь. Оп. Мона, ты одна моя любовь. Пам.

Слышите? Прикрой-ка свою коробочку. Бамм! Бамм! Огни. Вон она мчит. Пожарная! Поворачивай оглобли. Через Меррион-сквер. Срежем. Бамм! Понеслись? А вы не? Галопом, рванули, кто скорей. Баамм!

Линч! Ну? Швартуйся ко мне. Сюда в сторону Дензилл-лейн. Пересадка на Веселые Дома. Она сказала, мы вдвоем бардак хорошенький найдем, там есть оторва Мэри. Я чо, я за милую душу. Laetabuntur in cubilibus suis [58]. Где ты там? Шепни-ка мне, кто он, черт побери, этот чудак в черном? Тсс! Согрешил против света и близок сейчас уже день, когда он явится судить мир огнем. Бамм! Ut imple-

---

[53] Мы все будем пить зеленый яд, и дьявол допьет остатки за нами *(лат.)*.
[54] Добрый вечер компании *(франц.)*.
[55] За ваше! *(франц.)*.
[56] Что же, что же *(франц.)*.
[57] Верно! *(ирл.)*
[58] Да радуйся на ложах своих *(лат.)*.

rentur scripturae[59]. Выдай тот стишок, помнишь, И сказал тут медик Дик своему коллеге Дэви. В бога яйца, а это еще что за экскремент, этот англичанишка-проповедник на Меррион-холл? Илия грядет! Омытый в Крови Агнца. Приидите все твари винососущие, пивоналитые, джиножаждущие! Приидите псиноухающие, быковыйные, жуколобые, мухомозглые, свинорылые, лисьеглазые, шулера, балаболки и лишний хлам! Приидите, подлецы отборные из отборных! Это я, Александр Дж. Христос Дауи, что приволок ко спасению колоссальную часть нашей планеты от Сан-Франциско до Владивостока. Бог это вам не балаган, где насулят с три короба и покажут шиш. Я вам заявляю, что Бог это самый потрясающий бизнес и все по-честному. Он есть самая сверхвеличайшая хреновина, вбейте это себе покрепче. И как один прокричим: спасение во Царе Исусе. Рано тебе надо подняться, грешник, ох как рано, если думаешь обмишулить Всемогущего Бога. Баамм! Да куда уж там. Для тебя, дружище, припасена у него в заднем кармане штанов такая микстурка от кашля, которая живо подействует. Ты возьми только да попробуй.

[59] Дабы сбылись писания *(лат.)*.

(Продолжение следует)

Комментарии

XIV. Быки Гелиоса

Для понимания эпизода, пожалуй, особенно важно прояснить гомеровские параллели. После того, как Одиссей и его спутники покинули остров Цирцеи, благополучно миновали сирен и прошли между Сциллой и Харибдой, поздним вечером они высадились на острове бога Солнца Гелиоса Тринакрии (современной Сицилии). Цирцея и прорицатель Тиресий советовали Одиссею не причаливать к этому острову: на нем паслись стада священных быков Гелиоса, убийство которых считалось тягчайшим преступлением. Однако утомленные спутники Одиссея не вняли его уговорам, потому что не захотели проводить ночь в открытом море, но пообещали Одиссею, что не тронут быков. И все же, как только Одиссей заснул, его товарищи закололи быков, чем навлекли страшный гнев Зевса, который уже на следующее утро наслал на них бурю. Судно потерпело крушение, многие спутники Одиссея погибли, сам он с трудом спасся. Его возвращение домой снова отложилось на неопределенное время.

Тучные стада белоснежных быков Гелиоса — символ плодородия, жизненной силы, а их истребление, надругательство над ними для Джойса становится преступлением против «божественного дара жизни».

Время действия — 10 часов вечера. Место действия — родильный дом, где знакомая мистера Блума, миссис Пьюрфой, должна вот-вот разрешиться от бремени. В приемной больницы Блум встречается с группой студентов-медиков, Стивеном Дедалом, Хейнсом. Все они — кто серьезно, кто в игриво-скабрезной манере — обсуж-

Дом Оскара Уайльда в Дублине.

дают проблемы деторождения, смертности, контроля над рождаемостью. Пока они шутят и балагурят, ребенок успевает родиться, компания отправляется в питейное заведение Берка, чтобы отметить счастливое событие.

Для Блума, однако, самым важным, духовно волнующим событием становится встреча со Стивеном, который в его сознании почти полностью соотносится с его сыном Руди, умершим во младенчестве.

На протяжении всего разговора, часто разухабистого, а то и непристойного, Блум сохраняет величественность и серьезность, приличествующие его возрасту и той роли, которую ему отводит Джойс — роли «отца». Весьма усердствует в остроумии изрядно подвыпивший Стивен, который в конце эпизода отправляется со своим прия-

С «легкой руки» Джойса пародия и стилизация стали излюбленными жанрами в искусстве XX в., причем не только в литературе, но и в других видах искусства. Поскольку в «Быках Гелиоса» Джойс пародирует различные стили английской литературы, мы решили проиллюстрировать его намерение и зрительным рядом, представив весьма изобретательные карикатуры Уильяма Брэмхолла на различных писателей, и тем самым лишний раз показать, какой животворной оказалась пародийная стихия в творчестве автора «Улисса».

Джон Мильтон.

телем Линчем в дублинский квартал публичных домов.

С формально-языковой точки зрения эпизод отчетливо экспериментален. Пожалуй, в «Быках Гелиоса» читатель впервые окончательно убеждается в том, что Джойс, как он сам говорил, «мог делать со словом, языком все, что хотел». Трудно с уверенностью сказать, что лежит в основе стиля эпизода — пародийность или стилизация. Хотя первое впечатление в пользу пародийности, оно все же обманчиво. Различные «голоса» связаны со стилизацией под англосаксонские хроники, раннюю латинизированную английскую прозу, под манеру Беньяна, Карлейля, Диккенса и многих других писателей. При этом Джойс внимательно следил за хронологической последовательностью этих стилизаций: они должны были соответствовать медицинской схеме развития человеческого эмбриона, которая всегда лежала на его письменном столе.

В письме к Фрэнку Баджену Джойс в свойственной ему шутливо-серьезной манере сообщил: «Усердно работаю над „Быками Гелиоса". Идея — преступление против плодородия через стерилизацию акта зачатия. Техника — девятичастный эпизод, в котором нет внутренних делений... В этом эпизоде все, в первую очередь язык, связано с предыдущими эпизодами и с тем, что происходило раньше с героями в течение дня. Кроме того, сам естественный процесс развития эмбриона соотносится с идеей эволюции в целом... Блум — сперматозоид, больница — чрево... Стивен — эмбрион. Что Вы об этом скажете?»

Об этом высказалась Вирджиния Вулф, которая отнеслась к эксперименту в «Быках Гелиоса» с немалой настороженностью: «Достигая своей цели, Джойс мужественно отвергает все, что связано с традиционной событийностью повествования, его правдоподобием, связностью изложения — иными словами, со всем тем, что на протяжении поколений было принадлежностью прозы, что привычно будило воображение читателя».

Легко себе представить, какие сложные задачи стояли перед переводчиком. Развитие младенца, развитие как таковое — земли, человека и т. д. — должна была передать стихия русского языка. Поэтому нужно было найти соответствующие исторические и литературные аналоги в русской словесности. И все же в комментариях мы сочли разумным указать кого же хотел в том или ином случае «спародировать» или стилистически «сымитировать» Джойс.

Символический цвет эпизода — белый. Это цвет жизни по контрасту с черным цветом, цветом царства мертвых. Искусство — медицина Орган, как уже можно было понять,— утроба.

В заключение еще одна литературная подробность, связанная с нашей культурой. Именно из этого эпизода Анна Андреевна Ахматова взяла эпиграф для «Черепков», который у нее написан по-английски: «Он не оставит мать свою сиротою». Эти строки, как полагает Л. К. Чуковская (см «Горизонт», 1988, № 4, с. 56), «роднят поэму „Черепки" с поэмой „Реквием", которая тоже, как известно, почти целиком обращена к сыну». Иными словами, А. А. Ахматова

Дублинский родильный дом.

Ричард Стил.

Лоренс Стерн.

«выбрала» в эпиграфе едва ли не главную тему романа — тему сына.

Бернард Шоу, прочитав «Быков Гелиоса», был потрясен точностью изображения Джойсом особого типа — дублинского студента-медика и даже предложил создать общество «Любителей Быков Гелиоса». Сам же Джойс, закончив работу над эпизодом, както сказал: «Чтобы все это написать, мне понадобилось самому съесть целого быка».

На Полдень к Холлсу Грядем — видный специалист по творчеству Джойса Стюарт Гилберт полагает, что начальные строки эпизода — это три восклицания, выдержанные в манере арвальских братьев, двенадцати римских жрецов, главной обязанностью которых было проведение публичных торжеств в честь римской богини плодородия. Торжества сопровождались пением гимна, в котором через каждые пять строк повторялось слово «Ура». Холлс — улица на которой расположен дублинский родильный дом.

Хорхорн — фамилия главы родильного дома не случайно ассоциируется с английским словом horns (рога), что, в свою очередь, должно вызывать ассоциации со священными быками Гелиоса.

Гоп-ля мужичок гоп-ля! — возглас акушерки при появлении на свет ребенка мужского пола.

Всегда и повсюду того человека разумение... — здесь Джойс имитирует стиль римских историков Саллюстия (86—ок. 35 до н. э.) и Тацита (ок. 58— ок. 117).

Отроча еще не раждено рачителей рвение разожже — Джойс имитирует англосаксонский аллитерационный стиль, характерный для прозы Элфрика (ок. 955—1022).

...якс О'Хейр Целитель на небеси есть — вероятно речь идет о видном дублинском враче, который умер между февралем и июнем 1904 г.

Остров Мона — древнее название острова Англси, популярного в начале века морского курорта на северо-западе Уэльса.

Да воззрит убо всяк на конец грядущь... — стилизация под средневековое моралите.

И ergo тако беседоваста храмины двери отверзостася... — стилизация под «Странствия сэра Джона Мандевилла» (ок. 1336—1371), произведение, представляющее собой средневековую компиляцию фантастических путевок историй, видимо написанных в Льеже неким Джоном Бургундским или Джоном Бородачом. Перевод на английский с французского и латинского оригиналов датируется началом XV в.

Джозеф Диксон — врач, практиковавший в Дублине в 1904 г.

...сосуди иже соделаны по чародействам Бохмита... — Бохмит — искаженное «Магомет» Однако искусство изготовления стеклянных изделий дутьем пришло с Востока на Запад задолго до времен Магомета.

И ученик благороден наполни чару знатну... — стилизация под прозу Томаса Мэлори (ок. 1417—1471), автора куртуазно-авантюрного романа «Смерть Артура» (опубл. в 1485)

Алба Лонга — древний город, по преданию, основанный сыном Энея. Алба также ирландское название Шотландии.

...жене подобает жити, чаду же умрети — по доктрине римско-католической церкви, если во время родов возникал выбор между жизнью матери и ребенка, то предпочтение отдавалось матери

Святой Ултан Арбракканский (ум. в 656?) — ирландский миссионер в Нидерландах По некоторым преданиям — дядя весьма почитаемой в Ирландии святой Бригитты (ум. в 523?); покровитель больных детей и сирот

...песню про зверя единорога... — в некоторых средневековых преданиях говорится о том, что единорог, как и птица феникс, живет тысячу лет, затем исчезает в огне и вновь рождается из пепла. В средневековой символике единорог также знак Христа.

Святой Футиний (III в.) — первый лионский епископ К нему обращались, пытаясь излечиться от бесплодия

Лилит — о Лилит есть косвенное упоминание в Книге пророка Исаии (34, 14). В некоторых преданиях Лилит предстает как первая жена Адама, которая затем превра-

Александр Поп.

Хорас Уолпол.

тилась в демона, а ее место заняла Ева. По другим версиям, Лилит — соблазнительница Адама. Считается, что Лилит приносит вред новорожденным и беременным женщинам.

...чрез действие запада яко Виргилий рече... — Стивен повествует о мистическом зачатии через ветер, о чем рассказывается в «Георгиках», III, 271 — 277). О таком зачатии рассказано в легенде о Зефире, западном ветре, зачавшем Ахилла.

...чрез смрад цветка луннаго... — то есть в присутствии женщины, у которой месячные. Плиний Старший (23—79) в своей «Истории» приводит список всяческих бед, связанных с этим явлением. Правда, считалось, что женщина в это время может излечить другую от бесплодия.

...рыбаря печать емлет... на вся времена — печать рыбака или кольцо рыбака — намек на печать папы. Власть папы основана на словах Христа, сказанных Петру — ср. Евангелие от Матфея, 16, 18—19: «ты — Петр[1], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

О ту же пору млад Стивен... — здесь Джойс имитирует стиль елизаветинских хроник.

Викарий Христов — один из титулов папы.

Викарий Брэйский — в песне с таким названием рассказывается о священнослужителе, который менял свои убеждения в зависимости от политической обстановки в стране. Сравнение папы с этим викарием отражает отношение к папе Пию X (1835—1914), который всячески противодействовал освободительным движениям в Италии и находился в самых дружеских отношениях с властями.

...и испием его мед сие бо истинно есть не тела частица моего... — пародия на слова Иисуса во время Тайной Вечери (ср. Евангелие от Матфея, 26, 26—28).

[1] Камень (*евр.*).

...пустыни времени воздвизают дворцы вечности — из письма Уильяма Блейка его другу Уильяму Хейму от 6 мая 1800 г.

Желанья ветер ломает терн колючий — слова св. Бернара из Клерво (1090—1153). Этот образ также встречается в «Божественной комедии» Данте (см. «Рай», Песнь XIII).

Во чреве жены слово плоть бысть... — ср. Евангелие от Иоанна, 1, 1—5, 14.

Петр Пискатор — Пискатор — рыбак. В отрывке речь идет об отречении Петра, которое ему предсказал Христос во время Тайной Вечери (Евангелие от Матфея, 26, 34).

«Стабу Стабелла» — песня весьма непристойного содержания, принадлежащая перу Оливера Гогарти и распространявшаяся в Дублине в 1904 г. в списках.

Коротко сказать, помянутая дистракция достойную возымела резолюцию... — стилизация под латинизированную прозу, характерную для прозаиков конца XVII в. Джона Мильтона (1608—1674), Ричарда Хукера (1554—1600), Томаса Брауна (1605—1682), Джереми Тейлора (1613—1667).

Мария Экклская — имеется в виду церковь св. Девы Марии на Экклс-стрит.

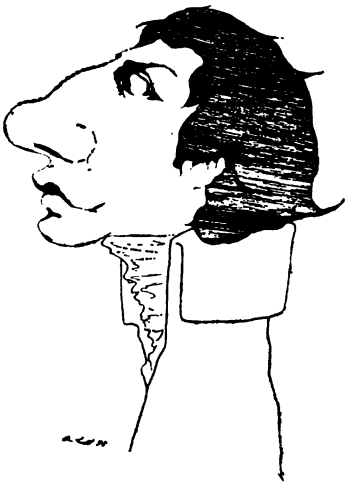
Иди же и совершай по сему — пародия на евангельский текст (ср. Евангелие от Луки, 10, 37).

Вспомяни, Эрин, твои колена и дни твои древнии — в этой фразе соединились цитаты из Томаса Мура («Вспомни, Эрин, славу свою») и песни Моисея («Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов...» — Второзаконие, 32, 7). Далее также следует парафраз библейских текстов, в частности Песни Песней Соломона, 6, 13.

Хорев, Нево, Фасги — три горы в древней Иудее. На горе Хорев (Синай) Моисей получил от Бога «закон и десять заповедей», гора Нево упоминается во Второзаконии (32, 48—52), а с горы Фасги Моисей увидел «землю обетованную» (Второзаконие, 34. 1).

Рога Хэттенские — горы на западном побережье Галилейского моря. По преданию, отсюда Моисей смотрел на землю обетованную.

Оливер Голдсмит.



Джон Китс.

Туллий — имеется в виду Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.).

...и Гамлету принцу отец его отнюдь не являет язвы иже от пламене чистилища — ср. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 5.

Тофет — букв.: «место сожжения»; находился к югу от Иерусалима; здесь в нарушение закона сжигались тела умерших, приносились человеческие жертвы Молоху (см Книга пророка Исаии, 30, 33).

...любуйтеся каков премудрость построила себе дом... — ср. Книга притчей Соломоновых, 9,1.

...хрустальный Творца дворец... — намек на хрустальный (на самом деле из железа и стекла) дворец, построенный для Всемирной Выставки 1851 г. в Гайд-парке. Дворец строился по проекту английских инженеров Джозефа Пэкстона (1801—1865) и Чарльза Фокса (1810—1874). Дворец сгорел в 1936 г. Имя Фокса увековечил Дэвид Броуг в пародии «Хрустальный дворец, что построил Фокс» (1851).

Громогласно ощую Тор громыхнул млатовержец...— в скандинавской мифологии Тор — бог грома и молнии.

Однако победися ли юного Бахвала...— у Джойса здесь имитация стиля Джона Беньяна (1628—1688), автора знаменитого аллегорического романа «Путь паломника» (1678—1684), в котором автор широко использует прием «говорящих» имен.

Сего-то и алкало то сборище, засевшее Чертог Материнства...— за Беньяном в истории английской литературы следуют мемуаристы XVII в., в частности Джон Эвелин (1620—1706) и Сэмюэл Пепис (1633—1703). Стиль их дневников имитирует здесь Джойс

...страшный ураган что разорил всю страну в прошлом феврале.. — в ночь на 27 февраля 1903 г ураган невиданной мощи обрушился на Британские острова. Разрушения в Дублине были весьма значительными

...от мистера Мура, литератора (прежде паписта)... — отношение Томаса Мура к религии было довольно непостоянным. Семья его по своим религиозным убеждениям была католической, он же перешел в протестантство, чем только подчеркнул свои проанглийские симпатии

Св. Свитин (ум. в 862) — английский теолог, капеллан короля Эгберта. День его памяти отмечают 15 июля.

...по пророчеству календаря Малахии... — Книга пророка Малахии завершает Ветхий Завет. Здесь приводятся слова из его пророчеств — ср Книга пророка Малахии, 4,1.

...мистер Рассел состряпал сего же толка прорицание с хиндустанского наречия...—намек на оккультные увлечения поэта Джорджа Рассела.

Тут поднялся в конце стола Ленехан... — стилизация под Дэниэла Дефо (1660—1731).

...коли свяжется с ирландским быком — стилизация под «Сказку бочки» (1704) Джонатана Свифта (1667—1745), в которой Петр, аллегорически представляющий римскую католическую церковь, рассуждает, в частности, о «папских быках». В оригинале игра слов: bull (англ.) — бык; папская булла.

Это наверняка тот бык... которого прислал на наш остров фермер Николай...— Николас Брейкспир, папа Адриан IV (папст. 1154—1159) — единственный папа английского происхождения. Он «доверил» королю Генриху II (прав. 1154—1189) правление Ирландией, которая, по уверению монарха, находилась в состоянии «крайнего падения нравов». Во время правления Генриха II началось завоевание Ирландии. Упоминаемое в отрывке «изумрудное кольцо» — кольцо, которое пожаловал папа Адриан Генриху II в знак его владычества над Ирландией.

...фермер Николай... препоручив операцию коллегии докторов—папа Николай II (папст. 1059—1061) бдительно следил за нравственностью священников, издал ряд булл, запрещающих «вступление священнослужителя в любовную связь».

Гарри-нечистый — речь идет о политическом преемнике короля Генриха II Генрихе VII (прав. 1485—1509), который продолжил завоевание Ирландии. При нем был принят также ряд законов, которые отрицательно сказались на развитии ирландского сельского хозяйства.

...Гарри-нечистый посылал фермера Николая ко всем чертям... — после Генриха VII на престол вступил Генрих VIII (прав. 1509—1547), который получил скандальную известность в Европе из-за своего бракоразводного процесса, весьма осложнившего его отношения с Римом. «Фермер Николай» здесь обозначает римско-католическую церковь вообще.

Бардак с семью шлюхами — так протестанты нередко называют римскую католическую церковь, ссылаясь на слова в Откровении св. Иоанна Богослова (17, 1, 5.): «И пришел один из семи Ангелов... и... сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих... И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».

...окунает свою башку в коровью поилку... — намек на связь Генриха VIII с Анной Болейн (ок. 1507—1536), ирландкой по происхождению, которая позже стала его женой.

...объявляет им новое свое имя — Генрих VIII прибавил к своему титулу слова «Защитник веры».

Не успели студенты закончить описанной выше апологии... — стилизация эссе Джозефа Аддисона (1672—1719) и Ричарда Стила (1672—1729), печатавшихся на страницах журналов «Болтун» и «Зритель».

Сэр Франт Вертопрах и сэр Мямли Рохли — персонажи, постоянно фигурировавшие в эссе Стила в журнале «Болтун».

Ричард Толбот де Малахайд (1846—?) — отставной военный офицер, землевладелец, оказавший твердое сопротивление земельным реформам, которые Англия навязывала Ирландии. В 1878 г. продал семейное владение остров Лэмби.

Итак, посреди всеобщего праздного веселья... — здесь Джойс воспроизводит стиль Оливера Голдсмита (1728—1774) — драматурга, эссеиста, романиста, ирландца по происхождению.

Но вернемся к мистеру Блуму... — для стиля ирландского философа Эдмунда Берка (1729—1797) характерно наукообразие, постоянное обращение к «мудрости предков», что воспроизводит в своей стилизации Джойс.

...казался ему неким корноухим отродьем, уродливо сгорбленным.. — намек на Глостера-горбуна из «Генриха VI» Шекспира.

Свои раздумья, сообразные событию... — здесь воспроизводится стиль еще одного ирландца, вписавшего значительную страницу в историю английской литературы, Ричарда Бринсли Шеридана (1751—1816), не только знаменитого драматурга, но и видного политического памфлетиста.

Матрона эфесская — так называли женщину, недолго скорбевшую после похорон мужа. Самый известный рассказ о матроне эфесской можно найти в «Сатириконе» Петрония.

...истый пеликан в своей добродетели... — в средневековом бестиарии пеликан — символ Христа.

Египтянка Агарь — в Книге Бытия рассказывается о том, что жена Авраама Сара была бесплодной. Сара умолила Авраама, чтобы он «вошел» к ее служанке египтянке Агари. Агарь зачала и после этого стала презирать свою хозяйку, за что и подверглась гонениям.

Бальзам из Галаада упоминается в Книге пророка Иеремии (8, 22). Этот бальзам считался особенно ценным.

С великою осмотрительностью... — стилизация под исторические трактаты Эдварда Гиббона (1737 — 1794), для которого характерны многословные философские рассуждения.

Гриссел Стивенс (1653 — 1746) — сестра известного дублинского врача Ричарда Стивенса. По завещанию Стивенса его сестра должна была пожертвовать все оставшееся от него состояние на строительство больницы в Дублине. Гриссел Стивенс не отличалась миловидностью, поэтому скрывала свое лицо под вуалью.

Легенда о Минотавре рассказывается в восьмой книге «Метаморфоз» Овидия. Минотавр появился на свет от союза Пасифаи, жены царя Мидаса, с быком, посланным на Крит Посейдоном. Минотавр был помещен в подземный лабиринт, построенный Дедалом, куда ему ежегодно приводили на съедение семь юношей и столько же девушек.

Однако повесть Малахии начала уже наполнять трепетом их сердца — здесь Джойс создает стилизацию под «готический роман тайн и ужасов» Хораса Уолпола (1717 — 1797) «Замок Отранто» (1765).

Возмездие Мананауна — Мананаун Мак-Лир — бог моря в ирландской мифологии. Он мстит своим врагам, насылая на них морских великанов-форморианов.

Каков имеет возраст душа человеческая? — стилизация под эссе Чарльза Лэма (1775 — 1834), для которых характерны ностальгические мотивы и элегичность тона.

Голоса сливаются и растворяются в туманном безмолвии... — здесь Джойс стилизует свою прозу под «Курильщика опиума» (1822) английского романтика Томаса Де Куинси (1785 — 1859).

Тут Фрэнсис напомнил Стивену о том, как они вместе учились... — в этом отрывке проза стилизуется под эссе Уолтера Лендора (1775 — 1864), для которого весьма характерна разговорная, диалогическая форма подачи материала.

Главкон — честный, прямой герой в «Республике» Платона. Некоторые историки начала XX в. считали, что под именем этого персонажа Платон изобразил своего брата.

Алкивиад (ок. 450 — 404 до н. э.) — афинский политический деятель, полководец, друг и ученик Сократа. Алкивиад отличался весьма капризным и даже вздорным нравом, но при этом все современники отмечали его недюжинные дарования. Алкивиад — герой одного из «Воображаемых разговоров» Лендора.

Писистрат (ок. 600 — 527 до н. э.) — афинский тиран, захватил власть в 560 г. до н. э. Народ дважды свергал его, но он дважды возвращался на трон. Он также один из персонажей в «Воображаемых разговорах» Лендора.

Хлоя, Гликера — традиционные пасторальные красавицы в греческой мифологии.

Данный абзац, не отсылаясь к конкретному прообразу в английской прозе, дает нарочитый образчик «антипрозы», тяжелого

запутанного письма с разнообразными стилистическими ошибками, что и пытается передать переводчик.

Дальнейшие дебаты своим содержанием и развитием как бы изобразили в миниатюре течение самой жизни — Джойс воспроизводит энергичный стиль английского эссеиста и историка Томаса Маколея (1800 — 1859), который, будучи крупным научным авторитетом, весьма вольно обращался с фактами

Мэйлахи Роланд Сент-Джон Маллиган — Джойс лишний раз напоминает читателю, что прототипом Мэйлахи Маллигана послужил Оливер Сент-Джон Гогарти

Лафайетт — имеется в виду Джеймс Лафайетт, который был не рисовальщиком, а фотографом, снимавшим по преимуществу королевскую семью

Целесообразно указать здесь же...— стилизация под научные трактаты натуралиста Томаса Генри Гексли (1825 — 1895) Поэтому стилизация Джойса пестрит именами врачей, биологов, акушеров и т. д.

Тем временем искусство и терпение вра ча...— стилизация под автобиографический роман Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1849 — 1850), одну из любимых книг Джойса.

Существуют грехи...— стилизация под труды Джона Генри Ньюмена (1801 — 1890), который получил известность, в частности, в церковных кругах из-за своего обращения из протестантизма в католицизм.

Незнакомец все еще наблюдал, как на том лице, которое он видел перед собой...— стилизация под эссе Уолтера Пейтера (1839 — 1894). Здесь, в частности, Джойс имитирует стиль его знаменитого эссе «Ребенок в доме».

Из хором Хорна хором дернули все дерябнуть...— последняя, двадцать пятая стилизация, основанная на жаргонных, диалектных словечках, должна, по замыслу Джойса, приблизить читающего к кульминационному моменту — полному созреванию эмбриона в утробе матери и рождению. На заключительных страницах эпизода читатель попадает в стихию «разгулявшегося», раскрепостившегося слова. Поэтому здесь много пародий на популярные песенки, часто употребляются жаргонизмы и неологизмы. Стиль становится рваным, резким, нервным, толчкообразным. Джойс широко пользуется своим излюбленным приемом — аллитерационным нанизыванием слов, дерзко соединяет разноязычные корни.

Е. ГЕНИЕВА

■

Андреас Жадковски. Муки творчества. 1985.

Переводчик сердечно благодарит Алексея Алексеевича Гиппиуса и Виктора Марковича Живова, нисшедших с профессиональных высот выправить его школьные ошибки в старославянском.

Антирубрика

ВУДИ АЛЛЕН

■

Перевод с английского и предисловие
АЛЕКСАНДРА СМОЛЯНСКОГО

Вуди Аллена в Америке знает практически каждый, и это не преувеличение, а скорее наоборот. Для американцев «Помнишь, у Вуди Аллена...» — эквивалент нашего: «Помнишь, у Жванецкого...» В самом деле, шутки Вуди Аллена постоянно на слуху, имя — на устах, лицо — на экранах. Упомяните это имя — и в ответ непременно смех и восторженное «О, Вудиаллен!» — по фамилии его не называют, имя приклеилось к ней накрепко! Кстати, об имени. После того, как я битых два часа обзванивал в Нью-Йорке различные издательства, безуспешно охотясь за его «засекреченным» номером телефона, трудно было отделаться от подозрения, что «Вуди Аллен» — имя не собственное, а нарицательное (отчасти так оно и есть: его собственное имя — Аллен Стюарт Конигсберг, именно этот человек родился в 1935 году в одном из районов Нью-Йорка — Бруклине). Что ж, популярности Вуди Аллена удивляться не приходится, ведь он автор пятнадцати фильмов (сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, а подчас и композитор), трех сборников рассказов и нескольких нашумевших пьес. Удивительно, скорее, то, что в конце концов в одном из издательств нашлась-таки сердобольная сотрудница, которая сообщила мне телефон литературного агента Вуди Аллена, который сообщил телефон секретарши Вуди Аллена, которая сообщила телефон самого Вуди Аллена, на котором, к счастью, цепочка замыкалась. Звоню. Представляюсь. (Откуда? Из России?! О, меня и там знают? — Пока не очень, но...) Предлагает встретиться в знаменитом клубе, где он по понедельникам... играет на кларнете (клуб главным образом этим и знаменит). Беседуя после концерта, с удивлением обнаруживаю, что человек он, оказывается, весьма серьезный, улыбается редко, интересуется перестройкой. Ему близка русская литература: Аллен — автор фильма «Любовь и смерть» (1975), бурлескной фантазии на темы произведений Льва Толстого, а один из рассказов он даже снабдил откровенным подзаголовком: «Написано в самолете после чтения Достоевского и журнала для желающих похудеть». Прощаясь, Аллен просит передать наилучшие пожелания читателям «Иностранной литературы», что я охотно и делаю.

Стихия Вуди Аллена — интеллектуальная пародия. Подобно герою своего фильма «Зелиг» (1983) — человеку-хамелеону, который столь истово подстраивается под обстоятельства, что становится внешне неотличим от очередного собеседника,— Аллен превращается в собственных пародиях то в зануду литературоведа, то в дотошного историографа психоанализа, то в недалекого и хвастливого мемуариста. Бурлескно-пародийный характер пьесы «Смерть» не столь очевиден, однако, приглядевшись, мы замечаем, что автор издевается здесь над приемами драмы абсурда: уже вторая сцена заставляет вспомнить «В ожидании Годо» С. Беккета, а реплика о «лысых медсестрах» — пьесу Ионеско «Лысая певица». Более того, нелепость действия в целом даже усиливается из-за «логичности» каждой отдельной сцены. Объектом алленов-

ского сарказма становится и экзистенциалистская драма: персонажи «Смерти» демонстративно разобщены, Клайнман, главный герой, «бредет в потемках к собственной смерти», и вопросы, которые его мучают, последние как в прямом, так и в переносном смыслах. У смерти оказывается лицо ее жертвы, и это, возможно, подчеркнутая буквальная парафраза известной формулы Сартра: «Ад — это мы сами». Так же буквально обыгрываются трагедия «маленького человека» (этимология фамилии главного героя) или поиски несуществующего (или непостижимого) смысла жизни — в истории с несуществующим (или непостижимым) планом. Кстати, этот план повествования — откровенная пародия на «Замок» Кафки (а сцена «суда» вызывает в памяти другой его роман — «Процесс»).

Хотя большинство произведений Аллена пародийно, но в рамках обычной жанровой пародии ему, как правило, тесно: подлинный объект его сарказма — штампы массового сознания, основная тема — «образованный обыватель, барахтающийся в культурном море». Кажется, чем влиятельнее та или иная интеллектуальная мода, тем крепче ей достается: тут и увлечение восточной философией, и ажиотаж вокруг паранормальных явлений, и, разумеется, психоанализ.

Вуди Аллен утверждает (всерьез ли?), что в юности слушал только эстрадную музыку, книг не читал, в музеях не бывал, а в театр впервые попал в восемнадцатилетнем возрасте. Не потому ли в его «околокультурной» буффонаде можно заметить и оттенок самоиронии: мол, мы университетов не кончали,— и язвительную усмешку: однако и мы не лыком шиты. Между прочим, что касается университетов, так оно и есть: Аллена выгнали из обоих, где он пытался учиться. Может быть, именно благодаря этому обстоятельству Америка приобрела одного из своих самых интеллектуальных юмористов. (Например, в пьесе «Смерть» есть забавный «философский» эпизод, когда интуитивно-чувственный способ познания проститутки Джины — и в самом деле познающей мир весьма чувственным образом — сталкивается с логикой доморощенного солипсиста Клайнмана.) Впрочем, «занимательная культурология» Вуди Аллена не производит впечатления литературы для избранных. Он словно лукаво жалуется читателю: «Глядите, ребята, начитался, вот, книжек, а в них чего только не напридумают...» Недаром его профессор Гельмгольц утверждает: «Вся литература — не больше чем примечание к «Фаусту». Впрочем, черт его знает, что это значит».

Бедный «Фауст», кто и с чем его только не сравнивал!

Трагикомические персонажи Аллена отчасти напоминают героев Чарли Чаплина. Подобно Чаплину, надевшему маску бродяги Чарли, Вуди Аллен в своих фильмах и рассказах, написанных, как правило, от первого лица, предстает перед нами в образе «Вуди Аллена» — неудачливого еврея, нелепого, смешного и вызывающего сочувствие. Этот «шлёмиль» — так в еврейском обиходе называют подобных людей — ведет свою родословную от героев Шолом-Алейхема и И. Перетца, и, конечно, к давней национальной традиции восходит та непринужденность, с которой Аллен переходит от грустной улыбки к простодушному смеху, от легкой самоиронии к гротеску и клоунаде.

Вуди Аллен (без кавычек!) утверждает, что начиная сочинять рассказ или снимать фильм, сразу замечает забавную сторону в происходящем, даже если речь идет о чем-то довольно мрачном. Весь мир, по его словам, видится ему сквозь комическую призму, и потому можно с полным правом утверждать, что его творчество в целом не больше чем ироническое примечание к собственной картине мира. Впрочем, черт его знает, что это значит.

Квитанции Меттерлинга

Наконец-то издательство «Жюлик и сыновья» выпустило в свет первый том собрания прачечных квитанций Меттерлинга («Ханс Меттерлинг. Собрание прачечных квитанций». Том I; 437 стр.; XXXII стр. предисловия; 18 долларов 75 центов), включающий в себя научный комментарий Гюнтера Айзенбуда, известного исследователя творчества Меттерлинга. Можно только приветствовать разумное решение опубликовать первый том, не дожидаясь окончания работы над всеми четырьмя томами этого фундаментального издания. Появление блестящего, безупречного в научном отношении труда положит конец досужим обвинениям, будто бы издательство «Жюлик и сыновья», неплохо заработав на публикации пьесы Меттерлинга, его романов, записных книжек, дневников и писем,

решило и впредь идти по проторенной дорожке. Как же ошибались злопыхатели!

Уже самая первая квитанция:

трусы	. . . . .	6
майки	. . . . .	4
носки голубые	. . . . .	6
сорочки голубые	. . . . .	4
сорочки белые	. . . . .	2
не крахмалить!		

представляет собой замечательное по глубине введение в творчество мятежного гения, которого современники называли «Пражский чудила». Черновики первой квитанции создавались в период работы над «Исповедью сырной головы», сочинением ошеломляющей философской мощи, в котором автор не только доказывает ошибочность взглядов Канта на Вселенную, но и отмечает, что за свой труд не сумел получить ни гроша. Отвращение к крахмалу весьма характерно для рассматриваемого периода жизни Меттерлинга. Обнаружив, что белье, указанное в квитанции № 1, было все же туго накрахмалено, мэтр впал в глубокую депрессию. Его квартирная хозяйка, фрау Вайзер, сообщала друзьям: «Герр Меттерлинг уже несколько дней не выходит из комнаты и рыдает над рубашками, которые накрахмалили вопреки его воле». Как известно, Брёйер [1] уже указывал на связь накрахмаленного нижнего белья с постоянно мучившим Меттерлинга подозрением, будто некие личности с двойным подбородком распускают о нем злонамеренные слухи (см. «Меттерлинг: параноидально-депрессивный психоз и ранние квитанции». Изд. «Цейс пресс»). Тема нарушенных указаний прослеживается в единственной пьесе Меттерлинга «Удушье», герой которой Нидлман по ошибке прихватил с собой в Валгаллу заговоренный теннисный мяч.

Самая большая загадка квитанции № 2:

трусы	. . . . .	2
майки	. . . . .	5
носки черные	. . . . .	7 пар
рубашки голубые	. . . . .	6
платки носовые	. . . . .	6
не крахмалить!		

— появление черных носков, ведь пристрастие мэтра к голубым тонам общеизвестно. На протяжении многих лет одно только упоминание любого другого цвета приводило Меттерлинга в бешенство, однажды он даже избил Рильке, когда тот обмолвился, что любит кареглазых женщин. Анна Фрейд [2] считает (см.: Носки Меттерлинга как символ фаллической матери. «Успехи психоанализа», ноябрь, 1935), что неожиданный переход к темным носкам связан с переживаниями по поводу знаменитого «Происшествия в Байройте» [3]. Как известно, во время первого акта «Тристана и Изольды» Меттерлинг чихнул, да так, что с одного мецената слетел парик. Слушатели были возмущены до глубины души, но сам Вагнер стал на защиту Меттерлинга и произнес слова, ставшие классическими: «Каждый может чихнуть». Козима Вагнер, однако, разрыдалась, заявив, что Меттерлингу чихать на триумф ее мужа.

Меттерлинг несомненно имел виды на Козиму Вагнер. Сохранились сведения, что он дважды брал ее за руку: в Лейпциге и спустя четыре года — в Рурской долине. В Данциге во время грозы он набрался храбрости и пробормотал что-то невразумительное по поводу

---

[1] Йозеф Брёйер (1842 — 1925) — австрийский врач и психолог, работы которого послужили основой для созданной впоследствии теории психоанализа.

[2] Анна Фрейд (1895—1982) — австро-английский психоаналитик, младшая дочь З. Фрейда.

[3] Байройт — город в Баварии, где с 1876 года проводятся традиционные вагнеровские фестивали.

берцовой кости фрау Вагнер, после чего та настояла на окончательном разрыве. Меттерлинг вернулся домой совершенно обессиленный и тотчас сочинил «Размышления цыпленка», посвятив рукопись Вагнерам. Узнав, что Вагнеры подложили рукопись под ножку шаткого стола, мэтр впал в меланхолию и переключился на черные носки. Хозяйка умоляла его вернуться к голубым, столь любимым им когда-то, или, по крайней мере, к коричневым, но Меттерлинг грубо оборвал ее: «Стерва! Может, еще в клеточку предложишь!»

В квитанции № 3:

платки носовые	6	
майки	5	
носки	8	пар
простыни	3	
наволочки	2	

впервые упоминается постельное белье. Не секрет, что Меттерлинг был к нему весьма неравнодушен, особенно к наволочкам, которые они с сестрой в детстве натягивали на голову, изображая привидения (пока в один прекрасный день будущий писатель не свалился в каменоломню). Меттерлинг любил спать на свежем белье. Этой страстью он наделил и своих героев. В «Селедочном филе», например, слесарь-импотент Хорст Вассерман совершает убийство из-за пары чистых простыней, а в «Пальце пастыря» Дженни уступает домогательствам Клинемана (которого ненавидит за то, что он вымазал маслом ее мать), поскольку «он обещал постелить свежие простыни». Конечно, постоянная неудовлетворенность работой прачечной окрашивала жизнь писателя в трагические тона, но было бы абсурдом утверждать вслед за Пфальцем, что именно это помешало ему завершить «Камо грядеши, кретин?». Да, Меттерлинг любил отдавать белье в стирку, но рабом простыней он не был!

Книга стихов, задуманная писателем еще в юности, так и осталась незаконченной из-за неудавшегося романа, следы которого находим в квитанции № 4, «Знаменитой четвертой»:

трусы	7
платки носовые	6
майки	6
носки черные	7
не крахмалить!	

В 1884 году Меттерлинг познакомился с Лу Андреас-Саломе [1], и вот мы узнаем, что теперь ему ежедневно требуется свежее белье. Познакомил их Ницше, который сказал Лу, что Меттерлинг либо гений, либо полный идиот — ей следовало проверить оба предположения и выбрать верное. В те годы срочная стирка сделалась очень популярной в Европе, особенно среди интеллектуалов, и Меттерлинг горячо приветствовал это новшество. Его радовало, что заказ выполняется немедленно — медлить он не любил. На званые обеды мэтр являлся заблаговременно, иногда несколькими днями раньше, так что хозяевам приходилось размещать его в комнате для гостей. Лу тоже обожала ежедневно получать из стирки свежее белье. Она радовалась, как ребенок, и частенько приглашала Меттерлинга прогуляться по лесу, где они вместе разворачивали только что доставленный сверток. Она души не чаяла в майках Меттерлинга и в его носовых платках, но больше всего ее восхищали трусы. В письме к Ницше Лу признавалась, что ничего (даже «Заратустра») не производило на нее такого впечатления. Ницше стоически перенес это признание, однако продолжал ревновать ее к белью Меттерлинга, которое, по словам друзей, считал «в высшей степени гегельянским». Лу Саломе

[1] Лу Андреас-Саломе (1861—1937) — немецкая писательница, дружившая с Рильке, Фрейдом и Ницше.

и Меттерлинг расстались после опустошительного «Паточного голода» 1886 года. Впоследствии мэтр простил Лу, но та не переставала твердить, что «в голове у него шариков не больше, чем полушарий».

Квитанция № 5:

майки	6
трусы	6
платки носовые	6

всегда озадачивала исследователей полным отсутствием носков. (Много лет спустя загадочная квитанция так захватила воображение Томаса Манна, что он посвятил ей целую пьесу — «Белье Моисея». К несчастью, Манн обронил рукопись в канализационный люк.) Почему же из квитанций титана духа внезапно пропали носки? Нет, неправы те, кто считал это первым признаком приближавшегося безумия, хотя общеизвестно, что именно в указанные годы в поведении Меттерлинга начинают наблюдаться некоторые странности. К примеру, ему никак не удавалось понять: то ли за ним следят, то ли он сам постоянно выслеживает кого-то. Близким друзьям Меттерлинг сообщал, что правительство хочет украсть у него подбородок. Однажды, когда мэтр проводил отпуск в Йене, «баклажан» было единственным словом, которое ему удавалось произнести на протяжении четырех дней. Однако подобные приступы были нечасты и ни в коей мере не могут объяснить исчезновения носков, впрочем, как и гипотеза, будто он в этом подражал Кафке (испытывая комплекс вины, тот на время вовсе отказался от носков). Нет, утверждает Айзенбуд, конечно же, Меттерлинг продолжал носить носки, просто он перестал отдавать их в стирку. Почему же? А потому, что как раз в то время в его жизнь входит новая домработница — фрау Мильнер. Она согласилась стирать носки вручную, и Меттерлинг был так тронут, что решил завещать ей все свои богатства: и черную шляпу, и остатки табака. Фрау Мильнер явилась прототипом Хильды в аллегорической комедии «Ихор мамаши Брандт» [1]. Очевидно, что к 1894 году сознание Меттерлинга начинает раздваиваться. Это единственный вывод, который можно сделать на основе анализа квитанции № 6:

платки носовые	25
майки	1
трусы	5
носков	1

Неудивительно, что Меттерлинг становится пациентом Фрейда. Познакомились они задолго до того — в Вене, на спектакле «Эдип» (после которого Фрейда вынесли в холодном поту). Если верить записям Фрейда, где поведение Меттерлинга названо агрессивным, то можно предположить, что сеансы проходили довольно бурно. Меттерлинг все время твердил, что Фрейд похож на помощника его прачки, а однажды даже грозился вырвать у профессора бороду. Постепенно выяснились подробности болезненных взаимоотношений Меттерлинга с отцом. (Исследователям уже знакома эта личность: мелкий чиновник, постоянно унижавший сына, сравнивая его с «колбасиной»). Ключом к подсознанию Меттерлинга послужил сон, который в записи Фрейда выглядел так:

> Я присутствую на званом обеде в доме друзей. Неожиданно появляется человек с переполненной супницей на поводке. Он обвиняет мое нижнее белье в предательстве. Некая леди встает на мою защиту, но у нее вдруг отваливается лоб. Во сне это кажется смешным, и я начинаю хохотать. Вскоре уже смеются все гости, кроме помощника моей прачки, который сосредоточенно набивает уши овсяной кашей. Входит отец. Он хватает

[1] Ихор — в древнегреческой мифологии жидкость, заменявшая кровь в жилах богов.

отвалившийся лоб и убегает. Выскочив на ратушную площадь, отец вопит: «Ура! Наконец-то у меня есть собственный лоб! Я больше не завишу от своего сына-идиота». Хотя это и сон, но все равно ужасно обидно, и меня охватывает желание расцеловать белье бургомистра. (Тут пациент начинает рыдать и не в силах больше ничего вспомнить.)

Проанализировав сон, Фрейд сумел помочь Меттерлингу. Теперь во всем, что не касалось лечения, их связывали дружеские отношения (тем не менее, Фрейд не позволял Меттерлингу стоять у себя за спиной).

Во втором томе Айзенбуд рассмотрит квитанции № 7—25, относящиеся к периоду «домашней стирки» и ко времени исторического конфликта с соседней китайской прачечной.

Беседы с Гельмгольцем

Предлагаемые читателю записи разговоров с Гельмгольцем взяты из книги «Беседы с Гельмгольцем», которая вскоре выйдет в свет.

Доктору Гельмгольцу сейчас почти девяносто. Современник Фрейда, пионер психоанализа и основатель направления в психологии, которое носит его имя, он прославился прежде всего исследованиями человеческого поведения: сумел доказать, что смерть является не врожденным, а благоприобретенным свойством организма.

Доктор живет в загородном доме неподалеку от Лозанны (Швейцария) вместе со слугой по имени Хрольф и датским догом по кличке Хрольф. Почти все время ученый отдает работе над рукописями. Сейчас он пересматривает автобиографию, пытаясь включить в нее себя. Приведенные «беседы» Гельмгольц вел на протяжении нескольких месяцев со своим учеником и последователем Трепетом Хоффнунгом, которого профессор, превозмогая отвращение, вынужден терпеть — ведь тот приносит ему нугу. Разговоры касались различных тем — от психопатологии и религии до того, почему Гельмгольц никак не может получить кредитную карточку. Учитель, как его называет Хоффнунг, предстает перед нами сердечным, отзывчивым человеком, готовым отказаться от всего, чего достиг, лишь бы избавиться от сыпи.

1 апреля. Я пришел к Гельмгольцу ровно в десять утра, и горничная сообщила, что доктор в своем кабинете размышляет над каким-то вопросом. Из-за сильного волнения мне послышалось «над просом». Оказалось, я не ослышался: Учитель и в самом деле задумался над просом. Зажав в руках зерно, он рассыпал его по столу маленькими кучками. На мой вопрос о том, что он делает, Гельмгольц ответил: «Ах, если бы побольше людей задумывались над просом». Эти слова меня несколько удивили, однако я не стал ничего выяснять. Гельмгольц откинулся в кожаном кресле, и я попросил его рассказать о заре психоанализа.

— Когда мы с Фрейдом познакомились, я уже работал над своей теорией. Фрейд как-то зашел в булочную, чтобы купить плюшки — по-немецки «шнекен»,— однако никак не мог заставить себя произнести такое слово. Как вы, наверное, знаете, Фрейд был для этого слишком застенчив. «Дайте, пожалуйста, вон те маленькие булочки»,— сказал он, указывая на прилавок. «Шнекен, герр профессор?» — спросил булочник. Фрейд мгновенно залился краской и выскочил на улицу, бормоча: «Нет, ничего... не беспокойтесь... я так». Для меня не составило большого труда купить булочки, и я преподнес их Фрейду в подарок. Мы стали близкими друзьями. С тех пор я замечаю, что некоторые люди стесняются произносить отдельные слова. А у вас есть такие слова?

И тут я вспомнил, как в одном ресторане не смог заказать «кальмидор» (так у них именовался помидор, фаршированный кальмаром). Гельмгольц назвал это слово на редкость идиотским и заявил, что выцарапал бы глаза тому, для кого оно звучит нормально.

Мы снова заговорили о Фрейде. Похоже, он занимал все мысли Гельмгольца, хотя они ненавидели друг друга с тех пор, как однажды повздорили из-за пучка петрушки.

— Я вспоминаю одну пациентку Фрейда — Эдну С. Истерический паралич носа. Друзья просили ее изобразить «зайчика», а она не могла и поэтому с трудом переносила их общество — они часто бывали жестоки. «Ну-ка, милочка, покажи, как ты делаешь зайчика». При этом шутники шевелили ноздрями и от души хохотали. Фрейд провел с ней несколько сеансов, но что-то не получилось: вместо психотерапевтического контакта с профессором у пациентки возникло влечение к высокой деревянной вешалке, стоявшей у него в кабинете. Фрейд был в панике, ведь в те времена к психоанализу еще относились скептически. А после того как девушка внезапно отправилась в морское путешествие, прихватив вешалку с собой, Фрейд поклялся навсегда оставить психоанализ. И действительно, некоторое время он вполне серьезно готовил себя к карьере акробата, пока Ференци [1] не убедил его в том, что он никогда не научится профессионально кувыркаться.

Тут я увидел, что Гельмгольца одолевает дремота. Он сполз с кресла под стол и заснул.

5 *апреля*. Застал Учителя играющим на скрипке. (Он прекрасный скрипач-любитель, хотя не разбирает нот и способен извлекать лишь один-единственный тон.) Доктор снова принялся вспоминать пионеров психоанализа.

— Каждый из них заискивал перед Фрейдом. Рэнк [2] ревновал его к Джоунзу[3], Джоунз — к Бриллу[4], а Брилла так бесило присутствие Адлера [5], что однажды он даже спрятал его шляпу. Как-то раз Фрейд нашел в кармане леденцы и угостил Юнга [6]. Рэнк был просто вне себя. Он пожаловался мне, что Фрейд явно покровительствует Юнгу. Особенно когда делит конфеты. Я холодно промолчал — мне было мало дела до переживаний Рэнка, который отозвался о моей статье «Эйфория у улиток» как о «классическом примере монголоидной аргументации». Через много лет, во время путешествия по Альпам, Рэнк снова завел разговор о своей обиде. Я напомнил ему, как глупо он себя вел, и Рэнк признался, что находился тогда в состоянии глубокой депрессии, неожиданно открыв для себя, что его имя «Отто» читается одинаково в обе стороны.

Гельмгольц оставил меня обедать. Мы уселись за большой дубовый стол. По словам Учителя, это был подарок Греты Гарбо, однако актриса утверждала, что слыхом не слыхивала о столе, равно как и о самом Гельмгольце. Меню было обычным: крупная изюминка, большие куски сала и, лично для Гельмгольца, баночка семги. После десерта доктор стал показывать свою коллекцию лакированных бабочек, но вскоре загрустил, вспомнив, что им уже не суждено летать. Потом мы перешли в гостиную и закурили сигары. (Гельмгольц забыл разжечь свою, но затягивался тем не менее так глубоко, что она становилась все короче и короче).

---

[1] Шандор Ференци (1873—1933) — австро-венгерский психиатр. Один из основоположников психоанализа.

[2] Отто Рэнк (1884—1939) — австрийский психоаналитик.

[3] Эмст Джоунз (1879—1958) — английский психоаналитик.

[4] Абрахам Арден Брилл (1874—1948) — австро-американский психоаналитик. Переводил труды Фрейда на английский.

[5] Альфред Адлер (1870—1937) — известный австрийский врач и психолог.

[6] Карл Густав Юнг (1875—1961) — известный швейцарский психолог и психиатр.

Учитель стал вспоминать самые известные случаи из своей практики.

— Вот, например, Иоахим Б. Больной, которому было уже за сорок, не мог входить в комнаты, где находилась скрипка. Хуже того, однажды он все-таки оказался в такой комнате и не решался оттуда выйти, пока его не попросил об этом сам барон Ротшильд. Плюс ко всему Иоахим Б. заикался. Но не когда говорил. Только когда писал. Скажем, хотел он написать «но», а выходило «н-н-н-н-но». Над несчастным постоянно издевались, однажды бедняга даже попытался покончить с собой, завернувшись в большую траурную повязку. Я излечил его гипнозом. Больной возвратился к нормальной жизни, однако через несколько лет стал постоянно натыкаться на лошадь, советовавшую ему заняться архитектурой.

Потом Гельмгольц вспомнил о знаменитом насильнике В., державшем в страхе весь Лондон.

— Крайне редкий случай перверсии. Навязчивые сексуальные фантазии. Больному казалось, что над ним издевается группа антропологов. Они якобы принуждали его ходить враскорячку, что, впрочем, доставляло В. острое сексуальное наслаждение. Пациент вспомнил, как, будучи еще совсем ребенком, он поразил экономку, женщину довольно свободных нравов, тем, что целовал салатный лист — тот представлялся ему сексуальным. В подростковом возрасте пациент покрыл лаком голову брата, за что был наказан отцом. Впрочем, отец — по профессии маляр — расстроился еще больше, узнав, что лак наложен в один слой.

Впервые В. набросился на женщину, когда ему было восемнадцать, и с тех пор на протяжении многих лет насиловал по полдюжины в неделю. Все, что я сумел, это вытеснить его агрессивные наклонности действиями, более приемлемыми для общества. Вместо того чтобы нападать на доверчивых женщин, больной теперь извлекал из кармана крупного палтуса и демонстрировал его дамам. По крайней мере, женщины были в безопасности, и хотя у некоторых это вызывало ужас, встречались и такие, которые считали, что данный эпизод весьма обогатил их духовно.

12 апреля. Сегодня Гельмгольц не вполне здоров. Накануне он заблудился на лугу и упал, поскользнувшись на груше. Однако прикованный к постели Учитель сразу сел и даже рассмеялся, когда я сказал, что у меня абсцесс.

Мы стали обсуждать теорию назло-психологии, которую доктор обосновал вскоре после кончины Фрейда. (По словам Эмста Джоунза, смерть последнего привела к окончательному разрыву между двумя знаменитыми психоаналитиками и впредь Гельмгольц с Фрейдом разговаривал довольно редко.)

В то время Гельмгольц разработал эксперимент со стаей мышей, которые по его сигналу сопровождали миссис Гельмгольц на улицу и там сами валили ее на обочину. Доктор проделал немало подобных экспериментов с животными и остановился лишь после того, как собака, приученная выделять слюну по команде, отказалась пускать его в дом во время праздников. Кстати, Гельмгольцу до сих пор приписывают авторство классической статьи «Немотивированное хихиканье у канадских оленей».

— Да, я основал школу назло-психологии. И надо сказать, совершенно случайно. Однажды, когда мы с женой уютно устроились в постели, мне внезапно захотелось пить. Вставать было лень, и я попросил миссис Гельмгольц принести воды. Она ответила, что устала, поскольку весь день собирала каштаны. Мы заспорили, кому идти за водой. Наконец, я сказал: «А мне и не хочется пить! Да-да, меньше всего на свете мне сейчас нужен стакан воды». Услышав

это, жена так и подскочила. «Как! Ты не хочешь пить? Это плохо. Очень плохо». И, мгновенно спрыгнув с кровати, она принесла воды. Как-то в Берлине, на пикнике, который устроил Фрейд, я попытался обсудить с ним этот случай, но профессор был так увлечен игрой в чехарду с Юнгом, что не обратил на меня никакого внимания.

Прошло много лет, прежде чем я научился применять этот метод при лечении депрессий и смог избавить известного оперного певца Д. от мучительного предчувствия, что он кончит свои дни в бельевой корзине.

18 апреля. Пришел к Гельмгольцу и застал его за стрижкой розовых кустов. Доктор бурно восхищался красотой цветов, любимых им за то, что они «не просят постоянно в долг».

Речь зашла о современном психоанализе. Гельмгольцу он представляется мифом, который живет лишь усилиями фирм, производящих медицинские кушетки.

— Не говорите мне о нынешних врачах! Надо же такие цены заламывать! Когда-то за пять марок вас лечил сам Фрейд. За десять он не только лечил, но и собственноручно гладил ваши брюки. А за пятнадцать позволял *вам* лечить *его* и вдобавок дарил любые два овоща на выбор. А теперь? Тридцать долларов в час! Пятьдесят долларов в час! Кайзер и тот брал лишь двенадцать с четвертью. И при этом сам ходил к пациентам. А продолжительность лечения? Два года! Пять лет! Да любой из нас, не сумев исцелить больного в шесть месяцев, пригласил бы его на концерт и предложил бы фруктовую вазу из красного дерева или набор стальных ножей для мяса. Вы сразу могли узнать пациентов, с которыми не справился Юнг,— они получали в качестве компенсации большие чучела гималайских енотов.

Мы шли по садовой аллее, и Гельмгольц обратился к более общим проблемам. Я стал свидетелем глубочайших обобщений, часть из которых успел записать. Вот они:

О жизни: Если бы человек стал бессмертным, вы представляете себе, какие бы у него были счета за мясо?

О религии: В загробную жизнь я не верю, хотя и держу наготове смену нижнего белья.

О литературе: Вся литература — не больше чем примечание к «Фаусту». Впрочем, черт его знает, что это значит.

Да, Гельмгольц — воистину великий человек...

Смерть

ПЬЕСА

Действующие лица

Клайнман
Хэнк
Ал
Сэм
Джон
Хэкер
Виктор
Анна
Доктор
Джина
Мужчина
Полицейский
Билл
Фрэнк
Дон
Генри
Помощник судьи
Спиро
Эйб
Маньяк

Занавес поднимается На сцене — спящий Клайнман. Два часа ночи. Громкие удары в дверь. С большим трудом Клайнман заставляет себя наконец встать с постели.

Клайнман. Кто там?

Голоса. Откройте! Эй, открывайте, мы знаем, что вы здесь! Откройте! Откройте, говорят!

К л а й н м а н. Что?! Что такое?
Г о л о с а. Да откройте вы!
К л а й н м а н. Что? Подождите! *(Включает свет.)* А кто там?
Г о л о с а. Сказано вам — откройте! Ну... открывайте же!
К л а й н м а н. Кто это?
Г о л о с а. Давайте, Клайнман, пошевеливайтесь.
К л а й н м а н. Хэкер... Голос Хэкера. Это вы, Хэкер?
Г о л о с а. Клайнман, откроете вы или нет!
К л а й н м а н. Иду, иду... Я же спал! Подождите, сейчас! *(С трудом ворочает заплетающимся языком. Смотрит на часы).* Боже мой, полтретьего... Иду! Подождите! *(Отпирает дверь, и в комнату вваливаются несколько человек.)*
Х э н к. Господи, Клайнман, вы что, оглохли?
К л а й н м а н. Я спал. Сейчас же полтретьего! А что случилось?
А л. Вы нам нужны. Одевайтесь!
К л а й н м а н. Что?!
С э м. И поскорее, Клайнман! У нас нет времени!
К л а й н м а н. Что все это значит?
А л. Пошли, пошли.
К л а й н м а н. Куда, Хэкер? Куда я должен идти посреди ночи?
Х э н к. Да проснитесь же вы!
К л а й н м а н. Что происходит?
Д ж о н. Не прикидывайтесь.
К л а й н м а н. Это я прикидываюсь? Я же спал, крепко спал. Что, по-вашему, я делал в полтретьего, танцевал, что ли?
Х э к е р. Нам нужны все мужчины.
К л а й н м а н. Для чего?
В и к т о р. Что с вами, Клайнман? Вы где витаете? Неужели вам не известно, что происходит?
К л а й н м а н. Я не понимаю... о чем речь?
А л. О патрулировании.
К л а й н м а н. О чем?
А л. О патрулировании.
Д ж о н. И теперь у нас есть план.
Х э к е р. Хорошо продуманный план.
С э м. Замечательный план.
К л а й н м а н. Послушайте, кто-нибудь объяснит мне все-таки, почему вы пришли сюда? Я уже замерз стоять в одних трусах.
Х э к е р. Могу сказать только, что нам нужны люди... Чем больше, тем лучше. А теперь одевайтесь.
В и к т о р *(с угрозой).* И поживее.
К л а й н м а н. Хорошо, я оденусь... Но позвольте все-таки узнать, что стряслось. *(Опасливо озираясь, натягивает первые попавшиеся брюки.)*
Д ж о н. Убийца обнаружен. Две женщины видели, как он входил в парк.
К л а й н м а н. Какой убийца?
В и к т о р. Клайнман, некогда болтать.
К л а й н м а н. Что значит болтать? Что еще за убийца? Вы врываетесь в дом... Я крепко сплю...
Х э к е р. Убийца Ричардсона, убийца Джемпела.
А л. Убийца Мэри Куилти.
С э м. Маньяк.
Х э н к. Душитель.
К л а й н м а н. Какой маньяк? Какой душитель?
Д ж о н. Тот самый, что убил сына Айслера и задушил Дженсена струной от рояля.
К л а й н м а н. Дженсена?.. Здоровенного ночного сторожа?
Д ж о н. Его самого. Убийца напал сзади. Осторожно подкрался и

накинул на шею струну. Дженсена нашли уже посиневшим. В уголке рта засохла слюна.
К л а й н м а н *(озирается вокруг).* Да-да... я все понимаю... но мне завтра на работу.
В и к т о р. Пойдемте, Клайнман. Нам надо схватить убийцу, пока он не нашел очередную жертву.
К л а й н м а н. Нам? Мне с вами?
Х э к е р. Да. Полиция, как выяснилось, с этим не справляется.
К л а й н м а н. Значит, надо писать жалобы. Я как встану, сразу же этим займусь.
Х э к е р. Клайнман, полицейские и так делают все что могут. Но они совершенно сбиты с толку.
С э м. Все сбиты с толку.
А л. Неужели вы ничего не слышали?
Д ж о н. Да кто в это поверит?
К л а й н м а н. Поймите, сейчас самая напряженная пора... У нас столько работы... *(Его простодушие впечатления не производит.)* Даже на обед не ходим, а я ведь люблю поесть. Хэкер подтвердит, что я люблю поесть.
Х э к е р. Но этот кошмар начался не вчера... Вы что, не следите за новостями?
К л а й н м а н. Просто не успеваю.
Х э к е р. Все в ужасе. По вечерам люди боятся выйти на улицу.
Д ж о н. Да что там на улицу! Сестры Саймон забыли запереть дверь и были убиты дома. Глотку перерезали — от уха до уха.
К л а й н м а н. Мне показалось, вы говорили, что он душитель.
Д ж о н. Клайнман, не будьте наивным.
К л а й н м а н. После всего что вы рассказали, придется сменить дверной замок.
Х э к е р. Ужас! Кто знает, когда он нападет в следующий раз?
К л а й н м а н. А когда все это началось? Странно, что я ничего не слышал.
Х э к е р. Сперва был один труп, затем другой, потом еще и еще. Все вокруг в панике, все, кроме вас.
К л а й н м а н. Не волнуйтесь, теперь и я в панике.
Х э к е р. Маньяков ловить трудно, ведь они убивают безо всякой причины. Не знаешь, за что зацепиться.
К л а й н м а н. Может, он сначала кого-нибудь ограбил, изнасиловал или, скажем, пощекотал?
В и к т о р. Нет. Душил — и всё.
К л а й н м а н. И Дженсена тоже... Он же такой сильный.
С э м. Был сильный, а теперь синий. Лежит с высунутым языком.
К л а й н м а н. Синий... Для сорокалетнего мужчины это не самый подходящий цвет... И что, никаких улик? Волоска там или отпечатков пальцев?
Х э к е р. Найден волос.
К л а й н м а н. Так что же? Сегодня большего и не требуется. Положите его под микроскоп. Раз, два, три — и все ясно. Какого он цвета?
Х э к е р. Как у вас.
К л а й н м а н. Да что вы на меня уставились! У меня в последнее время волосы не выпадают. Я... Послушайте, не сходите с ума... Главное, не отступать от логики.
Х э к е р. Ну-ну.
К л а й н м а н. Иногда жертвы выбираются по какому-нибудь признаку. Скажем только медсестры или только лысые... или, скажем, лысые медсестры.
Д ж о н. Ну, тогда подскажите нам, что общего между жертвами.
С э м. Да, что общего между сыном Айслера, Мэри Куилти, Дженсеном, Джемпелом...

К л а й н м а н. Ну, если бы я знал больше об этом деле...
А л. Если бы он знал больше! Между ними нет *ничего* общего. Кроме того, что они все были живыми, а теперь все мертвы. В этом они, конечно, похожи.
Х э к е р. Он прав. Клайнман, поверьте, опасность грозит любому, в том числе и вам.
А л. Он, видать, просто хочет себя успокоить.
Д ж о н. Точно.
С э м. Клайнман, убийства между собой никак не связаны.
В и к т о р. Это вам не медсестры!
А л. Он может убить каждого.
К л а й н м а н. Я себя не успокаиваю. Спросить нельзя...
С э м. Всё, хватит идиотских вопросов. Пора заняться делом.
В и к т о р. Мы очень волнуемся. Следующей жертвой может оказаться любой из нас.
К л а й н м а н. Послушайте, я в этом ничего не смыслю. Откуда мне знать, как выслеживают людей! Я буду только мешать. Позвольте мне помочь деньгами. Считайте это моим вкладом в общее дело. Давайте я пожертвую несколько долларов...
С э м *(замечает волос возле письменного стола)*. Что это?
К л а й н м а н. Где?
С э м. Здесь, в вашей расческе. Это же волос.
К л а й н м а н. Конечно. Я ведь ею расчесываюсь.
С э м. Тот же цвет, что и у волоса, найденного полицией.
К л а й н м а н. Вы что, с ума посходили?! Он же черный. Вокруг миллионы черных волос. Зачем вы кладете его в конверт? Это обычный волос. Вот *(указывает на Джона)*, смотрите, у него тоже черные волосы.
Д ж о н *(хватает Клайнмана)*. Вы в чем меня обвиняете, Клайнман?
К л а й н м а н. Никто никого не обвиняет! Он мой волос в конверт положил! Отдайте мой волос! *(Хватает конверт, но Джон отталкивает Клайнмана.)*
Д ж о н. Отстаньте от него!
С э м. Я выполняю свой долг.
В и к т о р. Он прав. Полиция обратилась за помощью ко всем жителям.
Х э к е р. Да, и теперь у нас есть план.
К л а й н м а н. Какой план?
А л. Мы ведь можем на вас рассчитывать, правда?
В и к т о р. Конечно, мы рассчитываем на Клайнмана. Ему отведено место в плане.
К л а й н м а н. Место в плане? Мне? Что это за план?
Д ж о н. Не беспокойтесь, вам сообщат.
К л а й н м а н. А мой волос обязательно должен быть в конверте?
С э м. Одевайтесь, мы подождем вас внизу. Только побыстрее, и так столько времени потеряли!
К л а й н м а н. Хорошо, но хотя бы два слова про план!
Х э к е р. Клайнман, ради бога, пошевеливайтесь. Речь идет о жизни людей. Оденьтесь потеплее. На улице холодно.
К л а й н м а н. Хорошо, хорошо... Но все-таки, что это за план? Зная план, я смогу его обдумать.

(Они, однако, уходят, и Клайнман начинает нервно и неуклюже одеваться.)

Черт, где этот проклятый рожок?... С ума сойти... разбудить человека среди ночи и наговорить таких ужасов! За что мы платим полиции? Спишь себе мирно в уютной теплой кровати, и вдруг, нате вам, заставляют ловить убийцу-маньяка, который подкрадывается сзади и...

Незаметно для Клайнмана входит со свечой сварливая супруга.

А н н а. Клайнман?

Клайнман *(оборачивается, до смерти перепуганный).* Кто это?
Анна. Что?
Клайнман. Ради Бога, никогда больше так ко мне не подкрадывайся!
Анна. Я слышала голоса.
Клайнман. Да, тут ко мне приходили. Оказывается, я должен патрулировать улицы.
Анна. Прямо сейчас?
Клайнман. Да, до утра ждать нельзя. По городу, говорят, разгуливает убийца. Он по ночам работает.
Анна. А, этот маньяк.
Клайнман. Слушай, если ты что-то знала о нем, то почему же ни слова мне не сказала?
Анна. Потому что каждый раз, как я о нем завариваю, ты отказываешься слушать.
Клайнман. Кто? Я?
Анна. Ты всегда или работаешь, или еще чем-нибудь занимаешься..
Клайнман. Но я не виноват, что сейчас работы по горло, самая горячая пора.
Анна. Я говорила тебе про нераскрытое убийство, про два нераскрытых убийства, про шесть, но ты всегда отмахивался: «Потом, потом».
Клайнман. Да потому что ты вечно подходишь не вовремя.
Анна. Неужели?
Клайнман. Возьмем мой день рождения. У меня прекрасное настроение, я разворачиваю подарки. Вдруг появляешься ты — с вытянутым лицом — и говоришь: «Читал газету? Про девушку, которой горло перерезали?» Другое время ты не могла выбрать? У человека в кои веки маленькая радость, а тут ты со своим загробным голосом.
Анна. А ты только приятное и слушаешь, остальное — всегда не вовремя.
Клайнман. Ладно, хватит. Где мой галстук?
Анна. Зачем тебе галстук? Ты же собрался охотиться на маньяка.
Клайнман. Ну и что?
Анна. А одеваешься как на королевскую охоту.
Клайнман. Откуда я знаю, кого встречу! Вдруг мой начальник тоже там.
Анна. Не сомневаюсь, что он одет очень просто.
Клайнман. Надо же... привлечь меня к поискам убийцы. Я же коммивояжер.
Анна. Не позволяй ему заходить за спину.
Клайнман. Хорошо, Анна, так и передам ему: мол, ты велела все время быть на виду.
Анна. Ну что ты злишься? Поймать-то его все равно надо.
Клайнман. Вот пусть полиция и ловит. А мне туда идти страшно. Темень-то какая. И холодно.
Анна. Хоть раз в жизни будь мужчиной.
Клайнман. Тебе легко говорить — ты сейчас пойдешь досыпать.
Анна. А вдруг он к нам в окно влезет!..
Клайнман. Тогда я тебе не завидую.
Анна. Если нападет, я на него перец дуну.
Клайнман. Что?!
Анна. Я возле кровати специально перец держу, если он появится — дуну прямо ему в глаза!
Клайнман. Прекрасная мысль. Поверь, Анна, если он здесь окажется, то размажет тебя по потолку вместе с твоим перцем.
Анна. У меня все двери на двойных запорах.
Клайнман. Не знаю... может, и мне взять немного перца.
Анна. Вот, возьми. *(Дает ему амулет.)*
Клайнман. Что это?

Анна. Амулет, отвращающий зло. Я купила его у нищего калеки.
Клайнман *(разглядывает без особого энтузиазма).* Хорошо. Но дай-ка мне все-таки перец.
Анна. Ну что ты так разволновался? Не один же ты там будешь.
Клайнман. Это верно. И у них к тому же какой-то хитроумный план.
Анна. Какой?
Клайнман. Еще не знаю.
Анна. С чего же ты взял, что он такой хитроумный?
Клайнман. Потому что его придумали лучшие умы города. Поверь мне, они знают, что делают.
Анна. Хочется верить, раз уж ты влип в это дело.
Клайнман. Ладно, запри все двери и никому не отпирай, даже мне, если, конечно, я не заору: «Открой дверь!» В этом случае открывай немедленно.
Анна. Удачи, Клайнман.
Клайнман *(смотрит в окно. Ночная тьма).* Ты посмотри только... Хоть глаз выколи...
Анна. Я никого не вижу.
Клайнман. Я тоже. А ведь должно быть столько людей... у них там факелы и все такое.
Анна. Что ж, раз они говорят, что есть план...
Клайнман. Анна!
Анна. Да?
Клайнман *(смотрит в ночь).* Ты о смерти когда-нибудь думаешь?
Анна. С чего это вдруг я о смерти буду думать? А ты что, думаешь?
Клайнман. Не часто, но случается, и, знаешь, я представляю себе смерть совсем иначе — не оттого, что задушат или перережут горло.
Анна. Я тоже надеюсь, что этого не случится.
Клайнман. Я собираюсь умереть более достойно.
Анна. Ну, знаешь, на свете столько способов умереть.
Клайнман. Например?
Анна. Например? Ты спрашиваешь, как можно умереть достойно?
Клайнман. Да.
Анна. Надо подумать.
Клайнман. Ну.
Анна. Яд.
Клайнман. Яд? Но это ужасно!
Анна. Почему?
Клайнман. Ты что, смеешься? Яд вызывает судороги.
Анна. Не обязательно.
Клайнман. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?
Анна. Я говорю о цианистом калии.
Клайнман. О, да ты специалист! Но я не такой дурак, чтобы есть отраву. Я ее сразу чувствую, даже когда ем несвежие креветки.
Анна. Это не отрава, а пищевое отравление.
Клайнман. Все равно, кто станет глотать всякую гадость?
Анна. От чего же ты собираешься умереть?
Клайнман. От старости. Через много лет. Когда пройду свой долгий жизненный путь. В девяносто лет. Лежа в уютной постели и окруженный родственниками.
Анна. Все это мечты. На самом деле маньяк-убийца может в любой момент свернуть тебе шею или перерезать глотку, прямо сейчас, не дожидаясь, пока тебе стукнет девяносто.
Клайнман. Анна, с тобой говорить — одно удовольствие!
Анна. Я просто за тебя беспокоюсь. Посмотри в окно. Где-то там бродит убийца, в такую темную ночь он может прятаться повсюду — в переулках, под порталами или железнодорожными мостами. В темноте ты и не заметишь, где он притаился со своей удавкой.
Клайнман. Ладно, ты своего добилась — я возвращаюсь в постель.

Стук в дверь.

Голос. Клайнман! Пойдемте!
Клайнман. Иду, иду! *(Целует Анну.)* Ну, до скорого.
Анна. Смотри в оба.

Клайнман выходит из дома. Его поджидает Ал, которого оставили присмотреть за Клайнманом.

Клайнман. Не пойму, почему так срочно понадобился именно я?
Ал. Преступника ловят все.
Клайнман. А повезет мне. Я его обнаружу. Подождите, где перец?
Ал. Что?
Клайнман. Где остальные?
Ал. Ушли. Главное — не отступать от плана.
Клайнман. Итак, что же это за план такой замечательный?
Ал. Вы все узнаете.
Клайнман. Когда? После того как схватят убийцу?
Ал. Потерпите.
Клайнман. Послушайте, сейчас поздно, холодно. К тому же я нервничаю.
Ал. Хэкер с остальными должен был уйти, но велел передать, что очень скоро вы узнаете о своей роли в плане.
Клайнман. Хэкер так и сказал?
Ал. Да.
Клайнман. А что мне пока делать, раз уж я вылез из дому и оставил теплую постель?
Ал. Ждите.
Клайнман. Чего?
Ал. Указаний.
Клайнман. Каких указаний?
Ал. О вашей роли.
Клайнман. Я домой пошел.
Ал. Нет! Как вы можете? Сейчас одно неверное движение может стоить нам жизни. Думаете, я хочу отправиться на тот свет?
Клайнман. Тогда сообщите мне план.
Ал. Не могу.
Клайнман. Почему?
Ал. Мне он неизвестен.
Клайнман. Помилуйте, сейчас ночь, холодно...

Ал. Понимаете, любому из нас известна лишь небольшая часть общего плана — то, что он сам должен сейчас делать, причем рассказывать об этом другим запрещено. Это — мера предосторожности, чтобы маньяк не узнал, что мы задумали. Если каждый будет действовать, как ему сказано, то и весь план завершится успехом. А до этого общий план не узнать, даже если кто-нибудь проболтается либо из него что-то вытянут принуждением или угрозами. Каждый отвечает только за свою небольшую часть плана, и даже если маньяк узнает ее, это ему все равно ничего не даст. Хитро придумано?
Клайнман. Потрясающе. Я не понимаю, что происходит, и возвращаюсь домой.
Ал. Больше ничего сказать не могу. А вдруг это вы всех убили?
Клайнман. Я?
Ал. Убийцей может оказаться любой из нас.
Клайнман. Ну уж не я. Чтобы я разгуливал по ночам и резал людей, когда у меня полно работы!
Ал. Клайнман, простите.
Клайнман. Так что все-таки мне делать? Какова моя роль?
Ал. На вашем месте я бы сделал все, что в моих силах, еще до того, как эта роль прояснится.
Клайнман. Но что я могу сделать?

А л. Здесь трудно что-то советовать.
К л а й н м а н. Ну, хотя бы намекнули, что ли... А то чувствую себя каким-то идиотом.
А л. Вам может показаться, что у нас нет общего плана действий, но это неправда.
К л а й н м а н. Вы так поспешно вытащили меня из дому! А теперь, когда я готов помочь, выясняется, что все ушли.
А л. Мне надо идти.
К л а й н м а н. Зачем же было меня торопить?.. Идти?! Что вы хотите сказать?
А л. Тут я уже сделал все, что требовалось. Теперь мне надо быть в другом месте.
К л а й н м а н. Значит, я останусь здесь, на улице, один?
А л. Возможно.
К л а й н м а н. Что значит «возможно»? Если сейчас нас двое и вы уйдете, то я останусь один. Арифметика простая.
А л. Будьте осторожны.
К л а й н м а н. Э, нет! Один я здесь не останусь! Шутите, что ли? Тут же этот псих где-то бродит! Я не умею общаться с психами. Я человек очень логичный.
А л. По плану мы не должны быть вместе.
К л а й н м а н. Послушайте, мы не влюбленная парочка. Мне не обязательно быть именно с вами. Меня устроят любые двенадцать сильных мужчин.
А л. Я должен идти.
К л а й н м а н. Я не хочу оставаться один. Я серьезно говорю.
А л. Будьте осторожны.
К л а й н м а н. Смотрите, вы еще не ушли, а у меня уже рука дрожит. Вы уйдете, и у меня начнет дрожать все тело.
А л. Клайнман, от вас зависят жизни других. Не подводите нас.
К л а й н м а н. Не надо на меня рассчитывать. Я ужасно боюсь смерти! Согласен делать что угодно, только не умирать.
А л. Счастливо оставаться.
К л а й н м а н. А как насчет маньяка? Есть какие-нибудь новости? Его еще где-нибудь видели?
А л. Полиция видела, как кто-то огромный и страшный прятался возле фабрики мороженого. Но точно никто ничего не знает.

Уходит. Шаги удаляются и становятся все тише и тише.

К л а й н м а н. С меня довольно! От этой фабрики надо будет держаться подальше. *(Клайнман один. Завывание ветра.)* Надо же... хорошенькое развлечение... оказаться ночью на улице... Не понимаю, почему я дома не мог дождаться, пока мне дадут конкретное поручение? Что это за шум?! Ветер... Ох, не нравятся мне эти завывания. Сейчас как сдует вывеску — и на меня! Так, надо успокоиться... Как-никак, на меня рассчитывают... Буду глядеть в оба и, если замечу что-то подозрительное, сразу сообщу остальным... Правда, сообщать-то некому... Надо срочно с кем-то еще познакомиться... Пройти, что ли, пару кварталов — вдруг встречу кого-нибудь из наших... Куда они запропастились? Или это входит в план? А может быть, Хэкер не выпускает меня из поля зрения, и если что-нибудь произойдет, то все придут мне на помощь... *(Нервно смеется.)* Уверен, что они не могли оставить меня одного ходить по улицам. Должны же они понимать, что этого психа мне не одолеть. У маньяка хватит сил на десятерых, а мне и с обычным человеком не справиться... Разве что я у них в качестве приманки... Это не исключено... Оставили меня здесь, как барашка?.. Убийца на меня набросится, а они с криками выскочат немедленно и схватят его, правда, они могут и медленно выскочить... Мне шею свернуть — ничего не стоит. *(В глубине сцены мелькнул черный силуэт.)* Что это было? Может быть, лучше пойти назад?.. Я

уже забрел довольно далеко... Как же они найдут меня, чтобы передать инструкции? И потом, я совсем не знаю этой части города... что же делать? Нет, лучше, по-моему, возвратиться, пока я окончательно не потерялся...*(Слышит, как кто-то приближается — медленно и зловеще.)* Боже.... Шаги... У маньяков, наверное, тоже по две ноги... Господи, спаси...

Доктор. Это вы, Клайнман?

Клайнман. Что? Кто это?

Доктор. Всего лишь доктор.

Клайнман. Вы меня напугали. Скажите, Хэкер или кто-нибудь из наших вам ничего не передавали?

Доктор. О вашей роли?

Клайнман. Да. Я тут как идиот болтаюсь по улицам и теряю время. То есть я, конечно, внимательно смотрю по сторонам, но если б знать, в чем мои функции...

Доктор. Действительно, Хэкер говорил о вас.

Клайнман. Что?

Доктор. Я не помню.

Клайнман. Прекрасно. Всеми забытый Клайнман.

Доктор. Да, мне кажется, он что-то говорил. Но я не уверен.

Клайнман. Слушайте, почему бы нам вместе не походить? Всякое ведь может случиться.

Доктор. Если желаете, пожалуйста, но только недолго. У меня другая задача.

Клайнман. Смешно как-то: встретить доктора среди ночи... Знаю я, как ваш брат любит ночные вызовы. Ха-ха-ха. *(Доктор не смеется.)* Ночь-то какая холодная... *(Молчание.)* Как вы думаете, мы его сегодня найдем? *(Молчание.)* Наверное, вам отвели какую-нибудь важную роль? А я вот своей до сих пор не знаю.

Доктор. У меня интерес чисто научный.

Клайнман. Да, конечно.

Доктор. Есть возможность исследовать его душевную болезнь. Узнать, почему он стал таким. Что толкает человека на подобные антиобщественные поступки. Нет ли у него каких-нибудь других странностей. Подчас те же импульсы, что побуждают маньяка к убийству, рождают в нем высокие творческие устремления. Это весьма сложное явление. К тому же мне интересно, сумасшедший ли он от рождения, ведь это может быть и результатом болезни, несчастного случая или враждебного окружения. Надо выяснить множество обстоятельств. К примеру: почему средством самовыражения для него является убийство? Делает ли он это по своей воле или слышит чьи-то голоса? Когда-то ведь считалось, что сумасшедших вдохновляют божественные силы. Словом, все это заслуживает самого тщательного изучения.

Клайнман. Конечно, но прежде его надо поймать.

Доктор. Да, Клайнман, и если я добьюсь своего, то сам детально исследую это существо, разрежу его всего до последней хромосомы. Я изучу каждую его клеточку под микроскопом. Разберусь, из чего он состоит. Разложу его соки. Исследую кровь, препарирую мозг, пока он не будет предо мною весь как на ладони.

Клайнман. А можно ли познать человека? Понимаете, не просто узнать о нем что-то, а познать его, то есть познать до конца, когда дальше уже познавать нечего, я имею в виду полное познание, вы понимаете, что я подразумеваю под познанием? Понять. Постигнуть. Уяснить. Уразуметь.

Доктор. Клайнман, вы идиот.

Клайнман. Вы понимаете, о чем я говорю?

Доктор. Делайте свое дело, а я буду делать свое.

Клайнман. Я не знаю, что мне делать.

Доктор. Тогда не надо критиковать.

Клайнман. Никто и не критикует. *(Раздается чей-то вопль. Оба вздрагивают.)* Что это было?
Доктор. Слышите, шаги за спиной?
Клайнман. Я их с восьмилетнего возраста слышу.

Снова вопль.

Доктор. Кто-то идет.
Клайнман. Может, ему не понравилось, что его мозг собираются препарировать?
Доктор. Клайнман, шли бы вы лучше отсюда.
Клайнман. С превеликим удовольствием.
Доктор. Сюда! Быстро!

Приближаются чьи-то тяжелые шаги.

Клайнман. Там тупик.
Доктор. Я знаю, что делаю.
Клайнман. Да, но нас поймают и зарежут.
Доктор. Вы что, со мной спорить будете? Кто из нас доктор?
Клайнман. Но я знаю этот переулок — здесь тупик. Отсюда не выбраться!
Доктор. До свидания, Клайнман. Делайте что хотите!

Убегает в сторону тупика.

Клайнман *(зовет доктора)*. Подождите! Я извиняюсь! *(Слышно, как кто-то приближается.)* Надо успокоиться! Так, что делать — бежать или прятаться? Побегу и спрячусь. *(Бежит и сталкивается с молодой женщиной.)* Ох!
Джина. Ах!
Клайнман. Кто вы?
Джина. А вы кто?
Клайнман. Клайнман. Вы слышали крики?
Джина. Конечно. Я так перепугалась. Не знаю даже, откуда они доносились.
Клайнман. Это не важно. Главное, что кто-то кричал, а это не сулит ничего хорошего.
Джина. Я боюсь.
Клайнман. Надо отсюда убираться.
Джина. Я не могу уходить слишком далеко. У меня задание.
Клайнман. Вы тоже участвуете в плане?
Джина. А вы разве нет?
Клайнман. Пока нет. Все никак не могу выяснить, что мне делать. Может, вы что-нибудь про меня слышали?
Джина. Вы Клайнман...
Клайнман. Так точно.
Джина. О Клайнмане я что-то слышала, а вот что именно — не помню.
Клайнман. Вы знаете, где Хэкер?
Джина. Хэкера убили.
Клайнман. Что?!
Джина. Кажется, это был Хэкер.
Клайнман. Хэкер убит?
Джина. Я толком не поняла, про Хэкера они говорили или нет.
Клайнман. Никто ничего толком не знает! Никто понятия не имеет, что происходит. Это тоже входит в план? Нас всех перебьют как мух.
Джина. Может, это и не Хэкер был.
Клайнман. Пойдемте отсюда. Я удалился от того места, где мне предписано находиться. Возможно, меня уже ищут. Если план провалится, они еще, чего доброго, меня обвинят— я свое счастье знаю!

Джина. Не могу никак вспомнить, кого убили — то ли Хэкера, то ли Максвелла.
Клайнман. Скажу вам откровенно, патрулирование — дело нелегкое. Нечего такой молодой женщине делать на улице. Это мужская работа.
Джина. Мне не привыкать.
Клайнман. В самом деле?
Джина. Понимаете, я проститутка.
Клайнман. Что, серьезно?!! Вот это да! Я раньше никогда не встречался с... Я думал они выше ростом.
Джина. Ничего, что я вам сказала?
Клайнман. Вообще-то, я очень старомоден.
Джина. Неужели?
Клайнман. Я... Я, например, в такое время всегда сплю. Понимаете, *всегда*. Сейчас же глубокая ночь. Конечно, когда я болен или что-нибудь такое... но если у меня нет сильной рвоты, я сплю, как дитя.
Джина. Во всяком случае, ночь сегодня ясная.
Клайнман. Да.
Джина. Все небо в звездах.
Клайнман. Честно говоря, я очень нервничаю. Лучше было бы сейчас находиться дома в постели. Ночью все так странно Магазины закрыты. Не видно машин. Можно переходить улицу где хочешь... Никто не остановит...
Джина. Так ведь это здорово!
Клайнман. Знаете, у меня такое забавное чувство. Никаких следов цивилизации... Я мог бы снять брюки и носиться нагишом по главной улице.
Джина. Красота!
Клайнман. Я, конечно, не буду. Но мог бы.
Джина. А мне ночной город кажется таким холодным и темным, таким пустым. Точь-в-точь, наверное, как в космосе.
Клайнман. Я никогда не думал о космосе.
Джина. Но ведь вы в космосе. Мы плаваем в пространстве на этом огромном круглом шаре... вы даже не можете определить, где верх.
Клайнман. И это, по-вашему, хорошо? Я люблю точно знать, где верх, где низ и где моя ванна.
Джина. А как вы думаете, есть там жизнь, хотя бы на одной из миллионов звезд?
Клайнман. Лично я не знаю. Вообще-то я слыхал, что на Марсе, может, и есть жизнь, но мне это рассказывал парень, который торгует трикотажем.
Джина. И все это пребудет вечно.
Клайнман. Как это вечно? Рано или поздно должен наступить конец. Верно? Я хочу сказать, что должен же быть когда-нибудь конец, за которым... ну, какая-нибудь там стена или что-то такое... надо быть логичным.
Джина. Вы хотите сказать, что Вселенная конечна?
Клайнман. Я ничего не хочу сказать. Я не собираюсь ни во что вмешиваться. Я хочу только знать, что я должен делать.
Джина *(показывает)*. Посмотрите... Близнецы... два брата. А вон охотник Орион.
Клайнман. Где вы увидели Близнецов? Они совсем не похожи.
Джина. Посмотрите на ту крошечную звездочку... такую одинокую. Она едва видна.
Клайнман. Вы знаете, сколько до нее? Даже говорить не хочется.
Джина. Свет, который мы видим, покинул эту звезду миллионы лет назад. И только сейчас долетел до нас.
Клайнман. Я вас понимаю.

Джина. Вы понимаете, что свет летит со скоростью триста тысяч километров в секунду?
Клайнман. Если вы меня спросите, я скажу, что это очень быстро. Никакого удовольствия. Где теперь вообще найдешь комфорт?
Джина. Известно, что эта звезда исчезла миллионы лет назад и свету, который летит со скоростью триста тысяч километров в секунду, понадобились миллионы лет, чтобы достичь Земли.
Клайнман. Вы хотите сказать, что этой звезды там, возможно, и нет?
Джина. Совершенно верно.
Клайнман. Хотя я вижу ее собственными глазами?
Джина. Совершенно верно.
Клайнман. Но ведь это ужасно, потому что, когда я вижу нечто своими глазами, то хотелось бы думать, что так оно и есть. А если вы правы, получается, что и остальные звезды могут быть такими вот потухшими, а мы, значит, просто узнаём об этом последними..
Джина. Клайнман, кто знает, что есть реальность?
Клайнман. Реальность — то, что вы можете потрогать руками.
Джина. Ах! *(Клайнман целует Джину. Она страстно отвечает ему.)* С вас шесть долларов.
Клайнман. За что?
Джина. Как? Вы же чуть-чуть пошалили...
Клайнман. Ну, да... чуть-чуть...
Джина. А я, между прочим, на работе.
Клайнман. Я понимаю, однако шесть долларов за короткий поцелуй... За шесть долларов я могу купить кашне...
Джина. Ладно, давайте пять.
Клайнман. А просто так вы никогда не целуетесь?
Джина. Клайнман, это бизнес. А для удовольствия я целуюсь с женщинами.
Клайнман. С женщинами? Какое совпадение... я тоже...
Джина. Мне надо идти.
Клайнман. Я не хотел вас обидеть...
Джина. А вы и не обидели. Просто мне пора уходить.
Клайнман. С вами ничего не случится?
Джина. Мне надо выполнять задание. Надеюсь, и вы узнаете свое. Счастливо.
Клайнман *(кричит вслед)*. Я не хотел вести себя как животное, я вообще-то один из лучших людей, которых только знаю. *(Ее шаги затихают, и он остается один)*. Нет, дело зашло слишком далеко. Хватит, я возвращаюсь домой. Правда, завтра они могут прийти и спросить, где я был. Мол, план провалился, Клайнман, и по вашей вине. Как это по моей вине?! Нет, все равно они что-нибудь придумают. Им же понадобится козел отпущения. Может, в этом и состоит моя роль. Когда что-то не получается, виноват всегда я. Я... *(Слышит стон.)* Что такое? Кто здесь?
Доктор *(смертельно раненный вползает на сцену)*. Клайнман...
Клайнман. Доктор!
Доктор. Я умираю.
Клайнман. Я позову доктора.
Доктор. Я доктор.
Клайнман. Да, но вы — умирающий доктор.
Доктор. Слишком поздно... он меня поймал... о-о-ох... Бежать было некуда.
Клайнман. На помощь! На помощь! Эй, сюда!
Доктор. Перестаньте орать. Клайнман... Если не хотите, чтобы убийца и вас нашел.
Клайнман. Теперь мне уже все равно! На помощь! *(Подумав, что убийца все-таки может услышать крик, понижает голос.)* На помощь... Кто он? Вы его рассмотрели?

Доктор. Нет... внезапно... нож в спину...
Клайнман. Жаль, что не в грудь. Вы бы его рассмотрели.
Доктор. Клайнман, я умираю...
Клайнман. Главное, не принимать это близко к сердцу.
Доктор. Что за чушь вы несете?
Клайнман. А что я могу сказать? Просто пытаюсь поддержать разговор...

Вбегает Мужчина.

Мужчина. Что случилось? Кто звал на помощь?
Клайнман. Доктор умирает... помогите... Одну минутку, вы что-нибудь обо мне слышали?
Мужчина. А вы кто?
Клайнман. Клайнман.
Мужчина. Клайнман... Клайнман... Что-то знакомое... Ах да, вас же разыскивают... Что-то важное...
Клайнман. Кто разыскивает?
Мужчина. По поводу вашей роли в плане.
Клайнман. Наконец-то.
Мужчина. Я скажу, что видел вас.

Убегает.

Доктор. Клайнман, вы верите в реинкарнацию?
Клайнман. Во что?
Доктор. В переселение душ, когда душа умершего продолжает жить в иной оболочке?
Клайнман. В какой, например?
Доктор. Э... ну, в другом живом существе...
Клайнман. В чем? В животном, что ли?
Доктор. Да.
Клайнман. Вы хотите сказать, что, возможно, проживете следующую жизнь лягушкой?
Доктор. Забудьте об этом, Клайнман, я вам ничего не говорил.
Клайнман. Знаете, в жизни, конечно всякое случается, но трудно поверить, что в этой жизни вы президент большой корпорации, а в загробной — бурундук.
Доктор. В глазах темнеет.
Клайнман. Послушайте, почему бы вам не рассказать мне о своей роли в плане? Вы же все равно выходите из игры, и я мог бы занять ваше место, ведь я до сих пор так и не выяснил, что мне надо делать.
Доктор. Вам это ничего не даст. Это задание мог выполнить лишь я один.
Клайнман. О, Господи! Никак не пойму, то ли это какой-то гениальный план, то ли его вообще не существует.
Доктор. Не предавайте нас, Клайнман. Вы нам нужны.

Умирает.

Клайнман. Доктор! Доктор! О, Боже! Что делать? К чертям! Отправляюсь домой! Пусть они сами носятся по ночам как сумасшедшие. У меня работы по горло. Никто слова не скажет. Просто не хочу, чтобы меня потом во всем обвиняли. А с другой стороны, с чего это они меня будут обвинять? Я же пришел на помощь, когда меня позвали. Просто оказалось, что мне нечего делать.

Входят Полицейский и Мужчина, побежавший за помощью.

Мужчина. Здесь человек умирает?
Клайнман. Да, это я.
Мужчина. Вы? А как же он?
Клайнман. Он уже умер.

Полицейский. Вы были его другом?
Клайнман. Он у меня гланды вырезал.

Полицейский опускается на колени и осматривает тело.

Мужчина. Я однажды тоже умер.
Клайнман. Простите?
Мужчина. Умер, говорю. Мертвым был. Во время войны. Ранили меня. Положили на операционный стол. Хирурги стали пыхтеть, спасать. И вдруг — хлоп — и пульс остановился. Все кончилось. Говорят, у одного из них хватило ума сделать мне массаж сердца. Оно снова стало биться, и я ожил, но на какой-то миг я официально считался покойником... Да мою смерть и наука подтвердила... Такая вот была история. Я поэтому, когда трупешник вижу, всегда сочувствую.
Клайнман. Ну и как?
Мужчина. Что?
Клайнман. Когда умираешь. Видели что-нибудь?
Мужчина. Нет. Просто... полная пустота.
Клайнман. И что, никаких загробных воспоминаний?
Мужчина. Нет
Клайнман. Мое имя не упоминалось?
Мужчина. Нет. Там ничего нет. Ничего нет после смерти, Клайнман. Ни-че-го.
Клайнман. Не хочу умирать. Еще рано. Не сейчас. Не хочу, чтобы со мной случилось то же, что с ним. В переулке... ножом... других задушил... даже Хэкера... маньяк.
Мужчина. Хэкера убил не маньяк.
Клайнман. А кто?
Мужчина. Хэкер пал жертвой заговорщиков.
Клайнман. Заговорщиков?
Мужчина. Да, из другой группировки.
Клайнман. Какой еще другой группировки?
Мужчина. Вы что — не знаете про другую группировку?
Клайнман. Ничего я не знаю! Я блуждаю один.
Мужчина. Есть одна парочка. Шеферд и Уиллис. Они всегда возражали против плана Хэкера.
Клайнман. Что?
Мужчина. Видите ли, Хэкер не добился особых результатов.
Клайнман. Да и полиция тоже.
Полицейский *(поднимается)*. Но мы добьемся. Если гражданские идиоты не будут путаться под ногами.
Клайнман. Я думал, вам нужна помощь.
Полицейский. Помощь — да. Но не беспорядок и паника. Не беспокойтесь, у нас есть уже пара улик, и мы вовсю используем компьютеры. У этих железяк превосходные мозги. Никогда не ошибаются. Посмотрим, сколько он против них продержится.

Опускается на колени.

Клайнман. Так кто же убил Хэкера?
Полицейский. Есть фракция, которая не разделяет его взглядов.
Клайнман. Кто? Шеферд и Уиллис?
Полицейский. Многие переметнулись на их сторону, поверьте. Я даже слышал, что от их группы откололась еще одна.
Клайнман. Как, еще одна фракция?
Полицейский. Да, у них есть свежие идеи, как поймать убийцу. Это как раз то, что нужно. Разные идеи. Если не удается один план, возникает другой. Все естественно. Или вы против новых идей?
Клайнман. Я? Нет... Но они убили Хэкера...
Полицейский. Потому что он тормозил все дело. Потому что с ослиным упрямством доказывал, что его идиотский план единственно верный. Несмотря на то, что ничего не получалось.

Клайнман. Значит, теперь у нас несколько планов или как?
Мужчина. Точно. И, надеюсь, вы не приверженец хэкеровского? Хотя многие, надо сказать, еще верят в него.
Клайнман. Я понятия не имею о хэкеровском плане.
Мужчина. Это хорошо. Тогда, возможно, вы будете для нас полезны.
Клайнман. Для кого «для нас»?
Мужчина. Не прикидывайтесь!
Клайнман. Да я и не прикидываюсь!
Мужчина. Пойдемте.
Клайнман. Никуда я не пойду! Я понятия не имею, что происходит.
Мужчина *(угрожает Клайнману ножом).* Мразь вонючая... жизнь или смерть... выбирай!
Клайнман. Полиция!... Констебль...
Полицейский. Ага, зовете на помощь, а на прошлой неделе еще называли нас кретинами, которые не могут поймать убийцу.
Клайнман. Это не я говорил.
Мужчина. Давай выбирай, ублюдок, на чьей ты стороне!
Полицейский. Всем наплевать, что мы работаем круглые сутки. Разные идиоты морочат нам голову. Куча психов утверждают, что они и есть убийцы, и умоляют, чтобы их наказали.
Мужчина. Долго еще будешь раздумывать? Может, тебе лучше глотку перерезать?
Клайнман. Нет-нет, я готов помочь, скажите только, что надо делать.
Мужчина. Так ты с Хэкером или с нами?
Клайнман. Хэкер мертв.
Мужчина. У него есть последователи. Или, может, тебе нравится еще какая-нибудь группа?
Клайнман. Хоть бы кто-нибудь объяснил мне, за что выступают все эти группы. Поймите, мне даже не сообщили план Хэкера... Ваш план мне тоже неизвестен. И про другие группы я ничего не знаю.
Мужчина. Как тебе нравится эта овечка, Джек?
Полицейский. Да все он понимает, просто не хочет нам помочь. Тьфу, тошнит от этого мозгляка!

Появляются уцелевшие сторонники Хэкера.

Хэнк. А, вот и Клайнман! Где же вы болтались, черт возьми?
Клайнман. Я? Это вы где были?
Сэм. Вы куда-то исчезли, как раз когда понадобились.
Клайнман. Мне никто ничего не сказал.
Мужчина. Клайнман теперь с нами.
Джон. Клайнман, это так?
Клайнман. Что так? Я сам не понимаю, что так, что не так!

Появляются несколько человек из противоборствующей группировки.

Билл. Эй, Фрэнк! У тебя что — неприятности с этими парнями?
Фрэнк. Смеешься? Да что они могут?
Ал. Мы?
Фрэнк. Вы!
Ал. Ребята, если бы вы находились на своих местах, мы бы давно его поймали.
Фрэнк. Нам не нравился план Хэкера. Из него ничего не вышло.
Дон. Вот именно. А мы поймаем убийцу Оставьте его нам.
Джон. Ничего мы вам не оставим. Пойдемте, Клайнман.
Фрэнк. Так ты, значит, с ними?
Клайнман. Я? У меня нейтралитет. Независимо от того, чей план лучше.
Генри. Нейтралитета быть не может, Клайнман.

Мужчина. Либо с ними, либо с нами.
Клайнман. Как выбирать, если я не знаю разницы. С одной стороны, скажем, яблоко. А с другой, допустим, груша? Или, может, оба они мандарины?
Фрэнк. Давайте его прикончим.
Сэм. Нет, вы больше никого не убьете.
Фрэнк. Неужели?
Сэм. Да. А когда мы поймаем убийцу, кое-кто ответит за Хэкера.
Клайнман. Пока мы тут спорим, маньяк, может, убивает очередную жертву. Главное — это единство.
Сэм. Скажите об этом им.
Фрэнк. Главное — результат.
Дон. Пора разобраться с этими ребятами. А то так и будут путаться под ногами.
Ал. Ишь разговорился! Ну-ка, попробуй!
Билл. И не только попробуем!

Извлекаются ножи и дубинки.

Клайнман. Ребята, да вы что...
Фрэнк. Пришло время выбирать, Клайнман!
Генри. Не ошибись, Клайнман. Победит кто-то один.
Клайнман. Мы перебьем друг друга, а маньяк останется на свободе. Неужели вы не понимаете?... Нет, они не понимают...

Вспыхивает драка. Вдруг все останавливаются и смотрят, как на сцену торжественно выходит величественная процессия, возглавляемая Помощником судьи.

Помощник судьи. Убийца! Мы обнаружили зону пребывания маньяка!

Драка прекращается, реплики: «Кто?», «Где?» Колокольный звон. Появляется группа людей. Впереди Ганс Спиро, который, фыркая, ежесекундно обнюхивается.

Полицейский. Это экстрасенс Спиро. Мы попросили его помочь. Он телепат.
Клайнман. Правда? Тогда он должен очень пригодиться.
Полицейский. Он уже не одно убийство распутал. Ему требуется только что-нибудь понюхать или пощупать. Однажды в участке он сумел прочесть мои мысли. Сказал, с кем я был только что в кровати.
Клайнман. С вашей женой.
Полицейский *(с презрением посмотрев на Клайнмана).* Гляди-ка, ребята, еще один телепат выискался!
Помощник судьи. Осталось последнее усилие, и наш телепат, мистер Спиро, скажет, кто же убийца. *(Расталкивая собравшихся и принюхиваясь, подходит Спиро.)* Он хочет понюхать вас.
Клайнман. Меня?
Помощник судьи. Да.
Клайнман. Зачем?
Помощник судьи. Достаточно того, что он хочет.
Клайнман. Но я не желаю, чтобы меня обнюхивали.
Фрэнк. Вы хотите что-то скрыть?

Все его поддерживают.

Клайнман. Нет, просто это меня нервирует.
Полицейский. Нюхайте, мистер Спиро. нюхайте.

Спиро обнюхивает Клайнмана. Тому не по себе.

Клайнман. Что он делает? Мне нечего скрывать. Возможно, моя куртка немного отдает нафталином. Верно? Слушайте, прекратите меня нюхать! Меня это нервирует.
Ал. Нервирует?

Клайнман. Я не люблю, когда меня обнюхивают. *(Спиро принюхивается все сильнее.)* В чем дело? Что вы все так смотрите? А? А, знаю. Я пролил на брюки немного соуса... Есть, конечно, легкий запах, но не то чтобы очень... Это я в ресторане «Уилтон» капнул... Я люблю мясо... не жареное... То есть жареное, но не очень... не пережаренное... Знаете, заказываешь жареное, а приносят пережаренное...
Спиро. Это убийца.
Клайнман. Что?!
Полицейский. Клайнман?
Спиро. Да, Клайнман.
Полицейский. Нет!
Помощник судьи. Мистер Спиро снова на высоте!
Клайнман. Что вы несете? Вы понимаете, что вы несете?
Спиро. Это преступник.
Клайнман. Вы сошли с ума. Спиро... да он же сумасшедший!
Генри. Значит, это вы, Клайнман.
Фрэнк *(кричит)*. Эй! Сюда! Сюда! Мы поймали его!
Клайнман. Да вы что?
Спиро. Все точно. Сомнений нет.
Билл. Клайнман, зачем ты это сделал?
Клайнман. Что сделал? Вы что, ему верите? Верите его носу?
Помощник судьи. Сверхъестественные способности никогда не подводили мистера Спиро.
Клайнман. Да он же шарлатан! При чем тут мой запах?
Сэм. Итак, убийца — Клайнман.
Клайнман. Ребята... да вы что... вы же меня все знаете...
Джон. Клайнман, зачем ты это сделал?
Фрэнк. Отвечай.
Ал. Да потому, что он сумасшедший. Полный псих.
Клайнман. Это я псих?! Посмотрите, разве психи так одеваются?
Генри. Да не скажет он ничего путного. Совсем свихнулся.
Билл. У психов всегда так — они логичны во всем, кроме одного, кроме своего больного места, своего пунктика.
Сэм. Точно, Клайнман всегда был безумно логичный.
Генри. Вот именно — безумно!
Клайнман. Это ведь шутка, правда? Потому что, если это не шутка, я буду кричать.
Спиро. В который раз я благодарю Господа за дар, который он ниспослал мне.
Джон. Прямо сейчас его и вздернем!

Единодушная поддержка.

Клайнман. Не подходите ко мне! Я ненавижу веревки!
Джина *(проститутка)*. Он хотел на меня наброситься! Он меня внезапно схватил!
Клайнман. Я дал тебе пять долларов!

Клайнмана хватают.

Билл. У меня есть веревка.
Клайнман. Что вы делаете?
Фрэнк. Наконец-то в нашем городе наступит спокойствие. Навсегда.
Клайнман. Вы вешаете невинного человека! Я и муху не обижу... ну, разве что муху...
Полицейский. Нельзя его вешать без суда.
Клайнман. Конечно нельзя! У меня есть права.
Ал. А как насчет прав твоих жертв?
Клайнман. Каких жертв? Я требую своего адвоката! Слышите?! Я требую своего адвоката! Мне даже не предоставили адвоката!
Полицейский. Клайнман, вы признаете свою вину?

Клайнман. Нет, я невиновен! Абсолютно невиновен! Я не маньяк-убийца и никогда в прошлом им не был. Меня это не интересует даже как хобби.
Генри. Что вы сделали для поимки преступника?
Клайнман. Вас интересует моя роль в плане? Но мне его так и не сообщили.
Джон. А вам не кажется, что вы должны были узнать все сами.
Клайнман. Каким образом? Когда бы я ни спрашивал, мне отвечали всякую чушь.
Ал. Сами виноваты.
Фрэнк. Правильно. К тому же план был не один.
Билл. Конечно, мы разработали свой план.
Дон. Были и другие планы. Уж в каком-нибудь могли бы поучаствовать!
Сэм. Потому-то вы и не могли сделать выбор. Просто не хотели выбирать.
Клайнман. Между чем? Сообщите мне план. Я буду помогать. Используйте меня.
Полицейский. Поздно, Клайнман, поздно.
Генри. Клайнман, суд признал вас виновным. Вы будете повешены. У вас есть последнее желание?
Клайнман. Да. Если можно, не вешайте.
Генри. Простите, Клайнман, но тут мы бессильны.
Эйб *(появляется в сильном волнении)*. Бежим! Скорее, побежали!
Джон. Что случилось?
Эйб. Мы загнали убийцу за здание склада.
Ал. Ерунда! Убийца — Клайнман.
Эйб. Нет. Он пытался задушить Эдит Кокс. Она его опознала. Скорее! Надо собрать как можно больше людей.
Сэм. Это кто-то из местных?
Эйб. Нет, чужой. Сбежал из тюрьмы.
Клайнман. Вот видите, видите! А вы собирались повесить невинного человека!
Генри. Клайнман, простите нас.
Клайнман. Да ладно. Надо же... как только они не знают, что делать, сразу хватаются за веревку.
Спиро. Наверное, я ошибся.
Клайнман. А, это вы? Вам надо показаться отоларингологу! *(Все убегают.)* Хорошо, когда знаешь, кто твои друзья. Всё, я иду домой. Хватит с меня... Я устал... замерз... ну и ночка! Куда это я забрел?.. Черт, совсем не умею ориентироваться... Нет, не сюда... Надо слегка передохнуть и сориентироваться... От страха даже мутит немного... *(Шум.)* Господи!... Кто здесь?
Маньяк. Клайнман?
Клайнман. Кто вы?
Маньяк *(внешне похож на Клайнмана)*. Маньяк-убийца. Можно присесть? Ужасно устал.
Клайнман. Что?
Маньяк. Все за мной гоняются... Ношусь по улицам, прячусь в парадных. По городу не могу ходить нормально — только крадусь... Они вроде считают, что мне это очень нравится.
Клайнман. Так что, вы... вы убийца?
Маньяк. Конечно.
Клайнман. Ну всё, мне пора!
Маньяк. Не надо волноваться. Я вооружен.
Клайнман. Неужели... неужели вы собираетесь меня убить?
Маньяк. Разумеется. Я только этим и занимаюсь.
Клайнман. Да вы просто псих.
Маньяк. Несомненно, полный псих. Думаете, нормальный человек стал бы людей резать? Я ведь даже никого не ограбил. Нет, серьез-

но, ни разу не взял ни гроша. Даже к какой-нибудь расческе и то не прикоснулся.

Клайнман. Зачем же вы это делаете?

Маньяк. Как зачем? Я же псих.

Клайнман. А выглядите вполне нормальным.

Маньяк. Не судите о людях по их внешности. Вот я, к примеру, псих.

Клайнман. А я как-то представлял вас высоким, черноволосым, страшным...

Маньяк. Ну, Клайнман... это ведь не кино. Я такой же, как вы. Клыки у меня должны быть, что ли?

Клайнман. Но вы убили столько высоких, сильных мужчин... Они же были в два раза крупнее вас.

Маньяк. Разумеется. А все почему? Потому что подкрадывался сзади или убивал, когда они спали. Не буду же я нарываться на неприятности.

Клайнман. Но зачем все-таки вы это делаете?

Маньяк. Да говорю же, псих я. Думаете, я сам знаю, зачем убиваю?

Клайнман. Вам это нравится?

Маньяк. Да при чем тут «нравится»! Убиваю — и все.

Клайнман. Неужели вы не понимаете, что это возмутительно?

Маньяк. Если бы понимал, был бы нормальным.

Клайнман. И давно это у вас?

Маньяк. Сколько себя помню.

Клайнман. А вас не могут вылечить?

Маньяк. Кто?

Клайнман. Ну, есть доктора... клиники...

Маньяк. Думаете, доктора что-нибудь смыслят? Я ходил по врачам. Сделали мне анализ крови, сделали рентген. А то, что я псих, не обнаружили. Рентгеном не просвечивается.

Клайнман. А психиатры? Гипнотизеры?

Маньяк. Ну, этих обдурить ничего не стоит.

Клайнман. Как это?

Маньяк. Я же веду себя как нормальный. А они мне кляксы какие-то показывали... Спрашивали, нравятся ли мне женщины. Я отвечаю: «А как же!»

Клайнман. Да, ужасно.

Маньяк. У вас есть последнее желание?

Клайнман. Да вы что, в самом деле не шутите?

Маньяк. Хотите удостовериться, что у меня смех, как у последнего психа?

Клайнман. Нет. Но все-таки прислушайтесь к голосу рассудка. *(Маньяк вынимает нож. Щелчок — и раскрывается лезвие.)* Если, убивая меня, вы не получаете ни малейшего удовольствия, зачем же это делать? Не логично. Вы можете действительно с толком использовать свое время... Займитесь гольфом... станете сумасшедшим игроком в гольф!

Маньяк. Прощайте, Клайнман.

Клайнман. На помощь! На помощь! Убивают! *(Маньяк всаживает в него нож и убегает).* О-о-ох! О-ох!

Собирается небольшая толпа. Слышны реплики: «Он умирает». «Клайнман умирает». «Умирает».

Джон. Клайнман, как он выглядел?

Клайнман. Как я.

Джон. Что значит, как вы?

Клайнман. Похож на меня.

Джон. Но Дженсен говорил, что он выглядел как Дженсен... высокий, светловолосый, похожий на шведа...

К л а й н м а н. О-о-ох! Вы будете слушать Дженсена или вы будете слушать меня?
Д ж о н. Хорошо, только не надо злиться...
К л а й н м а н. Ладно, не буду, только не надо молоть чепуху... Он был похож на меня...
Д ж о н. Ну, разве что он мастерски гримируется...
К л а й н м а н. Кое-что он уж точно делает мастерски, и я бы вам советовал поторопиться!
Д ж о н. Принесите ему воды.
К л а й н м а н. Зачем мне воды?
Д ж о н. Я думал, вы хотите пить.
К л а й н м а н. Смерть не обязательно вызывает жажду. Если, конечно, тебя не зарезали сразу, как поел селедку.
Д ж о н. Вы боитесь смерти?
К л а й н м а н. Я не боюсь умирать, просто не хочется при этом присутствовать.
Д ж о н *(задумчиво)*. Рано или поздно он доберется до каждого из нас.
К л а й н м а н *(бредит)*. Помогите друг другу... Единственный враг — Господь.
Д ж о н. Бедный Клайнман. Он бредит.
К л а й н м а н. Ох... о-ох... охау-у-у. *(Слабеет.)*
Д ж о н. Пойдемте, надо придумать другой план.

Начинают расходиться.

К л а й н м а н *(едва заметно приподнимается)*. И вот еще что: если загробная жизнь существует и мы все окажемся в одном месте, не зовите меня, я вас позову сам. *(Умирает.)*
М у ж ч и н а *(вбегает)*. Убийцу видели возле железнодорожных путей! Скорее! Туда!

Все устремляются на поиски убийцы, а мы ОПУСКАЕМ ЗАНАВЕС.

■

Из бесед в редакции

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ И ПИСАТЕЛИ ЗАПАДА

Участвуют: Николай Аркадьевич Анастасьев, Самарий Израилевич Великовский, Борис Александрович Гиленсон, Алексей Матвеевич Зверев, Валерий Борисович Земсков, Георгий Павлович Злобин, Тамара Лазаревна Мотылева, Александр Сергеевич Мулярчик, Дмитрий Михайлович Урнов.

Н. Анастасьев. Тема, которую мы выносим на обсуждение, как и в целом феномен сталинизма, в последние годы столь широко и страстно обсуждаются в текущей периодике, что вполне может возникнуть подозрение, будто, опоздав к началу разговора, редакция журнала теперь просто суетливо пытается догнать ушедших далеко вперед.

Это, разумеется, не так.

Прежде всего следует отметить, что комплекс явлений, объемлемых понятием «сталинизм», как правило, замыкается пока в общественном сознании пределами отечественной истории. Это естественно — кровь лилась не где-нибудь в Новой Зеландии, а дома. В то же время понятно, что за «железным занавесом» скрыться не удалось. Да не всегда, кажется, к этому стремились. «Большой террор» демонстрировал себя миру с вызывающей наглядностью, пытаясь выдать преступления чуть ли не за акт исторической справедливости. Нельзя сказать, будто мощная пропагандистская кампания не дала эффекта.

Об этом с достаточной определенностью и даже жесткостью говорится в нашумевшей статье Вадима Кожинова «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4). Мысль автора заключается в том, что основную, может быть, ответственность за обожествление Сталина несет мировая интеллигенция, в том числе и художественная. В подтверждение критик ссылается на известные книги Барбюса, Уэллса, Фейхтвангера и других.

Все это было.

Было, впрочем, и другое. Например, «Возвращение из СССР» Андре Жида, «Каталонский дневник» Джорджа Оруэлла (а вослед — «Скотный двор» и «1984»), «Слепящая тьма» Артура Кёстлера. Был и Набоков — рассказ «Истребление тиранов» или, скажем, стихотворение «О правителях»:

Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.

Легко, таким образом, устроить соревнование цитат из публицистических, беллетристических и стихотворных сочинений.

Но это путь заведомо бесперспективный. Утрачивается, как видим, сама проблема, которую Кожинов нащупал верно, но предложил удручающе схематическое решение. Это, к сожалению, теперь не новость: одни говорят об ответственности приспешников тирана, например, о черной роли Кагановича, другие, как видим, переносят тяжесть вины на слепцов с Запада.

Надо обратиться к сути дела. Надо, опираясь на факты, которые становятся все более доступными, выявить сложные взаимодействия мировой культуры и системы тоталитарного насилия над коренными понятиями человечности и свободы. Простыми ссылками на политическую конъюнктуру, на близорукость одних и проницательность других ничего тут не объяснишь.

Есть и вторая сторона вопроса.

Со времен студенческой молодости я четко усвоил мысль, сформулированную некогда Иваном Ивановичем Анисимовым: «Великая Октябрьская социалистическая революция есть самый патетический факт истории мировой литературы XX века». Впоследствии в том же духе высказался Борис Леонтьевич Сучков: «Рассматривая развитие мировой художественной мысли нашего времени, нельзя не признать, и в этом убеждают факты, что наиболее существенные и принципиальные его особенности были определены Великой Октябрьской социалистической революцией, оказавшей всестороннее воздействие на социальную и духовную жизнь человечества».

Я понимаю, что сейчас, когда мы с таким трудом избавляемся от комплекса социального мессианства, подобные высказы-

вания могут покоробить. И все-таки убежден, в них заключена важная доля истины. Ведь действительно наша революция поставила и попыталась решить глобальные вопросы духа и мироустройства — и мимо этой попытки художественное сознание мира просто не могло пройти. Иное дело, что в течение долгих лет воздействие Октября на культуру истолковывалось в вульгарно-оптимистическом плане. Многие внесли в это дело посильный вклад, в том числе, увы, и я, так что любые критические соображения по данному поводу прошу воспринимать прежде всего как самокритику.

Да, писатели мира откликнулись на советский эксперимент. Однако это был отклик не просто на завоевания социализма, но и на те духовные катастрофы, на те преступления, которые неизбежно порождались сталинизмом. Было не только очарование, но и горькое разочарование. Если удастся уловить эту сложную диалектику, то, может быть, сдвинувшиеся в нашем сознании пропорции культуры XX века обретут гармоническую форму. Разумеется, за нашим «круглым столом» мы можем обсудить лишь подходы к решению задачи. Но и этого немало.

Начать разговор я попросил бы Тамару Лазаревну Мотылеву. У нее, представителя старшего поколения советских литературоведов, активного участника давних и новых дискуссий, есть на то особое право.

Т. Мотылева. Люди моего поколения отчетливо помнят те объективные исторические причины, которые определили симпатию многих западных мастеров культуры к нашей стране. Иногда приходится слышать иронические суждения о бедных, наивных иностранных писателях (или общественных деятелях), которые верили, что в Советском Союзе создается рай земной, и в силу этого поддержали культ личности Сталина и связанные с ним преступления. На деле все обстояло гораздо сложнее. У каждого крупного писателя была своя, не простая и часто не прямая, траектория идейного развития. И тут играли немалую роль такие факторы, как ленинский декрет о мире, мировой экономический кризис, рост фашистской угрозы и опасность второй мировой войны, а потом роль Советского Союза в разгроме фашизма... Все это хорошо известно, и нельзя от этого отвлекаться, когда мы исследуем идейную позицию того или иного писателя.

Опыт первой мировой войны заставил многих интеллигентов на Западе по-новому, с большой остротой задуматься над кардинальными проблемами человечества — над сущностью и разными гранями понятия «гуманизм», над антитезами насилия и ненасилия, классового и общечеловеческого. Естественно, каждый писатель ставил эти проблемы по-своему, но оглядывался, иногда полемически, иногда благожелательно, на нашу страну.

Процитирую Горького: «Никогда еще слова чести, гуманизма и добра не имели такого значения и веса, какое имеют сегодня». Горький написал это Ромену Роллану в связи с дискуссией 1921—1922 годов вокруг группы «Кларте». В дискуссии ставились те самые кардинальные проблемы, о которых мы сегодня говорим. Каково гуманистическое содержание социальных революций, каким оно должно быть? Каков долг мастеров культуры по отношению к освободительному движению народов? В то время Горький только что успел опубликовать свои замечательные «Несвоевременные мысли». На французском языке они вышли в книжном издании в 1922 году, но в виде отдельных фрагментов были известны за рубежом и раньше. Роллан написал Горькому о своем споре с Барбюсом — он обратился к Горькому не как к арбитру, а как к более опытному собрату. И Горький ответил, в частности, теми словами, которые я процитировала. Речь шла о соотношении цели и средств, политики и морали. Барбюс утверждал, что проблема насилия — «деталь», и притом преходящая. Некоторые молодые соратники Барбюса считали, что долг интеллигенции — участвовать в повседневной политической борьбе на равных основаниях со всеми остальными трудящимися. Горький же был убежден, что у интеллигенции с в о й долг — обеспечивать моральный уровень происходящих общественных перемен. И конечно, проблема насилия не была для Горького деталью, как не была и для Роллана... Пожалуй, отсюда ведут свое начало споры среди художественной интеллигенции, так или иначе связанные с опытом нашей революции.

Мы очень часто в прошлом делили западных деятелей культуры на друзей и врагов. Каюсь, у меня даже одна книжечка так и называется — «Глазами друзей и врагов». Сейчас мы пришли к более зрелому взгляду на вещи и понимаем, что каждый крупный западный писатель по-своему проделал определенную идейную эволюцию, и признание или непризнание опыта нашей страны очень диалектически сочеталось у самых разных писателей, будь то Андре Жид или, скажем, Фолкнер. И мне думается, что среди зарубежных писателей, которые откликались на нашу революцию, наиболее интересно для изучения выделить «критикующих друзей», то есть тех, кто, признавая большое историческое значение Октябрьской революции, в то же время не скрывал отрицательного отношения к негативным явлениям нашей жизни, которые были видны и не слишком хорошо вооруженным глазом. Так, Брехт в «Рабочем дневнике» писал, что марксистам следует относиться к Советскому Союзу, как Маркс относился к германской социал-демократии — «положительно-критически». Это было написано в январе 1939 года, под впечатлением трагических известий из Москвы. Брехт и раньше не был склонен к бесконтрольным восторгам и в последующие годы реагировал на разные аспекты нашей действительности очень дифференцированно,— но это особая тема.

В первой половине 30-х, в период хороших отношений между нашей литературой и многими видными западными писателями, вошла в обиход очень вредная формула: «Сталин — это Ленин сегодня». Ее авторство не принадлежит Барбюсу — она была пущена в ход приспешниками

Сталина. Я совсем недавно убедилась в этом, прочитав в воспоминаниях Анны Михайловны Лариной, что она в январе 1934 года слушала в МГУ лекцию на такую тему. Барбюс принял эту формулу и включил ее в книгу о Сталине, будучи искренне, наивно убежден, что Сталин продолжает дело Ленина. Барбюс умер, напомню, в августе 1935 года, до печально известных судебных процессов. Многого он не знал и не сумел осмыслить. Позволю себе личное воспоминание. Я видела Барбюса, говорила с ним недели за две до того, как он заболел, на VII конгрессе Коминтерна — у меня был туда служебный пропуск. Барбюс выглядел грустным, крайне утомленным, и у меня сложилось впечатление, что он не слишком доволен только что вышедшей книгой; и в самом деле — там очень широко использованы материалы нашей печати, и очень мало чувствуется авторское, творческое участие.

Некоторое время спустя на Западе стали появляться книги, где тезис «Сталин — это Ленин сегодня» не то чтобы прямо цитировался, но был подспудно принят в таком истолковании: сталинизм и все уродства сталинизма — прямое следствие Октябрьской революции и того, что сделал Ленин. Вот по этой причине я без восторга отношусь к роману Кёстлера. Там эта мысль присутствует в подтексте: обвинение адресуется не только Сталину и его подручным, но и их непосредственным предшественникам и становится поводом для очень широких обобщений, отрицающих, по сути дела, саму возможность революционной переделки мира.

На мой взгляд, наиболее близка нам позиция тех зарубежных писателей, которые пришли к выводу: Ленин — да, Сталин — нет.

Но сегодня очень трудно представить себе, особенно людям молодым, какие усилия самостоятельного мышления надо было употребить, чтобы прийти именно к такому выводу, когда вся советская политическая пропаганда — и внутри, и вне СССР — была нацелена на то, чтобы представить Сталина и его политику как продолжение дела Ленина. Чтобы понять, что сталинизм не продолжение дела Ленина, а его вопиющее и с к а ж е н и е, требовались и жизненный опыт, и нравственное чутье, и смелость мысли, какими обладали лишь немногие. Иной раз именно те, кто нашей пропаганде не поддавались, оказывались ближе к истине, чем искренние друзья. Так, утверждение Стефана Цвейга (в 1936 году), что Сталин «исказил большевизм, как католическая религия исказила раннее христианство», делает честь австрийскому писателю, особенно потому, что Ромен Роллан, который долгое время был для Цвейга примером и наставником, пришел к аналогичному заключению лишь годом позже.

В круг наших сегодняшних размышлений уместно включить Горького, одного из лидеров передовой литературной мысли нашего столетия. К голосу Горького прислушивалась западная интеллигенция: одна ее часть — тогда, когда он писал «Несвоевременные мысли», другая — позже, когда он стал автором публицистики совсем иного рода. Эволюцию Горького очень поучительно проследить, хотя это и приводит к горестным раздумьям.

Мне не так давно удалось прочитать интересный документ — письмо Алексея Максимовича Ромену Роллану от 15 января 1924 года, письмо поистине трагическое. Он говорит, что начинает чувствовать себя человеком без родины: он не вернется в Россию, потому что там ему пришлось бы играть страшную роль «противника всех и всего». В первые годы революции он непрерывно спорил с Лениным — дружеские чувства, издавна связывавшие их, временами перерастали в «духовную ненависть»...

Смерть Ленина стала для Горького страшным ударом. Ромен Роллан свидетельствует в автобиографической «Панораме»: «...за Лениным после его смерти осталось последнее слово. И Горький признал его правоту». Добавлю: признал не сразу, но — очень радикально пересмотрел свои взгляды. Он отверг не только перехлесты и резкости «Несвоевременных мыслей», но и всю их концепцию — и об этом говорил не раз.

Последние годы жизни Горького — спорная территория: о них в нашей печати высказываются разные взгляды, подчас диаметрально противоположные. Иногда о Горьком пишут, что он «жил осторожно», показывался в президиумах больших собраний, но зло, творившееся в стране, его как бы не касалось. Это — одна точка зрения. Другую выразил, не очень давно, старый писатель Илья Шкапа. Он 20 лет провел в тюрьмах и лагерях, а до того работал под началом Горького в журнале «Наши достижения». В его интервью, напечатанном «Литературной газетой» 23 ноября прошлого года, в частности, сказано: «Не думайте, что Горький поддавался на сталинскую показуху, он многое понимал. Наступил момент, когда он прозрел и ужаснулся, но ничего сделать не мог».

Вот, значит, две концепции: либо «жил осторожно», либо «прозрел и ужаснулся». Мы еще многого не знаем об этом периоде жизни Горького: ведь значительная часть его переписки до сих пор не опубликована. Мы не знаем толком, в какие события он вмешивался, за кого заступался. И заступался ли?

Так или иначе, я считаю — не все со мной согласятся,— что самое положительное, быть может, единственно положительное в жизни Горького последних лет — его литературная деятельность, не только творческая, но и организаторская. Ликвидацию РАППа и создание единого Союза писателей не надо, по-моему, рассматривать как показуху и казенщину — тут влияние Горького, его авторитет сказались благотворно. Это не была унификация литературных сил, то была консолидация, на первых порах в какой-то мере удавшаяся. Рапповские крикуны были отстранены от руководства литературой. А многие крупные беспартийные писатели, которых раньше третировали как «попутчиков», получили широкое общественное признание.

Но в других областях нашей жизни участие Горького сказалось далеко не благотворно. Он по сути дела одобрил сталинскую расправу с научной интеллигенцией.

в частности, процесс Промпартии, одобрил уродства коллективизации, о которой, думаю, знал далеко не все. Иные его письма, в частности к Ромену Роллану, где Горький пытается все это оправдать и объяснить, производят просто жалкое впечатление. Не говорю уже о печально знаменитой книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», где Горький обозначен и как один из редакторов, и как автор вступительной и заключительной главы! Судьба заключенных тут предстает в таком идиллическом свете, что диву даешься. Как понять тут позицию Горького, что это — иллюзия или тактика? Думаю, что была отчасти и иллюзия, какой-то самообман, добровольное самоослепление. Возможно, Горький, преодолевая былые ошибки или то, что он считал ошибками, отчасти переносил на Сталина уважение, которого заслуживал Ленин, и закрывал глаза на кардинальное различие между тем и другим. Он как бы не разрешал себе увидеть, понять искажение ленинизма, в котором был виновен Сталин, и в известном смысле интегрировался в сталинскую Административную систему, сам того не желая.

Все это имеет отношение к истории мировой литературы нашего столетия, поскольку слово Горького имело всемирный резонанс. Он в определенной мере способствовал созданию «образа врага» — и внутреннего («Если враг не сдается, его уничтожают»), и внешнего («С кем вы, мастера культуры?»). Своей оригинальной, высокоталантливой — и я бы сказала, беспощадной — публицистикой он помогал насаждать дух нетерпимости. И это сказывалось на умонастроении западных писателей — и тех, кого этот дух нетерпимости привлекал, и тех, кого он, напротив, отталкивал. Мы не знаем, когда Горький «прозрел» и произошло ли это на самом деле. Но он не мог не чувствовать трагической двусмысленности своего положения.

Это сказалось в «Московском дневнике» Ромена Роллана, прожившего в доме Горького около месяца и принятого очень дружески. Однако откровенный разговор, на который Роллан надеялся, между ними так и не состоялся. Роллан чувствовал, что в жизни Горького что-то неладно, что-то его тяготит: это отражено в ролландовском дневнике. Отражены и некоторые критические наблюдения французского гостя над нашей действительностью. Но отрицательное отношение к Сталину у Роллана сложилось лишь после отъезда из СССР — в пору «московских процессов». Помимо его высказываний, которые мне уже довелось опубликовать (в «ИЛ», 1988, № 4), приведу строки из его дневника, появившиеся в новом выпуске «Тетрадей Ромена Роллана»: «Мы ошибались, когда надеялись, что новый мир строится в СССР на основах справедливости и человечности. Мы поверили в дело Ленина. А теперь его преемники попирают его ногами». Роллан, разумеется, не отождествлял «дело Ленина» с преступлениями его «преемников» — не зря он незадолго до смерти принял участие в праздновании 24-й годовщины Октября.

Горькому было трудно делиться своим горем, разочарованием и не хотелось подобное же разочарование вызывать у своего друга, который всегда защищал Советский Союз. Тут действовали определенные психологические факторы, их нелегко понять молодым, не жившим в то время. Бывало, что советские люди — и друзья Советского Союза, приезжавшие к нам,— критически относились к Сталину, но об этом не высказывались в силу укоренившегося представления, будто осуждать Сталина — значит причинять вред Советской стране, делу социализма. Так и получилось, что видные деятели культуры, наши и иностранные, критику сталинизма выражали в дневниках, письмах, личных разговорах — но остерегались ее выражать гласно. Так было с Ролланом, так было, возможно, и с Горьким. Тут действовало скорее ложно понятое чувство долга.

Мне думается, что, отвергая примитивное деление иностранных писателей на друзей и врагов, нам стоило бы более внимательно изучить позицию деятелей культуры, которых я условно называю «критикующими друзьями». Я ограничусь немногими примерами. В частности, примером Томаса Манна.

Здесь естественно возникает сопоставление: Томас Манн и Генрих Манн. Из них двоих Генрих Манн был политически более левым. Но именно он ошибся в оценке Сталина — вслед за Барбюсом и Фейхтвангером. А Томас Манн ничего не принимал на веру. Он читал и Фейхтвангера, и Андре Жида, читал советский журнал «Интернационале литератур» и книжку троцкиста Суварина о Сталине, а думал с а м. И хотел разобраться. К Советской России, к Советскому Союзу он относился очень доброжелательно, что не помешало ему резко осудить сталинские процессы, но только в дневнике, «для себя». В годы второй мировой войны он неоднократно в выступлениях по радио восхищался подвигами Советской Армии. А в послевоенные годы, на старости лет, хотел выработать какую-то общую, итоговую оценку. У него есть эссе «Наше время» — лекция, читанная в Чикаго в 1950 году. Он говорит там об Октябрьской революции как событии большого исторического значения и вместе с тем задумывается, почему в Советском Союзе внутриполитическая жизнь сложилась так, на западный взгляд, уродливо, так недемократично. И приходит к выводу: Россия — страна без демократических традиций, страна, которая долгие годы была под самодержавной властью царей. Манн пользуется термином «автократия», то есть самовластие. И когда революция победила, она приняла форму «самовластной революции», что придает новейшей русской истории трагический характер. Приведу еще одно высказывание Томаса Манна, относящееся к 1952 году: оно свидетельствует, что мыслящий писатель-гуманист и в период «холодной войны» ни в коем случае не отождествлял нашу систему с фашизмом, даже и тогда, когда внешне для того были серьезные поводы. «Коммунизм,— писал он,— это идея, корни которой гораздо глубже, чем у марксизма или сталинизма, и последовательное осуществление ее всегда будет выдвигаться

человечеством как требование и задача. Что же до фашизма, то это не идея, а мерзость, которой, будем надеяться, не подчинится ни один народ, ни большой, ни малый». Стоит привести здесь, наконец, и слова, сказанные Манном в беседе с французской журналисткой Арбан в 1950 году,— они уже цитировались в нашем журнале»[1]: «...когда я говорю о коммунизме, я не имею в виду сталинизм, нет. Я имею в виду коммунизм и русскую революцию 1917 года. Это было большое политическое событие, социальная революция, последовавшая за политической революцией, французской,— и та, и другая оставила след в жизни человеческого общества».

Роже Мартен дю Гар в данном контексте сопоставим с Томасом Манном. Хотя бы в том, что оба они — как художники — тесно, преимственно связаны с русской классикой, особенно с Толстым, но в нашей стране ни разу не были и о ней судили издалека, взвешивая все «за» и «против», на основе разнообразной и подчас противоречивой информации. Мартен дю Гар урезонивал своего друга Андре Жида, когда тот сблизился с коммунистами, и писал ему в 1933 году: «Я неизменно, с благожелательным любопытством, стараюсь понять усилия большевизма. Но я отказываюсь быть примкнувшим... Перечитайте Гёте, и вы увидите, какой взвешенной, умеренной, критичной осталась у него поддержка принципов французской революции!» И в самом деле: Гёте, как известно, относился к французской революции с большим уважением, но террор якобинцев решительно отрицал. Вот примерно так же — и с уважением, и с критикой — относился Мартен дю Гар к нашей революции. Это отражено не только в его письмах, но в посмертно опубликованном неоконченном романе «Подполковник де Момор», и в подготовительных материалах к нему. К наследию Ленина он проявлял интерес, даже читал кое-что, работая над финалом «Семьи Тибо», а сталинизм решительно отрицал, называл его «государственным капитализмом», приведшим к «несправедливостям и даже тирании». Ленин, по мнению писателя, напрасно не прислушался к «старику Плеханову», считавшему, что не надо торопиться с социалистической революцией в стране, которая не прошла через стадию буржуазной демократии. По словам Мартена дю Гара, Ленин «был бы огорчен, если бы мог видеть, какой стала Россия при Сталине!» Как видим, и для автора «Семьи Тибо» Сталин — не «Ленин сегодня».

Многие западные деятели культуры были против капитализма, за торжество социальной справедливости, демократии, гуманизма. Но они видели недостаток демократии, недостаток гуманизма или даже прямой антигуманизм в государстве, во главе которого стоял Сталин. И именно поэтому не стали нашими друзьями или перестали ими быть.

А. Зверев. Неподалеку от дома, где я живу, расположена площадь — она носит имя Ромена Роллана. По-моему, это единственное имя западного писателя, почти что нашего современника, вошедшее в московскую топонимику. И когда я проезжаю по той площади, я всякий раз думаю о Роллане, о поколении, к которому он принадлежал, вообще о судьбах левой западной интеллигенции в 30-е годы.

Я понимаю: Роллан удостоился такой чести не оттого, что его у нас единодушно признают крупнейшим художником века; такого не скажут и самые пламенные почитатели «Жана-Кристофа». Ясно, что площадь назвали в честь какого-то ролановского юбилея и тем самым стремились отметить заслуги французского писателя как друга нашей страны, пропагандиста наших идеалов и ценностей. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить именно о том, действительно ли Роллан и люди примерно тех же, что у него, взглядов помогали укрепиться престижу нашей страны в мире, нашей репутации — серьезной, а не парадной и официозной. Действительно ли они заслужили нашу благодарную память?

Хочу сразу внести необходимое уточнение: искренность Роллана, когда он писал о нашей стране, его субъективную честность, не допускавшую и мысли о поиске личных выгод, я ни на секунду не ставлю под вопрос. Сомневающихся в том, что мотивы Роллана были самые достойные, можно отослать к только что у нас напечатанному дневнику, который он вел во время поездки в Москву летом 1935 года. Там очень много удивительно наивного, а порой, мне кажется, и свидетельств слепоты прямо-таки обезоруживающей. Однако напрасно было бы искать примеры, когда Роллан кривит душой. Он действует по убеждению, которое можно принять или отвергнуть, но нельзя отождествить с позой. Таков он и в дневнике, и в переписке с Горьким, нам еще предстоит прочесть ее.

Это уточнение я делаю не только чтобы быть правильно понятым в дальнейшем, но еще и по той причине, что сейчас входит в обычай лепить ярлыки сталинистов многим из тех, кто представлял европейскую культуру в 30-е годы, да еще подозревать у них не вполне бескорыстные побуждения. Вот хотя бы упоминавшаяся статья Кожинова «Правда и истина». Речь там идет о рыбаковских «Детях Арбата». Но походя очень тяжелые обвинения предъявлены ряду западных писателей левой ориентации. Они оказываются ответственными за возвеличивание Сталина и системы, им олицетворяемой. На них чуть ли не возлагается главная вина за трагедию, пережитую нашим обществом.

Доказательствами автору заниматься некогда, он спешит обличать. Поводы для его суровых сентенций есть вполне реальные. Но согласиться с логикой и пафосом этой статьи (и подобных ей) я не могу, потому что тут слишком многое перевернуто с ног на голову: там, где следовало бы видеть драму людей определенного типа мышления, видят разве что не их преступление. И даже не пытаются потщательнее разобраться в каждом конкретном случае.

Теперь обличения у нас стали делом заурядным, благо они не возбраняются. Взяв в руки лом потяжелее, кое-кто торопится к памятникам в нетерпенье переустроить

[1] См. «ИЛ», 1988, № 4.

литературный пантеон. Вспоминается Герцен, советовавший своим оппонентам из стана молодой российской демократии: «Любите свободу даже с ее неудобствами». У нас ее больше любят, позабыв о таком неудобстве, как обязанность объективно осмыслить всю логику истоков и следствий

Я вовсе не хочу сказать, что лучше бы, как встарь, к каждому памятнику складывать гирлянды, не задумываясь, на месте ли он стоит. Складыванием гирлянд мы занимались годы и десятилетия. Есть такой неофициальный термин «генеральская литература» (или «секретарская»). Под ним имеется в виду посредственная словесность, защищенная от критики должностью автора. Термин использовался только в разговорах об отечественных сочинителях Но ведь есть и такая же «неприкасаемая» зарубежная культура.

Существует ряд имен, относительно которых раз и, как казалось, навсегда была установлена безусловно положительная точка зрения. Имена, входящие в негласный, но всем известный список, подбирались по двум основным критериям — реализм (желательно такой, к которому без слишком уж очевидных натяжек можно было бы прибавить эпитет «социалистический») и отношение к СССР: чем больше энтузиазма, переходящего в апологетику, тем вернее шанс сделаться бесспорным классиком, если доверять нашим академическим трудам и вузовским учебникам по литературе XX века.

Так стал у нас безусловным классиком тот же Роллан. И Драйзер. И Уэллс. И Бернард Шоу. И Генрих Манн. В их наследии предлагают видеть некий эталон. Прежде всего потому, что они нам близки по духу и по общественной позиции.

На мой взгляд, сегодня мы не только можем, но и должны подойти к названным писателям с необходимой объективностью, попробовав понять их реальное место в культуре кончающегося столетия и реальную меру их художественных свершений.

Самое тут главное — это понять объективные мотивы, предопределившие позицию таких писателей в 30-е годы, их реакцию на тогдашнюю советскую действительность, их роль пропагандистов «советского эксперимента» на Западе Мне кажется, судьба писательского поколения, представленного упомянутыми авторами, была печальной и даже драматической. Самих себя они считали носителями идеалов «активного» гуманизма (в противовес «абстрактному»), хранителями разума, светочами прогресса, а некоторые из них — и провозвестниками революционного сознания. Советский Союз для них был прообразом общества совершенно нового типа, где, как они верили, становится реальностью вековая мечта человечества о всеобщей справедливости и получает зримые подтверждения доктрина исторического оптимизма, разделявшаяся ими всеми. Из европейского далека, из кабинетного уединения происходившее в СССР виделось в розовом свете, и не смущали ни ужасы коллективизации, ни такие зловещие предвестия надвигавшегося террора, как, например, процесс Промпартии или расправа над Замятиным и Пильняком. Уже было предостаточно фактов, ломавших очень стройную схему, согласно которой СССР, как выразился Роллан, прокладывает «новые дороги великого пролетарского гуманизма — этого синтеза сил мирового сознания». Но от схемы было сложно отказаться. Психологически сложно. Да и не только психологически.

Ведь Советский Союз для всех этих писателей и для миллионов людей за Западе был единственным надежным бастионом на пути фашизма, наглевшего год от года, единственной страной, внушавшей надежду во времена, когда Европа и Америка были охвачены мировым экономическим кризисом со всеми его драматическими последствиями. Так хотелось верить, что надежда не обманет! И в конце концов, существенно ли, что «новые дороги» иной раз получаются ухабистыми, ведь главное — цель, к которой они ведут.

С подобными настроениями приезжали эти писатели в нашу страну, а дальше начинал действовать механизм самообмана, заставлявший старательно не замечать очевидное или, вопреки разуму и чувству, верить откровенной лжи, на которую сталинизм был куда как изобретателен. Тут очень трудно определить, где кончалось легковерие и вступал в дело своего рода защитный инстинкт, побуждающий изо всех сил оберегать собственные априорно выношенные убеждения, пусть реальность противоречила им на каждом шагу. Где сказывались сугубо политические резоны — нельзя подвергать критике СССР, так как это означало бы пособничество реакции и фашизму,— а где давал себя почувствовать страх за свой престиж интеллектуала, который, мягко говоря, приукрасил реальность, год за годом восторженно прославляя свершения советского общества.

Была целая совокупность причин, заставлявших Роллана, Шоу, Драйзера, игнорируя действительность, укреплять представление об СССР как «потоке энергии, веры, радости» (Роллан). Если мы дорожим справедливостью, а не прямолинейной однозначностью суждений, пренебрегать этими причинами нельзя. Но нельзя не видеть и объективного результата их стараний склонить общественное мнение на сторону Советского Союза, ради такой цели поступаясь истиной и нравственным чувством.

Результатом — они об этом, конечно, не думали — оказалось пособничество сталинизму. Иногда — совершенно откровенное его прославление. Уэллс, беседовавший со Сталиным в 1934 году, оповещает мир, что «никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нем нет ничего зловещего и темного, и именно этими его качествами следует объяснять его огромную власть в России. Никто его не боится, и все верят в него... Его искренняя ортодоксальность — гарантия безопасности его соратников». Процитировав эти слова, Рой Медведев в книге «О Сталине и сталинизме» пишет, что английского фантаста сбила с толку проявленная Сталиным обходительность, но на деле все обстояло не так просто. Уэллс еще до встречи со Сталиным хотел увидеть его таким, каким описал. Он не мог быть объективным. Это означало бы признать оши-

бочной позицию, на которой Уэллс стоял годами, утверждая, что прогресс необратим и неуклонен, а строительство социализма в СССР служит тому наглядным подтверждением.

Год спустя со Сталиным встретился Ролан и занес в дневник сталинские «прекрасные, теплые, убедительные слова о сущности марксизма, которая состоит в том, чтобы помочь человеку вырваться из пут необходимости и обрести свободу. Полнота личности — это главная цель». Для нас, знающих, какую «полноту личности» реально обретал человек в годы сталинизма, высказывание Вождя звучит как издевательство над смыслом. Но для Роллана оно прозвучало небесной музыкой. И опять же — оттого, что, по руководившей Ролланом логике, во главе общества, идущего к «социальному идеалу справедливости и всечеловечности», должен был находиться человек, воплощающий этот идеал наиболее гармонично. А реальности надлежало отступить перед силою такой логики.

Теперь может показаться непостижимым, что знаменитые писатели, снискавшие славу великих знатоков жизни и человеческого сердца, могли настолько не замечать сути явлений, которые наблюдали своими глазами. Иногда приходится слышать: они не знали, им показывали только фасад, пряча изнанку.

Хорош писатель, если он довольствуется созерцанием одного фасада! Да и не верится в эту неосведомленность. В том же московском дневнике Роллана есть записи и о голоде, и о беззакониях, и о принявшем гротескные формы культе Сталина. Пусть они тонут в потоках восторженных восхвалений, но все же они есть, так что о неведении не приходится говорить.

Тут было другое — выбор. Роллан молчал или, мягко выражаясь, приукрашивал истинное положение в СССР, сочтя, что в этом его долг. Есть в его дневнике просто поразительные страницы о разговоре со Сталиным относительно недавно принятого закона, по которому разрешалось выносить смертные приговоры детям с двенадцати лет, если их уличали в «террористических замыслах». Роллан несколько смущен не имеющим прецедентов юридическим нововведением. Но что именно его тревожит? А то, что на Западе закон может произвести неблагоприятное впечатление. Сами казни он готов признать необходимостью: еще бы, Вождь столько ему нарассказывал «о чудовищных преступлениях женщин и детей».

И это Роллан, всерьез себя считавший воспреемником, даже духовным наследником Толстого и Ганди! Удивляться ли после этого славословиям тирану, вышедшим из-под пера Уэллса? Удивляться ли Бернарду Шоу, который, побывав на Украине в разгар голода, по возвращении отмел «домыслы» о вымирающих селах и сложенных штабелями детских трупах? Он отделался шуткой, достойной увенчать историю человеческой глупости (помните, ее собирался написать один персонаж Курта Воннегута): «Что за чепуха, меня там так вкусно кормили!»

Пелена, сотканная из легкокрылой веры и пристрастия к теориям «поверх» фактов, застила взор всех этих властителей умов. И они подыгрывали сталинскому режиму, гримировали его и облагораживали, находили сотни разумных оправданий тому, чего не должна оправдывать совесть, и не меньше веских причин, по которым нельзя было сказать правды. Я назвал судьбу таких писателей драматической, имея в виду, что ими руководили очень благородные побуждения: жажда сплотиться вокруг СССР для отпора фашизму. Но была ведь и другая драма — творческая. И в ней они повинны сами, потому что писатель, замалчивающий или лгущий, оглядываясь на политические соображения, совершает предательство по отношению к собственному призванию и таланту. Что же, за это они все в той или иной мере расплатились творческим оскудением: кто явным (поздний Уэллс с его до смешного наивной публицистической книжкой «Путеводитель по новому миру»), кто долгим творческим спадом (блеклость «Очарованной души» на фоне «Жана-Кристофа»).

Да и сам аргумент — молчание, чтобы не дал трещины антифашистский фронт,— не всегда уместен. Драйзер, например, посетил СССР еще в 1927 году. Фашистская угроза тогда еще оставалась делом будущего. А у нас уже близился «великий перелом»: разгромлен Троцкий, подготовлена почва для устранения с политической арены Зиновьева и Каменева, укрепляется диктатура. Помня об этом, перечитайте книгу «Драйзер смотрит на Россию». И попробуйте в ней отыскать реальные очертания нашей действительности. Сделать это практически невозможно: сплошные ликования по поводу строек и стремительных темпов, а настоящая жизнь напомнит о себе разве что сетованиями автора по поводу того, что скверно метут улицы и не во всех квартирах есть ванные. Десять лет спустя Фейхтвангер в «Москве, 1937» достигнет примерно тех же творческих высот. Да еще добавит несколько позорных страниц в оправдание террора.

Я касаюсь разных писательских индивидуальностей, но есть и нечто общее: неспособность справиться с советской действительностью, неготовность и более того — нежелание увидеть в ней то страшное и трагическое, что не оставляло камня на камне от представлений о земном рае, который не сегодня завтра осуществится на шестой части мировых пространств. Верность достаточно ходовым в ту пору представлениям оказалась для этих писателей выше первой обязанности каждого художника, пусть и с малым дарованием,— говорить истину, насколько он способен ее постичь. В искусстве это грех непростительный. Наверное, незачем пояснять, отчего я не испытываю умиления, проезжая через площадь Ромена Роллана.

Мне приходилось слышать, что в тогдашних условиях писатель, дорожащий идеями демократии и прогресса, не мог быть настроен в отношении СССР по-другому. Неправда. Пример Андре Жида, тоже переболевшего безоглядной верой в «советский эксперимент», от которой его излечили впечатления московской поездки хрестоматиен. Есть и другие. Мало кто знает, что в том же 1927 году, незадолго до

Драйзера, в Советском Союзе побывал американский поэт Каммингс. И написал о своем путешествии небольшую книжку. Каммингс в юности был футуристом, он многим близок молодому Маяковскому, не чужд анархических настроений, и в книжке все это, конечно, сказалось. Там есть эпатаж, есть просто шутовство, но нет никакой лжи «во спасение». Глаз у Каммингса был острый; он точно уловил немало такого, что расцветало зловещими побегами; жесткий контроль над свободой развития личности, фанатизм толпы, требующей расправ над политически неблагонадежными, усиленно внедряемое единомыслие в искусстве. С Каммингсом можно спорить, но уж, во всяком случае, его волновали вещи посерьезнее, чем санитарное состояние подворотен и стерильность шаек, выдаваемых в банях.

Задержись Роллан еще неделю, и на Белорусском вокзале он бы встретился с приехавшим к нам Сарояном, тогда совсем молодым писателем, напечатавшим всего одну (правда, уже сделавшуюся исключительно популярной) книжку рассказов. О своих впечатлениях Сароян рассказал через три года в книге «Вдох и выдох». Естественно, главное место в ней принадлежит Армении, впервые им в тот раз увиденной. Хачкары, монастыри, севанская голубизна... И страничка, посвященная Егише Чаренцу, покончившему с собой в ереванской тюрьме. Она одна скажет об атмосфере наших 30-х больше, чем вся ролландовская публицистика той поры вкупе с дневником, который он из страха повредить СССР — право же, ни на чем не основанного, если считаться с общей тональностью записей,— запретил публиковать в ближайшие пятьдесят лет.

Артур Кёстлер был членом Германской компартии с 1932-го по 1938 год, корреспондентом левых берлинских газет, где часто помещались полные энтузиазма репортажи из СССР. Когда задание подготовить такие репортажи получил Кёстлер и приехал за материалом в 1932 году, его попросили написать книгу о наших успехах Он это воспринял как партийное поручение и выполнил работу в срок (предполагалось, что книгу выпустят под псевдонимом, а автора для пущей убедительности представят как обычного буржуазного журналиста). Что это была за книга, мы никогда не узнаем, потому что ее не издали, а рукопись уничтожили. В автобиографии Кёстлер пишет, что изо всех сил старался воспевать свершения, не касаясь таких несуразиц, как эшелоны со спецпереселенцами и переполненные приемники для осиротевших крестьянских детей, но, видимо, это у него плохо получилось. А все последующее из биографии Кёстлера известно: эмиграция после прихода Гитлера к власти, Испания, несколько месяцев во франкистской тюрьме, чтение отчетов о московских процессах, имевших прямые аналоги в республиканском Мадриде. А в итоге — «Слепящая тьма».

Джордж Оруэлл пришел к социалистическим убеждениям с юности и сохранил им верность до конца, что бы ни писали о его мнимом ренегатстве. «Демократический социализм», который он исповедовал, можно квалифицировать как наивный и утопичный, но в том, что это была не маска, а вера, нет ни единого повода усомниться. И «Скотный двор», и «1984» написаны социалистом, заклеймившим сталинизм как ужасающую подмену самой идеи равенства и справедливости, двух исходных, важнейших принципов социалистической доктрины. В СССР Оруэлл не бывал, зато прошел через Испанию, чудом спасшись, когда совершался разгром оппозиции в лагере Республики.

В общем, почти такой же путь проделал Кёстлер. Та же драма разочарования в «советском эксперименте», поначалу вызывавшем столь пламенные надежды. Тот же бескомпромиссный антифашизм, который эти люди доказывали не памфлетами и выступлениями на писательских конгрессах, а тем, что дрались в Испании, отнюдь не метафорически рискуя жизнью. И тот же нравственный императив честности перед своей совестью и перед читателями. В труднейших условиях 30-х поминутно ощущать этот императив становилось необходимостью.

Утратившим такое ощущение пришлось дорого расплачиваться. История, как известно, не считается с благими намерениями. Она принимает во внимание только объективные результаты и цену, какой они достигнуты.

Все это я говорю к тому, что распространившееся представление, будто западные интеллектуалы капитулировали перед сталинизмом, может основываться только на неуважении к фактам. Долгое время факты, подобному представлению противоречащие, у нас просто обходили молчанием или комментировали с тенденциозностью, о которой стыдно вспоминать. Но они не утратили значения, глубоко поучительного для нашего времени.

И драма тех, кто совершенно искренне считали себя друзьями Советского Союза, идя на компромиссы, чтобы не нанести ущерб нашей репутации, поучительна ничуть не меньше. Не хотелось бы, чтобы меня поняли так, будто я отказываю этим писателям в серьезном художественном значении. «Жан-Кристоф» и «Дом, где разбиваются сердца» останутся в литературе, что бы мы ни думали о линии поведения, выбранной их авторами в 30-е годы. Но надеюсь, что миф о неоценимом вкладе, который Роллан, Шоу, Драйзер и литераторы этой же ориентации внесли в укрепление нашего престижа за рубежом, развеется, когда мы поймем, какой престиж они, по сути дела, укрепляли. А если этот миф утратит над нами власть, возможно, мы наконец напишем историю литературы XX века, хотя бы в главном соответствующую реальности.

Б. Гиленсон. Мне хочется еще раз вернуться к мысли Николая Аркадьевича: Октябрь, точнее послеоктябрьский опыт, вызвали не только очарование, но и горькое разочарование. Увы, мы слишком долго писали об «очаровании», об «очарованных душах», создавая препарированные антологии типа «СССР глазами друзей». Все было значительно сложнее и драматичнее. Да, мы не только потеряли многих искренних друзей, а иных поставили в нелегкое

положение. Была дискредитирована в глазах некоторых честных людей Запада сама идея социализма, обладавшая могучей, притягательной силой. Может быть, драматизм, а порой и трагизм происшедшего с особой наглядностью виден на примере американской литературы «красных 30-х».

Вспомним слова Ведущего из пьесы Артура Миллера «Американские часы»: «Бывали моменты, когда слово «революция» произносилось не просто ради красного словца». Это сказано о 30-х. Тогда в литературе произошло «второе открытие Америки» — людей труда, рабочих, фермеров, забастовщиков. Процесс «полевения» захватил писателей, составлявших цвет национальной словесности. Потом на исходе десятилетия кое-кого из них постигло разочарование, они отошли от компартии, пережили острый кризис. В чем причины происшедшего? До сих пор мы не сказали об этом всей правды. Я коснусь вкратце лишь одного аспекта, приведу лишь некоторые факты, находившиеся в «зоне умолчания».

На переломе 20—30-х годов появилось немало книг, пронизанных симпатией к «коммунистическому эксперименту» в СССР: о них писали, из них переводили отдельные «удобные» отрывки. Это — уже упоминавшаяся книга «Драйзер смотрит на Россию» и «Заря над Россией» Уолдо Фрэнка. Это Анна Луиза Стронг с ее «Красной звездой над Самаркандом» и «Дорогой к седому Памиру»; и молодой Ленгстон Хьюз («Негр смотрит на Советскую Среднюю Азию»). Это радикальные публицисты Корлисс и Маргарет Ламонты с их «Россией день за днем» и «Красная добродетель» Эллы Уинтер, «Русская земля» Альберта Риса Вильямса. Упомяну и книгу фотокорреспондента и публициста Маргарет Борк Уайт «Вглядываясь в Россию». Даже такой далекий от политики писатель, как Томас Вулф, вынашивал в середине 30-х «план монументальной работы» в трех томах под названием «Успех русского коммунизма»...

В большинстве своем литераторы — наши гости — отнюдь не были наивно-восторженными новичками, принимавшими на веру пропагандистские клише. В их книгах немало верного и глубоко справедливого. Будем иметь в виду, что некоторые из них, не знавшие языка, ловко «отлученные» от негативных впечатлений и информации, питая симпатии к нашей стране, тщательно «дозировали» критику, дабы не дать лишних козырей недругам социализма. К тому же «большой террор» был еще впереди...

Но одновременно создавался целый пласт литературы — книги, статьи, очерки, написанные очевидцами, содержащие оценки и выводы иного рода. Мы отмахивались от них как от «клеветнических», их авторов предавали анафеме. Но, перечитывая их сегодня, не перестаешь удивляться: полвека назад уже было сказано многое, о чем сегодня пишут наши историки и публицисты.

Я имею в виду не только литераторов и журналистов, не скрывавших своего неприятия социализма, чьи книги носили откровенно тенденциозный, антисоветский характер. Уильям Чемберлин, к примеру, отдавая должное трудовому энтузиазму наших людей, особенно молодежи, представлял индустриализацию как осуществляемую исключительно с помощью террора («Железный век России», 1934), а само наше государство — как абсолютно тоталитарное, построенное на основе ложной, фантастической и утопической идеи («Фальшивая утопия. Коллективизм в теории и на практике», 1937). Или Макс Истмен, который находил в нашем искусстве и литературе лишь удручающие плоды партийного «зажима» и мертвящей регламентации («Писатели в мундирах», 1934). Или, наконец, Юджинс Лайонс, описавший увиденное за шесть лет работы в Москве (1928—1934) в мрачных, пугающих, черных красках («Аккредитация в стране Утопия», 1936). Кстати, Лайонс пишет о сильном впечатлении, которое произвел на него Сталин во время встречи. Видимо, Сталин обладал неким магнетизмом и артистическими данными; многие западные визитеры это испытали, например Фейхтвангер. Может быть, этим и объясняется то, как изобразил Сталина Уэллс (увидел его таким, каким хотел увидеть, по словам Алексея Матвеевича).

Для нас важна в свете обсуждаемой проблемы позиция группы крупных художников слова, критиков, публицистов, придерживавшихся демократических, радикальных взглядов, симпатизировавших нашей стране. Набиравший силу маховик сталинского террора, политические процессы 1936—1938 годов и чудовищные обвинения, выдвинутые против старой большевистской гвардии, а затем советско-германский пакт — все это вызывало у них мучительные вопросы, недоумение, тревогу, а то и просто чувство протеста.

В этом смысле заслуживает пристального внимания хемингуэевский «Колокол», до сих пор издаваемый у нас с купюрами и без столь необходимых комментариев. Не исследована в полной мере историческая основа произведения с учетом наших современных знаний о гражданской войне в Испании. А между тем Хемингуэй сказал в «Колоколе» правду не только о героизме республиканцев, но и об их ошибках, просчетах, а главное — о том вреде, который нанесли антифашистской борьбе сталинизм и его практика репрессий. В тексте романа есть прямые и косвенные указания на осуществляемый в СССР террор против «врагов народа», а выведенная Хемингуэем фигура одержимого шпиономанией Марти, уничтожающего собственных товарищей, не только конкретное историческое лицо (позднее Марти, работника Коминтерна, исключили из Французской компартии), но и, конечно же, обобщенный образ деятеля сталинистского типа. Знал Хемингуэй и о том, что в Испании практикуются ежовские методы; об этом говорит не переведенный у нас его рассказ «За бугром». Знал и о том, что многие участники испанских событий, например Кольцов, были репрессированы. Кстати, Кольцова Хемингуэй относил к числу своих «интеллектуальных друзей», однако образ Каркова-Кольцова в романе достаточно сложен; в его уста — и здесь Хемин-

гуэй не погрешил против правды—вложены слова оправдания политических убийств...

Заслуживает серьезного анализа и эволюция Джона Дос Пассоса, который после дела Сакко и Ванцетти (1927) резко «полевел» и находился в начале 30-х в рядах радикального движения. Дневники и письма Дос Пассоса, его роман «Приключения молодого человека» говорят о том, что писатель, начиная с момента убийства Кирова, с нарастающим беспокойством следил за усилением террора в СССР, а оказавшись в Испании, стал свидетелем необоснованных, как он считал, репрессий со стороны контрразведки.

Надо разобраться и в том, почему после антифашистского романа «У нас это невозможно» Синклер Льюис в 1937—1938 годах стал писать о «красной» опасности, а в романе «Блудные родители», произведении художественно слабом, описал коммунистов в резко негативных тонах.

Все это вело к распаду сложившегося к середине 30-х годов широкого антифашистского фронта мастеров культуры. Старейший публицист, социалист Скотт Ниринг, озадаченный сталинскими репрессиями, ставил вопрос так: если победа социализма сталинского типа означает «жесточайшую регламентацию в условиях бюрократического военного механизма» и «утрату всех наших свобод», то не платим ли мы слишком большую цену за подобную победу? Драйзер, столь горячо поддерживавший нас в 30-е годы, в дискуссии с Дос Пассосом также выразил свою озабоченность московскими процессами, тем, что в СССР власти «предписывают гражданам образ их мыслей». Драйзер полагал, что подобная ситуация «временная», что это «попытка добиться идейного единства», что в перспективе должна наступить «либерализация». Анна Луиза Стронг считала (в книге «Эра Сталина»), что террор — результат проникновения в органы НКВД нацистской «пятой колонны».

Альберт Рис Вильямс, автор фундаментального труда «Советы» (1937), своеобразного путеводителя по «советскому образу жизни», в целом добросовестно излагал официальную точку зрения на многие вопросы, такие, как возвышение Сталина, «наследника дела Ленина», «верного его продолжателя», а также политические процессы. Однако стоило Вильямсу в 1938 году во время пребывания в СССР выступить в защиту репрессированных друзей, как ему предложили покинуть страну. Затем на протяжении почти двадцатилетия имя Вильямса не упоминалось на страницах нашей прессы и появилось лишь после XX съезда. А все это время Вильямс продолжал выступать в защиту нашей родины...

Трагические события в СССР были не только предметом внимания писателей, они определенным образом влияли на их эволюцию. Показателен пример Эдмунда Уилсона, публициста, историка, мемуариста, «американского критика номер один», близкого в начале 30-х годов к компартии, серьезно изучавшего марксизм. В 1935 году Уилсон посетил Советский Союз: в книге «Путешествие по двум демократиям» он писал о дружелюбии, открытости наших людей, их способности идти на жертвы. Но его, американца, уже шокировала начавшаяся мифологизация Сталина, режим которого он воспринимал как «термидорианский», порывающий с ленинскими принципами. С тех пор опыт СССР постоянно находился в поле зрения Уилсона, определял его политическое миросозерцание. И тогда, во второй половине 30-х, он писал о нас немало доброго, называл советский театр «лучшим в мире», оспаривал «миф о ложной революции» (из упомянутой мной книги Юджина Лайонса). Московские процессы — он считал их фальсифицированными — раскрыли перед ним сущность сталинизма как режима, построенного на терроре, лжи и извращении истории. При этом Уилсон отделял сталинизм от наследия Ленина. О нем, «великом современнике», он тепло писал в имевшей большой общественный резонанс книге «К Финляндскому вокзалу», где прослеживал развитие революционных, социалистических идей, хотя книга отнюдь не апологетика Ленина. Отдельные главы книги посвящены Ленину и Троцкому. Не соглашался Уилсон и с теми, кто полагал, что эксцессы сталинизма означают «конец марксизма».

Заметим, что осуждение сталинизма не мешало Уилсону делать в целом взвешенные политические выводы, призывать своих коллег «оценивать Россию реалистически». Большой друг и знаток русской классической литературы — этот аспект его деятельности еще ждет специального анализа,— он после XX съезда КПСС назвал развенчание культа личности «добрым знаком».

Сходную эволюцию проделал и Малькольм Каули, один из последних ныне здравствующих ветеранов «красного десятилетия». Близкий к компартии, симпатизировавший нашей стране, он, как и многие радикалы, пытался найти логическое объяснение тревожным вестям, приходившим из России. Поначалу Каули думал, что сталинские жестокие меры — необходимость, продиктованная стремлением «наращивать военную и экономическую мощь перед лицом международного фашистского альянса». Постепенно его опасения нарастают. Но, подобно Уилсону, Каули отмежевывается от откровенных врагов социализма. Еще в 1937 году он определяет свою позицию как «прорусскую, прокоммунистическую, правда, с большими оговорками». По его мнению, политика Бухарина «мудрее» той, что проводит Сталин и предлагает Троцкий. Но Каули уже не может считать «совершенной» страну, где «два или три миллиона человек умерли от голода». После заключения советско-германского пакта Каули отходит от левого движения.

Подобный путь прошли и некоторые другие участники левого движения: публицист Джозеф Фримен, автор широко известных мемуаров «Американское завещание», критик Гренвилл Хикс, написавший первую фундаментальную биографию Джона Рида...

Драматизм ситуации усугублялся перехлестами и просчетами иных левых критиков, действовавших — и об этом нельзя забывать — в духе времени и определен-

ных установок компартии, а шире говоря — Коминтерна. Они проявляли сектантство, догматизм, порой глухоту к эстетической природе искусства, но зато чуткость к любым политическим «уклонам» крупных художников слова — на них навешивались уничижительные обвинения, они «отлучались» от левого движения.

Стоило, например, Уолдо Фрэнку, романисту, публицисту и культурологу, первому президенту Лиги американских писателей, не раз выступавшему в поддержку компартии, напечатать в мае 1937-го в «Нью рипаблик» письмо с предложением провести открытый процесс над Троцким, как последовал грубый окрик со стороны тогдашнего Генерального секретаря компартии Эрла Браудера (ирония судьбы: позднее он был исключен из партии за оппортунизм), и к писателю был пришпилен ярлык «троцкиста». А ведь Фрэнк, как явствовало из его письма, действовал из лучших побуждений. Он полагал, что открытое и честное разбирательство поможет преодолеть раскол в антифашистском фронте, укрепит авторитет СССР, будет содействовать «прогрессу революционного дела».

Может быть, особо наглядным примером разносной критики стала книга Майкла Голда «Полые люди» (1941), подводившая итог десятилетию. Сказав немало справедливого о достижениях «красной декады», Голд, встав в прокурорскую позу, вооружившись фразеологией, напоминавшей печально известные речи Вышинского, устроил своего рода литературную «проработку» «ренегатов» и «отступников». В его обширном «проскрипционном» списке оказались снабженные самыми нелестными эпитетами и характеристиками Фаррел и Фрэнк, Робинсон Джефферс и Сароян, Арчибальд Маклиш и Шервуд Андерсон, Эдмунд Уилсон и Льюис Мэмфорд, Винсент Шиэн и Клиффорд Одетс. Не был забыт и Хемингуэй, которого Голд, отдавая ему должное как талантливому художнику, упрекал за «узость мировоззрения», «бедность» тематики и написание политически ошибочного романа «По ком звонит колокол». Стоит ли повторять, что подобные действия могли лишь оттолкнуть серьезных, честных художников от левого движения.

И все же сталинизм не убил уважения к нашему народу. Это показали годы войны с фашизмом, когда мы воочию убедились в широкой солидарности со стороны американских мастеров культуры. А потом наступили времена «холодной войны», пора «застоя», когда возродились былые мифы и стереотипы.

Думается, в эпоху гласности есть возможность воссоздать во всей полноте и сложности подлинно научную историю советско-американских отношений. И еще: отрешаясь от шаблонов, от ложных авторитетов, пересматривая отдельные страницы прошлого, нам не следует впадать в другую крайность. Я имею в виду недооценку, а то и пренебрежительно-снобистское отношение к некоторым писателям радикальной левой ориентации. А такая тенденция имеет место. Надо оценить вклад этих стойких друзей нашей страны, работавших в нелегких условиях и сохранявших верность идеалам социализма как подлинно гуманистического общества. Истина может быть добыта лишь при конкретно-историческом подходе.

В. Земсков. Мне хотелось бы начать с воспоминания об одной недавней защите кандидатской диссертации на факультете журналистики Московского университета. Автор работы о публицистике Гарсиа Маркеса утверждал, что заметки о Сталине, содержащиеся в очерке «22 000 000 кв. км. без единой рекламы кока-колы», написанном после пребывания в Москве в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи, стали одним из источников образа тирана в романе «Осень патриарха». Оппонент, очевидно не читавший очерка (на русском языке он опубликован в прошлом году журналом «Латинская Америка»), обиженно возражал: нет, такого не могло быть. Мне, бывшему также одним из оппонентов, пришлось вступить с ним в дискуссию. Могло, могло, так оно и было, и подтверждается это текстологически.

В очерке Гарсиа Маркес описывает Сталина, лежащего в гробу в Мавзолее, у него мирный, удовлетворенный вид, прячущаяся в усах улыбка доброго дядюшки и маленькие, холеные ручки. Вот эта маленькая ручка и появляется потом несколько раз в «Осени патриарха». Но этим дело, конечно, не ограничивается. Сталин вошел целиком в образ тирана, растворился в нем почти без внешних «остатков», как и все прочие тираны, послужившие ему источником. Иначе и быть не могло — как мог Гарсиа Маркес, сочиняя роман о диктаторе, пройти мимо Сталина! Тирании действуют в национальных границах, но литература их игнорирует, берет отовсюду и, хотя пишет о своем мире, отсылает «большие смыслы» в общее пользование. Так и в «Осени патриарха». «Наш» это тиран, и не только потому, что у него та самая маленькая ручка...

Вспомним один из ключевых эпизодов романа, повторяющийся несколько раз. Смерть наконец сразила и р а з о б л а ч и л а тирана — он лежит на полу в непрезентабельном виде, так, как она его застигла, и застывшее время дурной вечности диктатуры, кажется, вот-вот должно двинуться вперед. Но что происходит? Народ, пришедший во дворец убедиться в смерти Г е н е р а л и с с и м у с а В р е м е н и, теперь уже сам останавливает время. (Между прочим, в русском переводе здесь перед нами, увы, всего лишь г е н е р а л — не та ли самая боязнь узнавания, что довлела и над сознанием оппонента, стала причиной понижения в звании?)

Люди видят тирана не таким, каким он умер, р а з о б л а ч е н н ы й смертью, а сквозь «оптику» подавившего их мифа — в облачении «отца народа», в мундире с эполетами, орденами, с саблей на боку и с золотой шпорой на сапоге. Тиран растворился в сознании людей, вошел в их плоть и кровь. Народ растерян, и самое тяжелое здесь не в том, что без «отца» жить нельзя, это шок только первых минут, а в том, что невозможно выпрыгнуть из действительности, созданной им, а она—

вся его порождение. Если он был «отцом народа», то ведь мы его дети...

Это наша ситуация на протяжении вот уже более трех десятков лет. Все эти годы, прошедшие с тех пор, как его нашли мертвым, лежащим в полном одиночестве на полу в кунцевском бункере, он все так же добродушно улыбался в усы и махал маленькой ручкой нам вслед: идите, идите, «отряхнув его прах со своих ног», ваши отцы и деды «грудью проложили» вам «широкую и ясную»... Мы поняли это со всей окончательностью только тогда, когда эта «широкая и ясная» привела нас в брежневско-черненковское болото, и времена Абсолютной Ясности окончательно сменились затяжной порой Неясности, а знаком времени стал не восклицательный, а вопросительный знак. Думая, что свободны от него, на самом деле мы тащили на своей спине в будущее железный сталинский гроб

Террор, искалечивший не только «тело», но и душу народа, его ум, после сталинской фантасмагорической трагедии, с интермедией во времена Хрущева, в новых обличьях возродился в не менее фантасмагорической комедии нашего М а р ш а л а. Тогда сталинский «победивший социализм» был преобразован в «развитой», и сталинско-ждановская общественная «наука» гибко перетекла в брежневско-сусловский вариант. И, как и прежде, наше официальное обществоведение на вопрос «который час?» всегда было готово простодушно ответить так, как отвечали патриарху: «Сколько изволите, ваше превосходительство». Примерно так же отвечало на вопрос «ну, а что там, в мировой литературе?» и наше официальное литературоведение.

Быть может, излишний гротеск? Напомню вам принародный акт научного стриптиза, состоявшийся в Институте мировой литературы имени А. М. Горького в конце 70-х годов. Вспомним. К нам приехал начальник общественной мысли академик Федосеев. Академик Федосеев приехал сделать научный доклад. Он приехал сказать нам с трибуны мировой литературы, что сочинения Леонида Ильича Брежнева, удостоенные Ленинской премии по литературе, являют собой образец развития в современных условиях русского классического, пушкинского и толстовского реализма. Академик произнес речь, и... черная «Волга» пошла, пошла по улице Воровского, к Президиуму, а коллеги остались на специальном заседании Ученого совета для обсуждения этого последнего научного распоряжения...

Из далекого 1953-го года кто-то улыбнулся нам знакомой отеческой улыбкой. Почувствовали мы и другую улыбку. Тень Мастера, тень Булгакова посмотрела на нас, на тех, кто выступал с трибуны, и на тех, кто сидел молча и глядел на бюст Буревестника, и тоже удалилась, тихо-тихо, в сторону СП СССР, чтобы послушать, а что там...

Конечно, то была комедия, но сколько таких комических, так сказать, воздушно-невесомых идей превращалось в фантомные, но железобетонные конструкты, из которых строилась официальная концепция мирового литературного процесса XX века!

Спасибо товарищу Сталину за наше научное детство! Мы не снимали со стола «Краткий курс», полагая, что сдали его в архив.

Итак, «который час там, в мировой литературе»? «Несмотря на иностранный авангардизм и модернизм, под влияние которых иногда подпадают некоторые наши литераторы, и советская, и мировая прогрессивная литературы, в то время как модернизм все более разлагается, движутся вперед, верные заветам русской классики, обогащаясь за счет отдельных и случайных открытий модернизма, которые, впрочем, были еще раньше открыты Львом Толстым, путем художественного прогресса к неизбежной победе социалистического реализма, что подтверждается также отходом в сторону реализма на Западе. На этой «широкой и ясной» ведется бескомпромиссная борьба не только с модернистами и авангардистами, но и сурово и дружески критикуются абстрактные гуманисты и критические реалисты, еще не доросшие до реального гуманизма».

А я не шучу. Перелистаем с е г о д н я официальные труды последних десятилетий по XX веку, особенно сочинения по теории и практике соцреализма,— станового хребта большой лжи о литературе XX века, и сравним. Она, эта теория, еще как бы жива, потому что таковой считается в Руководящем Документе, а на самом деле готова к выносу с парадного подъезда, где уже слышны нестройные еще звуки настраивающегося критического оркестра. Но пока не состоится этот принародный акт, он все так и будет махать нам маленькой ручкой: идите, идите, тащите мой гроб.

Конечно, мы хотим чего-то нового, но чтобы оно не было обидно новым, мы хотим правды, но такой, чтобы она нас не травмировала. Так не получим ли мы в результате какую-нибудь слегка обновленную малосъедобную литературоведческую похлебку, в которой перемешаются зерна и плевелы, козлища и овцы?..

Сколько среди нас тех, кто испытывает самую тяжелую ностальгию по той ласковой улыбке, по временам Абсолютной Ясности! И в академической науке, где вечность академических званий гарантирует вечную истинность фальшивок давних времен, и в текущей литературоведческой критике. Какая тоска разъедает их по я р л ы ч к а м недавних времен — этим биркам литературоведческого концлагеря! Как тоскуют они по методологическому серпу и молоту рапповской критики! Как мечтают они сшить соцреализму беспредельные теоретические шаровары, которые не давали бы уже повода говорить о его нормативности и совершеннейшей противоположности свободе творческого поиска! Как мечтают они о том, чтобы все было по-новому, но вот чтобы Буревестник и Ромен Роллан все-таки были впереди!

Алексей Матвеевич Зверев поставил вопрос о творческой иерархии весьма конкретно. В самом деле, писателей какого ряда, роллановского или кёстлеровского, мы назовем сегодня «абстрактными», а какого ряда «реальными» гуманистами?! Мы

столько лет ждали книг тех, кто отказывался воспевать эпоху чудовищного обмана и насилия и говорил то, что видел. А где же они были? — отечески улыбаются нам издалека. Там, там, в литературоведческих и издательских лагерях неупоминания, искажения, неиздания. Там, откуда ценой невероятной и абсурдной траты сил — теми, кто обладал весом в номенклатуре и мог убедить начальство, что они как бы не модернисты,— удавалось извлечь то Фолкнера, то Камю, то Кафку, то Пруста.

Вплоть до середины 80-х годов в литературоведении и в издательском деле все так же действовала, правда уже в выборочном порядке, все та же репрессивная политика. Сколько венгерских, польских, чешских писателей было заточено в изоляторы неупоминания и неиздания за то, что выражали свое отношение к происходящему в их странах или покинули их. Сколько зарубежных писателей то изгонялись в кутузку непубликации, то выпускались из них, если под влиянием каких-либо международных событий они вслед за критическим высказыванием в адрес СССР произносили лояльную фразу. Как мечтали мы иногда, чтобы «наш» писатель, которого мы хотели открыть для публикации, помолчал бы, пока не издадут. Дмитрий Владимирович Затонский показал в «Вопросах литературы», как действовала эта система, на издательских судьбах Бёлля, Грина и других европейских мастеров.

Я мог бы добавить к этой панораме несколько латиноамериканских примеров. В отношении латиноамериканских писателей в 70-х — начале 80-х годов действовал несколько смягченный режим (все-таки «пылающий континент»), но и они должны были пройти проверку на лояльность. И глубоко подозрительный для литературного чиновника «левый» Гарсиа Маркес, почему-то упорно отказывавшийся приезжать по приглашению Союза писателей и произносить ожидаемые речи на многочисленных юбилеях, и разочаровавшийся в «левых» идеях, столь независимый в своих суждениях Варгас Льоса. И уж совсем плохо было с таким писателем, как «расстрига» Эрнесто Сабато или вольнодумец и парадоксалист Хорхе Луис Борхес.

В начале 80-х годов один из надзирателей издательства «Художественная литература» уговаривал меня, что антология «Аргентинский рассказ» возможна и без Борхеса, и его, естественно, ничуть не убеждало мое наивное возражение: возможна ли антология русского рассказа без Чехова? После затяжных боев все-таки удалось «протолкнуть» первый рассказ Борхеса на русском языке и впервые сказать о писателе в предисловии. Удалось это исключительно благодаря настойчивости составителя Эллы Владимировны Брагинской и поддержке аргентинского писателя Альфредо Варелы — заметьте, члена ЦК Компартии Аргентины,— который письменно поручился, что Борхес — гордость национальной литературы. Еще совсем недавно из-за «бдительности» другого начальника в другом месте никак не удавалось «пробить» первую статью о выдающемся писателе-кубинце Хосе Лесаме Лиме (первая книга его стихов и эссе сейчас издана «Художественной литературой»). Для издания последнего романа замечательного чилийца Хосе Доносо «Безнадежность» год назад мне пришлось по старинке — а что делать? — испрашивать для «Радуги» согласия, а по сути разрешения у одного «командно-административного» иерарха. И не берусь сказать, когда мы дождемся возможности выпустить крупного прозаика-кубинца Кабреру Инфанте, давно покинувшего свою страну...

Обратим внимание, как в отношении отечественных, так и в отношении зарубежных писателей всегда действовал один принцип: издателей всегда больше шокировала непринятая свобода содержания, критиков — свобода формы. Мне вспоминается блистательный пример высокой «бдительности» нашей критики, еще года три тому назад грудью стоявшей на страже Абсолютной Ясности. В одной памятной дискуссии в Центральном Доме литераторов латиноамериканским писателям, создателям «нового романа» Карпентьеру, Гарсиа Маркесу, Кортасару и другим, всем скопом, одной «критической тройкой» было предъявлено обвинение в том, что (я употребляю именно те слова, что произносились) все они «пятая колонна» западного модернизма, разлагающая национально-освободительное движение на «пылающем континенте»! Не более и не менее. Вот так и помахивал нам вслед Генералиссимус, а мы, кто осознавая, кто не осознавая это, тащили его железный гроб на своих спинах...

Сегодня лучше: из литературоведческих и издательских кутузок выпущены многие, хотя и не все, но, видимо, восстановить подлинную историческую панораму XX века — только половина дела, и не самая сложная. Пожалуйста, скажут вам, вот они все на свободе, и отечественные и зарубежные. Но если к этому добавят, что все равно впереди Павка и Давыдов, Любовь Орлова и «Рабочий и Крестьянка» Мухиной, Барбюс и Ромен Роллан? Ведь никто же не отменил того, что начальник всегда прав...

Способны ли мы на новое мышление в литературоведении? На то, что вытекает из концепции «нового мышления», предложившей нам сбросить сталинский гроб со спины науки? Я говорю о новом мышлении не абстрактно и не в кавычках, а совершенно конкретно: способны ли мы преломить в сфере нашей науки те критерии, что эта концепция выдвинула? Не только неслыханные для нас универсалии, которыми вволю насладились основоположники марксизма (мороз по коже продирает от восторга и ужаса!),— как суверенность научного поиска, имманентная свобода мысли и неаксиоматичность социального знания, но и следующие фундаментальные принципы, продиктованные самим ходом мировой истории и глобальной задачей самоспасения и спасения человечества:

1. целостность и взаимозависимость мира, объединенного общей исторической судьбой — в противовес принципу изоляционизма;

2. суверенное многообразие, плюрализм и поливариантность — в противовес единообразию и одновариантности;

3. приоритет общечеловеческих ценностей над социально-классовыми.

Перед нами две противостоящие концепции развития. Одна воплощает универсальные признаки полнокровного динамического процесса, способного рождать новое качество; другая направлена лишь на самосохранение и потому исключает новое качество. По отношению к целостности и общности мировой культуры первая из них предстает как конструктивная, строительная, собирающая процесс в единство; вторая как изоляционистски-самодостаточная в лучшем случае, а при ее агрессивности — как деконструкционная, разрушающая единство мирового культурного процесса в утопическом стремлении свести его к одному-единственному варианту.

Именно эта вторая, и подтверждением тому необходимость полного разворота в жизни общества, завела нас в социально-экономический и духовный кризис. Именно эта вторая безраздельно господствовала во всех областях культуры, отвергая органичный принцип живой жизни «этот, тот и другие» и насаждая только «этот». Именно эта концепция и есть железный сталинский гроб, который до сих пор тащит на себе наша общественная наука. И в сущности, вся сегодняшняя общественная борьба в нашей стране есть борьба этих двух концепций, в том числе в общественной мысли, культурной политике, гуманитарном знании.

Есть за что бороться! Это становится ясным, едва мы попробуем взглянуть на судьбы отечественной и мировой литературы в свете оппозиции двух концепций. Причем именно так: и о т е ч е с т в е н н о й и м и р о в о й — ибо, пока мы не разберемся в своем собственном доме, мы не разберемся и в большом общем доме мировой культуры. Мы еще не осознаем всей глубины влияния трагического развития советского общества на пути мировой культуры, и во всем этом еще предстоит разбираться.

В сегодняшней дискуссии мы лишены возможности вести более или менее обстоятельный разговор по этим вопросам, однако несколько слов я хотел бы сказать о том, как вырисовывается литературный процесс XX века с точки зрения оппозиции двух упомянутых концепций.

Факт номер один состоит в следующем. В послереволюционный период развитие пошло так, что присущий русской культуре, литературе плюрализм течений, направлений (включая социалистическую, пролетарско-революционную литературу) начиная с 20-х и примерно до середины 30-х годов сменяется одновариантностью в два этапа. Сначала происходит «выброс» в эмиграцию, на периферию или в «подполье» культурной жизни тех течений, что находились в прямой преемственной связи с традиционной, классической культурой дореволюционной России и с авангардизмом начала XX века, а затем внутри пролетарско-революционной литературы также набирают силу центростремительные тенденции, выталкивающие за пределы гражданства все, что не отвечает новой концепции огосударствленной литературы, слившейся с политической доктриной сталинизма, якобы отражающей социальные интересы и идеалы рабочего класса.

Факт номер два состоит в том, что утверждающийся тип литературы порывает с принципом творчества как индивидуально-личностным самовыражением, с познавательной функцией и, соответственно, с общественно-критической направленностью, то есть с принципами, свойственными русской литературе со времени восприятия и развития на собственной почве европейских культурно-идеологических форм нового времени (с XVIII века). Этот тип литературной культуры, утверждающий все более агрессивно единственный вариант коллективистского, «массовидного» культурно-идеологического творчества, основанного на мировоззренческом и художественном каноне, оказывается типологичным творчеству предшествующей литературной эпохи — средневековым нормам. Возможность проведения такой типологии в самой общей форме, на наш взгляд, подтверждает статья А. Гангнуса «На руинах позитивной эстетики» [1], где выявляется религиозно-идеалистический характер доктрины соцреализма. В гносеологическом отношении соцреализм не имеет ничего общего с методом реализма, и более того, прямо противоположен ему — в его основе лежит скорее догматизированная романтическая установка компоновки жизненного материала в соответствии с «идеалом», редуцированным до идеологически-политических директив, но непременно в квазиреалистической, натуралистической форме.

В зависимости от политических нужд соцреализм то противопоставляется классической гуманистической культуре, то объявляется наследником русской классики, принципы которой сводятся к критерию «понятности» для «простого советского человека» и противопоставляются как антагонистические западной литературе. Пути развития западной культуры отождествляются с официальной концепцией исторического процесса (неизбежность краха капитализма и победы социализма), а потому рассматриваются как проявление деградации либо как движение к варианту, аналогичному советскому (возникающая за рубежом литература, типологичная советской). Во времена кампании «борьбы с космополитизмом» традиционные критерии соцреализма дополняются элементами шовинистически-националистического характера.

Подчеркну, что речь идет о сталинистской концепции литературы, а не литературном процессе, в котором, естественно, между сервилистским бюрократическим ядром и литературной периферией, за которой находилась уже зона эмиграции и концлагерей, могли возникать самые разнообразные и весьма далекие от доктрины явления романтической социалистически-утопической направленности. Однако нас интересует именно доктрина. Взятый в своем зрелом выражении, этот тип литературной культуры, ею порожденный, оказывается типологически соотносимым с «массовидными» культурно-литературными формами огосударствленной «национально-социалистической» литературы тех стран Западной Европы, где к власти приходит фашизм. При

[1] «Новый мир», № 9, 1988.

том что идеологически-политические доктрины прямо противоположны, фундаментальная близость ситуаций в культуре основывается на искоренении традиционных общечеловеческих ценностей и личностного начал в творчестве. В уже упоминавшейся статье Гангнуса показано, что содержание сталинистской концепции «нового человека» по сути не отличается от ницшеанской концепции «сверхчеловека».

Я не буду говорить о судьбах тех линий отечественной литературы, связанных преемственно с традиционной русской классической культурой или с авангардизмом, что оказались выброшенными в эмиграцию, на периферию или за пределы советской культуры. Скажу лишь, что сегодня, когда происходит, так сказать, окончательное преодоление сталинистских концепций и рождается новое общественное сознание, происходит и перестройка прошлого отечественной культуры. Вытесненные за пределы гражданства в годы «классового остервенения» линии литературного развития выходят в центр прошедшей эпохи, обнаруживая, что именно там, в лагерях и в подполье, хранились и продолжали создаваться подлинные художественные и гуманистические ценности. Но, естественно, в таких условиях и речи не могло быть о нормальном развитии. Сегодня, как никогда, мы понимаем, какой непоправимый урон понесла отечественная литература, словно канувшая в пропасть сталинского режима. Только оборванные линии ее развития говорят нам, какой могла бы быть та, иная литература.

Мне представляется чрезвычайно важным увидеть места разрывов и навести мосты через пропасть. Собственно, их начала наводить сама литература с 60-х годов, хотя этот процесс оказался задержанным и деформированным новыми репрессиями против культуры и новым «выбросом» писательской эмиграции во времена брежневского режима, которому особенно приятно по-отечески улыбался из не столь далекого прошлого Генералиссимус. Понять достаточно полно, как шел этот процесс, пока мы не можем, поскольку эта литература еще не возвращена.

Я назову в качестве материала для размышления несколько прерванных линий, относящихся к литературе 20—30-х, которые наводят на мысль о том, что, имей литература возможность для хоть более или менее сносного существования, она обнаружила бы в своем развитии несомненное фундаментальное единство и типологичность с мировым литературным процессом.

Не говоря уже о неоспоримом факте если не более раннего, то во всяком случае одновременного с Францией возникновения русского авангарда, порождающего еще и в 30-х годах яркие поэтические явления, назову такие нереализовавшиеся линии развития прозы, как антиутопия (Замятин), интеллектуальная проза (Набоков), поэтически-параболическая проза (Платонов), философско-фантастическая проза (Булгаков), поэтически-символическая и культурно-философская проза (Белый), абсурдизм (Хармс).

О фундаментальном единстве мирового развития, на мой взгляд, свидетельствует и то активное усвоение опыта зарубежной литературы, что происходит в 60—80-х годах. Вадим Кожинов в статье «Самая большая опасность»[1], говоря об интересе молодых писателей конца 50-х—начала 60-х к западной литературе (называются Фолкнер, Хемингуэй, Сэлинджер), видит в этом факте падение вкусов и забвение русской классики. Странно. Имена бесспорно хорошие, говорящие о том, что вкус не был утрачен. И наверное, дело все-таки в ином: автору, очевидно, не нравится, что читали и н о с т р а н н у ю литературу. Но это тоже странно, если критик болеет об успехах своей литературы. Если представить себе, что Лев Толстой, наш классик, вняв подобному совету, читал бы только Пушкина и не читал бы Флобера, он не написал бы «Анны Карениной».

Хотим мы или не хотим, чем больше писатели читают, как пишут другие, тем лучше пишут сами, и наоборот. Так что беда, думается, не в том, что читали иностранных авторов, а в том, что мало их было тогда переведено. На целые десятилетия отечественная культура была оторвана от древа культуры мировой и задыхалась в вакууме Абсолютной Ясности, не вызывавшей никаких вопросов. Когда она начинала приходить в себя, могла ли ей помочь русская классика? Конечно! Но не во всем. Позади были десятилетия, радикально изменившие весь мир, и на новые вопросы, которые ставил перед человеком этот мир, отвечала тогда, увы, не отечественная литература, а зарубежная. Как же было не обратиться к ее опыту, напоминавшему о несостоявшемся собственном прошлом?!

И еще об одном наследии времен Абсолютной Ясности — о рецидивах духа ксенофобии, паразитирующего в современной жизни на пафосе восстановления разорванных традиций русской культуры. Если литературный вечер, как то было во Дворце спорта «Крылья Советов» в начале этого года, проходит под шелест полотниц «Памяти», на которых начертано: «Долой безродный космополитизм, да здравствует национальный патриотизм», то это означает только одно: из времен последнего (по сталинской хронологии) погрома культуры — кампании «борьбы с космополитизмом» — отеческой улыбкой нам улыбается Генералиссимус. Он машет нам маленькой холеной ручкой: идите, идите, вы правильно идете. И это путь назад.

---

[1] «Наш современник», № 1, 1989.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР ОБ «УЛИССЕ»*

Составление ЕКАТЕРИНЫ ГЕНИЕВОЙ

ЭЛЛЕН ГЛАЗГО

Впечатления о романе

«Нью-Йорк геральд трибюн» от 20 мая 1928 г.

Текущая критика отлично освоила смелый современный метод погружения в субъективный опыт. Читая иные из панегириков новой психологичности, почти убеждаешься в том, что самоанализ — изобретение столь же новое, как авиация, и что действительность была впервые открыта господином Джеймсом Джойсом, увидевшим ее из-за плеча господина Леопольда Блума. Но так ли все это просто? В сравнении с интеллектуальными вывертами господина Джойса и господина Лоуренса великие английские романисты могут показаться сборищем туповатых людей, которые, вместо того чтобы интересоваться патологическими симптомами, интересуются той самой здоровой, слишком здоровой плотью и другими материальными субстанциями... В конце концов, ни одно изобретение еще не было достаточно смелым, чтобы заставить содрогнуться завтрашний день. Подсолнечник Оскара Уайльда представляется нам увядшим и хрупким, как лист, засушенный между книжными страницами; и грязь «Улисса» скорее всего превратится в застывшую глину раньше, чем поток сознания иссякнет в романе...

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Заметки по поводу «Улисса»

«Нойе рундшау» (XXXIX, 1926)

Способ употребления: Прежде всего следует обзавестись надежной подставкой, чтобы не пришлось все время держать книгу на весу: в этом томе 1500 страниц, и человек начинает чувствовать слабость в коленках. Затем следует взять проспект, сопровождающий «величайшее произведение прозы нашего века», «Гомера наших дней», аккуратно зажать между пальцами, разорвать эти чересчур восторженные или выражающие преувеличенное недовольство заметки и выбросить их в мусорную корзину, дабы обеспечить себе непредвзятость как от непомерных ожиданий, так и от нелепых требований. Затем садитесь в кресло (потому что это потребует много времени), запаситесь всем возможным терпением и здравым смыслом (потому что вам придется и сердиться тоже) и начинайте.

Жанр, или разновидность: Роман? Нет, конечно же нет: ведовской шабаш духа, гигантское «Каприччо», необыкновенная Вальпургиева ночь рассудка. Фильм психических состояний, снятый из окна быстро несущегося экспресса, где перед взором мелькают кадры необозримых ландшафтов души, богатых оригинальными, интересными деталями; проплывают мимо, кружась, мысли с двойным, тройным дном, одна за другой, одна через другую, одна из-за другой; сенсации из сенсаций; оргия психологии — это новая техника съемок медленно движущейся камерой, которая исследует каждое движение и чувство до последнего атома. Тарантелла бессознательного, неистовый, стремительный полет идей, которые беспорядочно кружатся, по пути вбирая в себя все: изысканную утонченность — и банальность; фантазию — и фрейдизм; богословие — и порнографию; лиризм — и извозчичью грубость — хаос, который является, однако, порождением не отупевшего ума, погубленного алкоголем и окутанного адской тьмой, но острого, ироничного, циничного и блестящего интеллекта...

Есть что-то героическое в этой книге, и в то же время в ней — какая-то лирическая пародия на искусство; во всяком случае, это подлинный, настоящий шабаш ведьм, черная месса, во время которой дьявол кривляется и дразнит Святой Дух самым дерзким и вызывающим образом. Вместе с тем это исключительная вещь, неповторимая вещь, новая вещь.

* Продолжение. Начало см.: «ИЛ» 1989, № 5. Все переводы выполнены по двухтомному изданию: James Joyce: The Critical Heritage. Ed. by Robert H. Deming. London, Routledge and Kegan Paul, 1970.

Источник: В корне романа есть что-то злое. Ненависть или эмоциональная память о полученной еще в юности душевной ране не оставляет Джеймса Джойса. Должно быть, в Дублине, своем родном городе, он был обижен людьми, которых ненавидит... потому что все, что пишет этот оригинальный человек,— его месть Дублину: и ранняя книга, замечательная, необузданная автобиография Стивена Дедала, и нынешняя — жестокое исследование души. Среди тысячи пятисот страниц вы не сыщите и десяти, где нашлось бы место для сердечности, преданности, дружелюбия; повсюду цинизм, глумление, неистребимая мятежная сила, все взрывчато, все — воспаленные нервы, вибрирующие в бешеном темпе, все это одновременно и оглушает и озадачивает. Человек здесь не только взрывается криком, презрительным словоизвержением и гримасой, из всего своего нутра он исторгает негодование, он выблевывает свои перезревшие чувства с силой и страстью, от которых действительно мороз подирает по коже. Самый искусный обман не может скрыть огромного волнующего чувства, того трепета, той дрожи, болезненного темперамента, почти доводящего до припадка, с какими человек выталкивает в мир свою книгу...

Искусство: Оно обнаруживает себя не в построении, а в словах. Здесь Джойс — безусловный мастер, Меццофанти[1] языка. Думаю, он говорит на десятке, а то и дюжине иностранных языков и выводит из них свой собственный, абсолютно новый синтаксис и чрезмерный, буйный словарь. Он владеет всей клавиатурой самых тонких, метафизических средств выразительности, вплоть до бредового языка развязной пьяной девки со дна клоаки. Он обрушивает на нас целые страницы словесной графики. Пространство идей и концепций накрывается пулеметным огнем символов; он разыгрывает свое представление с изумительной бравурностью, пользуясь всеми трапециями фразеологической акробатики, и превосходно заканчивает одной фразой, насчитывающей, думаю, более шестидесяти страниц... В его оркестре смешано звучание гласных и согласных инструментов всех языков, все технические термины из всех областей науки, все жаргоны и диалекты; из английского языка Джойс производит общеевропейский эсперанто. Этот искусный акробат подобен молнии, мечущейся от вершины горы к подножию; он танцует меж скрещивающихся мечей и раскачивается над всеми безднами порока и безобразности... Одних достижений в области языка достаточно, чтобы не сомневаться в гениальности этого человека. В истории современной английской прозы Джеймс Джойс открывает особую главу, которой он один есть начало и конец.

Заключение: Эта книга — лунный камень, заброшенный в нашу литературу, великолепное, фантастическое, единственное в своем роде произведение, героический эксперимент архииндивидуалиста, эксцентричного гения. В нем нет ничего от Гомера, чье искусство воплощено в спокойных, ясных строках; эти сверкающие картины преисподней, даже при их шумности и мелькании, очаровывают душу. Нет здесь ничего и от Достоевского, хотя он Джойсу ближе в силу фантастичности видения и невероятной избыточности. В сущности, любое сравнение абсолютно неверно в отношении этого уникального эксперимента. Внутреннюю уединенность Джеймса Джойса не сравнить ни с чем в прошлом. Он ни на что не похож, и потому у него не будет последователя. Человек-метеорит, полный темной, первозданной силы; книга — метеорит «парализующего» искусства, подобная современному варианту средневековых магических писаний... Как бы то ни было, именно поэтому такое достижение окончательно и недвижимо: эта книга — неповторимый раритет — останется странной глыбой, ничем не связанной с полным животворящей силы миром вокруг нас. И если время сохранит ее, ее, вероятно, станут почитать, как почитают голоса всех Сивилл. В любом случае, если говорить о сегодняшнем отношении к книге: это уважение к капризному, страстному и отчаянно отважному литературному эксперименту. Уважение, уважение к Джеймсу Джойсу.

[1] Джузеппе Каспар Меццофанти (1774—1849) — итальянский кардинал, лингвист, с 1833 г.— главный хранитель библиотеки Ватикана. Говорили, что он свободно владел пятьюдесятью или шестьюдесятью языками. *(Прим. перев.)*

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН

Дух Эпохи в литературе

«Букмен», октябрь 1930 г.

Антисоциальность интеллекта, которая может сосуществовать с внешне общепринятой, даже стадной манерой поведения,— самая замечательная особенность по-настоящему способных современных писателей. Одно из ее проявлений — эксцентричность языка талантливых произведений, выходящих за рамки эксцентричности как таковой. Это напоминает условный язык, придуманный ребенком. В «Улиссе» множество странных слов; и все же самое странное, пожалуй,— Улисс. Потому что курьезно само по себе сравнение: если Гомер на протяжении всего необъятного языческого эпоса с помощью очень простого языка добивается абсолютного целомудрия, то Джойс с помощью языка, понятного лишь очень немногим, добивается абсолютного неприличия. Есть в книге сомнительные места, требующие аргументации уже морального свойства, которые едва удерживаются на грани благопристойности. Его сравнивают с Рабле, но именно сравнения достаточно, чтобы показать со всей очевидностью отличие, привнесенное Духом Эпохи. Сила Рабле в том, что в его смехе как бы сливаются голоса десяти тысяч человек, что в одном его великане — как бы множество людей, обратившихся в одного человека. Его рык, быть может, не всегда очень ясен и вразумителен, так же как и рев нынешней толпы или некоего сборища, но мы знаем: в их крике — обыкновенное и человеческое, даже если кто-то и назовет его диким. Однако у нас нет ощущения — по крайней мере, у меня его нет,— что Джеймс

Джойс когда бы то ни было обращается к кому бы то ни было, кроме Джеймса Джойса. Можно называть это индивидуализмом, или безумием, или гениальностью — чем угодно, но это знак времени: стремление создать свой собственный язык и отодвинуться еще хоть немного дальше от всего, что похоже на язык всеобщий.

Новый Улисс — противоположность Улисса старого, потому что последний действовал среди великанов-людоедов и колдунов, руководствуясь обыкновенным и почти прозаическим здравым смыслом, в то время как первый двигается среди обыкновенных фонарных столбов и забегаловок, а склад ума его неизменно остается более фантастическим, чем все волшебные сказки. Я здесь не пытаюсь ни со знанием предмета хвалить, ни со знанием предмета критиковать это весьма спорное произведение; я просто пользуюсь им как иллюстрацией изолированности интеллекта или даже духа. Рабле иногда приводит в замешательство, потому что он — как двадцать человек, говорящих одновременно; но Джойс оказывается весьма невнятным, потому что он разговаривает лишь сам с собой...

ТОМАС ВУЛФ

Два отрывка из писем

...Вы спрашиваете, отношусь ли я к писательству как к средству ухода от действительности; ни в каком смысле слова оно не кажется мне уходом от действительности, я бы сказал, что оно скорее есть попытка приблизиться и проникнуть в действительность. Это, конечно же, справедливо в отношении такой книги, как «Улисс»: усилие понять и оживить мгновение утраченного времени столь огромно, что некоторые из нас чувствуют — Джойсу на самом деле удалось, по крайней мере местами, проникнуть в действительность и, более того, создать, быть может, иное измерение действительности...

Из письма к Джулиан Мид от 1.11.1932 г.

...Великая книга не пропадет... Всегда найдутся люди, которые ее спасут. Книга проложит себе дорогу. Это самое и случилось с «Улиссом». Шло время, и круг расширялся. Читателей у нее прибавлялось. По мере того как люди преодолевали собственную инерцию, справлялись с трудностью, которую создает каждое новое и оригинальное произведение, осваивали в целостности ее композицию, они начинали понимать, что книга эта не является ни неприличной, ни непонятной, разумеется, она не есть причуда своенравного дилетанта. Напротив, она являет собой упорядоченное, плотно пригнанное сооружение, недостаток которого, как мне представляется,— весьма далекий от недостатков, свойственных причудам,— состоит в почти иезуитской логичности, которая, в сущности, слишком суха и безжизненна по своей механике для произведения, рожденного воображением. Во всяком случае, нынче, по прошествии пятнадцати лет, «Улисс» больше не считается книгой, предназначенной исключительно для небольшой группы литературных знатоков. Сегодняшние знатоки говорят об этом произведении покровительственно как о «завершающем эпоху», являющемся «последним достижением отживающего натурализма» и т. д. и т. п. Но сама книга завоевала теперь безусловное и признанное место в литературе. Весь ее метод, ее стиль, ее персонажи, ее сюжет и композиция стали так близки многим из нас, что мы не думаем больше о ней как о трудной или непонятной книге...

Из письма к Максвеллу Перкинсу от 15.XII.1936 г.

Перевод с английского И. ДОРОНИНОЙ

◆

Резонанс

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

ЧЕТЫРЕ СТАТЬИ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Вступительное слово В. ЛАКШИНА

Встреча двух больших писателей, принадлежащих к разным национальным культурам и социальным мирам, всегда интересна. Тем более, когда речь идет о Генрихе Бёлле и Александре Солженицыне — авторах очень популярных в последние десятилетия в разных концах света.

В 60-е годы Г. Бёлль, сделавшийся, в особенности после романа «Глазами клоуна», широко известным у нас, не однажды навещал нашу страну, бывал в редакциях «Иностранной литературы» и «Нового мира», где, в обществе Твардовского, и мне довелось его встречать. Широколицый, широкоплечий и немногословный, в расстегнутой у ворота ковбойке, с очень несуетной, без жестов, застенчивой манерой разговора — он всей повадкой напоминал добропорядочного немецкого крестьянина. Судя по его вопросам, в отличие от многих иностранных визитеров той поры, его интересовал не столько собственный успех в России («Новый мир» напечатал тогда его превосходный «Ирландский дневник», но об этом почти не говорили), сколько сама страна, в которую он приехал. Он подкупил Твардовского отсутствием всякой «светскости», непоказной простотой и серьезностью: среди первых тем, его волновавших, была судьба ярко загоревшейся на литературном небосклоне звезды Солженицына.

Бёлля отличал искренний, негаснущий и какой-то личный интерес к России, усиленный, быть может, смутным чувством вины солдата, призванного в конце войны, хоть и ненадолго, фашистским вермахтом. В русской литературе, и в особенности в Солженицыне, он ощутил близкую себе нелюбовь ко всем видам рабства, ко всякой несвободе и еще ту неискоренимую страсть к правдолюбию, аввакумовскому протесту против всякой лжи, которая европейских интеллигентов нескольких поколений привлекала к нашей отечественной традиции. И все это, надо заметить, при бросающемся в глаза различии в романных формах и интонации прозы обоих писателей.

Признанный у себя на родине и во всем читающем мире немецкий автор стал пропагандистом в Германии своего русского собрата. И невозможно забыть, что первым, кто встретил на аэродроме 13 февраля 1974 года беззаконно высланного с родины Солженицына, кто предложил ему на первых порах свой кров и защиту, был Генрих Бёлль.

Пути истории, как и человеческих взаимоотношений, в разнообразных сшибках мнений и характеров людей неисповедимы. По-разному складывались отношения Солженицына в западном мире со многими из тех интеллектуалов, которые, встретив изгнанника, заключили его в свои объятия. Кажется, не ровны были позднее и отношения Бёлля с Солженицыным — но об этом я не вправе судить.

Важнее другое. Статьи Г Бёлля о рассказах и романах Солженицына, о его документальной прозе остаются объективным фактом писавшейся на наших глазах и еще не остывшей новейшей истории литературы. Читатель не найдет на этих страницах тщательного анализа или глубокой философской трактовки, хотя некоторые замечания Бёлля, как, например, сравнение постройки романа «В круге первом» с архитектурой готического собора, неожиданны и по-писательски зорки. Предпочтения Г. Бёлля, как и любого читателя столь непростого автора, как Солженицын, разумеется, также субъективны. Но примечательнее всего в публикуемых статьях попытка поддержать и защитить дерзкий и яркий талант автора и его самого — тогда, когда он более всего нуждался в защите. И в этом смысле написанное Бёллем достаточно полно рисует его самого, отзывчивую и щедрую душу немецкого писателя, оставаясь в то же время примечательным фактом культурно-политической истории двух наших народов.

Мир под арестом

О романе Александра Солженицына «В круге первом»

— Внимание! — сурово заговорил он, и семь заключенных и семь надзирателей повернулись в его сторону.— Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи — только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что все хорошо и ни в чем не нуждаетесь.

— О чем же говорить? — крикнул кто-то.— О политике? Климентьев даже не затруднился на это ответить, так это было явно несуразно.

— О своей вине,— мрачно посоветовал кто-то из арестантов же.— О раскаянии.

— О следственном деле нельзя, оно — секретное,— невозмутимо отклонил Климентьев.— Расспрашивайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи...

По прямому тексту инструкции слезы не запрещались, но в высшем смысле ее — не могли иметь места...

Несчастным образом для людей и счастливым образом для властителей, человек устроен так, что, пока он жив, у него всегда есть еще что отнять...

* * *

У романа Солженицына «В круге первом» (С. Фишер, 1968) огромные своды, множество перекрытий, несколько измерений: повествовательное, духовное, историко-политическое, социальное; его арки перекинуты над множеством страниц и сторон, это собор среди романов, с точно выверенной статикой, которая не подводит; а что в нем есть напряжение и в обычном смысле, зиждется не на романических приемах, а, скорее, на этой самой статике, за которую все время боишься при чтении: выдержит ли она размах пролетов и сопряжений; и напряжение превращается здесь, вслед за сопряжением, в архитектоническое понятие; сказать же, что помимо этого в романе есть исторический смысл,— значит лишь сделать утверждение относительно сырья, стройматериала, небогатого действия.

Действие начинается с телефонного разговора государственного советника второго ранга Володина, который хочет предостеречь знакомого профессора от некоторых заграничных встреч,— и эта первая трещина в сознании даровитого дипломата, чья карьера со всеми ее шикарными атрибутами и привилегиями вполне обеспечена, эта трещина — не более чем «вход» в собор. Телефонный разговор происходит в канун Рождества 1949 года, а кончается роман всего двумя днями позже описанием провоза заключенных по Москве. В фургоне с надписью «Мясо» их увозят из первого круга ада, и они еще не знают, в каком круге окажутся. Корреспондент французской газеты «Либерасьон» проездом на стадион «Динамо», на хоккейный матч, читает надпись на фургоне, выхватывает блокнот и пишет темно-бордовой ручкой: «На улицах Москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжение столицы превосходным».

Роман содержит 87 глав, 670 страниц, охватить одним взглядом его персонажей нелегко даже по втором чтении; это было бы проще, решись издательство приложить к новому изданию точный перечень действующих лиц, с указанием возраста, пола, занятий, положения, политических взглядов — такой указатель необходим, так как слишком уж много коллизий и переходов что среди зеков, что среди вольных (о понятиях «воли» и «неволи» речь пойдет позже). *Арестованными* — само собой, не в технически-уголовном смысле — являются все; у их ареста множество причин, бóльшую часть которых не понять Западу. И запрет, наложенный Солженицыным на публикацию романа на Западе, дóлжно понимать именно в свете этого ареста, как земного, так и метафизического. А что он все равно (и уже одно это могло бы заставить советское руководство присоединиться к Бернской конвенции!) стал жертвой «бездоговорного состояния» (а вместе с ним — и советское руководство) — так здесь можно увидеть иронический поворот в игре взаимной «свободы публикаций».

Как раз этот арест сделал русских народом, который меньше всех на земле наслаждается радостями эмиграции. В таком смысле я и называю всех героев романа, зеков и вольных, узниками, в том числе и политическими, Советского Союза. Чтобы исключить любые недоразумения и злонамеренные искажения: я имею в виду не полицейский арест, а тот, которому человек подвергает себя сам. Пусть семантика возьмется за дело и обнаружит, что у чего угодно могут быть подоплекой прикованность, скованность, оковы, арест. В моем понимании и Джеймс Джойс, скажем, до конца дней остался узником Ирландии и католицизма.

Огульная оплеуха тупости Запада в конце романа связана, наверное, с тем, что хотя западные наблюдатели и видят иногда знаки, а подчас и распознают их, никогда, однако, не добираются до ключа которым бы эти знаки расшифровать; может быть, потому, что ключ ежедневно и ежечасно меняется и в столь исполинском государстве подвержен массе случайностей. И у меня нет ключа к шифру, у меня короткое дыхание, у Востока Европы — глубокое, он не только был страстотерпцем, а бывало, и искал страданий — он в подлинном смысле слова страстен, и началось это не с революции, и вызвано не одним сталинизмом.

Под высокими, многократно укрепленными сводами «Круга первого» не только некоторые общепринято хорошие западные романы, но и все события литературного десятилетия показались мне декоративными пристройками: часовнями, или нефами, или — поскольку они возведены вне этого собора — времянками, в лучшем случае — изящными особняками. Естественно, пугающая диалектика ввиду столь грандиозного

создания состоит в том, что оно обобщает и озаряет чудовищные груды истории и страдания. Форма, манера, способ, какими солженицынская проза себя выстраивает и смиряет, композиция, несущая к окончательной свободе,— все это говорит, что здесь потрудился не только большой писатель, но и математик, в общем, тот, кому не чужды естественнонаучные формулы. Материалом для формул служит проза, духовная и эпическая ясность сходятся в параболу — в физико-математическом смысле слова.

Если я уклоняюсь от выражения «метафизика», то единственно потому, что еще не знаю названия для этого ее вида. В любом случае порядок здесь не предписан и не надуман и тем не менее — создается. Он «интегрируется» в физико-математическом смысле, и допустимо, что тут возникает та самая «материалистическая метафизика», которую предчувствуют некоторые физики. Если западные авторы отвергают догмат безопасности, то Солженицын не отвергает, скажем, будущего, он только уже не принимает его за идеальную цель, сравнимую с утраченным нами небом метафизики. Он обобщает современность, и нельзя забывать, что это современность 1949 года и что книга писалась с 1955 по 1964 год. Сидеть в тюрьме или попасть в нее в Советском Союзе 1969 года — совсем не то, что в 1949-м.

Солженицын, к счастью, избегает «осмысления»: он записывает, регистрирует, разрабатывает знакомые ему элементы, пережитое и познанное, и раз ему не нужно по ходу повествования бороться с предписанным или надуманным порядком или оспаривать его, то он добивается такой трезвости и сухости, что доказывает свое превосходство как над обычным, оптимистически настроенным социалистическим реализмом, так и над притязаниями «нового романа». Дело не только в том, что он на собственной шкуре узнал вещь, неизвестную его западным коллегам: сталинизм. Дело еще и в том, что на Западе утрачено понимание тайных мук: им находится место только в области сладострастия и это, быть может, является огромным, пока еще не замеченным, преступлением. Я вижу в книге Солженицына откровение, бесстрастное откровение не только о ее чисто историческом предмете — о сталинизме, но и об истории страданий человечества. А раз так, то сталинизм здесь — «всего лишь» повод, достаточно жуткий и тем не менее «всего лишь».

Арестанты «первого круга» — мавринского лагеря под Москвой — получают разные задания, которые все сводятся к одному: улучшить методы слежки и изобрести новые и тем самым расширить число заключенных. Они во власти непрерывной путаницы: невольники, они, однако, свободны как ученые, а их надзиратели свободны и при этом живут в неволе непрерывного страха перед арестом, причем без всякой уверенности, выпадет ли им счастье оказаться в первом круге ада или же, если постигнет неудача — в седьмом. В ходе разработки фоноскопии, которая позволяла бы установить личность по голосу на магнитофонной ленте, заключенным передают пять голосов, записанных на пленку, для сравнения с голосом Володина, чей звонок был перехвачен и чей голос есть в числе этих пяти. Единственная победа заключенных состоит в том, что им удается отвести подозрения от трех из пяти подозреваемых, и их утешает то, что из пяти забирают всего двоих, в том числе Володина. Его доставка в Лубянскую тюрьму подробно изображена в последних главах: превращение государственного советника второго ранга с билетом на парижский самолет в раба и дотошные, долгие, до нелепости загадочные начальные унижения живо напоминают читателю, как это происходило при арестах хорошо ему знакомых пленников «круга первого».

Разумеется, нет и доли случайности в том, что первый круг ада — это лаборатория, хорошо оснащенная, хорошо работающая лаборатория. Когда я представляю, что занятые космическими исследованиями физики, врачи, техники и все без исключения вспомогательные службы, безусловно, подвергаются суровому надзору, постоянному контролю со стороны разных тайных полиций, а возможно, и многодневной изоляции; что существуют не только химические, технические, физические, но и политэкономические и, самое главное, рекламные «лаборатории», где вынашиваются, глубоко анализируются и развиваются новые методы манипуляции людьми; что, несомненно, даже сны работников этого первого круга небес должны быть под надзором, чтобы они чего не выболтали,— тогда «В круге первом» Солженицына сразу перестает быть «романом о сталинизме», а рабство и свобода, беспечность и настороженность рабов и свободных, тех, кто манипулирует, и тех, кем манипулируют, становятся относительными понятиями. Я не знаю пропорции надзирателей и свободных в каком-нибудь центре космических исследований, в «первом круге неба», но думаю, что пропорции и условия лишь относительно отличаются от изображенных «В круге первом» Тайных миров много, как и миров потаенных мук, открыться которые могут не в одних только муках сладострастия. Поэтому, хотя роман и связан с историческим материалом сталинизма, я вижу в нем откровение, выходящее за рамки темы.

Разница между душевной и юридической неволей — вот что могло бы послужить ключом к пониманию Советского Союза, который, пусть это часто оспаривается и не соответствует конституции, определяется русскими, Россией. Но из этого не следует, что растет угроза его превращения в имперский, националистический, а при Сталине даже опять в царский. Только при чтении Солженицына мне стало ясно, какое значение имели хрущевские разоблачения сталинизма в 1956 году. Среди прочих последствий — освобождение Солженицына и возможность для него писать и даже напечататься. Он еще пишет, но печататься уже не может, живет в Советском Союзе как в тюрьме, но в тюрьму еще не забран — все это может значить только одно: еще не решено, поймет ли советское правительство вещь, плохо понятную политикам всего света, что у писателя уже есть тюрьма — родной язык; что Солженицын как человек,

как писатель, как уроженец 1918 года в своем творчестве целиком и полностью зависит (и в этой зависимости нет ничего символического) от истории Советского Союза; что для СССР он — часть насущной современности. Советский Союз мог бы им гордиться, если б от него не отрекались и не предавали поношениям В конце концов, политически он пошел не дальше, чем Хрущев в своей знаменитой речи, он всего лишь поверил в слова о десталинизации и превратил ее в слова: он прикован к Советскому Союзу, как один из «героев» книги, зек Рубин, который в таком же плену у социализма, как и у Советского Союза; который совершенно чужд национализма и при этом ничуть не космополит; который, точно понимая свою тюремно-арестантскую ситуацию, как марксист далеко впереди своих надзирателей. А что очернителями родины зовут по большей части тех, кто стремится родину очистить, так это я давно считаю очевидным.

Книга Солженицына начинается издалека, ее своды высоки, и она является откровением для более или менее беспомощно действующей западной литературы; книга берет начало от великой русской традиции, она прошла через социалистический реализм, преодолела и обновила его, она современна искусностью построения, которое устойчиво и крепко; у нее дыхание Толстого и дух Достоевского, хотя в XIX веке да и в сегодняшнем литературоведении они считаются парой противоположных духов; и при всем этом в ней безошибочно узнается Солженицын. Оставляя позади Сартра и Камю, он довершает древнее противопоставление «воли» и «тюрьмы» — не образно, не философски, но на самом материале, лишенном подпорок, предписаний и надуманности. Взять хотя бы встречу внешне всесильного министра Абакумова и зека Бобынина: дрожащий министр, прекрасно знающий, сколько у ада кругов, и независимый Бобынин, для которого несколько кругов уже позади.

В таких сценах, а их можно привести множество, единство реальности и символа не обретено и не изобретено, оно следует из наличного материала, как ответ решенной математической задачи. Незачем перечислять другие примеры. Будь я живописцем и рисовальщиком, я бы попытался графически изобразить роман как часть некоей структуры, которая могла бы иметь форму огромной готической розетки. Я легко представляю себе такую возможность делать литературу ясной и сразу обозримой, без претензий критики на всеобъемлющее понимание, а как подсобное средство. Как бы то ни было, эта проза не льется с эпическим спокойствием, она не похожа на поток, это, скорее, море, питаемое множеством разновеликих источников. Я отдаю себе отчет в том, что пользуюсь многообразными и непохожими сравнениями: собор, море, розетка; это вызвано многомерностью самой книги.

В романе очень мало романического: на 9-й странице Володин звонит, на 232-й странице специалисты в Мавринo получают задание установить, чей это голос, они требуют материала для сравнения, вызывая этим дальнейшее прослушивание телефонов, на странице 588-й голос Володина наполовину опознан, в конце романа его забирают. Примерно в середине книги роман больше всего похож на роман: затребованный арестантами материал для сравнения с голосом Володина записывается на званом вечере в классически пышном буржуазном стиле, и на этом приеме у прокурора Макарыгина сходятся некоторые из редких романных нитей. Володин — зять Макарыгина, его жена Дотнара (которую он зовет Дотти — обращает на себя внимание совершенно западное сокращение, что не случайно напоминает о привычках изображенной у Толстого знати) с головой ушла в проблемы, которые никак не назовешь проблемами бесклассового общества: «прислуга» и «измены»,— а в это время у себя дома Володин медленно перебирается из разряда беспечных и обеспеченных в разряд настороженных; и как раз тут его телефонный разговор с женой записывается на «центральном узле связи», поскольку «сегодня днем Рубин заказал записать еще телефонных разговоров каждого из подозреваемых». И мало того, что зек вторгается в жизнь государственного советника. Еще более нелепые «совпадения» происходят в вечернем обществе у Макарыгиных: Клара, незамужняя дочь Макарыгина, вольная сотрудница и надзирательница мавринского лагеря в чине лейтенанта госбезопасности, влюбленная в зека Ростислава (а он в нее!) — так вот, она первая берет трубку и не догадывается, что в том самом лагере несколькими часами позже этот разговор станет поводом к аресту ее зятя. Так, в двух главах сходятся несколько линий, чтобы потом разойтись снова. Впрочем, беседа макарыгинских гостей остроумна, это беседа беспечных, обеспеченных, беседа иерархов. «И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной черной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мертвого коня».

Только в этих двух главах, которые находятся точно посередине романа, что, разумеется, не может быть случайностью у математика, платится зловещая дань классическому роману — «вводится» судьба. Остальные судьбы, а их много, не более чем запротоколированы: Спиридон, Сологдин, Симочка и Мышин, Сталин и заключенный Дрысин, который получает задержанное письмо от своей жены, но имеет право прочесть его только в кабинете майора Мышина: «Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключенные о в о л е по таким письмам? Читайте». И Дрысин читает, в том числе и такое: «Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь... Это не жизнь, а каторга... Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстрацию переться». От полностью раздавленного Дрысина требуется послать жене письмо: «в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину». И дальше: «Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырех страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в Бога

верила. Да уж лучше пусть в Бога, что ли...»

У зека Дрысина, чьей судьбе уделено несколько страниц романа, нет никаких «романных» функций, он не более чем один из миллионов, и он обязан даже из лагеря излучать в «вольный» мир бодрость и оптимизм. Безумная нелепость неволи, охраняемой невольниками, о которой великолепно свидетельствовали в применении к отдельным судьбам в своих книгах Чуковская («Опустелый дом») и Евгения Гинзбург («Крутой маршрут»), углублена, расширена и переведена на сверхличный уровень Солженицыным так, как до него никто еще не делал.

Чем бы еще ни был наш век, это век лагерей и заключенных, и если кто не сидел, то радуется ли он такой удаче или стыдится, что так вышло, но его пощадило или — если кому больше нравится — от него ускользнуло переживание века. У выживших, а это мы все, и читатели, и писатели, итак, у всех нас есть только одна возможность: признать нашу неволю, довелось ли испытать таковую в натуре или нет. Испытавший ее знает, как относительна роскошь: в пустыне лагеря на сто тысяч человек кусок мыла и миска воды — это реальная, наличная роскошь, и пять двенадцатых сигареты, когда цена целой 120 марок, а 50 марок — состояние, это реально, а не только символически гораздо большее наслаждение, чем доступные набобу, который может за вечер спустить несколько сотен тысяч, не моргнув глазом, потому что не чувствует потери, в то время как, выложив 50 марок за пять двенадцатых сигареты, не перестаешь помнить, что этой купюрой можно оплатить жилье за месяц. Слабоумие западного общества, поклоняющегося роскоши, и его жертв, уголовников, которым тоже охота этой роскоши вкусить, состоит в том, что роскошь считают чем-то абсолютным. А чтобы уметь ею наслаждаться и ценить ее, в нашем веке надо просто помнить, что для заключенного банка консервов или пустая фляжка действительно означают жизнь или смерть. И эта тайная философия узников (в которой умещается добрая часть богословия) невидимо и все же ощутимо пронизывает «В круге первом».

Еще осязаемей другая философия: любви, целомудрия, брака. «Да, да, любить!» — шепчет молодой арестант Ростислав. «Любить! Но не историю, не теорию, а де-вуш-ку!» И дальше: «А ч е г о лишили нас, скажи? Права ходить на собрания? Подписываться на заем? Единственное, в чем Пахан мог нам повредить,— это лишить нас женщин! И он это сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это может представить... что такое женщина для арестанта?»

А кто может представить, что такое для жен арестантов получать от своих мужей в подарок ту «свободу», с которой они чаще всего не знают, что делать. Кто может принять «свободу» из рук приговоренного самое меньшее к двадцати пяти годам? Тут возникает то, что, наверное, никогда бы не появилось при свободе взаимной, возникает из самого вещества неволи то презренное и осмеянное нечто, никакая не добродетель, а просто свойство: верность. Так что сладострастные муки и мучительное сладострастие западной литературы выражают лишь неведение о неволе и нелепое понимание свободы.

Что они — сладострастные муки и мучительное сладострастие — не только для советской цензуры, но и для свободомыслящих, просвещенных советских граждан, для небеспечных, нисколько не интересны, это один из знаков, трудных для расшифровки. Разумеется, они были бы интересны для пресыщенного и скучающего класса привилегированных и беспечных в Советском Союзе, для которых прислуга может быть темой разговора. Целую главу (тридцать девятую) беседуют в мавринской лаборатории лейтенант госбезопасности Клара Петровна Макарыгина, дочь прокурора, и зек Ростислав о советском обществе, о способах подделки документов и о привилегиях. И арестанту Ростиславу удается заронить семя удивительного распада. Долго шепчутся двое влюбленных. И что же говорит зек высокопоставленной дочке из класса бесклассовой буржуазии? «Против чего произошла революция? Против п р и в и л е г и й! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие — в соболя, одни пешкодралом, другие на фаэтонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно?».

«Конечно»,— говорит славная, влюбленная дочь прокурора, которая вечером того же дня в доме своей пронзительно буржуазной мамы будет участвовать в шикарной вечеринке, где будут хрусталь и серебро, изысканные блюда и вино, остроумная беседа и даже специально нанятая прислуга; и она же снимет трубку и начнет со своим зятем Володиным разговор, который, записанный на пленку, этой же ночью в той самой лаборатории, где она влюбленно щебетала с арестантом Ростиславом Вадимычем Дорониным, послужит к разоблачению ее зятя.

«Правильно,— говорит Ростилав.— Но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а тянутся к ним?» Так продолжалось удивительное совращение женщины-лейтенанта.

От обилия цитат и отсылок возможно впечатление, будто речь — о множестве повестей и романов, сведенных в один. От цитат просто трудно удержаться, когда хочется привести бо́льшую часть 670 страниц. В этом романе нет пресловутого эпического течения, он то и дело запинается, начинает сызнова, опять делает остановку; а то вдруг целую главу заполнят горькие монологи и вариации на такую, скажем, тему: визиты филантропических комиссий, оказывающихся полностью, именно полностью, обманутыми. Или ужасные получасовые свидания с женами, которые раз в год разрешены некоторым заключенным. Все это паузы глубокого дыхания, а не перехваты короткого, которое пусть себе составляет главную прелесть западноевропейского романа. Именно это дыхание напоминает о Толстом, точно так же как сарказм и тонкость психологического отбора — о Достоевском. И все же здесь нельзя не узнать Солженицына, и тем безошибочнее, чем больше о нем знаешь.

В мавринском лагере есть и колеблющиеся специалисты: развивать ли методы слеж-

ки или ловко саботировать их развитие, так как только они, единственно ради этой цели посаженные специалисты, знают или могут знать, как именно эти методы развивать. Они кажутся мне настоящими социалистическими учеными. К тому же юные сотрудницы, лейтенанты госбезопасности, которые почти все наверняка родились после смерти Ленина, оказываются весьма неблагонадежными, а на некоторых зеков власть вполне может положиться. Осознание этих фактов, несмотря на весь ужас описанных страданий, звучит почти оптимистически. И ведь все-таки в Советском Союзе платят пенсию жертвам сталинизма. Так в чем же тогда страшное преступление Солженицына? Конечно, в марксистски основанном и руководимом государстве не должно быть стольких нелепостей, но можно ли долго отворачиваться от осознания массовой неволи, охраняемой невольниками и возникшей при сталинизме, если одновременно жертвам сталинизма выплачивается пенсия?

Через сто лет после «Преступления и наказания» и «Войны и мира» вышла эта книга, к сожалению, только на Западе, не для которого она написана. Она написана ради освобождения социализма. У нас нет никакого, даже малейшего основания, торжествовать по поводу «Круга первого» как описания сталинских злодеяний, нелепостей и сумятицы. У нас есть основание спросить себя: а удалось бы западному автору так изобразить мир беспечности и мир тайно страдающих в наших противоречивых обстоятельствах?

1969 г.

Перевод с немецкого Г. ДАШЕВСКОГО

Боль, гнев и спокойствие

О сборнике рассказов Александра Солженицына «Для пользы дела»

Заглавный рассказ этого сборника (в немецком переводе он называется «В интересах дела». — *Прим. перев.)* сразу в нескольких отношениях приложим ко всему творчеству Солженицына и к спорам вокруг него, ибо споры идут о вопросе: чьим интересам служит этот писатель.

Служила ли «интересам» своих стран европейская и американская послевоенная литература? Никоим образом. Неужели Никсон мог когда-либо сказать о Селби, что тот, дескать, служит национальным интересам, неужели Кизингер сказал бы такое о Грассе? Навряд ли. Вся послевоенная литература — антинациональна; здоровой ее никак не назовешь, только я полагаю, что противоположностью такому «здоровью» является не «болезнь», а «страдание». Каким чудовищем был бы человек без способности страдать?

Вновь и вновь опровергаемому, вновь и вновь отстаиваемому идеалу «здорового» мира соответствует определенная художественная форма — социалистический реализм, который является по сути марксистской разновидностью всем нам знакомой духоподъемлющей литературы, где добро побеждает, злодей бывает наказан либо он исправляется; это литература, в которой не страждут от сомнений в истинности той или иной мироспасительной доктрины. Схема известна. Разумеется, духоподъемлющая литература может содержать и критику (не настолько догматики глупы), однако в конечном счете критика должна содействовать утверждению доктрины.

Так чьим же интересам служит Солженицын? Поймет ли, наконец, хоть какой-нибудь истеблишмент, как трудно поставить себе в услужение своенравного писателя? Так или иначе хрущевский расчет со сталинизмом прогремел на весь мир, эта тема обошла все газеты, плотина оказалась прорванной. Да разве же найдется государственный деятель из тех, кто мнит себя реалистом, который действительно считал бы, что такой проран в плотине можно вновь перекрыть? А ведь то, что в свое время провозгласил Хрущев, было не литературой, это был суровый и жесткий язык политического реалиста. При Хрущеве и начал публиковаться в Советском Союзе писатель Александр Солженицын.

В интересах социализма и социалистического реализма стоило бы отказаться всего лишь от претензии на единственно правильный рецепт счастья для мира и признать, что и в социалистических странах люди страждут, то есть мучаются вопросом: не работала ли та жуткая машина на ад абсурда?

Дёрдь Лукач, которого никак не назовешь агентом империализма, показал в своем эссе (опубликованном в издательстве «Лухтерханд» [1]), что истоки Солженицына следует искать в социалистическом реализме, и предостерег писателей из социалистических стран — я излагаю его мысли весьма конспективно — от заимствования формальных элементов западных литератур. Полагаю, он прав: литература там может обновиться лишь за счет собственных сил, у Запада для нее ничего стоящего нет.

Возможно, когда-нибудь — только когда? — в Советском Союзе поймут, чьим интересам служит писатель Александр Солженицын. Романом «В круге первом» он свершил чудо осовременивания социалистического реализма, благодаря чему тот приобщился к мировой литературе, причем не только за счет разоблачений сталинизма. Солженицын более чем поколебал трекляtое высокомерие Запада по отношению к советской литературе, и вообще писатель, подобный Солженицыну, возможен только в Советском Союзе.

Особенно меня поражает излучаемое им спокойствие, хотя ни один писатель на земле не оспаривается столь яростно и не подвержен такой опасности. Возникает впечатление, будто ничто не в силах вывести его из этого спокойствия, даже жуткая брань, которая раздается на родине в его адрес, и публично предложенный выезд, отвергнутый Солженицыным как высылка из страны.

Но это отнюдь не олимпийское спокойствие, а спокойствие человека, горячо переживающего события нашей жизни, наше-

[1] Там же вышел и сборник «Для пользы дела». *(Здесь и далее прим. перев.)*

го современника и уж никак не живого монумента, покрытого патиной вечной славы. Каждый из собранных здесь рассказов, даже самая малая проза, излучает этот покой — удивительное послание глупой суете, которой все мы привержены в большей или меньшей степени.

Заглавный рассказ печален. Обманут весь коллектив техникума, включая директора и преподавателей, который с энтузиазмом работал на субботниках и воскресниках; в последний момент новостройку передают для других целей. За несколько часов до того, как учащиеся техникума собираются начать переезд, какие-то инстанции решают занять помещение под другие нужды.

Солженицын и в этих сравнительно небольших произведениях оказывается писателем, который понимает, что достоверность создается деталью.

Например, при обходе старого техникума некий товарищ из министерства пытается втолковать директору, что у того нет нехватки площадей, и когда он находит свободное местечко на стене, где лаборант прикнопил фотографию какой-то красотки («из нашего журнала или из заграничного была вырезана эта грешница, понять без подписи было нельзя»), он козыряет перед директором: «Вот, говорите места нет..». В подобных эпизодах — есть и другой пример, когда некий партработник на упрек, что, дескать, у него не советский стиль работы, отвечает: «Наоборот. Я с о в е т н о работаю, с народом я с о в е т у ю с ь»,— обнаруживается точность Солженицына, отнюдь не хладнокровие и уж тем более не стилистическая огрубленность, напротив — чуткость, которая терпеливо ищет верную деталь и терпеливо готова ждать ее. Это признак нового реализма, который не позволит себя взнуздать, который человечен, а потому способен изображать и ответработников неодноцветно.

Разумеется, любовь и симпатии Солженицына принадлежат тем людям, которых у нас по привычному упрощенчеству именуют «простыми» или «маленькими»; здесь, к примеру, и опустившийся солдат революции из рассказа «Правая кисть», и старая крестьянка Матрена из рассказа «Матренин двор», и верующие из рассказа «Крестный ход», которых Солженицын берет под свою защиту от хулиганствующих «материалистов».

Все его персонажи в равной мере полны спокойствия, терпения, но и гнева; все они служат «интересам дела», которое интернационально. Отголоски национальной обиды так же очевидны в советской критике творчества Солженицына, как и проявление зависти. Ведь ныне советские писатели порвали и с объединением европейских литераторов «Комес», которое собственно и создано-то как инструмент примирения социалистической и западной литературы. И все это из-за одного-единственного писателя, который всегда энергично боролся и борется теперь против манипуляции с его произведениями на Западе, который неизменно подчеркивал, что пишет для советских людей!

Разве мудро объявлять такого писателя врагом народа, придавая ему тем самым еще большую политическую и символическую весомость? Да и под силу ли одному писателю такое бремя?

1970 г.

Нужно всегда идти дальше

Александр Солженицын и его лагерная книга «Архипелаг ГУЛАГ»

Кое-кто из умных людей — в разных политических лагерях — теперь, после опубликования книги «Архипелаг ГУЛАГ», обязательно скажет, что Солженицын зашел все-таки слишком уж далеко, а потому, дескать, пусть и винит себя самого за возможные последствия. Другие, еще более умные люди, потирают руки в предвкушении политических и финансовых выгод.

Однако в данном случае не важно, что люди умные покачивают головами, а еще более умные потирают руки. Ведь Солженицын знал, чем рискует. И он сознательно пошел на этот риск, тем более что уже привык к клевете и преследованиям в их весьма гнусной форме (например, если среди ночи некий «пьяный» начинает «случайно» трезвонить в дверь именно его квартиры, которая, разумеется, находится под постоянным наблюдением, то вот это я и называю весьма гнусными формами преследования).

«Архипелаг ГУЛАГ» — это история, так она и названа Солженицыным, а мотивы ее публикации вполне очевидны: писатель стремится привлечь внимание мировой общественности (что, возможно, послужит определенной защитой) к тем людям, кто упомянут в «Архипелаге ГУЛАГ», к его оставшимся в живых свидетелям; а кроме того, эта книга — «наш общий дружный памятник всем замученным и убитым». «Архипелаг ГУЛАГ» является документальным подтверждением фактов, что уже известны мировой общественности по многочисленным публикациям; вот как характеризует Александр Солженицын в своей книге те десятилетия террора: «...вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика, вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор».

Даже самых рьяных противников Солженицына должно удивлять его бесстрашие, у них должна вызывать уважение та неколебимая твердость, с какой он продолжает работу и публикацию своих произведений. Однако ни удивления, ни уважения ждать не приходится. На это нет даже намека.

Одним из постыднейших фактов в истории Союза советских писателей останется то обстоятельство, что он всегда исключает своих членов как раз тогда, когда они находятся в опасности или в опале — вспомним Ахматову, Зощенко, Пастернака, Солженицына. А ведь «Один день Ивана Де-

нисовича» вышел в свет с явного одобрения Хрущева у главного редактора, с которым Солженицын дружил и память которого почтил на его похоронах,— речь идет об Александре Твардовском, коего вряд ли кто-либо решится назвать пособником империализма. Он пал вместе с Солженицыным. Если вспомнить, что поводом для исключения Солженицына из Союза писателей послужил роман «Раковый корпус», кстати уже набранный, и если к тому же учесть, что до сих пор неясно и, видно, навсегда уже останется неясным, кто же все-таки добивался исключения и по каким, собственно, мотивам, то к вероятным мотивам политического характера можно вполне добавить ревность и зависть самого что ни на есть обывательского толка.

Прочие писатели должны бы уразуметь, что писатель, столь предательски изгнанный и лишенный всяческой поддержки, не вправе сдаваться, идти на малейшие уступки, отступать даже на миллиметр, и, возможно, настанет день — я не теряю такой надежды,— когда ненависть, ослепление, клевета, травля и гнусные преследования сменятся пониманием того, что этот человек страдает и борется не только за себя самого, нет, речь идет о большем, гораздо большем а именно о том, что в конечном счете послужит авторитету и престижу самого же Советского Союза.

Ведь и процесс, называемый «десталинизацией», начался в 1956 году в самом Советском Союзе, а «литературным сигналом» его начала стала публикация «Одного дня Ивана Денисовича», состоявшаяся по инициативе Твардовского и с одобрения. а может, даже при активном содействии Хрущева. Открылся шлюз, который вскоре вновь оказался закрытым, ибо накопившийся исторический материал грозил обернуться потопом: в результате, так сказать, последовавшего оттока часть материалов попала в «самиздат». Было бы лучше оставить шлюз открытым, я говорю это безо всякого высокомерия или желания поучать; просто я уверен, что процесс, начатый в 1956 году, неостановим. Бессмысленно зачислять каждого, кто обращается к неопровержимым да и неопровергаемым ужасам сталинизма, в расхожую, пошлую, мещанскую категорию «очернителей». Те кто якобы очерняют, на самом деле стремятся к очищению, залогом которого призвана стать международная огласка фактов, ибо проблема эта не только советская.

Высказывались опасения (они прозвучали и на заседании международного ПЕН-клуба 24 мая 1973 года), что подписание Советским Союзом всемирной конвенции по охране авторских прав не принесет советским авторам ни свободы, ни каких-либо выгод. Опасения оказались справедливыми, и, похоже, что первый тому наглядный урок будет преподан на примере Солженицына.

Западное толкование авторского права, из которого исходит всемирная конвенция, предполагает, что писатель сам выбирает себе литагента или издателя. Например, немецкий писатель вполне может передать свою рукопись на немецком языке японскому агенту, который и будет представлять его права во всем мире. Кроме того, западное толкование авторского права предполагает независимость зарубежных изданий от изданий внутри страны. Так, книги южноамериканских писателей, которые не могут быть опубликованы на родине по политическим мотивам, появляются в США или в Испании.

Социалистические страны не признают этого западного толкования авторского права. Исключения из общего правила бывали скорее уступками, да и то они сопровождались и угрозами, бранью, допросами и грабительским урезанием авторского гонорара (особенно это относится к ЧССР). И если руководитель недавно созданного советского агентства по охране авторских прав Борис Панкин заявляет, что собирается принять меры против распространения произведений Солженицына за рубежом, то по крайней мере западным издателям угроза эта кажется пустой и странной, ибо следствием ее могут стать лишь бесконечные и бессмысленные тяжбы (да и в каком суде?). Серьезной эта угроза станет лишь тогда, когда на Западе заинтересуются в качестве «менового товара» произведениями известных и читаемых советских писателей, не прославших «очернителями».

Если руководитель советского государственного агентства по охране авторских прав Борис Панкин утверждает, что данная проблема является сугубо внутренним делом Советского Союза, то остается одно лишь средство — вмешательство международной общественности. Во вмешательстве нас обвиняют постоянно. И вот тут я хочу сказать, что советские участники международных форумов неизменно — причем с полным правом и это должно стать обычным на подобных форумах — вмешиваются в наши внутренние дела. Например, то, что говорят именно нам, писателям ФРГ, о дешевых военно-приключенческих («ландсеровских») книжонках — это вмешательство, но, я подчеркиваю, отнюдь не нежелательное, ибо изнутри литературного цеха порой и не разглядишь некоторых губительных феноменов издательской политики.

Теперь, стало быть, все повторится — клевета, брань, преследования, психологическая война против Солженицына. В ход пойдут привычные статьи в соответствующих газетах и журналах. Нас вновь заклеймят поборниками «холодной войны». Коллеги станут отмежевываться от Солженицына, будут участвовать в его поругании.

Спрашиваю себя и секретарей, а также рядовых членов Союза советских писателей: неужели так будет всегда, неужели вечно? Неужели это не прекратится, пока терпение Солженицына и его близких не будет исчерпано или пока их не выкинут вон? Ведь речь идет о писателе, который внутри своей же страны находится вне закона и совершенно беззащитен. Солженицын лишен возможности взывать своими публикациями к согражданам, поэтому ему остается одно только средство — обратиться к мировой общественности. что он и делает своей книгой «Архипелаг ГУЛАГ».

Есть единственный выход, и я скажу о нем здесь, каким бы сумасбродным он ни

показался: нужно опубликовать эту книгу в Советском Союзе.

Пусть заранее известно, какой будет — официальная и неофициальная — критика, зато советские читатели получат возможность проверить на себе, на своих родных и близких, как воплощает Солженицын в слове этот ужасный период советской истории; ведь, как явствует из книги «Архипелаг ГУЛАГ», мир лагерных островков простирался по всей стране, врезался в города, нависал над дорогами, он был и остается до сих пор. Его можно назвать постоянно сегодняшним днем прошлого страха.

Я прекрасно сознаю все сумасбродство моего предложения опубликовать Солженицына в Советском Союзе, однако порою сумасбродство оказывается единственно реалистическим выходом. Такая великая страна, как Советский Союз, который, видимо, действительно заинтересован в разрядке международной напряженности, не может позволить себе слишком долго сохранять то напряжение внутреннее, обусловленное прошлым, еще незабытым страхом, который и стремится запечатлеть Солженицын.

Здесь необходимо сказать несколько слов о проблеме аплодисментов с чужой стороны. Я уже не раз обстоятельно и решительно отвечал на провокации шпрингеровской прессы. Господин Лёвенталь из ЦДФ[1] и ряд католических изданий прекрасно знают, что хвала их для меня противнее всякой хулы. И довольно об этом. Даже критика с чужой стороны меня не задевает.

Повторяю снова: я отдаю себе отчет в своих действиях, никто меня на них не подталкивал и не подбивал. Если я и заведен на ложный путь, то только самим собою.

Остаюсь при своем мнении: Солженицын зашел настолько далеко, насколько и должен пойти писатель. Должен ли он идти еще дальше — решать ему, и только ему одному.

Насколько далеко зайдут его противники — в Союзе советских писателей, в редакциях соответствующих газет и журналов, в инстанциях, заведующих культурой,— это уже вопрос не личного, нравственного выбора, а вопрос злоупотребления властью. Саму игру его противники давно проиграли. Им нужно в этом признаться и избрать единственно возможный, сумасбродный путь.

Нам же не стоит слишком заноситься. Пусть это было давно, но не в столь уж отдаленном прошлом, когда немецкое посольство в Париже выступило с протестом против демонстрации фильма «Ночь и туман» Жана Кейроля на Каннском фестивале; а то, что, будучи немецким писателем, который порой выезжает за границу слышишь от наших дипломатов — так ведь это все та же старая песня об «очернителях». И еще заметим, что освобождению Амальрика, пусть и состоявшемуся лишь de facto, а не de jure, посвящено куда меньше заголовков в наших газетах, чем его аресту

1974 г.

[1] Вторая программа телевидения ФРГ.

Приветствие Солженицыну

Ни в одном государстве, ни в одной стране на свете нет таких замечательных музеев, как в Советском Союзе; взять хотя бы оба толстовских музея — в Ясной Поляне и Москве, чеховские дома — в Ялте и Москве, пушкинский музей в Ленинграде, два музея Достоевского — везде великолепные экспозиции, их прекрасно содержат, хорошо посещают.

Мебель, веяние времени, рукописи, ставшие реликвиями личные вещи и предметы обихода; на память приходят портсигар Достоевского, знаменитый самовар, письменные приборы и письменные столы, а еще весьма неожиданные для западного европейца места для сна. Помнится странная, на удивление мрачная атмосфера в музее Горького.

Посещение этих и других музеев подтвердило для меня тот вроде бы само собой разумеющийся факт, которому, однако, за железным занавесом грозит постепенное забвение: ведь тут — Европа, здесь пестуют европейский дух, здесь чтут европейские традиции, причем с такой искренностью, я бы даже сказал — истовостью, которая нам, западным европейцам, иногда представляется, пожалуй, чрезмерной; высокомерные, избалованные, пресыщенные, мы склонны, если уж не пренебрегать вовсе, то недооценивать, а тут вдруг — столь беззаветное тщание, за которым нередко чувствуешь нечто большее, чем приоткрывает внешне официальная сторона дела.

Несомненно, когда-нибудь появится и музей Шолохова (если его еще нет) или музей Симонова, время сделает свое дело; откроется музей Булгакова. Там будут проводиться торжества, произноситься речи, устраиваться лекции, показываться фильмы и диапозитивы. Музея Пастернака покуда нет, однако дом его в Переделкине и могила уже стали местом паломничества, как и места, связанные с Ахматовой. А Маяковский, Есенин, Мандельштам — какое богатство, многообразие, какие противоположности, различие; и все они — достояние Европы, которая все более мыслит себя лишь Европой Западной.

Уверен, что в Советском Союзе будут чтить и Александра Солженицына, которому ныне исполняется шестьдесят лет. Он самый молодой в этой великой галерее «спорных» писателей и единственный, кто родился уже советским гражданином. Будет ли праздноваться день его рождения лишь подпольно, тайком? Появятся ли цветы перед последней его квартирой на улице Горького, откуда началось его изгнание? Возьмет ли милиция под охрану связанные с его именем места, где могло бы состояться чествование? Например, дачу Ростроповича, дом Чуковского, рязанскую квартиру или дом в Кисловодске, где он родился? Не бросит ли кто-либо на ходу из машины букет цветов к воротам лефортовской тюрьмы?

Трудно себе представить, чтобы этот день остался без внимания в Советском Союзе,

невероятно, чтобы когда-либо забыли день его высылки — 13 февраля 1974 года. В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын размышляет, какими вариантами могут воспользоваться те, о ком он думал зимой 1973 года, когда увидел свет «Архипелаг ГУЛАГ», и ему предстояла последняя, жесточайшая схватка — он расклассифицировал вероятные последствия, исходя из четкой системы координат, в основу которой лег личный опыт и кое-какие сведения; так вот «высылку» он счел лишь «возможной» мерой.

Вообще его день рождения служит хорошим поводом, чтобы перечитать «Бодался теленок с дубом»; это книга великого писателя, в котором легко угадать математика, причем математика в высшем смысле слова, ибо он наделен даром планировать и выражать в виде формул сложнейшие процессы, включать в эти формулы не поддающиеся расчету величины, вероятности и невероятности: свой план он противопоставляет их «стратегическому плану» еще до того, как тот обрел зримые черты.

Трудно уяснить, да, наверное, никогда до конца и не уяснятся все последствия, которые повлекла за собою его высылка. И к чему приведет публикация его произведений. Вероятно, будут серьезные проблемы, даже скандалы — и не только у его врагов, будут кривотолки и недоразумения, желательные и нежелательные эффекты и последствия; кто и чем сможет все это измерить? «Они не ведают, что творят» — это относится ко многим, а не только к тем, кто его выслал.

Александр Солженицын совершил переворот в сознании, переворот всемирного значения, который нашел отклик во всех концах света. Он разоблачил не только ту систему, которая сделала его изгнанником, но и ту, куда он изгнан; он разоблачил и тех, кто усердно использует его для саморекламы. Но может ли такой писатель, как он, вообще работать на какую-либо рекламу? Нет, он навсегда останется в совестливой памяти времени, а не только в истории духовного развития человечества, истории культуры, он останется там своими произведениями, неотделимыми от личности писателя.

А еще мне хочется указать на одно его свойство, которое до сих пор оказывалось почти незамеченным, настолько оно очевидно: он — европеец, восточный европеец. Это ли не повод при современной-то европейской суетности задуматься о самих понятиях «Европа» и «европейский»? Откроют ли к его восьмидесятилетию 11 декабря 1998 года или к его столетию 11 декабря 2018 года музей Солженицына в Кисловодске, Рязани или Москве?

Воспользовавшись этой возможностью, шлю приветы в Вермонт — ему, его жене Але, детям и теще.

1978 г.

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

◆

Резонанс

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты*

Вопросы

1. Как Вы оцениваете перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, и воздействие гласности на культурную ситуацию в Советском Союзе? Происходят ли в этой связи какие-либо изменения Вашей концепции развития советской литературы?

2. Удовлетворены ли Вы развитием культурно-политического диалога между Вашей страной и СССР?

3. Остались ли еще, на Ваш взгляд, сейчас, в эпоху гласности, белые пятна в нашей истории и литературе?

4. Что Вы думаете о преобладании публицистического начала в современной советской литературе? Каково, с Вашей точки зрения, значение полемики, развернувшейся в нашем обществе вокруг личности и исторической роли Сталина?

5. Как Вы оцениваете феномен русскоязычного литературного зарубежья и место этого явления в русской и мировой культуре?

6. Над какой темой Вы работаете в настоящее время?

ЛЕОН РОБЕЛЬ (Франция). Родился в 1928 году. Литературовед, публицист, переводчик. Профессор Национального института восточных языков и культур. Заведующий русской частью архива Арагона — Эльзы Триоле. Автор книг: «Манифесты русских футуристов», «Советская литература: вопросы...», «СССР и мы» (в соавторстве), «Социализм/ы/» (в соавторстве). Награжден орденом «Знак Почета» за переводы и пропаганду русской поэзии.

1. События, происходящие в наши дни в Советском Союзе, имеют, на мой взгляд, огромное значение для всего человечества: они вселяют надежду, что история перестала буксовать. Они характерны для нового этапа всеобщего развития, когда человечество вступает в пору единения (что, конечно, не может не вызывать целый ряд довольно бурных реакций).

Здесь стоило бы поговорить о «новом мышлении». но эта тема требовала бы иного простора, и я надеюсь к ней вернуться (я ее предварительно коснулся в статье, напечатанной в журнале «Решерш интернасьональ» осенью 1987 года). Русист не может не радоваться, наблюдая развитие демократии, рост влияния общественного мнения, появление открытого плюрализма, столь необходимого для нормальной жизни культуры. Может показаться на первый взгляд, что, пользуясь гласностью, такие отрицательные явления, как ультранационализм, шовинизм и даже расизм, получают гораздо большее распространение, чем в предыдущие периоды. Но это, конечно, не так. Они существовали подспудно и раньше, а их открытые выступления дают возможность с ними так же открыто бороться. Открытая борьба мнений может привести только к оздоровлению культурно-политической ситуации в стране вообще. Отказ от жесткой цензуры и административного управления культурой позволил уже в значительной мере устранить белые пятна на карте русской литературы XX века. Появляется возможность более свободного соревнования разных стилевых тенденций в советской литературе. В своей книге «Советская литература: вопросы...» я писал (в 1976 году) следующее: «Я убежден, что литература в СССР больше ждет от эволюции общества, чем от рассуждений о социалистическом реализме». То, что происходит сейчас в Советском Союзе, подтверждает, кажется, правильность этой мысли. Когда пройдет всеобщее увлечение публицистикой и ранее «запретными» произведениями и темами, я уверен, что появятся новые во всех отношениях и интереснейшие произведения советской литературы. Конечно, многое из того, что является теперь сенсацией для советских читателей, было нам известно на Западе. Но только теперь оно вливается в живое тело родной литературы. Это помогает воссоздать более цельную картину развития русской литературы XX века и прео-

* Окончание. Начало см. в № 6, 7.

долеть и за рубежом и в СССР односторонний подход к этому развитию. Создаются условия для плодотворного сотрудничества всех специалистов по этим вопросам. Мне самому эта новая ситуация помогает избавиться от несколько «раздвоенного» восприятия русской литературы нашего века.

2. В последние годы культурный и политический диалог между нашими странами возобновился и углубился. Создание Советского культурного центра в Париже и Французского в Москве (принципиальное решение о котором уже принято) может иметь самое благоприятное влияние на развитие культурных отношений между нашими странами. Участились взаимные посещения писателей, критиков и литературоведов, театральных деятелей, обмены выставками, фильмами и т. д. Но мне кажется, что пора переходить от ознакомления и дружеского общения (от «туризма») к более углубленному взаимовлиянию, к сотворчеству. В этом духе предпринята работа над созданием советско-французского литературного альманаха. Тому же могли бы служить совместные или перекрестные книги, взаимные переводы. Опираясь на свои вековые традиции дружбы и взаимного влияния, наши страны могли бы явить пример действительно созидающего сотрудничества в европейском и, далее, мировом масштабе. Совместная переоценка роли революции, с опорой на опыт наших стран, могла бы иметь в связи с этим самое большое значение.

3. Белых пятен еще много. Нет полного собрания сочинений величайшего поэта XX века Хлебникова. Многие рукописи замечательного драматурга Евгения Шварца не изданы. Нет советских изданий Хармса, Введенского. Нет пока еще советского издания русских стихов такого всемирно известного поэта наших дней, как Геннадий Айги. Нет книг многих интереснейших современных поэтов, как, например, Всеволод Некрасов. Где полные академические Пастернак, Мандельштам?.. Нет добротных академических хрестоматий по основным школам и направлениям русской литературы XX века, со всесторонним освещением материалов. Да нет, кстати, монографий по истории символизма, акмеизма, футуризма, имажинизма, конструктивизма и т. д., так что предстоит еще огромная работа по собиранию и систематизации материалов, необходимых для осмысления литературных процессов нашего века. Добавим, что для создания действительно научной истории русской литературы XX века нужны еще и комплексная история русской культуры XX века и, конечно же, достойная доверия общая история Советского Союза.

4. С этой точки зрения важнейшее значение имеет правильное описание и осмысление исторической роли Сталина. Я написал было «объективное», но почувствовал, что это слово могло бы быть не так истолковано (что говорит о сильной, пока еще, идеологизации этой темы). Я понимаю, что многочисленные романы, повести, статьи, эссе, в которых изображается и обсуждается личность и деятельность Сталина, сталинский террор, просто необходимы — я бы сказал «терапевтически» — для общественного сознания: многое надо просто «выговорить», чтобы освободить себя от груза, от торможения. Но не стоит забывать о всемирном аспекте этого явления: «сталинщина» существует и как международная форма идеологии и поведения. И здесь, по моему глубокому убеждению, идея «исключительности» исторических судеб России, столь распространенная в той или иной форме, сковывает мысль. Да, со сталинизмом надо покончить и в этом смысле! Обсуждая те или иные аспекты современной жизни и культуры со своими советскими коллегами и друзьями, я то и дело сталкиваюсь с таким явлением: то, что кажется у вас плодом особого исторического развития, наблюдается часто и у нас. (Это, например, массовое ухудшение владения родным языком, неудовлетворительная работа школы, потеря исторических ориентиров, сдача позиций книгой, стремление молодежи к «невключенности», распространение так называемого «нового индивидуализма», продление подросткового возраста и поведения чуть ли не до тридцати лет и т. д. и т. п.) То, что в рамках совершенно разных общественно-политических систем мы и вы пришли к одинаковым результатам, доказывает, что нельзя все объяснять только тем, что у вас был Сталин. Поэтому необходим очень точный и четкий анализ сталинизма как такового и его последствий. Разобраться в этом историческом наследстве, все сваливая в одну кучу, очевидно, невозможно. Этим я, понятно, никак не пытаюсь умалить огромность и чудовищность «сталинщины».

5. Безусловно литература эмиграции, которая вбирает многие выдающиеся произведения Бунина, Ремизова, Куприна, Цветаевой и прочих, должна быть включена в общую картину русскоязычной литературы XX века. Достойны внимания не только лучшие произведения, но и литературная жизнь, издательства, журналы, газеты, внутренние противоречия, специфика эмигрантской среды, публики, переводы, контакты с литераторами принимающей страны и т. д. Сложнее случай с писателями, которые пользовались в своем творчестве двумя и более языками, такими, как Набоков, Эльза Триоле, Бродский и др. (включая в какой-то мере и Цветаеву). Придется очень тщательно определить, что в их наследии принадлежит русской литературе, а что французской, американской и т. д.

6. Я, как всегда, много перевожу русскую поэзию. Только что вышел номер журнала «Аксьон поэтик», посвященный «новой волне» русских поэтов, в создании которого я принимал самое активное участие. Предстоит дать более подробный и глубокий анализ этого интереснейшего явления, довести этот труд до размеров, может быть, антологии. Продолжаю заниматься вопросами формальной структуры современного русского стиха. Идет к завершению работа над антологией чувашской поэзии (по заказу ЮНЕСКО). Готовлю новое издание книги о советской литературе, в котором значительная часть будет посвящена литературе эпохи перестройки. С другой стороны, с группой французских и советских коллег участвую в создании ака-

демического тома (типа «Литературного наследия»), посвященного Арагону и Эльзе Триоле, посредникам между нашими литературами и культурами. В том же плане готовлю к изданию на французском языке интереснейшую переписку между сестрами Лилей Юрьевной Брик и Эльзой Триоле. В перспективе книга о русской поэзии. И, надеюсь, но это уже не в академическом плане и не в области русистики, издать собственные стихи.

АЛЕКСАНДР ФЛАКЕР (Югославия). **Родился в 1924 году. Профессор русской литературы Загребского университета. Автор книг: «Стили и периоды» (с З. Шкребом, 1962), «Русские классики XIX века» (1965), «Литературные сравнения» (1968), «Модели прозы в джинсах» (1975), «Поэтика опровержения» (1987), «Русский авангард» (1984), «Кочевники красоты» (1988).**

1. Отвечаю косвенно: в 1954 году я опубликовал книгу под заглавием «Еретики и мечтатели», посвященную послеоктябрьской русской прозе. В сборник вошли переводы рассказов И. Бабеля, Е. Замятина, Б. Пильняка, М. Зощенко, Ю. Олеши, тексты Л. Лунца, А. Воронского и других. В то время про них «забыли» не только в СССР. В 1984 году я издал книгу «Русский авангард», в которой поместил анализ текстов русских писателей (начиная с Л. Андреева, А. Белого и В. Розанова и кончая Даниилом Хармсом) в сопровождении репродукций картин Шагала, Ларионова, Гончаровой, Кандинского, Розановой, Филонова, Малевича, Татлина, Родченко, Эль Лисицкого... Получить этот материал было все еще очень трудно, за него надо было бороться! Через три месяца книга стала редкостью. Советская печать эту книгу даже не заметила.

Мне, в сущности, нечего менять в моей концепции: новые материалы ее только дополняют, радуюсь их появлению.

2. И на этот вопрос отвечаю с личной точки зрения. Я возглавляю международный проект «Русский авангард». Сотрудничают в нем литераторы и искусствоведы из Югославии, ФРГ, Австрии, Венгрии, Польши, Швеции, Италии, Швейцарии, Голландии... Мы издали пять томов, наши материалы регулярно публикует на русском языке журнал «Рашн литрече» в Амстердаме, в печати находится двухтомник на немецком языке. Два года назад на наши совещания начали приезжать советские коллеги, но откликов в советской печати все еще нет. А дело наше серьезное, и «диалог» нам нужен, в «европейском» масштабе мы ведем его с 1977 года.

3. История литературы всегда открывает «забытые» явления и одновременно всегда переоценивает явления, казавшиеся раньше незыблемыми ценностями. Исчезают «белые пятна», созданные идеологическими запретами, им на смену приходят запреты эстетические; если не «белые», то «серые» пятна всегда будут существовать А советским литературоведам предстоит сделать еще немало: собрание сочинений И Бабеля вышло пока только в Югославии в переводе на сербский язык, В. Розанова читаем в немецком издании, самое полное издание Д. Хармса осуществляется в Иерусалиме и т. п. Надеемся, что советские издатели «догонят и перегонят» Запад хотя бы в публикации текстов советской литературы.

.4. Когда советский читатель получит достоверную историческую информацию о Сталине, спрос на романы, «изображающие» Сталина, и вообще на «публицистическое начало» в литературе уменьшится. Кажется, это время уже наступает, и русская литература вернется к своей эстетической функции: от социальной дидактики она уже отошла. Между прочим, в сущности я уже высказался по этому вопросу, положительно оценивая в свое время роман Юрия Домбровского «Хранитель древностей», отрицательно же оценивая «Август четырнадцатого» Солженицына, как публицистику без «биографического нимба».

5. Разделение русской литературы на «советскую» и «зарубежную» не преследовало литературоведческих целей. Критическое восстановление единства русской литературы приведет к отсеву графомании, которая в ненормальных условиях выдается за «настоящую» литературу, с другой же стороны — макулатуры, написанной по идеологическому «заказу».

6. Недавно вышла моя книга «Кочевники красоты», в которой я уже «перекочевал» с поприща «белых пятен» русской литературы на «пастбища» соотношений литературы и других искусств, в первую очередь живописи. «Русский авангард» останется и впредь «инвариантом» моей работы.

ПЕТЕР БРАНГ (Швейцария). **Родился в 1924 году. Заведующий кафедрой славянской филологии и славянским семинаром Цюрихского университета. Член Международного комитета славистов. Основные труды: «Исследования по отношению Пушкина к языку» (докторская диссертация, 1952), «Пушкин и Крюков. К истории возникновения «Капитанской дочки» (1957), «Этюды по теории и практике русской повести. 1770—1811» (1960), «И. С. Тургенев. Его жизнь и сочинения» (1977), «Аннотированная библиография по славянской социолингвистике» в трех томах (вместе с М. Цюллиг, 1981), «Звучащая речь. К теории и истории искусства декламации в России» (1988).**

1. На этот вопрос отвечаю словом одного из ведущих «деятелей» русской культуры в СССР: «ЧУДО». И специалисты зарубежья не предвидели такого развития. Предсказал его — в общей форме — А. Солженицын, когда в 1975 году в Цюрихском университете призвал наших студентов изучать русский язык: «Так не останется, будут перемены». Урок для всех: история — даже в XX веке — открыта

2 Несмотря на замечательное расширение культурного обмена мы еще далеки от «нормальности», если сравнить, например, со второй половиной XIX века Нормально будет тогда, когда ученый решает сам, поедет ли на какую-нибудь конференцию за рубежом или нет.

3. Остались еще многие белые пятна, но не все сделаешь сразу (см. пункт 5).

4. Преобладание публицистического начала в современной советской литературе — нормально при данных обстоятельствах. Оно соответствует традициям, отличающим русскую литературу. Все-таки можно надеяться, что наступит время, когда литература сможет «добросовестно» сама определить степень публицистического начала, а соответствующие задачи будут решаться другими учреждениями.

5. Роль русскоязычного литературного зарубежья — разных волн эмиграции — в русской и мировой культуре огромна. Желательно, чтобы в будущем больше принимались к сведению усилия эмиграции, а также славистов и русистов зарубежных стран, направленные на сохранение и распространение и тех русских культурных ценностей, которыми пренебрегали во время «застоя». Лучшие издания Ахматовой, Андрея Белого, Гумилева, Вячеслава Иванова, Клюева, Мандельштама, Владимира Соловьева, Марины Цветаевой и т. д. были напечатаны на Западе.

6. В настоящее время работаю над вопросами «звучащей художественной речи»— в России и в других славянских странах — в литературоведческом и социолингвистическом аспектах; над взаимосвязями между русской и швейцарской культурой; над историей вегетарианских идей в России.

КРИСТОФЕР ХОУП (ЮАР). Родился в 1942 году в Йоханнесбурге, с середины 60-х годов живет в Англии. Прозаик, публицист, автор книг для детей. Участник англо-советского «круглого стола» «История и современность» (1988). Несколько раз посещал СССР, собирая материал для книги о нашей стране и о происходящих в ней переменах.

1. Перемены, происходящие в СССР, имеют огромное значение. Мне они представляются не чем иным, как второй революцией с такими же преобразующими последствиями. Думаю, что политическая перестройка окажет существенное влияние и на литературу. Последние десятилетия в советском обществе было немало скрытых и запретных тем, которых больше не существует.

2. До недавнего времени диалог между Великобританией и Советским Союзом, и в частности между писателями, был крайне ограничен. Английских литераторов, посещавших СССР, всегда удивляло, почему некоторые авторы, не пользующиеся особенным признанием на родине, так высоко оцениваются в вашей стране. Не сомневаюсь, что подобное впечатление могло сложиться и у советских писателей во время поездок в Англию. Надо сказать, что в Союзе переведено значительное количество произведений английских прозаиков и поэтов. Мы в этом отношении отстали. Возможно, одна из причин тому — просто незнание другой литературы, кроме произведений классиков XIX века или эмигрантов, не имевших возможности напечатать свои книги в СССР. Сегодня гласность начинает ломать существующие стереотипы мышления. Наконец-то мы стали понимать, что нельзя делить всю советскую литературу на черное и белое: «запрещенную» и «официальную», помимо политики есть просто жизнь с ее проблемами.

Издание в Англии книг таких несхожих друг с другом авторов, как Рыбаков и Распутин, еще больше укрепило наше представление о многообразии советской литературы. Процесс сближения между нашими странами проходит хотя и медленно, но все же весьма заметно.

3. Белые пятна остались и в отношении сталинского времени и десятилетий застоя. С одной стороны, очень воодушевляют долгожданные публикации Замятина и Пастернака, а также таких значительных представителей зарубежного модернизма, как, например, Джеймс Джойс. Но многие из нас не понимают, почему до сих пор не издано полное собрание сочинений Ахматовой и все еще запрещен Солженицын. Мне кажется, что беспрепятственная публикация и общедоступность книг неразрывно связаны с появившейся возможностью откровенно высказывать свои мысли, а сокрытие произведений, написанных более десяти лет назад, есть не что иное, как весьма сомнительное признание силы их воздействия.

4. Полемика в печати о Сталине вполне понятна, но, на мой взгляд, носит несколько односторонний характер. Следует не только обсуждать, но и глубоко изучать наследие сталинских времен, поскольку оно все еще лежит мертвым грузом в сердцах людей и препятствует свободе дискуссии. Настойчивость, с которой некоторые газеты, в частности «Московские новости», пишут об этом, достойна восхищения и крайне необходима до тех пор, пока тени тех ужасных лет заслоняют свет живущим. Это осознали и те, кто участвует в создании Мемориала памяти жертв сталинских репрессий. Но было бы нелепостью предполагать, что осмысление феномена сталинизма можно ограничить исключительно газетными статьями. Где работы экономистов, историков и других специалистов?[1] Почему до сих пор закрыты архивы? Почему не публикуются труды зарубежных авторов? Могу привести в качестве примера «Большой террор» Роберта Конквеста.

5. Можно сказать, что большая часть современной русской литературы написана «вне» СССР, имея в виду не только «внешних» эмигрантов, как Набоков, но и «внутренних», как Пастернак, и писателей, которые в разное время были и теми и другими, как Солженицын. Думаю, что многообразие и значимость книг на русском языке, публикуемых до последнего времени лишь за пределами Советского Союза, оказались существенно важными для понимания роли писателя в жизни людей XX века. Их авторы — те, кто всегда боролся за правду и выступал против косности. В результате у западного читателя сложилось мне-

[1] В этот список я включил бы также филологов и лингвистов. Разве не требует серьезного анализа сам русский язык, исковеркаиный еще в те годы затертыми словесными штампами?

ние, что в СССР запрещены все книги, достоверно изображающие советскую действительность. Теперь потребуется некоторое время, чтобы разубедить его в этом. Набоков, Ахматова, Пастернак стали как бы «нашими» писателями. Для нас они — «Дар», отданный нам на хранение. Эти писатели оказались в странном и исключительном положении, став всемирно известными до признания на родине. Сегодня они возвращаются в свою страну, и мы должны с этим смириться. Однако и советским читателям придется свыкнуться с мыслью, что часть таланта этих больших мастеров утеряна для них безвозвратно.

6. Сейчас я пишу книгу о Москве. Это мои впечатления, мысли, словом, литературные зарисовки городской жизни, как она видится иностранцу.

АЙГИЛЬ СТЕФФЕНСЕН (Дания). **Родился в 1927 году. Доктор филологических наук, профессор Института славистики при Копенгагенском университете. Председатель Союза датских славистов, заместитель председателя Союза славистов Севера, член Международного комитета славистов.**

Автор книг: «Миропонимание и действительность в творчестве Гоголя» (1967), «Великие романы Достоевского» (1971), «Русская литературная критика от Плеханова до наших дней» (1973), «Чехов на пороге» (1982), «Восстание сверху. От холодной войны до оттепели в советской литературе» (1988).

1. Последний раз я был в Москве в феврале—марте 1987 года. В кругах творческой интеллигенции, с представителями которой я общался, царила едва ли не эйфория. Фильм Абуладзе «Покаяние» потрясал и одновременно вызывал чувство раскрепощения: крупный художник подверг сталинистское мышление беспощадному анализу, что было внове. Литературные журналы только-только стали подступаться к «забытому наследию»; всерьез поговаривали о том, что преданный анафеме роман Пастернака «Доктор Живаго» скоро станет доступен русским читателям, для которых он, собственно, и был написан. Ходили разговоры и насчет освобождения всех политических заключенных, правда, в то, что перемены зайдут так далеко, верили единицы.

Нынешней весной я вновь очутился в Москве. Упомянутые выше ожидания сбылись, да и вообще за этот короткий срок произошло невероятно много событий. Пресса и телевидение выказывают немыслимую прежде открытость в дискуссиях. Выставки современного искусства зачастую носят вызывающе авангардистский характер. Гласность — не просто лозунг, она стала реальностью, это подтверждается сплошь и рядом. Однако от прежней эйфории почти не осталось и следа. Гласность — по мере ее распространения — стала источником самопознания, самопроверки. Чем шире понятие «гласность» сопрягалось с практикой, тем яснее становилось, какие громадные задачи выдвигает перестройка. Скрытые (или замалчиваемые прежде) проблемы вытаскивались на белый свет и таким образом выносились на всеобщее обсуждение. Границы гласности решительно раздвинулись. Но вот и следствие: многие охвачены скептицизмом либо впали в самый настоящий пессимизм. Нередко приходится слышать такие слова, как «кризис» (Горбачев употребил это слово применительно к ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве), «нерешительность» и даже — «апатия».

Зачастую на Западе при обсуждении перестройки и ее перспектив высказывается такое мнение: успех перестройки сдерживается тем, что в повседневной жизни советского народа — если иметь в виду материальное благополучие — не произошло видимых изменений к лучшему. Подобная точка зрения вполне обоснованна, однако те, кто ее придерживаются, не совсем ухватывают суть проблемы. Решающая предпосылка успешного осуществления перестройки— радикальное изменение мышления, а также отношения к переменам всего общества в целом. На это требуется время — куда более длительное, чем того ожидали многие в «эйфорический» период.

Меня лично нисколько не удивляет, что ваша страна переживает такие перемены. Даже в так называемую эпоху застоя, когда пресса да и остальные средства массовой информации показывали неполную (и потому отчасти искаженную) картину действительности, литература обнаруживала явные признаки того, что официальная политическая риторика не отражает реального положения дел. Тот, кто, к примеру, внимательно читал вашу «деревенскую прозу», был в состоянии констатировать серьезные симптомы кризиса. Перестройку можно было оттягивать с помощью командно-административных методов, но не бесконечно же.

2. С удовлетворением должен отметить, что культурные и политические связи между Данией и Советским Союзом в последние годы развиваются и крепнут. В сентябре 1984-го в Шаффенгорене, небольшом загородном дворце под Копенгагеном, прошла научная конференция скандинавских славистов, посвященная «Культурным связям между Скандинавией и славянскими странами в XIX и XX веках», куда были приглашены наши коллеги из славянских стран. Конечно же, датско-русско-советские связи заняли в обсуждениях далеко не последнее место. Такого рода конференция проводилась в Дании впервые. Все материалы были впоследствии изданы отдельной книгой на средства ЮНЕСКО.

В марте 1988 года в стенах «Луисианы», музея современного искусства, что находится неподалеку от Копенгагена, прошла еще одна конференция. Она стала возможной благодаря предшествующим встречам датских и советских писателей. Принципиально новым здесь было участие не только датских и советских писателей, публицистов, главных редакторов литературно-художественных журналов, но и некоторых видных русскоязычных писателей, литературоведов, руководителей журналов, которые живут в эмиграции в Западной Европе и США. На эту встречу съехалось также немало славистов со всей Северной Европы, а также зарубежных корреспон-

дентов. Среди тех, кто представлял советскую сторону, были писатели М. Шатров, В. Дудинцев, Ф. Искандер, главные редакторы журналов «Знамя» и «Сельская молодежь» Г. Бакланов и О. Попцов, литературовед Галина Белая, критик Н. Иванова и, наконец, историк Ю. Афанасьев, чье выступление положило начало серьезному диалогу с представителями эмиграции, в числе которых были писатели В. Аксенов, А. Синявский, А. Гладилин, профессор Е. Эткинд, редакторы М. Розанова и К. Любарский, культуролог Л. Копелев.

Вначале атмосфера была весьма напряженной, чему во многом способствовали средства массовой информации, проявившие необычайный интерес к конференции еще до ее открытия. Ну а потом оказалось, что можно вести нормальный диалог и прийти к большему взаимопониманию, чем это было до сих пор. Встреча стала прорывом во взаимоотношениях представителей русскоязычной литературы и русской культуры, живущих в Советском Союзе и за его пределами. Для нас, устроителей, было большой радостью содействовать этому. Мы по достоинству оценили и то, как положительно отнесся к предложению провести эту необычную встречу Союз советских писателей. Часть материалов была опубликована на английском языке под названием «Луисианская конференция по проблемам литературы и перестройки». Полностью вы их найдете в журнале «Вопросы литературы», № 5, 1989, а также в журналах «Синтаксис» (Париж, 1988) и «Страна и мир» (Мюнхен, 1988).

В сентябре 1988-го группа советских писателей и поэтов приняла участие в фестивале искусств, что ежегодно проводится у нас в городе Орхусе. В составе делегации были Б. Ахмадуллина, А. Вознесенский, А. Битов, А. Парщиков, И. Жданов и другие. Они выступали с чтением своих произведений и в Орхусе и в «Луисиане»; благодаря удачной организации этих встреч в датском переводе уже издано восемь сборников произведений советских гостей.

Плодотворные контакты датских и советских литераторов получат дальнейшее развитие. Союз датских славистов, например, уже наметил новую встречу, где предметом обсуждения станет программа исследований процессов, протекающих в советской литературе в период перестройки. На это обсуждение мы намереваемся пригласить советских литературоведов и критиков.

3. Несомненно, в пору гласности и перестройки советская литература обогатилась значительными произведениями, которые существенно меняют наше представление о литературе всего послеоктябрьского периода. Неотъемлемой ее частью стали отныне произведения Замятина, Платонова, Гроссмана, Ахматовой, Твардовского, Пастернака и многих других, не печатавшиеся ранее в Советском Союзе. Однако дело не будет доведено до конца, пока не увидят свет не опубликованные доселе в СССР главные вещи А. Солженицына. Бессмысленно обсуждать роль Солженицына в культурном развитии советского общества, если его книги еще не стали достоянием широкого круга читателей. «Архипелаг ГУЛАГ», вызывающий политические разнотолки, надлежит в той или иной форме, но опубликовать. Фактические ошибки и неточности, которые содержатся в этом крупном произведении, уже были подвергнуты на Западе критике со стороны специалистов. Как известно, в Советском Союзе существует давняя традиция сопровождать издание значительных произведений научными комментариями. Подобное издание под редакцией компетентных исследователей, имеющих больший доступ к соответствующим материалам и документам, было бы крайне ценным, в том числе и для западного читателя, не говоря уже о специалистах, занимающихся изучением истории советского общества.

4. Насколько я понимаю, Советский Союз переживает сейчас период радикальных перемен, причем в решение крупных социальных проблем включаются все слои населения — от их активного участия зависит, будут ли эти проблемы решены в ближайшие годы. В этом и заключается суть перестройки. Новое мышление не может быть выработано одними лишь политиками и социологами. Общеизвестно, что между русскими (и советскими) властями и широкими слоями населения всегда словно бы пролегала «трещина недоверия», ибо в силу сложившихся традиций население страны не участвовало в принятии политических решений, как это происходит в обществе, обладающем демократическим и парламентским опытом. Вместе с тем потребность выразить кому-то свое доверие народ ощущает и по сей день. И облекает своим доверием крупных литераторов. В XIX веке защитниками и поборниками народных прав были Герцен, Толстой, Достоевский. Традиция эта нашла свое продолжение и после 1917 года, насколько это было возможно. Классики русской литературы порою отрывались от собственно художественного творчества и выступали в качестве публицистов. Нечто подобное происходит и сегодня, в острый период, когда процесс политического возрождения протекает столь напряженно и сложно. Будем надеяться, что пауза эта не затянется и представители современной художественной литературы займутся своим непосредственным делом. Подлинная литература, по словам Блока, есть «музыка времени», публицистику же скорее можно охарактеризовать, пользуясь выражением Мандельштама, как «шум времени».

Что касается Сталина, то серьезная полемика вокруг его личности еще только началась. Здесь важно избежать односторонности в оценках. Необходимо переиздать работу Плеханова «К вопросу о роли личности в истории».

5. Частично я уже ответил на этот вопрос, упомянув о Луисианской встрече с русскими писателями-эмигрантами. Я прекрасно помню, как после этой встречи Лев Копелев признался, что три дня, проведенные им вместе с писателями и друзьями из СССР,— три счастливейших дня в его жизни за пределами родины. В среде русскоязычных писателей, проживающих в разных странах, явно наблюдается стремление придать русской литературе как можно

большую целостность. Стремление к воссоединению вполне может привести к положительному результату, ведь одна из существенных предпосылок для этого — общий язык. Жизненный опыт — различен, но изначальные, национальные, корни — общие.

6. В прошлом году я опубликовал книгу о советской литературе и перестройке «Восстание сверху», где попытался выявить связь между так называемой «оттепелью» конца 50-х — начала 60-х годов и литературными процессами периода перестройки. Работа над этой темой будет продолжена, помимо всего прочего, и в связи с вышеупомянутой программой исследований, которую я возглавляю. Меня особенно интересует документальная проза как жанр (примером может служить «Зубр» Д. Гранина, этому был посвящен мой доклад на Международном конгрессе славистов в София в сентябре 1988 года), а также проблемы, связанные с литературным наследием, особенно платоновским. Кроме того, я принимал участие в подготовке издания на датском двух романов, которые почти одновременно увидели свет нынешней весной: это «Петербург» А. Белого и «Пушкинский дом» А. Битова.

ЛЮБОМИР ФЕЛЬДЕК (Чехословакия). **Родился в 1936 году. Словацкий поэт, публицист, драматург, переводчик (в его переводах вышли произведения Пушкина, Блока, Маяковского, Кирсанова, Твардовского, Маршака, Евтушенко, Высоцкого); долгое время возглавлял отдел поэзии в центральном братиславском издательстве «Словенски списовател»; автор книг для детей. Советскому читателю известен романом «Ван Стипхоут» («Чехословацкая повесть. 70-е — 80-е годы», 1984), циклом стихов в сборнике «Из современной чехословацкой поэзии» (1981), а также детским изданием «Синяя книга сказок».**

1. Как говорит Евтушенко, традиция гласности в советской поэзии существовала еще задолго до прихода гласности. И не только в советской. Поэтому перемены, происходящие сегодня в СССР, я воспринимаю не как откровение свыше, а как, если так можно выразиться, откровение изнутри, из самых глубин души. Слишком редко случается в истории, чтобы официальная политика выражала наиболее сокровенные мысли, мечты и чаяния народа — в советской политике это чудо происходит именно теперь.

Свой голос за эти перемены я уже отдал в опубликованных мной стихотворениях и статьях.

Естественно, эту позицию я выразил и в переводческой деятельности, которую считаю теперь больше, чем когда бы то ни было раньше своим первоочередным делом, часто даже откладываю работу над собственными стихами, когда появляется то, что считаю необходимым быстро перевести. Мы создали творческий тандем с большим знатоком вашей литературы Миланом Токаром, работающим в редакции журнала «Советская литература» в Праге. Он своевременно сообщает мне о новинках, делает подстрочники и снабжает мои стихотворные переводы необходимыми комментариями. Так мы вместе создали антологию советской перестроечной поэзии «Активная совесть», которая вышла в Братиславе в издательстве «Словенски списовател» в 1988 году (должна была выйти в 1987-м, но...). Перевели более 3000 строк для «Избранного» Евгения Евтушенко (Братислава, издательство «Смена», 1988 год), куда до самого последнего момента, насколько это технически было возможно, включали самые новые его стихотворения, опубликованные в советской печати. Во время своей недавней поездки в ЧССР Евтушенко говорил, что это самая прекрасная книга, которая у него когда-либо выходила. Сейчас мы запустили в печать большую подборку из Высоцкого, готовим следующую. В журналах в наших переводах вышли поэма Твардовского «По праву памяти», цикл стихов Окуджавы «Из лирической тетради», песни Галича, подборка из литературного наследия Бориса Слуцкого — все эти журнальные публикации очень обширны, и все они могут стать зародышами книжных изданий. Не сомневаюсь, что скоро я вновь окажусь под воздействием сильных переживаний — ибо хотя поэтический перевод и мое ремесло, но я перевожу новые вещи прежде всего потому, что они меня глубоко волнуют.

Правда, должен признаться, что наряду с новыми открытиями я не забываю старые привязанности: как раз сейчас в издательстве «Словенски списовател» выходит большая антология моих переводов поэзии Владимира Маяковского. Это будет великолепная книга. Издательство не поскупилось на расходы, и около 5000 стихотворных строк поэта удалось сопроводить параллелями из русского и советского изобразительного искусства времен раннего Маяковского. Вместо послесловия я поместил в конце книги свое стихотворение «Приветственная речь Владимиру Маяковскому», в котором обратился к нему как к одной из первых жертв сталинизма. Не подозревал, что я так близок к правде — догадки о новой версии смерти Маяковского появились в печати несколько позже. У нас в Словакии его пьесы и сегодня имеют резонанс, вполне объясняющий, какими неугодными они были во времена своих премьер. Очевидно, что такой неугодный поэт не мог уйти из этого мира случайно, даже если он содеял это собственными руками. С моей точки зрения, Маяковский сегодня как нельзя более современен, а поэзию его можно включить в широкое понятие «литературы перестройки».

2. Нет, не удовлетворен. И эту мысль я уже отчетливо выразил в одной из своих театральных пьес. На малой сцене Словацкого национального театра в Братиславе идет моя пьеса «Испытание», в ней есть такая сцена: приходит иностранец с переводчиком и начинает говорить с туземцем. Все трое говорят по-словацки, но переводчик постоянно передает разговор в своей интерпретации. Туземец говорит: «Скажите ему, что мы восхищаемся тем, что у них происходит, и это придает нам новые силы...» Но переводчик передает: «Мы идем своей дорогой, и не надо вмешиваться в наши дела». Они не могут договориться, не могут понять друг друга — но зато пьесу очень хорошо понимает публика, которая всегда в этом месте бурно аплодирует.

И именно поэтому я думаю, как велика и незаменима роль тех из нас, кто посвятил себя переводу. Хотя теперь люди как никогда следят за советской печатью, советским телевидением, но все же не каждый способен или подготовлен понять все в полной мере. Перевод есть перевод, и переводчики делают теперь огромную работу, которую позволит по достоинству оценить лишь будущее. Это солдаты перестройки, они уже пустились в бой, о котором генеральный штаб только еще размышляет, начинать его или нет.

3. Это 1968 год. Я уже пытался говорить об этом и в дискуссии на «круглом столе» журнала «Вопросы литературы», и в анкете «Литературной газеты», и в стихотворном письме, которое я послал непосредственно Евгению Евтушенко (автору замечательного стихотворения «Танки идут по Праге», переведенного мной на словацкий язык, благодаря которому читатели Евтушенко не дадут теперь волосу упасть с его головы). Не знаю, что из этого уже опубликовано. Но даже если и не опубликовано, то вы можете представить мой взгляд на эту проблему.

И все-таки я его выскажу. Теперь часто можно слышать такую точку зрения: «Это ваше дело». Но это неправда. Это дело каждого, кто тогда приложил к этому руку. Это была огромная ошибка. Никакой контрреволюции у нас в 1968 году не было — но раз уж контрреволюцию подавили, то нужно было найти и контрреволюционеров. И так до сих пор за несуществующую контрреволюцию у нас расплачиваются тысячи семей вымышленных контрреволюционеров. Абсурдно, что теперь, когда в Советском Союзе решено создать памятник жертвам сталинских репрессий, у нас в Чехословакии этот отзвук сталинизма обходят молчанием. Хотелось бы надеяться, что, когда выйдет этот номер «Иностранной литературы», мои слова станут уже анахронизмом.

4. Собственно, я уже ответил на этот вопрос выше. Сталинизм был атрибутом не только советской страны. К сожалению, со свободой, которую принесли советские войска в 1945 году, перекочевал к нам и сталинизм. История несет в себе такие парадоксы, не надо приходить от них в ужас — но не стоит и забывать о них. Мы, люди литературы, можем распознать стиль всего лишь по нескольким фразам. Сценарий чехословацкой контрреволюции 1968 года был написан в стиле сценариев, которые теперь в Советском Союзе разоблачаются как вымышленные. Но конечно, доказать это — задача не только советской литературы, но и наша цель.

5. История мировой литературы достаточно ясно свидетельствует о том, что произведения, возникающие не на родине, лишь обогащают литературу данного народа, и не стоит лишний раз повторять это.

Поэтому могу только оценить возвращение многих замечательных имен и произведений в советскую литературу. Недавно я читал в «Московских новостях» интервью с Синявским. С восхищением теперь часто повторяю высказывание Синявского, что год в Париже был для него тяжелее, чем год в советской тюрьме. Истинный писатель никогда не перестает быть патриотом — и лишить его родины равнозначно невыполнимой задаче. Реализм современной советской культурной политики стал примером для многих других стран: надеюсь, что он станет образцом и для Чехословакии. Мы, писатели, настоятельно требуем этого, мы считаем ненормальной ситуацию, когда одна литература раздроблена на несколько литератур: легальную, эмигрантскую, подпольную и еще протекционно-функционерскую. Теперь у нас уже официально все чаще говорят о возможности диалога, о том, что «мы» и «они» должны сесть за общий стол. Но именно в этом противопоставлении «мы» и «они» и есть камень преткновения. Наш журнал «Ромбоид» опубликовал беседу с сотрудником «Дружбы народов» Н. Ивановой, где она рассказывает о том, что, когда в Дании за такой общий стол сели советские писатели и писатели, эмигрировавшие из СССР, она поняла, что никаких «мы» и «они» не существует, есть только «мы»... Она прекрасно уловила этот момент — и хорошо, чтобы прислушались к этому не только у вас, но и у нас.

6. Как автор, отдаю большую часть времени драме. В братиславских театрах идут две мои пьесы — «Искусство не уйти» и «Испытание», обе — о самых злободневных, наболевших вопросах современности, но я понимаю, что этого не достаточно, что картина современности никогда не будет убедительной без глубокого, как это делается у вас, анализа такого же злободневного, наболевшего прошлого. В таком ключе я готовлю и третью пьесу...

Но вы, вероятно, больше всего интересуетесь тем, над какой темой я работаю сейчас как переводчик.

Вот, в данный момент держу в руках «Огонек»* и вижу там стихотворение Вознесенского «Поэт — министру». Хочу перевести его — как очередное доказательство того, что даже большой поэт не должен бояться в наше время ставить свою поэзию на службу публицистической теме. А ведь, возможно, история покажет, что это была вовсе не публицистика, а абсолютно новый, высокохудожественный стиль своего рода великолепный хеппенинг, какой только могли создать тогда поэты, и не ради собственного удовольствия, а на благо тех, кто, может быть, раньше никогда не был приверженцем поэзии.

* «Огонек». № 16. 1989.

Итак, анкета зарубежных русистов, растянувшаяся на целых три номера, закончена. За эти несколько месяцев, как не мог не заметить читатель, с карты нашей культуры исчезла часть белых пятен, о которых пишут участники анкеты. Но редакцию вовсе не огорчает, что в этом анкета успела «устареть». Издавна повелось, подводя итоги акций подобного рода, от имени редакции разбирать ответы участников — так сказать, «раздавать всем сестрам по серьгам». Однако на сей раз мы решили отойти от этой традиции и попросили критика А. Немзера высказать свое личное, не связанное соображениями редакционного политеса мнение, которое не претендовало бы на роль «официального заключения». Пусть читатель рассматривает эту статью как приглашение к обсуждению результатов анкеты.

А. НЕМЗЕР

Всё как дома

— Смотрите, как я плаваю! — пропищал Ру. Он был уже на середине пруда, и течение быстро несло его к водопаду у плотины.

А. Милн — Б. Заходер

Симпатичный кенгуренок из прелестной повести о Винни-Пухе, попав в крайне затруднительное положение, не растерялся. Напротив, он пребывал в эйфории и призывал друзей, оставшихся на берегу, не просто разделить его восторги, но и выразить восхищение. Уже выкарабкавшись на берег, он продолжал восклицать: «Вы видали, как я плаваю? (...) Пух, ты видел, как я плаваю? Вот это называется плавать! Кролик, ты видел, что я делал? Я плавал!» И так далее. О реакции Винни-Пуха, Кролика и всех-всех-всех история умалчивает. А жаль...

Всякое сравнение хромает, и, наверное, найдутся охотники обвинить меня в легкомыслии, а то и цинизме. В самом деле: с одной стороны — грандиозные сдвиги в идеологии и культуре, серьезнейшие проблемы, кровоточащие страницы истории... а с другой — шутливая сказочка, мягкий юмор, детские забавы. Уж не считает ли автор (слышу я строгие голоса), что наше культурное движение безответственно, уже не призывает ли он вновь воздвигать «умственные плотины», уж не хочет ли он сказать, что мы не знаем, «куда ж нам плыть»? Нет, не считает, не призывает, не хочет. Для меня нет вопроса в том, какую роль сыграли послеапрельские события в развитии российской культуры. Да, мы раскрепостились. Да, мы многое узнали. Или перестали скрывать свое давнее знание, ибо смешно утверждать, что Набоков и Кёстлер, Ходасевич и Джойс, Замятин и Бродский, Хаксли и Солженицын явились новостью *для всех* — самиздат, тамиздат и их «скрещенные» варианты функционировали в застойные времена достаточно активно — другое дело, что характер этого функционирования требует тщательного изучения. Да, хочется верить, что с нашего пути к подлинной культуре, к открытости, диалогичности и терпимости мы не свернем (или все-таки: нас не свернут? нам шею не свернут?). Все так. Но в ликующем гимне победившей гласности нет-нет да слышится голос обаятельного кенгуренка: «Смотрите, как я плаваю!»

«А чего смотреть-то! — говорят иные люди.— Тоже мне «тринадцатый подвиг Геракла»: напечатали одного растоптанного Нобелевского лауреата, аккуратно примериваются, можно ли без цензурных дырок и сладких сказок представить другого, покинувшего Родину с проклятьями на устах еще в годину гражданских схваток, а затем «возвращенного» в первую постель в сильно напомаженном виде, и добились права упоминать третьего без привычных приложений вроде «литературный власовец» или «предатель». Эка невидаль. Вот когда в центре Москвы можно было прочитать на высокохудожественном плакате еще более высокохудожественные строки:

В своей стряпне предатель Солженицын,
Впадая в клеветнический азарт,
Так служит заграничным темным лицам,
Что те его подняли как штандарт.—

вот это было действительно зрелище!» Существует такой взгляд на нашу общественную, идеологическую, политическую ситуацию? По анкетным ответам — вроде бы нет. Все вполне политесны, тактичны. Все дают советы и отдают дань. Все понимающе улыбаются. Читаешь строки, написанные западными (или восточными) коллегами, да вдруг и ловишь себя на мысли: а предложи *те же* вопросы команде советских интеллектуалов, не то же ли самое получишь в ответ? Ну разве что чуть поаккуратнее прозвучат рекомендации издать «Архипелаг ГУЛАГ». Впрочем, и Д. Браун замечает, что не согласен с некоторыми идеями Солженицына, и П. Бранг говорит, что «не все сделаешь сразу», и К. Хоуп словно бы отмежевывается от своих коллег, не понимающих, «почему до сих пор не издано полное собрание сочинений Ахматовой и все еще запрещен Солженицын», и А. Стеффенсон, полагая, что «Архипелаг ГУЛАГ» (...) надлежит в той или иной форме опубликовать», напоминает о критике ошибок и неточностей этой книги на Западе и о нашей традиции научного комментирования[1], и К. Кароль не солидаризируется со взглядами Солженицына. А Такуя Хара так прямо пишет: «Я понимаю, что сейчас было бы сложно издать в Советском Союзе все книги этого писателя, но, по крайней мере, следовало бы дать сегодняшнему читателю воз-

[1] Тут каждый может подумать что-то своё: кто о том, что комментарии у нас слишком часто превращались в камуфляж а потому не всегда (и поделом) вызывают у читателя доверие, а кто и о том, как трудно при нашем состоянии исторических знаний браться за научное издание томов Солженицына.

можность прочитать те произведения, которые уже появились на страницах литературных журналов и в свое время получили высокую оценку критики: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и т. д.».

Не такими уж страшными оказались при ближайшем рассмотрении «матерые зубры советологии». Вполне дружелюбны, объективны, кто больше, кто меньше — но склонны к компромиссам. И запрограммированное вопросами восхищение выдается нужными дозами, и информация о безбрежном море эмигрантской словесности или литературе «андерграунда» поступает легко и без нажима. Интересно, сколько имен, из исчисленных в ответе на 3-й вопрос В. Казаком, известно среднему советскому гуманитарию, не говоря уж о «простом» читателе?

Оно и понятно. Пока большинство советских литературоведов блуждало по загону, отведенному для изучения, В. Казак пустился по лесам, по горам, ибо твердо знал: словесностью является не только то, что признано системой хитроумных циркуляров. Ему, конечно, было трудно, как и большинству коллег из стран Западной Европы, Америки, Японии, но все же сделал он свой словарь. Словарь, аналога которому у нас нет. И накладки, в издании Казака существующие и им признаваемые (706 статей дополняет — спасибо перестройке — западногерманский славист),— слабое утешение. Вот и задумаемся: то ли нам о родной литературе читать в спецхране, то ли срочно издавать труд Казака в «Прогрессе» либо «Радуге».

Тут самое время переходить к покаянию. Тем паче, что справедливо напомнил академичнейший, уж никак не «политизированный» П. Бранг. «Лучшие издания Ахматовой, Андрея Белого, Гумилева, Вячеслава Иванова, Клюева, Мандельштама, Владимира Соловьева, Марины Цветаевой и т. д. (длинное, надо заметить, «и т. д.» — Кузмин, Бердяев, Ходасевич, Булгаков и «еще много-много раз т. д. — А. Н.) были напечатаны на Западе». Но каяться следует с осторожностью: тот же П. Бранг пишет об «усилиях эмиграции», направленных «на сохранение и распространение тех русских литературных ценностей, которыми пренебрегали во времена «застоя». Но ясно ведь, и из сегодняшней анкеты в том числе, эмиграция — часть нашей культуры. Как нет самой по себе «эмигрантской литературы», якобы отделенной от «литературы метрополии», так нет и «эмигрантской славистики». Более того: ничуть не приуменьшая роли зарубежных славистов и издателей, их трудолюбия, таланта, энергии, любви к русской культуре и — страшно вымолвить, двадцатом-то веке! — бескорыстия, нельзя не сказать о другом: о работе, шедшей в СССР, интересовавшей не Академию наук и Госкомиздат, а совсем иное ведомство, стоившей дорого, подчас очень дорого тем, кто вел ее день изо дня, «не требуя наград за подвиг благородный». Без помощи советских ученых не было бы тех изданий, о которых поминает П. Бранг. Не место и не время рассказывать историю того многолетнего подвига, что совершался исследователями разных поколений, методологических установок, мировоззрений. Их роднила любовь к русской культуре во всей ее полноте и мужественное сознание единства науки и культуры. Ныне безграмотные конъюнктурщики хают западные издания (порой действительно содержащие ошибки, а как избежать их, коли наука и издательская деятельность превращались в гибрид спортивного состязания и детективного фильма). Хаяли они эти издания и вчера, и позавчера, новаторство заключается в том, что прежде порицались «западные» тома — за «антисоветизм», теперь — за «научные издержки». Мы бы сделали лучше — утверждают управдомы, срочно переквалифицировавшиеся в литературоведов, сохранившие напор, но утратившие остроумие «великого комбинатора». Не сделаете. Сделают другие, те, кто никогда не прерывал диалога с зарубежной славистикой, усваивал ее уроки до официального разрешения и, слава Богу, сам может многому научить коллегу из далекой страны.

Странно, но эта важнейшая тема (ведь не с неба же свалилась самая возможность диалога культур, равно как и публикаторский бум) оказалась почти обойденной в ответах зарубежных филологов. Отрадно читать добрые слова Ф. Хитцера о Л. Копелеве, Р. Орловой, Вл. Войновиче и И. Войнович. Хорошо, что хоть упомянут В. Страдой Илья Захарович Серман (а поймет ли, о ком идет речь неквалифицированный читатель, что не возрос на сборниках «XVIII век» и других трудах Пушкинского Дома? Знает ли этот самый читатель, почему авторитетный исследователь творчества... нет, не обериутов, Солженицына или маркиза де Сада, а Ломоносова, Державина, Тютчева, Достоевского вынужден был не в молодые годы менять Ленинград на Иерусалим?). Но почему же ни слова не сказано о тех, кто держал «филологическую оборону» в Москве и Ленинграде, Тарту и Риге? Почему ни разу не прозвучали имена таких выдающихся историков литературы и общественной мысли, как живущие ныне на чужбине Г. Суперфин и Л. Флейшман? Неужели это мелочи и для авторитетных славистов Запада? Неужели и для них предпочтителен вежливый разговор о том, что публицистика важна, но временна, что о Сталине говорить придется еще долго, но надо и о гражданской войне, что В. Пьецух, Т. Толстая и В. Маканин — хорошие писатели, а без Набокова и Бродского нет русской литературы. Иными словами: «Плаваешь ты, крошка Ру, замечательно!»

Конечно, скептические нотки расслышать легко, особенно у В. Страды, не отказывающегося от своей чуть эпатирующей манеры. Если большинство участников анкеты оценивает нашу духовно-политическую реальность на четверку с плюсом или даже пятерку с минусом, то итальянский славист (даром, что ли, запечатлен он в широко известном романе «Чего же ты хочешь?», комментированное издание которого, на мой взгляд, важнейшая задача, стоящая как перед «Ардисом», так и перед серией «Литературные памятники»)

пытается сделать вид (а может, так оно и есть?), что его оценка четверка с минусом, а то и тройка с плюсом. Но и он, увы, не сообщил нам ничего особенно нового, а его кавалерийский наезд на один неназванный роман (вопрос 4) не слишком отличается от аналогичных, предпринятых не на земле итальянской, но среди родных осин. Особенно пикантно, что роман остался неназванным — видимо, В. Страда отдает дань прелестям эзопова языка, считая его нелишним и в эпоху гласности. Не соглашаясь с оценкой замечательного (и, на мой взгляд, по-настоящему мало кем понятого) романа, готов поддержать стилистическую игру коллеги.

Впрочем, отметки ли (строгие или добрые) нужны нам сегодня? Мы ведь не сладких пирожков или добрых советов хотим, а реального диалога. Но диалог начинается с неожиданностей, с того, что ошеломляет собеседника, озаряет его новой идеей. Новых же идей всегда не хватает, особенно если задающий вопрос планирует ответ.

Поэтому самым важным в анкете видятся мне ответы на шестой пункт и те его отголоски, что проходят по другим ответам; иначе говоря — рассказ о *реальных работах*. Работах, читать которые большинству из нас негде. А надо, потому что ученого, как и писателя, узнаешь не в интервью.

Напоследок замечу, что «неожиданность» (не для профессионала, конечно) анкету все же украсила. Трудно будет нашему читателю воспринять рассуждения С. Карлинского о гомосексуализме и бисексуализме. Но что делать — и такое бывает. Блюстителей нравственности утешим, что упоминание Пржевальского можно рассматривать как противоядие широко распространенной легенде о том, что известный путешественник был отцом Сталина. Так что нет худа без добра.

Если же говорить серьезно, то, ни в коей мере не разделяя парадоксов С. Карлинского, не могу не отдать ему должного: он последовательно остается самим собой, не желая понравиться или раздражить советского читателя. А это не так уж мало.

◆

Австрия

В ПОИСКАХ ОВИДИЯ

«Литературным чудом», «одним из лучших произведений современной немецкой литературы» назвала критика новый роман тридцатичетырехлетнего австрийского писателя Кристофа Рансмайра «Последний мир» (издательство «Грено», ФРГ). Уже в первые два месяца после выхода в свет эта книга выдержала 5 переизданий общим тиражом более 120 000 экземпляров, издательства из 17 стран претендуют на право перевода. «Кристоф Рансмайр, — констатирует австрийская газета «Фольксштимме», — стремительной ракетой взлетел на литературный небосклон».

...В 8 году н. э. император Август отправил в изгнание великого поэта Публия Овидия Назона. Десять лет спустя по Риму пронесся слух о его смерти. Изнеженный и утонченный друг Овидия Котта отправляется «в пустынный край варваров» на поиски последнего варианта знаменитых «Метаморфоз». Он приезжает в «изъеденный ржавчиной железный город» Томи (ныне Констанца). Жители города — угольщики и старьевщики, мясники и канатчики — встречают его недоверчиво. Постепенно Котта становится «своим», так что почти полностью теряет собственный облик, скатываясь до едва ли не животного состояния. Найти пропавшую рукопись ему не удается, однако город Томи и его странные обитатели становятся для него живым воплощением мифов, использованных Овидием в его замечательном творении. Ибо превращения — метаморфозы — происходят здесь не только с самим Коттой, но и с остальными жителями, которые к тому же носят имена овидиевских персонажей. Судьбы жителей Томи — это судьбы возвышенных мифологических героев, искаженные безжалостным зеркалом низкого, земного бытия.

Кристоф Рансмайр.

(Еженедельник «Цайт магацин»)

Метаморфозам подвержено в романе Рансмайра даже само время. «Автор без малейшей натяжки насыщает повествование реалиями разных эпох, — пишет газета «Прессе», — от раннехристианских монастырей до автомобилей, телефонов и вокзалов, и кажется совершенно естественным, когда мечтательный торговец спиртным лилипут Кипарис привозит в Томи передвижную киноустановку и пускает на стене скотобойни пошловатые экранизации античных мифов».

Главная тема романа «Последний мир», по мнению многочисленных рецензентов, — отношения власти и искусства в тоталитарном государстве. Однако эта тема — не единственная. Неназойливо и умело Рансмайр вводит в книгу практически все серьезные проблемы современности — от экологии до положения беженцев и эмигрантов. «Этот роман, — утверждает газета «Вельт», — выходит далеко за рамки «олитературенного» биографического повествования и при желании может быть прочитан как притчевое переосмысление не только дня сегодняшнего, но и будущего, и в этом смысле, видимо, следует толковать само название — «Последний мир».

Критики отмечают также «кристальную ясность языка» Рансмайра, точную работу с деталью, «опасную склонность к эстетству» и безусловный эпический талант.

Великобритания

«NOVOSTROIKA»

В марте 1989 года в Лондонском институте современного искусства (ICA) состоялся фестиваль московского неофициального искусства под общим названием «Novostroika». В рамках фестиваля проходили выставки двух московских художников — Эрика Булатова и Ильи Кабакова — и выступления поэтической группы «Альманах». Два слова об истории возникновения этой группы. Чуть больше года тому назад Всероссийское объединение «Творческие мастерские» при СТД РСФСР предложило нескольким московским поэтам составить программу для регулярных выступлений на площадках «Творческих мастерских». Так возник «Альманах» — своеобразный поэтический спектакль, объединивший поэтов разных (а иногда и противоположных) эстетических ориентаций — от неоакмеистических до концептуальных.

«Альманах» — это семь поэтов: Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Денис Новиков, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн и один певец — Андрей Липский, автор и исполнитель песен на стихи В. Коваля.

Э. Булатов «Иду». *(Каталог выставки на фестивале «Novostroika»)*

Шесть выступлений «Альманаха» в ICA и одно в Кембриджском университете прошли с несомненным успехом, чему способствовал и квалифицированный перевод стихов. Во время чтения тексты переводов проецировались на экран.

Помимо выставок и поэтических вечеров состоялись дискуссии на темы: «Гласность и открытость», «Роль поэзии в СССР», «Прошлое в настоящем», «Три русские культуры (официальная, неофициальная и эмигрантская)» и др. В дискуссиях и в литературных вечерах самое деятельное участие приняли московский театральный критик Валерий Семеновский, а также русскоязычные писатели, живущие в Лондоне, — Зиновий Зиник и Игорь Померанцев. Надо добавить, что З. Зиник не только явился одним из инициаторов фестиваля, но и много сделал для его подготовки и проведения. Судя по отзывам английской прессы (в частности, еженедельника «Обсервер»), а главное — по непосредственной реакции публики, можно говорить о безусловном успехе фестиваля.

«Novostroika» была едва ли не первым знакомством английской публики с новой московской живописью и поэзией. Тем более что и на родине эти художники и поэты, многие из которых работают давно и активно, до самого последнего времени практически не выставлялись и не издавались.

Венгрия

«МОРАЛИСТ В МОСКВЕ»

«На родину вернулась замечательная венгерская книга «Роман об одном романе», выдающееся произведение политической литературы нашего столетия», — так комментируют журналы «Уй тюкёр» и «Кёнььвилаг» выход в свет в издательстве «Магветё» московских дневников писателя Эрвина Шинко (1898—1967), относящихся ко второй половине 30-х годов.

Участник венгерской революции 1919 года, боец югославских партизанских отрядов под командованием Тито, ученик и соратник Дёрдя Лукача, Шинко большую часть жизни прожил в эмиграции. Он преподавал в Загребском университете, был избран академиком, но венгерская критика старательно «не замечала» его книг, а венгерский читатель до недавнего времени был знаком с ними только по зарубежным изданиям.

Судьба книг Эрвина Шинко также полна превратностей. Первый роман «Оптимисты», написанный им в 1934 году, вышел в свет лишь в 1953-м, в Югославии, а московские дневники 30-х годов — в 1955 году на хорватском и в 1961 году на венгерском языках (также в Югославии). «Роман об одном романе» выдержал два издания на немецком языке (ФРГ). В Венгрии издание этих книг задержалось более чем на четверть века. «Роман об одном романе» — это рассказ о том, как писатель, приехав в Москву, пытается издать здесь свой роман-хронику «Оптимисты», посвященный венгерской революции 1919 года. «Описание путешествия рукописи по кулуарам бюрократической системы исполнено кафкианского гротеска», — считает критик Иштван Маргочи, рецензирующий книгу в журнале «Кёнььвилаг».

«Роман об одном романе» — это еще и документальное свидетельство жизни советского общества в период формирования культа личности, это и рассказ о повседневной жизни рядовых людей и о встречах в Москве с выдающимися современниками — Роменом Ролланом, Белой Куном, Максимом Горьким, Исааком Бабелем. Иштван Маргочи, дав своей рецензии заглавие «Моралист в Москве», подчеркивает, что Э. Шинко сильнее всего потрясла в Москве атмосфера лжи, проникшая во все сферы — идеологию, пропаганду, частную жизнь: «Люди лгут и в большом и в малом». Писатель же, преданный истине, отмечает критик, как бы проверяет общество на верность идеалам, по которым оно собиралось строить свое будущее.

Дневники ценны еще и тем, считает Иштван Маргочи, что автор, возможно непреднамеренно, создает в них автопортрет, раскрывает читателю — через оценки людей и событий, через размышления — свой внутренний мир.

ГДР

СУДЬБА СЕМЬИ ВОЛЬФОВ

В 1988 году ГДР отметила столетие со дня рождения выдающегося немецкого писателя-антифашиста Фридриха Вольфа (1888—1953), одного из основоположников немецкой социалистической драматургии. Его пьесы «Бедный Конрад», «Цианистый калий», «Доктор Лили Ваннер», «Что посеешь...» служили и оружием в поли-

Маркус Вольф.

(Журнал «Шпигель»)

тической борьбе. Наивысшими достижениями Ф. Вольфа стали драмы «Матросы из Каттаро» (1930) и «Профессор Мамлок» (1933).

В юбилейные дни Москву посетил его сын Маркус Вольф. Он присутствовал на открытии мемориальной доски на доме, где с 1934 по 1945 год жила семья драматурга. В Москве же он дал интервью западногерманскому журналу «Шпигель», в котором рассказал о своей книге «Тройка».

«Тройка» — это фактически последний замысел Конрада Вольфа, известного режиссера, брата Маркуса. Он собирал материалы для фильма о второй мировой войне на примере судеб трех семей. Вольфы покинули Германию после прихода Гитлера к власти. В 1936 г. в Москве одиннадцатилетний Конрад подружился с Лотаром Влохом, также из семьи немецких эмигрантов, и сыном американского журналиста Виктором Фишером. Война разлучила друзей. Конрад вступил в Красную Армию, Лотар попал в люфтваффе, а Виктор служил в войсках США. Лишь в 1975 году «тройке» суждено было вновь соединиться.

Этот замысел и воплотил Маркус Вольф в своей книге. Ее выход в свет весной 1989 года одновременно в двух издательствах («Ауфбау» в Берлине и «Экон» в Дюссельдорфе) был приурочен к юбилею Фридриха Вольфа А в конце года с ней познакомится и советский читатель.

Примечательна судьба автора «Тройки». Еще перед войной Маркус мечтал заниматься самолетостроением, но война распорядилась по-своему... По заданию Коммунистической партии Германии он работал редактором на берлинском радио, вел репортажи с Нюрнбергского процесса над военными преступниками. Затем два года был на дипломатической работе в Москве. Впоследствии М. Вольф в течение долгих лет руководил органами госбезопасности ГДР. Смерть брата потрясла Маркуса Вольфа и заставила круто изменить свою жизнь. Он вышел в отставку и посвятил все свое время поискам материалов для книги «Тройка».

И хотя в центре повествования реальная история трех друзей, отчетливо просматривается личная оценка описываемых событий, неприятие автором сталинской политики. Несмотря на антисталинские настроения, Вольфы привезли на родину крепкое дружеское чувство к первой стране социализма, к советским людям, которое они в течение всей своей жизни передавали молодому поколению ГДР. И красной нитью через книгу «Тройка» проходит простая, всем понятная мысль, что дружба не знает ни политических, ни географических границ, пишет журнал «Тайм». Об этом и рассказал Маркус Вольф на открытии мемориальной доски в честь отца и брата в Москве. Он считает, что и сейчас не отошел от политической деятельности. Ведь его «Тройка», говорит Маркус Вольф,— это тоже политика.

Дания

На вернисаже произведений датского графика Киристен Рут Бьерре Миккельсен представлена серия линогравюр, иллюстрирующих повесть Н. В. Гоголя «Вий». «В творчестве Гоголя меня покоряет невероятный сплав романтики и гротеска, точность реалий, фантазия и юмор. И я считаю, что Гоголь —наш современник»,— пишет художница в предисловии к каталогу.

Персональные выставки линогравюр Бьерре Миккельсен с успехом демонстрировались в Дании и в ФРГ.

На снимке: иллюстрация к «Вию».

(Газета «Ланд ог фольк»)

Ирак

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ФАРМАНА

Иракское издательство «Дар Бабиль» и ливанское «Дар аль-Фараби» предприняли совместное издание полного собрания сочинений виднейшего иракского писателя-романиста Гаиба Туамы Фармана (род. в 1927), отмечает журнал «Аль-Кятиб». Уже опубликован первый том собрания, куда вошел роман «Пальма и соседи» (1966), рассказывающий о судьбах простых иракцев в тяжелые дни второй мировой войны.

«Пальма и соседи, — пишет в предисловии к первому тому палестинский критик Фейсал Даррадж, — один из немногих арабских романов, которые действительно достойны называться реалистическими». Благодаря этому роману, подчеркивает критик, Фарман занял место первопроходца в арабской романистике.

Г. Т. Фарман известен также как талантливый переводчик произведений мировой, в частности русской и советской, литературы на арабский язык.

Испания

«ЭЛЬДОРАДО»

О фильме Карлоса Сауры «Эльдорадо» начали писать задолго до премьеры. Испанская и латиноамериканская пресса подробно рассказывала о замысле известного режиссера, о ходе съемок о том, что в ленте заняты актеры из Австралии, Англии, Италии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Перу, Франции. Не остался без комментариев и такой факт: «Эльдорадо» стал самым дорогостоящим фильмом в истории испанского кинематографа, на его производство затрачено 3 миллиарда песо

По мнению газеты «Паис», большой интерес вызвала сама тема новой работы Сауры: он решил по-своему рассказать историю одного из самых противоречивых героев завоевания Америки — Лопе де Агирре, отправившегося со своими людьми по Амазонке на поиски легендарной страны Эльдорадо. Солдаты Агирре (в основном — обедневшие идальго и крестьяне) не ищут приключений, их не влечет слава открывателей новых земель. Ими движет одна страсть — алчность, у них одна мечта — золото. Гигантская экспедиция закончилась крахом. «Я советую вам, сеньор и король мой,— пишет Лопе де Агирре в 1561 году Филиппу II,— не позволять ни одному флоту пускаться в плаванье по этой реке. Все донесения лгут. Здесь нельзя найти ничего, кроме отчаяния».

Колумбийский журнал «Кромос» отмечает, что в сюжете, выбранном Саурой для фильма, хорошо просматриваются истоки многих исторических трагедий. Не случайно с такой настойчивостью рассказывается о жестокостях, творимых конкистадорами на новых землях, об их бесчеловечном обращении с туземцами. «Надеюсь, то, что произошло между испанцами и коренными жителями Америки, не повторится ни-

Кадр из фильма Карлоса Сауры «Эльдорадо». *(Газета «Паис»)*

когда»,— заявил Карлос Саура в интервью, данном журналу «Кромос».

Премьера «Эльдорадо» состоялась на Каннском кинофестивале, рассказывает кубинская «Гранма». От фильма многого ждали, его называли в числе главных претендентов на основные призы конкурса. Однако прогнозы не оправдались — Карлос Саура вернулся в Испанию с пустыми руками. Критики в своем приговоре были единодушны: художественный уровень ленты оставляет желать лучшего, огромные суммы истрачены впустую.

Провал Сауры в Канне, сообщает испанское агентство АФП, был по-разному воспринят в Испании. Громче других звучат голоса, утверждающие, что талант 56-летнего режиссера исчерпал себя. До этого момента Саура считался бесспорным лидером национального кинематографа, после Луиса Бунюэля лишь он мог представлять страну на самом высоком международном уровне. Есть ли у Сауры преемники? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Но определенные надежды возлагаются на молодого режиссера Педро Альмодовара, чей фильм «Женщина на грани нервного срыва» с шумным успехом прошел по экранам страны.

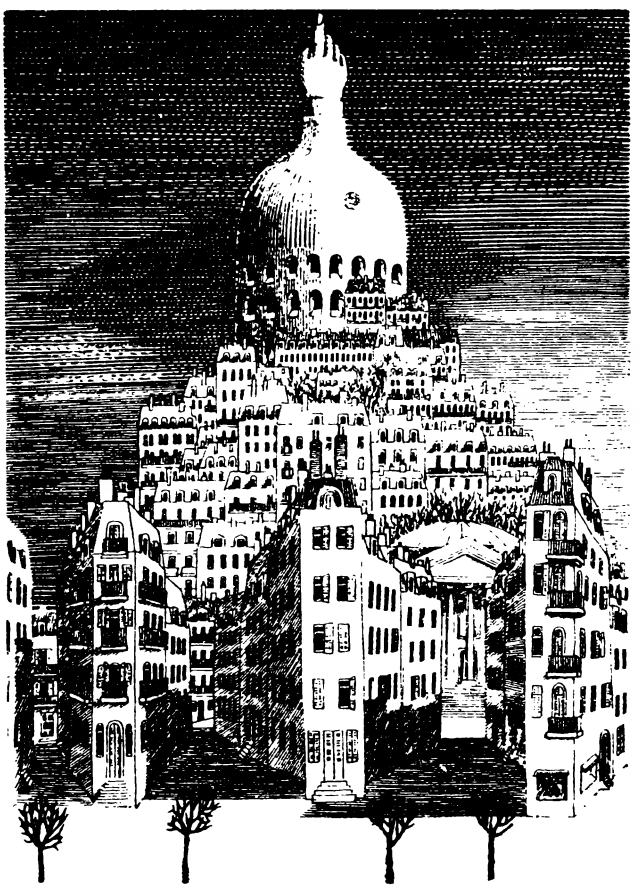
Польша

ДАНИЭЛЬ МРУЗ: «ОСТРОУМИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Журнал «Пшекруй» опубликовал интервью со своим «придворным» художником Даниэлем Мрузом, чей стиль оказал решающее влияние на графический образ еженедельника. Книжный график, плакатист, сценограф, государственную школу декоративного искусства и художественных промыслов. После войны поступил в краковскую Художественную академию, где учился, в частности, у таких мастеров, как Тадеуш Кантор и Ежи Новосельский. В конце 40-х годов дебютировал вторично, на этот раз именно в «Пшекруе» — как он сам вспоминает, это был «жуткий до невозможности портрет Льва Толстого в псевдоэкспрессионистском духе». По признанию Мруза, прославившегося своими иллюстрациями к литературе фантастики и гротеска, колоссальное воздействие на его творческую манеру оказало искусство сюрреализма, прежде всего коллажи Макса Эрнста. «Я не стремился никому подражать, быть сюрреалистом,— говорит художник. — Любовь к коллажу идет у меня от интереса к старинной литографии и лубку. Однажды мне пришла в голову мысль, что монтаж готовых элементов гораздо проще, чем тщательное вырисовывание. А так как остроумие для меня превыше всего, я придал своему миру форму коллажа».

Мруз дебютировал как рисовальщик в одном из довоенных иллюстрированных журналов, тогда же окончил Го-

Д. Мруз. Иллюстрация к роману Ф. Кафки «Замок» *(Журнал «Пшекруй»)*



США

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТАЛИНА

После того как Англия и Франция, отказавшись от военно-политического союза с СССР, позволили Гитлеру оккупировать Австрию и захватить Чехословакию в 1938 г., пало последнее препятствие на пути сближения сталинского Советского Союза и нацистской Германии, полагает обозреватель газеты «Нью-Йорк ревью оф букс» Гордон Крейг. Этапы этого сближения прослеживают американские историки Энтони Рид и Дэвид Фишер в книге «Смертельное объятие: Гитлер, Сталин и германо-советский пакт, 1939—1941 гг.», вышедшей в издательстве «Нортон». В британском парламенте, напоминают Рид и Фишер, в 1938 г. шли жаркие баталии между сторонниками политики Н. Чемберлена по «умиротворению Германии» и У. Черчиллем, Э. Иденом и У. Ллойд-Джорджем, настаивавшими на сотрудничестве с СССР. Однако Чемберлен, не веря в возможность альянса между нацистами и большевиками, сделал выбор в пользу Германии.

Как утверждают американские историки, английский премьер-министр недооценил тайное желание Сталина «разделить» с Германией Восточную Европу с целью возврата бывших территорий царской России: Восточной Польши, Прибалтики, Бессарабии и Буковины. Но и Сталин парадоксальным образом не учел далеко идущих планов Гитлера двинуть германские войска на Восток, через Буг. В основной своей части исследование Рида и Фишера представляет собой тщательно документированный рассказ о заблуждениях Сталина относительно намерений Гитлера и его постепенном прозрении, в результате которого резко изменилась его прежняя непримиримая позиция на переговорах со странами Запада.

О том, как после катастрофы 22 июня 1941 г. Сталин стал поспешно наводить мосты между Москвой и Лондоном, рассказывает исследование американского историка Стивена М. Майнера «Между Черчиллем и Сталиным: Советский Союз, Великобритания и рождение великого союза» (издательство университета Северной Каролины). Одним из первых шагов к заключению англо-советского договора 1942 г. о сотрудничестве стали переговоры о торговле, которые в 1940 г. вел в Лондоне советский посол И. Майский. Лондон надеялся, что заключение торгового соглашения с Москвой приведет к уменьшению поставок советского сырья нацистской Германии, которые были предусмотрены «пактом Молотова—Риббентропа». Эти переговоры завершились безрезультатно, и посланный в Москву с дипломатической миссией С. Криппс пытался убедить свое правительство пойти на существенные уступки Советскому Союзу в территориальных вопросах, в частности в вопросе о «фактическом суверенитете» Советского Союза в Прибалтике.

Как показывают оба исследования, подчеркивает обозреватель «Нью-Йорк ревью оф букс», Адольф Гитлер гораздо лучше, чем Криппс и Иден, понимал: сотрудничество с Кремлем идет наиболее успешно в тех случаях, когда Советы считают, что оно в их интересах.

Художник Д. Левин.

(Газета «Нью-Йорк ревью оф букс»)

«ПРЕВРАТИТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ В ВОПРОСЫ...»

Опубликованный в 1984 году роман известного чешскоязычного писателя Милана Кундеры — «Невыносимая легкость бытия» — потерял статус «незкранизируемого», когда за дело взялись режиссер Филип Кауфман (снявший уже восемь картин) с писателем и сценаристом Жан-Клодом Каррьером (автором четырех сценариев фильмов Л. Бунюэля), пишет журнал «Лиснер». Еженедельник «Джапан таймс уикли» отмечает слаженную и выразительную игру международного состава исполнителей—Дэниэла Дея-Льюиса (Великобритания), Жюльетт Бинош (Франция), Лены Олин (Швеция). Похвалы заслуживает прекрасная операторская работа шведа Свена Нюквиста, помощь соотечественника Кундеры—знаменитого режиссера Милоша Формана.

Успех экранизации своего произведения по праву разделил с группой и сам Милан Кундера. Именно он подсказал кинематографистам основной принцип для преобразования «спиральной композиции» романа в сравнительно «прямолинейный сценарий»: «Нужно уметь «опускать»!» «Правда, в результате пришлось «опустить» и самый интересный персонаж — рассказчика, поскольку он «сглаживал» резкие силуэты остальных героев»,— говорит Ф. Кауфман. Однако авторскую позицию удалось выразить иными средствами. Кундера стал и неофициальным консультантом на съемках фильма, проходивших в Лионе. Он же предложил использовать в качестве музыкального сопровождения фортепианные квартеты чешского композитора Леоша Яначека. По мнению кри-

Дэниэл Дей-Льюис и Жюльетт Бинош в фильме «Невыносимая легкость бытия»

(Еженедельник «Джапан таймс уикли»)

тиков, выбор оказался на редкость удачным: пьесы составили «прекрасный подтекст», дополнив происходящее на экране.

Новая трехчасовая кинолента — это, пишет «Лиснер», «эротическое повествование в сказочном стиле», отнесенное ко времени «пражской весны» 1968 года. Судьбы отдельных людей и история страны здесь взаимосвязаны. Герои картины Томас, Тереза, Сабина, Франц, составляющие любовные треугольники (и многоугольники), по существу, служат абстрактным выражением размышлений писателя о «философских, эмоциональных и политических антитезах, среди которых выделяются центральные понятия «легкость — тяжесть». «Каждому из нас дана лишь одна жизнь, и никому не суждено узнать, правильны ли его поступки и решения. Если так, то человек свободен от ответственности за содеянное (подобно Томасу и Сабине), и тяжесть бытия следует компенсировать легкостью отношения к ней»,— резюмирует М. Кундера. Но парадокс состоит в том, продолжает он, что, чем тяжелее ноша, тем более «земным» становится бытие и тем ближе оно к истине и действительности (как у Терезы и Франца).

«Так что же выбрать: бремя или легкость?» На этот вопрос М. Кундеры ни книга, ни фильм ответа не дают, отмечает «Лиснер». Ведь сам Кундера твердо убежден, «что «задача писателя — превратить все ответы в вопросы, а назначение художественного произведения — разрушить устоявшиеся мнения и вскрыть неоднозначность явлений».

Чехословакия

«ЖИЗНЬ, КАЖУЩАЯСЯ ОБЫЧНОЙ, ДРАМАТИЧНА САМА ПО СЕБЕ»

«Одержимый наблюдатель и поэт человеческих будней, фантастических в своей сущей реальности и реальных в своей безбрежной фантастичности». «...Свободный, неподнадзорный, неодолимый, обыкновенный и ни на кого не похожий, терпимый и упрямый, его устами человек, вбитый и забетонированный в закоулки города, выразил и осмыслил себя». «Гений городских дворов, так долго ждавший подходящего момента, наконец нашел свой объект и свою жертву»... Это все о Богумиле Грабале, 75-летию которого еженедельник чешских писателей «Кмен» посвятил почти целый номер. После двадцатилетнего перерыва произведения Богумила Грабала вновь заняли на страницах чешской периодики заслуженное место. Газета «Руде право», еженедельник «Творба» отметили юбилей, опубликовав в нескольких номерах статьи о писателе и отрывки из его книг. В сообщении, посвященном присуждению Б. Грабалу звания заслуженного деятеля искусств, венгерская «Непсабадшаг» писала: «Всемирно известный писатель официально получил достойное место в художественной жизни Чехословакии».

Имя Богумила Грабала советскому читателю, к сожалению, почти ничего не говорит, между тем в мире он считается одним из самых крупных европейских писателей среди ныне живущих. Например, во французском «Большом энциклопедическом словаре Ларусса» Грабалу посвящена подробная статья и перечислены до десятка произведений, изданных во Франции. В год юбилея новые переводы его книг вышли в Венгрии, Канаде и некоторых других странах.

Хотя первая вещь Грабала увидела свет в 1956 году, широкая известность пришла к нему с книгой «Жемчужинка на дне» в 1963-м. В те годы американский еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» писал, что рассказы Богумила Грабала помогают очистить человеческое в человеке.

1968 год был отмечен для Б. Грабала двумя противоречащими друг другу событиями: за экранизацию его повести «Поезда особого назначения», вместе с режиссером Иржи Менцелем, он был награжден Государственной премией Клемента Готвальда (фильм также получил «Оскара»), а несколько месяцев спустя Грабала отлучили от чехословацкого Союза писателей (восстановили лишь в 1988 г.) за то, что он поддержал манифест «2000 слов».

Хотя двадцать лет Б. Грабала практически не печатали на родине, сегодня, как пишет журнал «Млади свет», его произведения, размноженные «самиздатом» или выпущенные «тамиздатом», есть в каждом читающем чешском доме. Его считают «своим» писателем академик и таксист, «бывалый человек» и студент. В наш век, не оглядывающийся в прошлое и не уверенный в будущем, людям необходимо понимание красоты и драматичности жизни, которой они живут сегодня.

В биографической книге «Прогалины» писатель объясняет, что он понимает под действительностью. «С точки зрения литературы не все есть реальность. Реальность изысканна, так сверкающа, в ней должно быть сияние жемчуга, какое есть, например, у Бабеля. Реализм — это выбор и придание необычности, и еще нечто, что называли шокирующим, способ, каким вы проникаете в суть».

В год своего семидесятипятилетия Богумил Грабал говорит: «Моя жизнь, кажущаяся обычной, драматична сама по себе».

Богумил Грабал.

(Журнал «Уй тюкёр»)

Авторы этого номера

САЛЬМАН РУШДИ (SALMAN RUSHDIE; род. в 1947 г. в Бомбее) — индийский писатель, постоянно проживает в Англии. Окончил Кембриджский университет, пишет на английском языке. Автор романов «Гримус» ("Grimus", 1974), «Дети полуночи» ("Midnight's Children", 1981; удостоен премии Букер), «Сатанинские стихи» ("The Satanic Verses", 1988). Написал также книгу очерков о своей поездке в Никарагуа «Усмешка ягуара» («The Jaguar Smile», 1987). Подробнее о творчестве С. Рушди — см. статью М. Салганик в следующем номере «ИЛ».
Роман «Стыд» вышел в Англии в 1983 году («Shame». London, Pan Books, 1983).

АННА СВИРЩИНЬСКАЯ (ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA; 1909—1984) — польский поэт и драматург. Автор сборников «Стихи и проза» («Wiersze i proza», 1936), «Стихотворения» («Liryki zebrane», 1958), «Черные слова» («Czarne słowa», 1967), «Ветер» («Wiatr», 1970), «Я — баба» («Jestem baba», 1972), «Я строила баррикаду» («Budowałam barykadę», 1974), «Счастливая, как собачий хвост» («Szczęśliwa jak psi ogon», 1978), «Страдание и радость» («Cierpienie i radość», 1985; посмертно). Публиковались также ее пьесы и книги для детей. По-русски подборка стихотворений А. Свирщиньской напечатана в «Иностранной литературе» (1973, № 10).
Стихи о Варшавском восстании и фотография Ежи Томашевского публикуются по изданию: «Budowałam barykadę» Warszawa, Wydawnictwo Literackie, 1984.

МИРЧА ЭЛИАДЕ (MIRCEA ELIADE; 1907—1986) — историк религий и писатель (о нем и его творчестве — в послесловии Вяч. В. Иванова). Перевод новеллы «У цыганок» выполнен по книге М. Элиаде «При дворе у Диониса» («În curte la Dionis». Bucureşti, Cartea românească, 1981).

ВУДИ АЛЛЕН (WOODY ALLEN; псевдоним, настоящее имя — Аллен Стюарт Кёнигсберг; род. в 1935 г.) — американский кинорежиссер, актер, драматург, прозаик-сатирик. В. Аллен поставил несколько фильмов, в которых он — автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли. Его фильм «Энни Холл» (1977) был удостоен трех «Оскаров». Автор пьес «Не пейте воду» («Don't Drink the Water», 1966), «Плавающая лампочка» («The Floating Lightbulb», 1981) и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Сводя счеты» («Getting Even», 1971), пьеса — из сборника «Без перьев» («Without Feathers», 1975).

Переводчики

БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский переводчик с английского. В его переводах публиковались произведения английских, американских и австралийских писателей, среди них повести «Сеяла Хэн лебеду...» К. С. Причард («ИЛ», 1979, № 12), «Непокорная» Ф. Ф. Дэвисона, «Дева и цыган» Д. Г. Лоуренса («ИЛ», 1986, № 3), романы Т. Фланагана «Год французов» (1987), П. Скотта «Остаться до конца» («ИЛ», 1988, № 2), Дж. Стейнбека «И проиграли бой...» (1989) и др.

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА — советский поэт и переводчик с польского. Автор сборников стихов «Девчата» (1959), «Гордость» (1961), «Кумачовый платок» (1965), «В ритме природы» (1977), «Любовь» (1982), «Заветы» (1989). В ПНР издана книга ее избранной лирики (1963). В «ИЛ» публиковались переводы Н. Астафьевой из К. Иллакович, М. Павликовской, Я. Ивашкевича, А. Свирщиньской, Т. Новака, Е. Харасымовича, Х. Посвятовской, Э. Липской и др. Ее переводческая деятельность отмечена польской премией ЗАиКС.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА — советский переводчик с румынского и английского языков. В ее переводе вышли книги писателей Василе Войкулеску «Монастырские утехи», Сынзианы Поп «Серенада на трубе», Штефана Бэнулеску «Зима мужественных», Габриэлы Адамештяну «Подари себе день каникул» и др., а также рассказы Ф. С. Фицджеральда и У. Фолкнера.

◆

Поправка. В № 6 настр. 188 (левая колонка) следует читать:

16-я строка — В листе «Эол» (3-я стр. обложки);
23-я строка — Лист «Полифем» (2-я стр. обложки).

В 1990 году редакция «Иностранной литературы» предполагает опубликовать:

Дэвид Г. Лоуренс (Великобритания) «Любовник леди Чаттерлей». Роман, на который в свое время в Англии был наложен цензурный запрет. Ныне он оценивается критикой и читающей публикой как одно из классических произведений литературы XX века.

Сол Беллоу (США). Роман «Герзаг», названный по имени его главного героя,— история интеллектуала, переживающего тяжелую душевную смуту. Одна из центральных вещей лауреата Нобелевской премии.

Андре Бринк. Роман «Стена чумы». Автор — крупнейший представитель литературы белого населения ЮАР. Героиня — эмигрантка, скитающаяся по Европе в поисках утраченной связи со своим народом.

Стефан Гейм (ГДР). Роман-притча «Книга царя Давида».

Жоржи Амаду (Бразилия). Роман «Исчезновение святой», вышедший из печати в 1988 году. Как и обычно, автор изображает жизнь и быт людей родного края.

В разделе «Поэзия», наряду с открытием новых для советского читателя имен, редакция собирается опубликовать стихи таких крупнейших поэтов нашего столетия, как **Эзра Паунд, Райнер Мария Рильке, Х. Н. Бялик, Чеслав Милош, Янош Пилинский, Х. Л. Борхес, Октавио Пас.**

В разделе документальной прозы и публицистики редакция намерена уделить значительную часть журнальной площади очеркам, дневникам, мемуарам и т. д. Среди них — книга французского писателя **Жиля Перро** «Красный оркестр» о действовавшей на территории оккупированной Европы подпольной антифашистской организации во главе с известным советским разведчиком Леопольдом Треппером (по возвращении в Советский Союз он был незаконно репрессирован, а после смерти Сталина — реабилитирован); мемуары бывшего работника Коминтерна из Югославии **Карло Штайнера** «7000 дней в Сибири»; фрагменты книги крупнейшего религиозного мыслителя XX века **Романо Гвардини** «Конец нового времени».

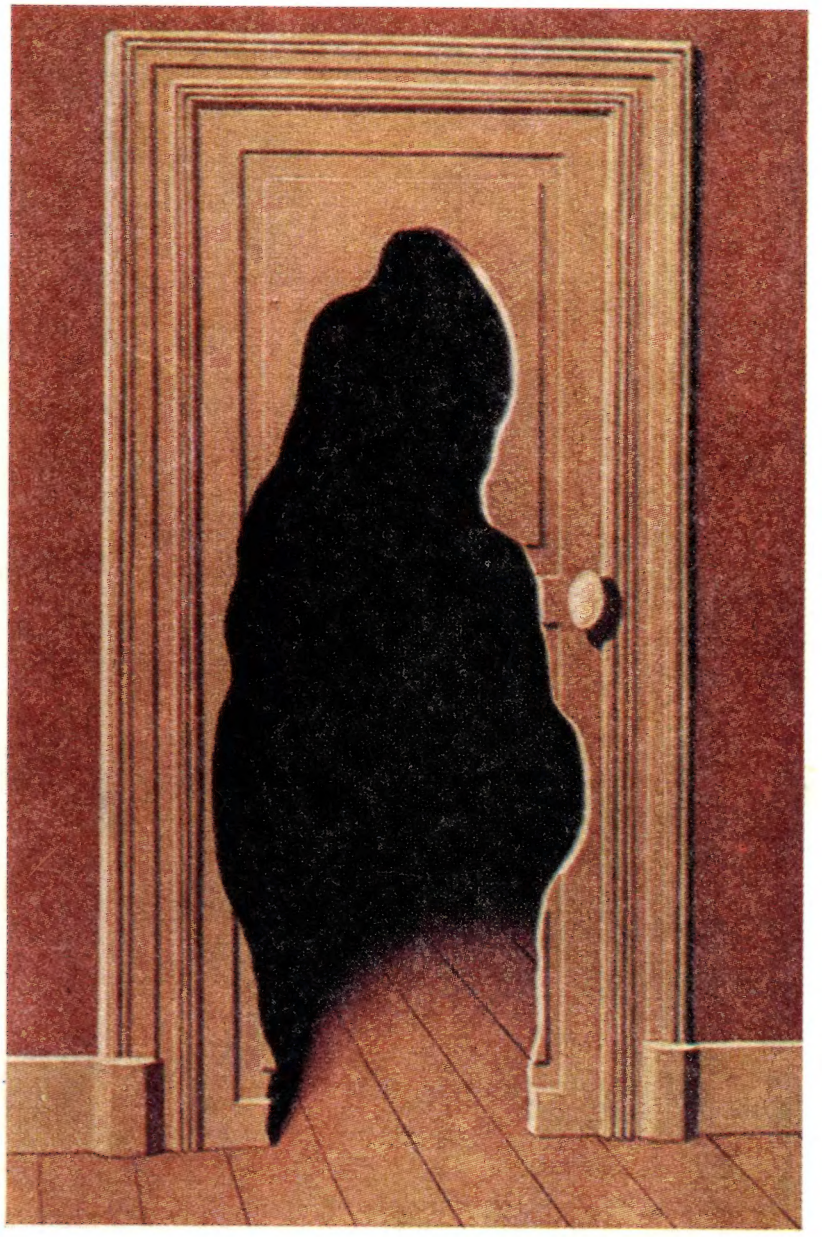
В отделе критики будут опубликованы литературные портреты и проблемные статьи о творчестве Марселя Пруста, Эзры Паунда, Д. Г. Лоуренса, Сола Беллоу, Бруно Шульца, Андре Жида, Ш. Агнона и др. Среди авторов: **С. Аверинцев, А. Гулыга, Ю. Давыдов, Вяч. Иванов, М. Мамардашвили, А Зверев, В. Земсков, Вик. Ерофеев, В. Огнев, Л. Осповат** и др.

На страницах журнала будет постоянно вестись разговор о книгах, которые находятся в центре внимания читательской общественности у нас и за рубежом.

«Сын человеческий» (частное собрание, Нью-Йорк).

Цена 1 руб. 80 коп.

Индекс 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература № 8, 1989, 1—256